

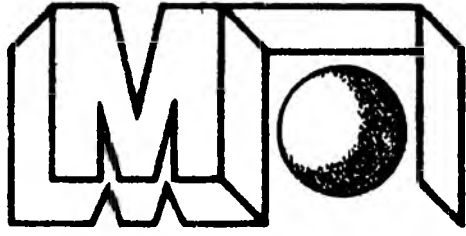


Мир приключений

**У светлого яра
Вселенной**







Мир приключений

У светлого яра Вселенной

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
РУССКИХ И СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО « ПРАВДА »

1988

84 P
У П

Составление, послесловие
и комментарии
Д. З и б е р о в а

Иллюстрации
А. Д о б р и ц ы н а

У $\frac{4702010000-1678}{080(02)-88}$ 1678—88

© Издательство «Правда», 1988.
Составление. Послесловие. Комментарии.
Иллюстрации.

Василий ЛЕВШИН



НОВЕЙШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, СОЧИНЕННОЕ В ГОРОДЕ БЕЛЕВЕ

Нарсим, размышляя о свойстве воздуха, никак не сомневался, чтоб нельзя было изобрести удобной машины к плаванию по оному жидкому веществу; он видал, как перо от малейшего ветра поднимается на сию стихию. «Разве не то ж самое служило к изобретению водоходных судов? — воображал он. — Конечно, много веков прошло, доколь найдено средство плавать по морям: и без сомнения, всегда видали, что щепка дерева не может погрязнуть в воду. Не то ли самое с пером и воздухом? От щепки произошли и военные корабли: а перо доставит нам способ сделать орудие, удобное вносить нас выше нашей атмосферы».

В одну прекрасную ночь, сидев под окном углублен в сии мысли, взирал он с жадностью на освещенное полным блеском луны небо. Какое множество видит он звезд! Умоначертания его пробегают по неизмеримому пространству и теряются в бесчисленном собрании миров. Просвещенный смысл его не находит оные простыми блестящими точками, но алмазными гвоздями, вбитыми в голубой свод рукою всесильного художника. «Безумные смертные! — вопиет Нарсим. — Сколь мало понимаете вы благость создателя! Сии точки, ограниченные в слабых ваших взорах, суть солнцы или тверди, противу коих земля наша песчинка. Но вы мечтаете, что все сие создано для человека; какая гордость! Взгляните на сие расстояние, равняющееся вечности, и поймите, что не для вас испускают лучи свои миллионы солнц; есть несчетно земель, населенных тварями, противу коих вы можете почесться кротами и мошками. Не безумно ли чаять, чтоб всесовершенный разум наполнял небо точками, служащими только к забаве

очей ваших? Какое унижение!.. Ах! Сколько бы счастлив был тот смертный, который доставил бы нам средство к открытию сея важныя истины! который бы перенес нас в пределы, где царствуют вящие предметы могущества создателя и где одни только соборы удивления. С каким бы вождедением увидели мы отходящий от нас воздушный флот! Сей флот не был бы водимый златолюбием: только бы отличные умы возлетели б на нем для просвещения. Брега новыя сей Индии не обагрились бы кровию от исходящих на оныя громоносных бурий: се было бы воинство, вооруженное едиными оптическими орудиями, перьями и бумагою».

Потом любопытство обращает Нарсима к выдумке для изобретения летающей машины: тьма разных способов стесняют его рассуждение и столько же пребывают недействительны и неудобны. Он досадует на недостаток средств, думает еще, находит нечто, располагает, после опровергает и, ослабив чувства сражением воображений, прислоняется спиною вне себя к креслам и засыпает.

Во сне обращает он взоры свои на стену, где висело у него несколько орлиных крыл. Берет из них самые большие и надежные; укрепляет края оных самым тем местом, где они отрезаны, к ящику, сделанному из легчайших буковых дощечек, посредством стальных петель с пробоями, имеющими при себе малые пружины, кои бы нагнетали крылья книзу. С каждой стороны ящика расположил он по два крыла, привязав к ним проволоку и приведши оную к рукояти, чтоб можно было управлять четырью противу расположенными двух сторон крылами одною рукою; равномерно и прочих сторон крылья укрепил к особой рукояти. Сие средство почитал он удобным к его намерению: что и в самом деле оказалось, ибо, вынеся сию машину на открытое место и сев в нее, когда двух сторон крылья опустил с ящиком горизонтально, а двумя других начал махать, поднялся он вдруг на воздух.

Какой восторг! Что стал Нарсим, увидев себя восходяща выше возможности человеков! Едва сие радостное изумление не остановило нужного действия рук его; и не предостерегся бы он от падения, если б опускаемые крылья, опираясь на воздух, не удерживали стремительного привлечения тягости к земному центру. Сие спасло Нарсима, сие сохранило машину его

и доставило нам великое откровение. Он ободряется, начинает двигать рукояти, рассекает прозрачную бездну, удаляется и забывает о самом себе; ибо, впрочем, надлежало бы вспомнить о столовом припасе, толико нужном для пути неизвестного и не имеющего ночлегов. Но разве не то ж делают все, коими владело любопытство? Нарсим был человек.

Блестящая Луна прежде всего обращает к себе его желание. «Посмотрим,— говорил он сам себе,— для наших ли тварей создан кружок сей, и нет ли в нем животных, равномерно мыслящих, что Земля наша есть их месяц и не для иного плавает на воздухе, чтоб ночи их были не так темны? Должно испытать и освободить моих собратий от сего воображения». По сем удвояет он движение и теряет из глаз Землю; ибо тогда была ночь, или лучше сказать тень, отбрасываемая Землею, среди которой он продолжал путь свой, скоро закрыла зрению его шар наш.

Уже возлетел он почти до половины расстояния между Землею и Луною, как следующая мысль начала приводить его во ужас: воздух не всюду будет таковой густоты, каковая потребна для свободного мне дыхания. Атмосфера наша не очень далеко от Земли простирается, после чего следует один тончайший эфир, не способный к житию в нем тварей. Но вдруг, взглянув на Луну, нашел, что она возросла в 21 раз противу обыкновенного виду, в каковом кажется в глазах наших с Земли: из сего тотчас заключил он, что нет уже ему опасности задохнуться в эфире, по увеличению Луны уразумел он, что пролетел уже далеко за атмосферу. Луна по достоверным исчислениям найдена в 42 раза меньше нашей Земли, когда же возросла она в глазах его слишком в двадцать крат, имел он причину полагать, что совершил уже около половины пути своего. Нарсим немало радовался, не ощущая никакой перемены в воздухе, он находил дыхание свое и все чувства еще свободнейшими, как видимо от того, что пары земные, кои, входя в наше тело, отягощают все действующие в нас органы, не могли восходить до места, в коем он тогда находился. Посему Нарсим немалую имел причину опровергать мнение, столь твердо принятое о тончайшем воздухе, наполняющем пространство между всех висящих в воздухе тел. Понеже, когда б воздух окружал только одни земные тела, а не зани-

мал всего пространства неба, притягательная сила тел не имела бы ни от чего себе препятствия, и большее тело привлекло бы к себе малое: поелику эфир, быв без воздуха, тонкостию своею не мог бы воспящать сильному действию магнитной силы. Таковым образом увидели бы мы Луну, присоединенную к Земле, а оную взаимно к Марсу и так далее. Но когда определить все пространство между небесных тел, наполненное одним жидким и равной упругости веществом, тогда уже не можно будет в рассуждении расстояния притягательной силе простирать свое действие так далеко, чтоб от одного сего держались великия тверди на воздухе. Творец миров не создал ничего чрезвычайного, ни похожего на волшебство: все действующие причины имеют основание свое в природе; а магнитную силу тел едва ли не можно счесть за сверхъестественность. Зачем сия привлекательная сила? Когда один воздух удобен держать все тела в себе и когда самое действие отбрасывания, принятое за магнитную силу, есть точное действие воздуха. Мы только думаем, что есть в телах одинакого вещества взаимное друг к другу привлечение. Что ж, воздух единая причина, коею шар наш и прочия равного с ним вещества тела держутся на веществе жидком и не могут оставить места пути своего: сие усматривается из следующего, весьма сходного с тем опыта.

В сосуд, наполненный водою, надобно положить три кусочка бумаги или соломы. Если оные будут в таком расстоянии, что количество воды между ими будет меньше количества тел их, тогда кусочки пристают друг к другу; если же количество воды будет равное телам обоим кусочков, тогда оныя остаются недвижимы; но когда расстояние воды между кусочков будет больше половины поверхности сосуда, тогда кусочки устремляются к краям, в противные друг другу стороны. Из чего понять можно, что не тела взаимно друг на друга действуют, но количество вещества, в коем они плавают. Не притягательная сила их соединяет, но сила упругости, увеличенная превосходным числом меры воды, их друг к другу гонит. Равным образом середина воды, став между кусков пространнее, по той же причине отводит их в противные стороны. Не ясно ли из сего оказывается, что содетель всех чудес света употребил самые простые способы на то, что кажется нам то-

лико удивительно? Он, желая повесить тверди на воздухе, наполнил оным сперва все пространство неба, потом бросил сии куски земли, в таком один от другого расстоянии, чтоб количество между ими воздуха в вечном содержало их равновесии и отстоянии. Посему никакая комета не может притянуть к себе Землю нашу: ибо оные так же свои имеют места и равно как все миры плавают в своих кругах по путям, кои устроляет им давление воздуха, отчего и все тела небесные совершают шествие свое около Солнца, яко центра, уподобляющегося средней точке воды, наполненной в сосуде. По сей же вышесказанной причине все тела, брошенные от земли на воздух, упадают к ней обратно, и мы ошибаемся, относя действие сие к притягательной силе земли, когда превосходный вес столпа воздушного, над брошенным телом находящийся, давит оное и понуждает обратно упадать на землю.

В таковых размышлениях работал Нарсим безумолчно рукоятками машины и не перестал бы гордиться, что постигает он таинства природы, если б машина, на коей летел, мгновенно не перевернулась с ним через голову. Страх возвратиться обратно на Землю по подобию Икара выбил из него всякие воображения, и одно врожденное побуждение к спасению жизни отвело руки его от рукояток, чтоб схватиться покрепче за ящик: отчего все восемь крыл опустились горизонтально, и по пришествии в себя усмотрел он, что опускается тихим плаванием прямо на Луну, поминутно возрастающую в глазах его.

Неизвестно, от страха ли не вспомнил он рассматривать тогда тело Луны, коей части мог бы уже различать без телескопа, или, познав, что лишился опасности, как человек любопытный, восхотел сперва постигнуть причину, отчего машина его перекувырнулась. Тихо опускающийся ящик и приятный шум жужжащего сквозь орлиные перья воздуха способствовали ему только к спокойному размышлению. Итак, по долгих сражениях рассудка, уразумел, что уже перелетел он гораздо большую часть расстояния между Землей и Луной, и чтоб столб находящегося над ним воздуха возрос до того, что начал давить его к Луне. Тогда-то понял он всю великость пришедшей опасности и, что без помощи спорящих с воздухом перьев, полетел бы он стремительно на поверхность Луны, и сошествие

его на сей новый свет не было б из удачных. Но опасность миновалась.

Между тем он приближался к Луне. Какая чудесная перемена! Сей малый светленький кружочек учинился преогромным шаром, и Нарсим не примечал, чтоб онный испускал от себя свет. Сей шар был точная наша Земля, или темная глыба, наполненная горами, водами и равнинами. Чем ближе он опускается, тем многочисленнее рождаются в очах его предметы удивления. Уже различает он сначала леса, потом видит блестящие кровли зданий. «О небо! не сплю ли я? — вопиет Нарсим, обращая стремительно на все стороны взоры. — Луна населена!.. Вот города... деревни!.. Ах! Я вижу и самых тварей... Боже мой! здесь такие же человеки!.. Они имеют свои нужды: вот пахарь, чредящий свою землю... Се пастухи с стадами!.. Кажется, что золотый век здесь господствует — по сих пор еще не вижу я монахов и ратников... Тут-то истинный престол весны, тут-то истинный род жизни... Завидное состояние! Кажется, одни радостные звуки свирелей провождаются к ушам моим... Сей город преогромный, удивительное художество сооружало здания. Но что ж такое! Я не вижу нигде молитвенных храмов: конечно, нет здесь правоверных?..»

Наконец не более ста сажен осталось между им и Луною. Обворожающие приятности природы, расточившей дары свои на поверхность сея планеты, приковали к себе глаза Нарсимовы; вне себя, опершись на край ящика и свесив голову вниз, пожирали он взорами редкости предметов. Но сие удовольствие его прервано было происшедшим между лунными жителями возмущением: он видит их бросающих свои работы и упражнения и сбегающихся в одно место с поднятыми вверх головами. «Они меня увидели, — помышлял Нарсим, — надеюсь, что у них также необычайно летать по воздуху. Сколько ж наскожу я им редкостей о нашей Земле! еще больше удивятся они, познав премудрость наших законов, совершенство художеств, силу военных ополчений и все, о чем, может быть, и в мысль им не входит». Крик лунных жителей пресек его размышления: он различает явственно слова, произносимые ими на сирийском языке: «Квалбоко возвращается!.. Квалбоко возвращается!» При сем Нарсим от радости и разных впечатлений воображения в тоlikое впал исступ-

ление, что не слышал, как ящик его подхвачен был руками лунных жителей, приемших его под руки и изведших на землю.

«Скажи нам, Квалбоко,— кричали тут тысячи голосов,— как успел ты в своем предприятии? Возвести нам все подробности твоего путешествия, опиши сии отдаленные от нас миры, без сомнения, ты видел в них много чрезвычайного».

Нарсим, понимая их ошибку, не знал, что им отвечать, а особливо не ведая нравов страны сея, не благонадежен был на первую впадшую ему мысль, чтоб представить себя чрезвычайным послом от всех дворов земного шара: ибо (воображал он) неизвестно, во употреблении ли здесь торжественные порядки государственных пересылок. Посол без свиты... без подарков!.. ежели владетель их горд, если министры корыстолюбивы? Нарсим! Тотчас же сочтут тебя лазутчиком, и тюрьма будет воздаянием пышным твоим замыслам... Но должно что-нибудь отвечать, дабы не показать себя невежливым; и так поспешно напрягает он силы своего разума, прилепляется к единой истине и открывает первое действие свое на поверхности лунной тверди следующей речью:

«Высокопочтеннейшее собрание пресловутого народа, населяющего шар, который мы, жители Земли, называем Луною, и которая по власти создателя определена для нас ночным светилом! простите мне, что я не возглашаю титулов ваших достоинств: странник, пролетевший тысячи верст по чистейшему воздуху, из страны, не имевшей с вами сообщения, не может посреди вас различить великогомоцного вашего монарха, острохитрых его вельмож, храбрых воевождов, добродетельного духовенства, мужей ученых и прочих, отличающихся заслугами от простолюдинов. Удовольствуйтесь тем только, если вообще и беспристрастно назову я вас премудрыми: ибо по нашему обыкновению именованье сие есть приятнейшее для человека. Я не Квалбоко, но Нарсим, житель Земли, или лучше сказать, сей стоящей над вами великой и блистательной планеты».

Собственная тень Луны начинала тогда покрывать то место, на кое низшел Нарсим, или, по-нашему, смеркалось; а часть Земли нашей, обращенная к меся-

цу, отбрасывая от себя солнечные лучи, представляла вид великолепной и огромной Луны.

«Оттуда я слетел к вам, — продолжал Нарсим, указывая пальцем на свою Землю, — там живут бесчисленные народы моей и вашей собратии. Я из числа общества, трудящегося над познанием точного существа миров; я с помощью увеличивающих стекол познавал уже истину того, что я здесь вижу. Любопытство побудило меня изобрести сие летающее орудие и привело к вам для просвещения вашего и собственного моего понятия. Успех моего предприятия довольно награжден, когда я, возвратясь, могу уже сказать моим согражданам, что напрасно они гордятся, воображая, будто бы нет иных разумных, кроме их, тварей и что Луна, Солнце и все планеты только для них».

Удивление лунных жителей было столь велико, что в таковом их множестве ни один голос не воспрепятствовал общему всех вниманию словам Нарсимовым. Но когда он замолчал, подошел к нему муж глубоких лет, увенчанный дубовым венцом. Седая его, до колен простирающаяся борода и важная осанка присвоили ему некий род отменности. «Приветствую тебя, Нарсим, — сказал он. — Благодарю неиспытанные судьбы, дозволившие совершить тебе невероятный подвиг к взаимному нашему просвещению; радуюсь, находя тебя здравомыслящим: ибо ты, равно как и мы, жители Луны нашей, не имеешь высокомерных мыслейставлять Землю нашу, созданную для тебя собственно. Ты видишь теперь, не согласнее ли бы с разумом подумать, что Земля ваша создана нашею Луною? Ночь сия, мало уступающая дню, обязана светозарностью своею Земле твоей, отвращающей к нам лучи солнечные. Складнее большому свету освещать тело малое, нежели меньшему обширное, но мы выводим из того только премудрое расположение связи всех миров, учрежденное творцом всего к взаимной выгоде. Но да не введет нас любопытство в дальнейшие подробности, и да не удержит меня от исполнения должности к ближнему в странноприимстве. Покой нужен по таком путешествии. Последуй мне, любезный пришлец. Я как начальствующий над сим селением имею первый право угостить тебя в моем доме».

Окончив сие, подал он Нарсиму руку, и сей последовал ему в провождении множества народу.

Приближались они к селению: Нарсим ослеплен был блеском зданий. Не искусство зодчих привело его во изумление; он зрит во всем простоту, но поверят ли Нарсимовы сограждане, что поразило взор его? Все стены жилищ построены были из тех прозрачных цветных камней, кои составляют величайшую нашу зависть и великолепии; а кровли из того только металла, который стоил жизни нескольким миллионам жителей нового света. «Теперь-то разумею я,—вопийал Нарсим мысленно,—каким благодарением обязаны поселяне Луны и мы, земные жители, провидению! Если бы сии драгоценности, сии алмазы и золото не столь трудною разделены были от нас дорогою: тысячи Колумбов со всех четырех наших частей пришли бы отвесть мечей своих над шеями лунатистов. И сей прекрасный шар в одно лето учинился бы пустою степью; а победители не разделили бы своей добычи и при самом своем обогащении истребили б себя взаимно. Земля и Луна заблистали бы от куч алмазов и злата; но сии груды служили б уже ночлегом совам, и скоты попрали бы ногами предметы суетности человеков».

«Конечно, сей дворец Вашего Величества?» — сказал Нарсим старику, почтя его необходимо Королем страны той. «Что вы разумеете чрез дворец и Величество?» — спросил его старик. «Разве я ошибся, чтоб таковые драгоценности можно было иметь кому, кроме величайшего монарха, и чтоб последующий нам народ не были ваши подданные? У нас титул Величество есть изображение чести, отдаваемой одним только государям». — «Друг мой! — отвечал старик. — Во всей Луне нет государей; сии мои дети, чада сынов моих, внуков и правнуков; а все здание составляет один дом моего семейства». — «Кто же управляет вашими государствами? кто рассуждает при ваши?» — «Такие же старики, как я; и право родителя дает каждому право власти над своими чадами. И кто же бы лучше мог стараться о пользе их? У нас нет, как я уже сказывал, государей: вся Луна разделена на селения, в коих начальствующий есть отец жителей». — «Кто ж по смерти вашей заступает ваше место, когда вы столько детей имеете? без сомнения происходят за то великия вражды и междоусобия между оставшихся? Начальство ваше есть то же, что у нас скипетр; но повествования земли нашей, как во временах древних, так и в новейшей памя-

ти, подают нам сведения, сколь бедоносна отечеству смерть Монарха». — «Я не разумею, — отвечал старец, — почему бы скипетр вашей земли был завиднее жезла наших отцов семейства! разве могут быть лестны сии претяжкие попечения видеть чад своих на крайней степени благодетельства, когда сие благороднейшее звание, когда сие сладчайшее чувство благотворить ближним приобретутся враждою и междоусобием. Странно бы было удержаться цепи связующей общества к взаимной пользе, если бы те, коим члены общества возлагают бремя своей вольности, вместо поручительства за свою к ним любовь, поставляли злодейство, возмущая их покой и поощряя каждого враждовать друг другу. Кто бы мог меня уверить, что предыдущее мое блаженство будет зависеть от того, что я вверю безопасность мою человеку беспокойному? Однако, не имея особого понятия о установлениях наших земель, мы не можем разуместь друг друга, и так, драгой мой пришлец, расскажу я тебе о состоянии земли нашей с тем уговором, чтоб и ты удовлетворил моему любопытству; уведомлением о своей».

В сие время вошли они в преогромнейший покой, который пристойнее бы назвать городской площадью: ибо во оном свободно было возлежать многим народа тысячам. В нем не находилось окон, но бесчисленно дверей, ведущих в отдаленные комнаты, и ни одной свечи для освещения столов, приуготовляемых к ужину; одно сияние солнечных лучей, отражаемых к ним нашею Землею, избыточно награждал недостаток огня.

Старец сел в кресла; он должен был занять место противу его; весь народ возлег по скамьям в несколько рядов вокруг их, и посреди глубокого всех безмолвствия начальствующий начал так: «Мы не имеем повествований на письме, кроме доходящих до нас изустно по порядку от отцов к детям: почему нельзя мне вас уверить, кто был первый человек; как звали его жену, а всего меньше, как создана наша Луна: ибо никто не бывал тому свидетелем. Довольно, что мы признаем всемогущего творца, создавшего все сии чудесные предметы, ежеминутно встречающиеся глазам нашим, и отнюдь не сомневаемся, чтоб причина им была, кроме всемогущей воли бога. Исследовать подробно неизвестное, а наиболее постигать невозможное, поставля-

ется у нас крайней глупостью. Надеюсь, что вы согласитесь, что такая мелкая тварь, каков человек и с таким ограниченным смыслом, никогда не может постигнуть или проникнуть твердейшую завесу премудрых намерений творца. Однако, чем больше мы невежды, тем больше в нас умствования: почему думают, что Луна некогда составляла часть Земли вашей. Но как бы то ни было, я не могу уверить тебя в сей истине и не докажу, каким образом мы от вас отторжены. Довольно, что есть Луна, есть на ней жители и есть избыток для всех надобностей: а сие и достаточная причина, вместо пустых умозаключений, быть только нам к всевышнему благодарными и порадоваться данными нам от него выгодами. По тому земледелие и скотоводство сочтено у нас одним упражнением, кое человеку предоставлено: ибо оное ему необходимо. Прочие же науки, кои начали было изобретать люди, не любящие трудов, отвержены, и выдумщики таковые, если б только не приняли советов трудолюбивых своих собратий, померли б с голоду. У нас не приобретающий руками своими пищи считается ненужною тягостию для земли: и потому из любви к ближнему оному, который, только сидя на одном месте, думает, что в такой-то блестящей звезде, должно быть, тварям не дают есть: чтобы чрез то он опомнился и голод уверил бы его, какая разница орать землю или терять время на ненужные выдумки».

Нарсим краснелся от стыда, слышав слова сии. «Вот как разумеют здесь, — помышлял он, — плод трудов моих! Боже мой! Сколько б людей посадили на хлеб и на воду, если бы хотя одну только Академию нашу отдали сюда на свидетельство!»

«Но как человеческая природа создана с крайним пристрастием к любопытству, — продолжал старец, — то никакия предрассуждения, никакия обыкновения не могли воспрепятствовать происхождению по временам людей предприимчивых. Были люди, создавшие в воображениях своих расположении правления, новые законы, совсем уклоняющиеся от вкорененных в сердца наши чувствованиями естества, некоторые степени отличия, пустые титулы, чтоб нарушить равенство чад, от единого родителя происходящих, и чтоб лишить и отцов того натурального права, коему есть таинственное в душах наших оправдание; хотели предлагать завоевание другой половины Луны нашей,

которая не освещается Солнцем и где слабый только свет лишает плодонося земли диких семейств, питающихся разными рыбными ловлями. Но все сие пресечено разумным решением общего согласия старцев, и сии беспокойные люди по истощении возможных доказательств о глупости их воображений выгоняемы были в мрачную страну Луны, где они, не привыкнув к ядению рыб, помирали или с довольным раскаянием возвращались в отечество, проклиная безумие прежних своих желаний и, так сказать, полумертвые. Однако не успевали таковые примеры: правнук мой, Квалбоко, был довольно несчастен иметь столько притворства, что утайкою сделал орудие, на коем улетел осматривать нашу Луну, или твою Землю; мы увидели то, как он поднялся уже на воздух. О глупость человеческих желаний! Мы считаем его за погибшего». Сказал старец, и вздох пресек слова его.

Сей промежек употребил Нарсим на предложение вопроса, чтоб удовлетворить своему любопытству, как могут утверждаться общества, в коих нет законов писанных. «Почтеннейший старец, — сказал он, — позвольте спросить: каким образом может быть согласие между ваших семейств, когда оных столько много? Начальники пород не могут быть люди нравов сходных, и закон естественный воспримет во устах каждого различное толкование. Положим, что бывает у вас собрание старцев, в котором заключаются общие условия; но оные, не быв на письме, могут легко заглажаться в памяти». — «Друг мой! — отвечал старец, — закон естественный довольно тверд, когда исповедывает оный совесть каждого; оный начертан незагладимыми буквами в душах наших. И зачем писать то, что каждый по чувствам своим разумеет без истолкования? Мы столько счастливы, что природа наша старанием правителей семейств осталась еще в той своей невинности, каковою развернулась в первом человеке. Закон наш очень краток и нетруден к исполнению: всяк разумеет, что должно любить бога, яко благодетеля, а ближнего как самого себя, ибо через то приобретет и от него любовь к себе; а тем избавится от многих досад, неминуемо происходящих по нарушении сей заповеди. Утверждено у нас, что всякий другой закон, противного сему толкования, есть обществу вредоносный и мерзкий пред богом: ибо кто не проклянет учение, с

коим чувства всех не соглашаются и спокойство общее нарушается!.. Но каким образом следствия, от несходства нравов происходящие, удерживаются в пределах должности, расскажу я тебе, любезный пришлец, после, а теперь позволь дать себе угощение». Он дернул за веревочку, привязанную к его креслам, и пронзительный звон колокольчика разлился по пространству храмины.

Какое явление! Двери боковых храмин мгновенно растворились; тысячи красавиц выходят из оных. Скромность добродетели, соединенная с прелестями невинности, сияет на их лицах. Простота одежд, едва скрывающая то, чем природа украшает пол сей, придает им еще более зараз. Каждая из них приносит и поставляет на стол два блюда, провождаемая детьми своими, держащими сосуды с соками плодов и водою. Яства поставляются. Старец восстает, простирает руки к небесам, благословляет трапезу и возлегает, посадив близ себя Нарсима. Каждое семейство занимает места свои в восхитительном порядке; чета друзей по сторонам с залогами любви своей наполняет теряющийся в глазах длинный ряд столов. Тишина владычествует посреди множества; всяк вкушает приготовленное руками своей дражайшей. Нарсим участвует в блюдах старца, чает вкушать амвросию под видом молошного и единых плодов приуготовленную и нектаром богов прохлаждает свою жажду; воображения мечтают ему быть во острове небесной Венеры, где он не видит (никого), кроме счастливых любовников.

Вечеря кончилась: старец воздвигся с седалища, все множество чад его простерлось на земли, и он приносил создателю благодарение от лица всех их. По совершении молитвы старец благословил все общество, и сей знак был ко удалению на покой. Каждая чета, забрав сосуды, возвращалась в свою храмину, где Гимен ожидал их с возженным пламенником. Отец семейств, коего глубокие лета, расторгши узы крепости, не расторгли однако дружества с его равнолетною супругою, проводил ее до одра, где простился с нею в нежнейших выражениях. Сия содруга его благоденствия, казалось, что удержала еще в лице своем те приятности, кои столько насильствует похищать время; она расставалась с ним с тою ясностью очей и с тем спокойствием духа, каковое дозволяет лишь последство

дней, препровожденных в счастливом браке. Видимо было, что сердца их спорили еще противу увядающей природы.

Старец возвратился к Нарсиму, чтоб начать продолжение недоконченных разговоров. Уже руки его простирались с важною ласковостью к пришельцу, как шорох от входа залы пронесся к слуху его, и обратил взоры. «О небо! — возопил он. — Что вижу я!.. чадо непослушное... Квалбоко возвратился». Тайный трепет предчувствия разлился в душе Нарсимовой; он в кратком воззрении на обитателей Луны находил их ангелами пред собратиею своею, жителями Земли. «Что будет со мною? — воображал он в сражении мыслей своих. — Что будет, если Квалбоко пришел теперь с Земли нашей? Каким меня сочтут, если он узнал нравы и обычаи моих единоплеменников? Что я скажу во оправдание! Защищать ли мне... Нет, обнаженная истина да будет мне подпорою и да свидетельствует, сколько удален я от всех злоупотреблений, обратившихся у нас в природу... Но подождем, который путь принудят взять слова Квалбоковы».

Между тем возвращающийся был уже у ног праотца своего. «Чадо непокорное! — вопиял сей. — Раскаявшегося ли восприимут тебя мои объятия? оплакиваешь ли ты бедственное свое любопытство или с упорстием дерзосныя предприимчивости отторгаешь ты себя от лица отца огорченного и от общества мира и тишины?»

«О родитель мой! — отвечал Квалбоко с рыданием. — Никто из заблуждающихся не познает своего безумия, как по совершении преступления. Совершенное раскаяние привело меня к стопам твоим; я вырвался из ада, где успех дерзостного моего предприятия наказан по достоинству. Но прежде объявления о всем со мною случившемся позволь, дражайший родитель, омьить мне слезами ноги ваши и испросить помилования». Он заключил колена его в объятия и, лобзая оныя, ожидал судьбы своей. Нарсим хотел принести свои просьбы, но Фролагий (имя старца) уже поднимал его. Сей добродетельный муж, готовый всегда прощать, прижал его к груди своей, и слезы радости появились на очах его. «Я приобретаю тебя вновь, любезный сын мой! — сказал он. — Ты вновь родишься из недр моих, ибо раскаявшийся более чувствует отвращение

к преступлению, нежели тот, коему оно неведомо. Забудем все, но на условии, чтоб, рассказав мне все с тобою случившееся, забыть оно вечно и не повторять никогда пред твоими собратиями. Здравый рассудок вразумляет, что человек, услыша о успехе какого-нибудь порока, великую получает склонность подвергнуться оному, и неизвестность есть лучшее средство избавиться от развращения». Нарсим, ожидая разительного для себя повествования, хотел оказать в чем-нибудь свою заслугу и для того, выхваляя рассуждения Фролагиево, сказал: «Опыты в нашей земле подтвердили уже, что изданные заповедания ко удержанию того, чтоб не могли произойти некоторые преступления, служили только, чтоб учинить оныя деятельными и которые без того не могли бы, кажется, войти в мысль человеческую».

Квалбоко, не имевший еще времени рассмотреть его, устремил на него взоры. «Кто сей незнакомый?» — спросил он у праотца своего, но получил в ответ повеление сесть и начать свои приключения. Квалбоко повиновался и, когда все трое заняли места, начал:

«Я не намерен описывать вам способ и успех составления того бедоносного орудия, которым возлетел я в планету, о которой напоминовение повергает меня в страх и ужас. Я не прежде осмелился предстать вам, как обратя в пепл сию машину, коя в вечном проклятии останется в моих мыслях. Гонимый непреодолимым любопытством узнать о том, в чем всевышний промысел положил нам преграду, направил я путь мой в планету, отвращающую к нам во время ночи свет солнечный. Стрела, пущенная из лука, не с такою прытостью рассекает воздух, как желания мои парили на твердь, куда я летел. Самое движение моего шествования было быстро и умножалось несказанно, когда возросла в глазах моих Луна наша. Руки мои не имели нужды действовать; некое притяжение влекло меня туда по струям эфира. Спокойным зрителем на возрождающиеся в глазах моих предметы вкушал я неопишанную радость. Горы, долины, моря и потом города, селения, реки, озера, леса и самые человеки появлялись мне попеременно. И можно ли было не восхищаться, видя мир, во всем подобный нашему? Я чаял возвысить

мое просвещение: но ожидание сие стоило мне дорого; я сшел на Землю.

Я сложил мою машину и спрятал оную в карман. Утомление принудило меня удалиться в ближнюю рощу. Зрелые плоды неизвестного мне рода привлекли насытить мою алчность. И подумайте о чудесном действии: я стал разуметь множество неизвестных мне дотоле наречий. Располагая в рассуждениях о сем происшествии, познал я, сколь необходимо для меня было знание языков в странах, кои я обозреть желал и кои, конечно, должныствовали разнствовать от наречия, единственно у нас употребляемого. Мог ли я считать сие инако, как за покровительство провидения в моем предприятии? Но сие была казнь глупому моему любопытству, чтоб я подробным понятием, а не одним только воззрением познал состояние Земли, на коей по большей части обитают человеки...

Затем Квалбоко рассказывает историю земных народов, начиная с библейских времен. Особенное внимание он уделяет вопросу о языческих религиях и ссылается при этом на Плутарха, Цицерона, Диодора Сицилийского и других древних авторов, разбирает некоторые древние обряды, толкуя их преимущественно как аллегории. После исторической части следует рассказ и о собственно путешествии лунатиста.

«Я шествовал по большей части местами пустыни, в жарчайшем воздухе. Редко попадались мне деревни, а того меньше города. Страною сею обладают турки, народ, бывший прежде кучею разбойников и завладевший впоследствии почти половиною Луны; страшный всему человеческому роду как по невежеству, так и по страшным основаниям веры, которыми дозволено убивать всех, кои не одинаких с ним мнений. Предписание сие исполняют они с точностию и убавили уже знатную часть чужеземных лунатиков. Удивительно, что терпят прочие столь опасных соседей и дозволяют им мало-помалу истреблять или покорять себя! Однако незадолго пред моим приходом некоторая великая жена поубавила их гордости: она оборонялась от них по-

чти с невероятной храбростию, все бесчисленные их воинства (были) разбиты в прах и принуждены были молить о мире на всех условиях, какие только требованы. Счастью для них, что имели они дело, хотя с величайшею, премудрейшею и храбрейшею из смертных, но притом и с человеколюбивейшею; впрочем, не претерпел бы я от них того, о чем услышите. Я нашел в турках чудную смесь человеколюбия и бесчеловечия, странноприимства и немилосердия. Всюду на дорогах меня грабили, и как уже золото мое все кончилось, то били за то, что я ничего не имею. В деревнях же принимали ласково, омывали мои ноги, угощали и покоили. Я пришел в столичный их город Стамбул.

Там с ужасом говорили о прошедшей войне, толико их смилившей. Мне не удалось, впрочем, узнать лучше о состоянии сего государства, ибо великое претерпел я здесь несчастье, и любопытство мое едва не отреклось от всех своих требований. Зашел я в молитвенный их храм, видел совершенное богоговение, проводимое нелепым криком. Я остановился, простер руки мои и пел молитву по нашему обыкновению.

Сначала все приклонили уши внимать согласным звукам моего голоса, но вдруг духовный схватил себя за волосы и закричал, что мечеть осквернена пением неверного. Окружили меня, спрашивали, что я за человек и какого закона. «Какого закона? — сказал я, — ...никогого». — «Но ты простирал руки на небо, сие значит призывать бога», — говорили они во сто голосов. «Разве запрещено у вас призывать бога?» — «Нет. Но бога нельзя призывать, не призывая Магомета. Ну, неверный, исповедуешь ли ты его, говори решительно, или...» — «Государь мой, — подхватил я, — вы не можете от меня требовать, чтоб я знал его, я житель Луны вашей, и у нас не слыхано об нем никогда». — «Никогда, мерзавец? — вскричал духовный. — Сама Луна поклоняется великому пророку, я уличу твою ложь текстом из Алкорана... Но довольно, из Луны ли ты, или из ада, ты должен веровать в Магомета и быть обрезан!» Сказал сие, и меня проводили в тюрьму.

Какие имел я рассуждения по случаю сему, рассказывать долго; мне казалось непонятно, каким образом могут люди взять в голову страшную идею заставлять верить других, чему сами верить находят основание: равно как бы верить или не верить зависело от челове-

ческой воли. Печальные мои умствования пресечены (были) появлением духовного, пришедшего с вооруженными (людьми) для совершения таинства, в веру их меня присоединить имеющего. Объясняясь, в чем состоит обряд сей, я оторопел. По счастью, на исподнем платье осталось у меня несколько золотых пуговиц. Я просил переговорить наедине с духовным... дозволено, и пуговицы спасли меня от мучительной операции. Возглашено, что я действительный магометанин, меня приветствовали, дарили безделками, возили на осле по улицам и наконец дали свободу бежать неоглядно из столь ужасного города.

Путешествие мое научило меня о опасностях с оним соединенных, но нечего было делать: машина моя расположена была только, чтоб подниматься кверху и опускаться вниз, а не вдоль летать, как птица. Однако ж, в предосторожности, определил я не называться пришельцем воздушным, а благоразумнее считал именовать себя Р**, ибо от одного слова сего рождалось почтение ко мне в храбрых турках, коих областью надлежало мне идти долго. Я направил стопы мои в страну, из коей жителя я представлял[...]

Наслышавшись, какие опустошения терпят земли, производящие войну, удивился я, не приметив следов оного. Мне не представлялось (ничего), кроме лугов, наполненных стадами, и нив, клонящихся под бременем своего изобилия. В одних местах земледельцы встречались мне поющие, удовольствие и изобилие сияло на их здоровых лицах, а в других, приобретенных вновь странах, видел я поселения. Свои и чужеземные стекались там, и поминутно пустыни превращались в сады, в коих Минерва и Церера наперерыв трудились. Воины отдыхали под сению мира, позирая алчно управляемое справедливостью свое оружие. По дорогам встречались мне караваны купцов, либо везущих избытки отечества, или возвращающихся во оное, обремененных корыстями; странники безопасно шли путем своим — разбойники и воры были сведомы тут только по имени, и прошед верст тысячи не видал (я) ни виселец, ни колес, ни рожен, употребляемых повсюду правосудием.

«Неужели другой род людей обитает здесь?!» — вскричал я со удивлением...»

Владимир ОДОЕВСКИЙ



ДВА ДНИ В ЖИЗНИ ЗЕМНОГО ШАРА

У графини Б. было много гостей; была полночь, на свечах нагорело, и жар разговоров ослабевал с уменьшающимся светом: уже девушки перетолковали обо всех нарядах к будущему балу, мужчины пересказали друг другу обо всех городских новостях, молодые дамы перебрали по очереди всех своих знакомых, старые предсказали судьбу нескольких свадеб; игроки рассчитались между собой и, присоединившись к обществу, несколько оживили его рассказами о насмешках судьбы, произвели несколько улыбок, несколько вздохов, но скоро и этот предмет истоцился. Хозяйка, очень сведущая в светском языке, на котором молчание переводится скукою, употребляла все силы, чтобы расшевелить болтливость усталых гостей своих; но тщетны были бы все ее усилия, если бы нечаянно не взглянула она в окно. К счастью, тогда комета шаталась по звездному небу и заставляла астрономов вычислять, журналистов объявлять, простолюдинов предсказывать, всех вообще толковать о себе. Но никто из всех этих господ не был ей столько обязан, как графиня Б., в это время: в одно мгновение, по милости графини, комета соскочила с горизонта прямо в гостиную, пробралась сквозь невероятное количество шляп и чепчиков — и была встречена также невероятным количеством разных толкований, и смешных и печальных. Одни в самом деле боялись, чтобы эта комета не напроказила, другие, смеясь, уверяли, что она предзна-

менуется такую-то свадьбу, такой-то развод и проч. и проч.

«Шутите, — сказал один из гостей, который век свой проводил в свете, занимаясь астрономией (par originalité),¹ — шутите, а я помню то время, когда один астроном объявил, что кометы могут очень близко подойти к Земле, даже наткнуться на нее, — тогда было совсем не до шуток».

«Ах! Как это страшно! — вскричали дамы. — Ну скажите же, что тогда будет, когда комета наткнется на Землю? Земля упадет вниз?» — проговорили несколько голосов.

«Земля разлетится вдребезги», — сказал светский астроном.

«Ах, боже мой! Стало быть, тогда и будет представление света», — сказала одна пожилая дама.

«Утешьтесь, — отвечал астроном, — другие ученые уверяют, что этого быть не может, а что Земля приближается каждые 150 лет на градус к Солнцу и что наконец будет время, когда Земля сгорит от Солнца». «Ах, перестаньте, перестаньте, — вскричали дамы. — Какой ужас!»

Слова астронома обратили всеобщее внимание; тут начались бесконечные споры. Не было несчастий, которым не подвергался в эту минуту шар земной: его и жгли в огне, и топили в воде, и все это подтверждалось, разумеется, не свидетельствами каких-нибудь ученых, а словами покойного дядюшки — камергера, покойной штатс-дамы тетушки, и проч.

«Послушайте, — наконец сказала хозяйка, — вместо споров пусть каждый из нас напишет об этом свои мысли на бумаге, потом будемте угадывать, кто написал такое и такое мнение».

«Ах, будемте, будемте писать», — вскричали все гости...

«Как прикажете писать? — робко спросил один молодой человек. — По-французски или по-русски?»

¹ Для оригинальности (фр.).

«*Fi donc — mauvais genre!*¹ — сказала хозяйка. — Кто уже ныне пишет по-французски? *Messieurs et Mesdames!*² Надобно писать по-русски».

Подали бумаги; многие тотчас присели к столу, но многие, видя, что дело доходит до чернильниц и до русского языка, шепнули на ухо своим соседям, что им еще надобно сделать несколько визитов, и — исчезли.

Когда было написано, все бумажки были смешаны, и всякий по очереди прочитывал вынутую им бумажку; вот одно из мнений, которое нам показалось более других замечательным и которое мы сообщаем читателям.

I

Решено; настала гибель земного шара. Астрономы объявили, глас народа подтверждает их мнение; этот глас неумолим, он верно исполняет свои обещания. Комета, доселе невиданная, с быстротою неизмеримою стремится на Землю. Лишь зайдет солнце, вспыхнет зарево страшного *путника*; забыты наслаждения, забыты бедствия, утихли страсти, умолкли желания; нет ни покоя, ни деятельности, ни сна, ни бодрствования; и день и ночь люди всех званий, всех состояний томятся на стогнах, и трепетные, бледные лица освещены багровым пламенем.

Огромные башни обращены в обсерваторию; день и ночь взоры астрономов устремлены на небо; все прибегают к ним, как к богам всемогущим; слова их летят из уст в уста; астрономия сделалась наукою народною; все вычисляют величину кометы, скорость ее движения; жаждут ошибок в вычислениях астрономов и не находят.

«Смотри, смотри, — говорит один, — вчера она была не больше Луны, теперь вдвое... что будет завтра?»

«Завтра набежит на Землю и раздавит нас», — говорит другой...

¹ Фи! — это дурной тон! (фр.).

² Дамы и господа! (фр.).

«Нельзя ли уйти на другую сторону шара?» — говорит третий...

«Нельзя ли построить подставок, оттолкнуть ее машинами? — говорит четвертый. — О чем думает правительство?»

«Нет спасения! — кричит молодой человек, запыхавшись. — Я сейчас из башни — ученые говорят, что, прежде нежели она набежит на Землю, будут бури, землетрясения, и земля загорится»...

«Кто против Божия гнева?» — восклицает старец...

Между тем течет время, с ним возрастают величина кометы и ужас народный; уже видимо растет она; днем закрывает солнце; ночью огненной пучиной висит над Землею; уже безмолвная, страшная уверенность заступила место отчаянию; не слышно ни стога, ни плача; растворены тюрьмы: вырвавшиеся преступники бродят с поникшим челом между толпами; редко, редко общая тишина и бездействие прерываются: то вскрикивает младенец, оставленный без пищи, и снова умолкнет, любуясь страшным небесным зрелищем; то отец обнимает убийцу сына.

Но подует ли ветер, раздастся ли грохот, толпа зашевелится — и уста всех готовятся к вопросу, — но его боятся вымолвить.

В уединенной улице одного европейского города восьмидесятилетний старец у домашнего очага приготовлял себе пищу: вдруг вбегает к нему сын его.

— Что ты делаешь, отец мой? — он восклицает.

— Что делать мне? — отвечает спокойно старец. — Вы все оставили — бегаєте по улицам — а я между тем голодаю...

— Отец! Время ли теперь думать о пище?

— Точно также время, как и всегда...

— Но наша гибель...

— Будь спокоен; пустой страх пройдет, как и все земные бедствия...

— Но разве ты потерял слух и зрение?

— Напротив, не только сохранил то и другое, но еще сверх того нечто такое, чего нет у вас: спокойствие духа и силу рассудка; будь спокоен, говорю тебе, — ко-

мета явилась нежданно и пропадет так же — и гибель Земли совсем не так близка, как ты думаешь; Земля еще не достигла своей возмужалости... внутреннее чувство меня в том уверяет...

— Отец мой! ты во всю жизнь свою верил больше этому чувству или мечтам своим, нежели действительности! Неужели и теперь ты останешься преданным воображению?.. Кто тебе поручится за истину слов твоих?..

— Страх, который вижу я на лице твоём и тебе подобных!.. Этот низкий страх несовместим с торжественной минутой кончины...

— О ужас! — вскричал юноша... — Отец мой лишился рассудка...

В самое то мгновение страшный гром потряс храмину, сверкнула молния, хлынул дождь, ветер снес крыши домов — народ упал ниц на землю...

Прошла ночь, осветило небо, тихий Зефир осушил землю, орошенную дождем... люди не смели поднять преклоненных глав своих, наконец осмелились, — им уже мнится, что они находятся в образе духов бестелесных... Наконец встают, оглядываются: те же родные места, то же светлое небо, те же люди — невольное движение подняло взоры всех к небу: комета удалялась с горизонта...

II

Настал общий пир земного шара; нет буйной радости на сем пиру; не слышно громких восклицаний! Давно уже живое веселье претворилось для них в тихое наслаждение, в жизнь обыкновенную; уже давно они переступили через препоны, не допускающие человека быть человеком; уже исчезла память о тех временах, когда грубое вещество посмеивалось усилиям духа, когда нужда уступила необходимости: времена несовершенства и предрассудков давно уже прошли вместе с болезнями человеческими, земля бы-

ла обиталищем одних царей всемогущих, никто не удивлялся прекрасному пиру природы; все ждали его, ибо давно уже предчувствие оно́го в виде прелестного призрака являлось воображению избранных. Никто не спрашивал о том друг друга; торжественная дума сияла на всех лицах, и каждый понимал это безмолвное красноречие. Тихо Земля близилась к Солнцу, и непалящий жар, подобный огню вдохновения, по ней распространялся. Еще мгновение — и небесное сделалось земным, земное небесным, Солнце стало Землею и Земля Солнцем...

Николай МОРОЗОВ



ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

«...Через несколько часов мы вышли за пределы доступного для чувства земного притяжения, и для нас более не было ни верха, ни низа. Стоило нам сделать несколько движений руками, и мы плавно переплывали на другую сторону каюты.

— Вот и верь после этого,— сказала Вера,— что тяжесть есть неотъемлемое свойство всякой материи.

— Сколько в вас весу? — спрашивала Иосифа Людмила, плавая в воздухе.

— Нуль пудов,— отвечал тяжеловесный гигант Иосиф.

— Да, но и сами пуды теперь нули! — воскликнула Людмила, толкая плавающую близ нее пятипудовую гирию.

Сильное движение воздуха, взволнованного нашими леди, медленно относило в угол Иосифа, старавшегося на лету срисовать всю эту сцену вместе с перспективой бледно-зеленоватого отдаленного серпа Земли с панорамой созвездий, ярко блестящих через одно из больших и прочных хрустальных окон, несмотря на яркий солнечный свет, врывающийся косыми полосами в противоположное окно корабля. Петр прицепился к рулю, к которому был приставлен в это время, и с завистью посматривал на остальную возившуюся публику. Людвиг бросил свои статистические отметки в корабельном лагбухе, листы которого никак не ложились один на другой, а ерошились торчком каждый лист отдельно от другого, и, молча плывя в воздухе, смотрел со своей доброй и ласковой улыбкой на всю эту яркую и радостную картину.

Мне тоже было необыкновенно радостно. Да и как не радоваться? Разве не сбылась моя заветная мечта? Разве не несемся мы теперь в бездонную эфирную глубину небесного океана среди пронизывающих его метеоров, один удар которых может разбить вдребезги нашу ладью? По временам я заботливо взглядывал вперед, но сейчас же успокаивался. Ведь области метеорических дождей лежали далеко от нашего пути.

— Опасности быть не может!— говорил Николай.— Ведь мы нарочно выбрали такое время года, когда Земля пролетает через пространства, совсем почти свободные от метеоров. Столкнуться с ними было несравненно менее вероятно, чем, например, потерпеть крушение на железной дороге.

Вера схватила летевший мимо нее стакан воды и быстрым движением руки отдернула его от наполнявшей его жидкости. Оставшись в воздухе, жидкость сейчас же приняла шарообразную форму и поплыла среди нас подобно мыльному пузырю.

— Идите пить воду! Кто первый поймает ее ртом?— звала нас Людмила.

А между тем время шло. Два дня промчались незаметно, и корабль наш быстро приближался к поверхности Луны. С каждой минутой сильнее разрастался ее бледный диск, на три четверти освещенный Солнцем и погруженный другою половиной в глубокую ночь. Скоро пришлось нам дать задний ход машине, чтобы противодействовать силе нашего тяготения к Луне. Мы уже не летали более в воздухе каюты, но медленно падали на ее бывший потолок, теперешний пол нашего помещения. Пришлось переставить всю мебель вверх ногами относительно прежнего положения. Но это не только не поражало нас, а, напротив, никто из нас, несмотря на недавний опыт, даже представить не мог, как могла когда-то мебель стоять по направлению к Земле.

Большинству все это казалось очень странным. Пришлось перевернуть корабль, чтоб его пол был направлен к Луне.

А между тем лунный диск все более и более увеличивался от нашего приближения и занял пятую часть небесной сферы. Ярко обрисовывались под нашими ногами его горы и холмистые сыпучие равнины. Мы летели к той половине Луны, которая была в тени. Она росла с каждой минутой. Она как бы надвигалась на нас,

как бы грозила разбить нас своим ударом. Становилось жутко от этой громады, растущей под нашими ногами. Невольно то один, то другой из нас бежал посмотреть на показатель быстроты полета, чтобы убедиться, что она не превышает ту скорость, которую наши машины могут преодолеть ранее падения на поверхность Луны. А дамы так со страхом пытливо заглядывали нам в глаза, как бы ища в них той уверенности, которой у них не доставало. Но мы их не обманывали, утверждая, что все в порядке. Вот лунная поверхность заняла почти всю половину окружающего нас небесного пространства. Зубчатые вершины ее кольцеобразных гор отчетливо обрисовывались среди бледно-зеленоватого плоскогорья, над которым низко склонялось Солнце. Вот горизонт Луны совсем надвинулся на блестящее светило. Один миг — и мы очутились в длинном конусе ночи, вечно следующем за Луной и каждой планетой и ярко освещенном знакомыми созвездиями и широким серпом Земли, на котором виднелись Северная Америка и часть вечных снегов Северного полюса. Внизу же, на юге Луны, поднималась прямо под нашими ногами вулкановидная громада горы Коперника с ее лучеобразными трещинами и голосами по склонам. Вдали направо виднелась глубокая котловина Кеплера, окруженная как бы валом. Еще дальше темной, слабо-зеленоватой от земного света равнины, называемой «Морем Дождей», лежала огромная тарелкообразная впадина Архимеда, а за ней целый ряд таких же, но меньших «колодцев» и углублений вплоть до того, которое называют цирком Аристотеля. Все это быстро приближалось, увеличивалось в своих размерах, ближайšie горы заслоняли более отдаленные.

Мы держали курс на самую вершину горы Коперника и скоро очутились так близко от нее, что ничего уже не могли видеть, кроме ее окрестностей. Вдруг Николай, стоявший у машины и наблюдавший показатель хода за окном каюты, несколько бледный, шепнул мне на ухо: «Беда! Мы, кажется, грохнемся на эту гору раньше, чем успеем вполне затормозить наше движение».

Я взглянул на показатель и тоже испугался. Или наша машина потеряла часть своей силы, или лунное притяжение было у поверхности сильнее, чем оно выходит по обычному вычислению, предполагающему,

что вся масса планеты сосредоточена в ее центре, — но мы падали с такой быстротой, что, очевидно, уже не были в состоянии остановиться ранее удара о каменные отроги, которые через несколько секунд должны были разбить вдребезги наш корабль.

В это мгновенье Петр, стоявший на руле и тоже увидевший опасность, быстро направил полет прямо в кратер Коперника, в один из так называемых «колодцев», зиявших в этой горе. Мимо наших окон промелькнули какие-то сероватые и желтые утесы, и мы погрузились в глубокий мрак неизмеримого, казалось, бездонного «колодца». Впереди и кругом нас ничего не было видно в зияющей глубине, а сзади отверстие «колодца», в котором блестели несколько звездочек, быстро сужалось по мере нашего погружения и как бы замыкалось за нами. Сильный свист и шум за стенами корабля, похожий на завывание ветра, давали знать, что «колодец» наполнен какими-то газами. Наши бедные побледневшие леди, громко вскрикнув от ужаса в тот миг, когда внезапно влетели в жерло, и, уцепившись обеими руками за случившегося рядом Ованеса, замерев в этом положении, с ужасом смотрели в темную глубину, широко раскрыв свои глаза. Но этот свист и вой был лучшим помощником нашего спасенья: от сопротивления газа, присоединившегося к действию заднего хода машины, наш корабль остановился, залетев лишь на несколько десятков метров в глубину «колодца».

— О, какой ужас! — воскликнула Людмила, едва удерживаясь от плача.

Мы несколько опомнились от неожиданной опасности и зажгли лампочку, так как Людмила боялась темноты.

Все принялись успокаивать ее и так, совершенно утешив обеих леди, вспомнили о Пете, который спас нам жизнь своей находчивостью в критический момент. Все стали его хвалить и пожимать ему руки, что конфузило Петра, хотя по скрытно торжествующему взгляду и оживленности движений и можно было заметить, что он доволен своим поступком.

Корабль был осторожно двинут к выходу кратера. Вскоре показались зубчатые края окружности, погруженные с одной стороны в черную мглу, а с другой освещенные зеленоватым светом Земли, несравненно

более ясным, чем лунный на Земле в самые светлые зимние ночи. Яркие инкрустации горного хрусталя и других блестящих минералов гирляндами и кружевами покрывали изгрызенные стены кратера, перемежаясь с огромными ветвистыми кристаллическими формами металлов, образующими целые роци удивительных деревьев и кустарников. Вот из-за темного зубчатого края противоположного бока провала показался огромный серп Земли и еще более увеличил прелесть этой волшебной картины.

Мы миновали эти цирки, валы которых показались нам грудками мелкой легкой пыли, и полетели к северу над слабо-зеленоватою от света Земли равниной «Моря Дождей», по направлению к отдаленным тарелкообразным углублениям северных лунных цирков. Когда мы спустились над этой равниной на высоту не более полверсты, странное жужжание за боками корабля, подобное шуму слабого ветра, обратило внимание тех, кто стоял у микрофонов.

— Атмосфера! — воскликнул Людвиг. — Слышите, как шумит воздух за бортом корабля?

Все прислушались. Действительно, не было сомнения, что мы летим среди легкой атмосферы, но из какого газа состоит она, этого никак невозможно было определить. Отсутствие солнечного света мешало произвести спектральный анализ, а иначе узнать состав было невозможно, так как впустить неизвестный газ в корабль было бы рискованно, не зная его свойств. Мы ограничились тем, что набрали его посредством насоса, прикрепленного к внешней стене корабля и приводимого в движение гальваническим прибором, в особый гуттаперчевый мех, тоже находящийся снаружи, и отложили химическое исследование до возвращения на Землю.

Когда, продолжая путь, мы приподнимались несколько выше, шум за стенами прекращался и снова ясно слышался, когда мы понижали полет. По высоте этой границы шума было очевидно, что осязаемая часть лунной атмосферы не достигает в этом месте даже и километра и что она лежит не только ниже горных цепей, идущих всюду по краям к середине лунного диска и отдельно стоящих гор, достигающих на Луне гигантской высоты, но даже и на равнинах покрывает

наиболее низменные места подобно тому; как моря на земной поверхности.

— Так вот почему,— воскликнула Вера,— эти места кажутся при наблюдении с Земли настолько темнее остальных, что древние астрономы приняли их за океаны и моря и дали им соответствующие названия! Значит, это «Море Теней», над которым мы летим, есть действительно море, но только не водяное, а газообразное! «Океан Бурь», «Море Ясности», «Море Кризисов», «Море Плодородия», повсюду разбросанные по диску Луны и связанные между собою проливами,— все это не пустые названия, как думали в последнее время!

Удивленные, мы опустились еще ниже к самой поверхности и тут заметили, что вся равнина была покрыта мелкою растительностью лишайников, мхов и более высших растений неизвестных видов, по общему типу напоминающих земные. Здесь, в замкнутых воздушных бассейнах, при недостатке влаги, которая хотя, по-видимому, и растворена в атмосфере, но находится в таком ничтожном количестве, что никогда не сгущается в дожди и облака, органическая жизнь не могла еще развиться до своих высших разумных форм. Несколько родов и видов низших животных, которых мы встретили, отличались огромными веерообразными придатками вроде огромных ушей, которыми они, очевидно, поглощают влагу из воздуха за недостатком обыкновенной воды. Петр захватил своим рычагом, то есть железной рукой корабля, наиболее интересные из них и положил их в наружную сетку, чтобы мы с Иосифом рассмотрели их при возвращении.

Вся эта коллекция была собрана недалеко от цирка Платона, к которому мы быстро направляли свой полет.

Цирки громадной величины мы видели разбросанными по всей лунной поверхности. Они были поразительно похожи то на следы гигантских дождевых капель на песке, то на дыры, пробитые в стекле ружейной пулей. До сих пор они сбивали с толку всех астрономов, придумавших самые сложные гипотезы, объяснявшие их происхождение. Но все эти гипотезы справедливо отвергались большинством как не объясняющие характеристических особенностей.

— Странная вещь,— сказал Иосиф,— откуда взялись

здесь глина и песок, эти продукты водного разложения?

— Да,— ответил я,— очень может быть, что правы те астрономы, которые утверждают, что Луна прежде быстрее вращалась вокруг оси и что вода была распространена в разных местах по ее поверхности, а теперь вся сосредоточилась на противоположной стороне благодаря тому, что это полушарие сильно поднялось вверх от тяготения к Земле.

— А вот увидим, когда будем на той стороне,— сказала Вера.

Неподвижно висая в пространстве, мы долго любовались видом цирка Платона. Наконец мы спустились к самой поверхности его вала и пытались набрать от него рычагом нашего корабля несколько кучек его щебнеобразной массы.

Вдруг обе наши леди вскрикнули в испуге. Я оглянулся. Среди ночной полутьмы вся окрестность озарилась красно-малиновым светом, ярким, как свет Солнца. Большой огненный шар неся прямо на нас, рассыпая за собою блестящие искры в редком воздухе «Моря Теней». Казалось, не было никакой возможности миновать губительного удара.

— Метеор!— послышалось восклицание испуга.

«Неужели,— мгновенно бросилось мне в голову,— нам, пролетевшим все пространство до Луны и ни разу не встретившим метеоров, суждено погибнуть у самой цели нашего путешествия?!»

Но, прежде чем я кончил свою мысль, страшное сотрясение рыхлой сыпучей почвы заставило подпрыгнуть наш корабль и свалило его набок. Мы все попадали в разные стороны, и только слабость тяготения к Луне предоохранила нас от серьезных ушибов. Через несколько секунд я уже вскочил на ноги, и что за картина представилась моим глазам! Огромная тарелкообразная впадина виднелась на склоне вала Платона в нескольких десятках саженей от нашего корабля, а куча метеорной пыли лежала в середине впадины.

— Смотрите,— раздался вдруг громкий голос Ованеса,— смотрите! Корабельная рука совсем переломлена и валяется на земле!

Петр бросился в отчаянии к окну и мрачно смотрел на обломки своего произведения.

— Смотрите, смотрите! — перебил Ованеса Людвиг. — Дверь корабля так втиснута в стены и рукоятка так испорчена, что нам уже совершенно невозможно отворить ее.

Я бросился к входной двери, но тотчас успокоился. Вся вдавленная внутрь, с изломанным запором, она тем сильнее прилегалась к окружающей ее стене корабля.

Где я ни прикладывал свою руку к ее краям, нигде не чувствовалось ни малейшего течения воздуха.

— Ну, пустяки, — сказал Ованес. — Вернемся на Землю, нас освободят из этого нового заключения.

Людвиг между тем начал пробовать действие машины, и корабль наш медленно поднялся в окружающем нас пыльном облаке, поднятом метеором. Кругловатая неглубокая впадина, выбитая метеором, вся раскрылась под нашими ногами. Она была как две капли воды похожа на один из маленьких «кратеров», всюду разбросанных среди больших цирков Луны, нередко даже на их валах и в середине.

Безмолвно стоя у окна и глядя на этот цирк, я забыл обо всем окружающем и долго оставался в каком-то восторженном состоянии, что я испытывал каждый раз, когда мне в голову приходила какая-нибудь новая гипотеза, освещающая массу фактов, прежде непонятных. «Значит, — думал я, — все эти цирки, возбуждавшие столько неудовлетворительных гипотез среди астрономов, не что иное, как следы ударов тысяч больших и маленьких комет и метеоров, встречавшихся с Луной в продолжение миллионов лет ее существования!» Там, на Земле, куда, конечно, так же часто падали метеоры, их разрушительная сила парализовалась густою атмосферою, представляющей громадное сопротивление быстро движущимся телам. Да и падали они лишь в том случае, если ударяли по воздуху перпендикулярно. Если некоторые из них, а также, конечно, большинство, летели по касательной, то они должны были рикошетировать по воздуху, как пушечные ядра, оставив лишь на мгновение огненную полосу над Землей да взволновав прилегающий воздух. Там, на Земле, если они и были так громадны и тверды, что, пролетев всю толщу атмосферы, выбивали глубокий провал в почве, — этот провал вскоре наполнялся водою, дожди размывали его бока, наполняя песком и глиной дно. Целебное действие вечного круговорота воды

и воздуха залечивало нанесенную Земле рану, и через несколько десятилетий от нее оставался лишь незначительный шрам в виде небольшого озера, особняком лежащего среди равнины. Да и не произошли ли действительно таким путем некоторые озера? Как было бы интересно исследовать разбросанные в Зауральских степях озера, которые на больших картах имеют совершенно такой вид, как будто они выбиты множеством осколков какой-нибудь встречной группы болидов! Ведь если они в самом деле метеорического происхождения, а метеоры, как обычно, заключают в себе железо, то посредством магнитной стрелки можно будет в глубине почвы открыть присутствие этого железа, и тогда все будет доказано!

Мне страстно захотелось сейчас же лететь в эти степи и исследовать дно некоторых кругловатых озерков, но случайный взгляд на лежащий предо мною новый лунный цирк снова направил мои мысли на лунные явления. Я вспомнил множество прямых или слегка согнутых от неровностей почвы борозд, как бы царапин, лежащих повсюду в беспорядке на Луне, которые еще прежде сильно возбуждали мой интерес на лунных картах, а теперь во множестве лежали под моими ногами. «Значит, — подумал я, — и эти до сих пор не объясненные полосы должны происходить от метеоров, слишком косо ударивших по поверхности Луны, а потому рикошетировавших от нее и улетевших в пространство».

Я плотно приник лицом к окну нашего летучего корабля. Безмолвно лежало предо мною безграничное сыпучее плоскогорье, ярко освещенное зеленоватым серпом Земли, над экватором которой, как по диску Юпитера, проходило вечное кольцо облаков зимнего дождливого сезона одного из тропиков. Мне было грустно за эту Луну, которая представилась мне теперь всюду израненной мировыми непогодами. Она напомнила древесный пенек, лишенный коры, на котором неизгладимо остаются все удары топора, все шрамы, все случайные повреждения, нанесенные людьми и животными, в то время как окружающие этот пенек зеленые деревья растут кругом него, борясь со всеми внешними влияниями, полные жизненных сил и здоровья, сами залечивая свои повреждения. Не то же ли самое и планета без атмосферы, что дерево без коры? Какое громад-

ное значение должна в таком случае иметь эта легкая оболочка в планетной жизни! Весь поглощенный своими мыслями, не замечая ничего окружающего, я внимательно рассматривал всякий новый цирк, появившийся под ногами, и в каждом находил неожиданное подтверждение своей идеи¹.

С грустным чувством летели мы в обратный путь, провожая печальными взглядами убегающую от нас Луну с ее цирками, горами и равнинами.

Все молчали и мечтали, смотря на небо. И мои мысли также улетели далеко в пространство, туда, где за пределами нашей земной ночи сияет вечный день, где проносятся вереницы метеоров, где волны солнечного света и теплоты вечно переливаются между собой и сливаются с лучами миллионов звезд в одну чудную мировую музыку, наполняющую всю вселенную. Я улетел мечтою и за пределы этого вечного дня, туда, где солнечный свет, постепенно слабея, сменялся новою областью тьмы, тьмы, подобной земной ночи, только уже громадной и не освещенной бледным сиянием Луны. Но зато вдали в глубине этой ночи кругом ближайшей звезды уже светилось зарево нового вечного дня, а за ним мерцали все новые сияющие точки: миллионы новых солнц с их планетами и спутниками, миллионы вечных дней с их блеском и теплотой, миллионы далеких островков вселенского океана, из которых с каждого неслышимо доносились до меня биение родной нам жизни, и миллионы мыслящих существ ласково смотрели на нас и нашу Землю. И мне казалось, что они желали нам и всем нашим братьям по человечеству скоро и счастливо пройти сквозь окружающий нас мрак к новой, высшей жизни на Земле, к чудному чувству свободы, любви и братства и к сознанию единства между собой и с бесконечностью живых существ вселенной...

Корабль остановился. В его окно виднелись сад и двери нашего жилища. <...>

¹ Пока я разрабатывал эту идею в Алексеевском равелине (1882 г.) без права иметь какие-либо сношения с внешним миром, она была разработана и опубликована двумя германскими учеными, Генрихом и Августом Тирш в 1882 году.— *Позднейшее примечание автора.*

Александр БОГДАНОВ



КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

ЧАСТЬ I

I. Разрыв

Это было тогда, когда только начиналась та великая ломка в нашей стране, которая идет еще до сих пор и, я думаю, близится теперь к своему неизбежному грозному концу.

Ее первые, кровавые дни так глубоко потрясли общественное сознание, что все ожидали скорого и светлого исхода борьбы: казалось, что худшее уже совершилось, что ничего еще худшего не может быть. Никто не представлял себе, до какой степени цепки костлявые руки мертвеца, который давил и еще продолжает давить живого в своих судорожных объятиях.

Боевое возбуждение стремительно разливалось в массах. Души людей беззаветно раскрывались навстречу будущему; настоящее расплывалось в розовом тумане, прошлое уходило куда-то вдаль, исчезая из глаз. Все человеческие отношения стали неустойчивы и непрочны, как никогда раньше.

В эти дни произошло то, что перевернуло мою жизнь и вырвало меня из потока народной борьбы.

Я был, несмотря на свои двадцать семь лет, одним из «старых» работников партии. За мною числилось шесть лет работы, с перерывом всего на год тюрьмы. Я раньше, чем многие другие, почувствовал приближение бури и спокойнее, чем они, ее встретил. Работать приходилось гораздо больше прежнего; но я вместе с тем не бросал ни своих научных занятий — меня особенно интересовал вопрос о строении материи, — ни литературных: я писал в детских журналах, и это давало мне средства к жизни. В то же время я любил... или мне казалось, что любил.

Ее партийное имя было Анна Николаевна.

Она принадлежала к другому, более умеренному течению нашей партии. Я объяснял это мягкостью ее натуры и общей путаницей политических отношений в нашей стране; несмотря на то, что она была старше меня, я считал ее еще не вполне определившимся человеком. В этом я ошибался. <...>

И все же я не предвидел и не предполагал неизбежности разрыва, — когда в нашу жизнь проникло постороннее влияние, которое ускорило развязку.

Около этого времени в столицу приехал молодой человек, носивший необычайное у нас конспиративное имя Мэнни. Он привез с Юга некоторые сообщения и поручения, по которым можно было видеть, что он пользуется полным доверием товарищей. Выполнивши свое дело, он еще на некоторое время решил остаться в столице и стал нередко заходить к нам, обнаруживая явную склонность ближе сойтись со мною.

Это был человек оригинальный во многом, начиная с наружности. Его глаза были настолько замаскированы очень темными очками, что я не знал даже их цвета; его голова была несколько непропорционально велика; черты его лица, красивые, но удивительно неподвижные и безжизненные, совершенно не гармонировали с его мягким и выразительным голосом так же, как и с его стройной, юношески гибкой фигурой. Его речь была свободной и плавной и всегда полной содержания. Его научное образование было очень односторонне; по специальности он был, по-видимому, инженер.

В беседе Мэнни имел склонность постоянно сводить частные и практические вопросы к общим идейным основаниям. Когда он бывал у нас, выходило всегда как-то так, что противоречия натур и взглядов у меня с женой очень скоро выступали на первый план настолько отчетливо и ярко, что мы начинали мучительно чувствовать их безысходность. Мировоззрение Мэнни было, по-видимому, сходно с моим; он всегда высказывался очень мягко и осторожно по форме, но столь же резко и глубоко по существу. Наши политические разногласия с Анной Николаевной он умел так искусно связывать с основным различием наших мировоззрений, что эти разногласия казались психологически неизбежными, почти логическими выводами из них, и исчезала всякая надежда повлиять друг на друга, сгладить противоречия и прийти к чему-нибудь общему. Анна Николаевна питала к Мэнни нечто вроде ненависти, соединенной с живым интересом. Мне он

внушал большое уважение и смутное недоверие: я чувствовал, что он идет к какой-то цели, но не мог понять к какой.

В один из январских дней — это было уже в конце января — предстояло обсуждение в руководящих группах обоих течений партии проекта массовой демонстрации с вероятным исходом в вооруженное столкновение. Накануне вечером пришел к нам Мэнни и поднял вопрос об участии в этой демонстрации, если она будет решена, самих партийных руководителей. Завязался спор, который быстро принял жгучий характер.

Анна Николаевна заявила, что всякий, кто подает голос за демонстрацию, нравственно обязан идти в первых рядах. Я находил, что это вообще вовсе не обязательно, а идти следует тому, кто там необходим или кто может быть серьезно полезен, причем имел в виду именно себя, как человека с некоторым опытом в подобных делах. Мэнни пошел дальше и утверждал, что, ввиду, очевидно, неизбежного столкновения с войсками, на поле действия должны находиться уличные агитаторы и боевые организаторы, политическим же руководителям там совсем не место, а люди физически слабые и нервные могут быть даже очень вредны. Анна Николаевна была прямо оскорблена этими рассуждениями, которые ей казались направленными специально против нее. Она оборвала разговор и ушла в свою комнату. Скоро ушел и Мэнни.

На другой день мне пришлось встать рано утром и уйти, не повидавшись с Анной Николаевной, а вернуться уже вечером. Демонстрация была отклонена и в нашем комитете и, как я узнал, в руководящем коллективе другого течения. Я был этим доволен, потому что знал, насколько недостаточна подготовка для вооруженного конфликта, и считал такое выступление бесплодной растратой сил. Мне казалось, что это решение несколько ослабит остроту раздражения Анны Николаевны из-за вчерашнего разговора. На столе у себя я нашел записку от Анны Николаевны:

«Я уезжаю. Чем больше я понимаю себя и вас, тем более для меня становится ясно, что мы идем разными путями и что мы оба ошиблись. Лучше нам больше не встречаться. Простите».

Я долго бродил по улицам, утомленный, с чувством пустоты в голове и холода в сердце. Когда я вернулся домой, то застал там неожиданного гостя: у моего стола сидел Мэнни и писал записку.

II. Приглашение

— Мне надо переговорить с вами по одному очень серьезному и несколько странному делу,— сказал Мэнни.

Мне было все равно; я сел и приготовился слушать.

— Я читал вашу брошюру об электронах и материи,— начал он.— Я сам несколько лет изучал этот вопрос и полагаю, что в вашей брошюре много верных мыслей.

Я молча поклонился. Он продолжал:

— В этой работе у вас есть одно особенно интересное для меня замечание. Вы высказали там предположение, что электрическая теория материи, необходимо представляя силу тяготения в виде какого-то производного от электрических сил притяжения и отталкивания, должна привести к открытию тяготения с другим знаком, то есть к получению такого типа материи, который отталкивается, а не притягивается Землей, Солнцем и другими знакомыми нам телами; вы указывали для сравнения на диамагнитное отталкивание тел и на отталкивание параллельных токов разного направления. Все это сказано мимоходом, но я думаю, что сами вы придавали этому большее значение, чем хотели обнаружить.

— Вы правы,— ответил я,— и я думаю, что именно на таком пути человечество решит как задачу вполне свободного воздушного передвижения, так затем и задачу сообщения между планетами. Но верна ли сама по себе эта идея или нет, она совершенно бесплодна до тех пор, пока нет точной теории материи и тяготения. Если другой тип материи и существует, то просто найти его, очевидно, нельзя: силою отталкивания он давно уже устранен из всей солнечной системы, а еще вернее — он не вошел в ее состав, когда она начинала организовываться в виде туманности. Значит, этот тип материи надо еще теоретически конструировать и затем практически воспроизвести. Теперь же для этого нет данных и можно, в сущности, только предчувствовать самую задачу.

— И тем не менее эта задача уже разрешена,— сказал Мэнни.

Я взглянул на него с изумлением. Лицо его было все так же неподвижно, но в его тоне было что-то такое, что не позволяло считать его за шарлатана.

«Может быть, душевнобольной», — мелькнуло у меня в голове.

— Мне нет надобности обманывать вас, и я хорошо знаю, что говорю, — отвечал он на мою мысль. — Выслушайте меня терпеливо, а затем, если надо, я представлю доказательства. — И он рассказал следующее: — Великое открытие, о котором идет речь, не было совершено силами отдельной личности. Оно принадлежит целому научному обществу, существующему довольно давно и долго работавшему в этом направлении. Общество это было до сих пор тайным, и я не уполномочен знакомить вас ближе с его происхождением и историей, пока нам не удастся столкнуться в главном.

Общество наше значительно опередило академический мир во многих важных вопросах науки. Радирующие элементы и их распределение были известны нам гораздо раньше Кюри и Рамсая, и нашим товарищам удалось гораздо дальше и глубже провести анализ строения материи. На этом пути была предусмотрена возможность существования элементов, отталкиваемых земными телами, а затем выполнен синтез этой «минус-материи», как мы ее кратко обозначаем.

После этого было уже нетрудно разработать и осуществить технические применения этого открытия — сначала летательные аппараты для передвижения в земной атмосфере, а потом и для сообщения с другими планетами.

Несмотря на спокойно-убедительный тон Мэнни, его рассказ казался мне слишком странным и неправдоподобным.

— И вы сумели все это выполнить и сохранить в тайне? — заметил я, прерывая его речь.

— Да, потому что мы считали это в высшей степени важным. Мы находили, что было бы очень опасно опубликовать наши научные открытия, пока в большинстве стран остаются реакционные правительства. И вы, русский революционер, более чем кто-либо должны с нами согласиться. Посмотрите, как ваше азиатское государство пользуется европейскими способами сообщения и средствами истребления, чтобы подавлять и искоренять все, что есть у вас живого и прогрессивного. Многим ли лучше правительство той полуфеодальной, полуконституционной страны, трон которой занимает воинственно-болтливый глупец, управляемый знатными мошенниками? И чего стоят даже две мещанские республики Европы? А между тем ясно, что

если бы наши летательные машины стали известны, то правительства прежде всего позаботились бы захватить их в свою монополию и использовать для усиления власти и могущества высших классов. Этого мы решительно не желаем и поэтому оставляем монополию за собой, выжидая более подходящих условий.

— И вам в самом деле уже удалось достигнуть других планет? — спросил я.

— Да, двух ближайших, теллурических планет, Венеры и Марса, не считая, конечно, мертвой Луны. Именно теперь мы заняты их подробным исследованием. У нас есть все необходимые средства, нам нужны люди сильные и надежные. По полномочию от моих товарищей я предлагаю вам вступить в наши ряды, — разумеется, со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Он остановился, ожидая ответа. Я не знал, что думать.

— Доказательства! — сказал я. — Вы обещали представить доказательства.

Мэнни вынул из кармана стеклянный флакон с какой-то металлической жидкостью, которую я принял за ртуть. Но странным образом эта жидкость, наполнявшая не больше трети флакона, находилась не на дне его, а в верхней части, около горлышка, и в горлышке до самой пробки. Мэнни перевернул флакон, и жидкость перелилась ко дну, то есть прямо вверх. Мэнни выпустил склянку из рук, и она повисла в воздухе. Это было невероятно, но несомненно и очевидно.

— Флакон этот из обыкновенного стекла, — пояснил Мэнни, — а налита в него жидкость, которая отталкивается телами солнечной системы. Жидкости налито ровно столько, чтобы уравновесить тяжесть флакона; таким образом, то и другое вместе не имеет веса. По этому способу мы устраиваем и все летательные аппараты: они делаются из обыкновенных материалов, но заключают в себе резервуар, наполненный достаточным количеством «материи отрицательного типа». Затем остается дать всей этой невесомой системе надлежащую скорость движения. Для земных летательных машин применяются простые электрические двигатели с воздушным винтом; для междупланетного передвижения этот способ, конечно, не годен, и тут мы пользуемся совершенно иным методом, с которым впоследствии я могу познакомить вас ближе.

Сомневаться больше не приходилось.

— Какие же ограничения налагает ваше общество на вступающих в него, кроме, разумеется, обязательной тайны?

— Да вообще-то почти никаких. Ни личная жизнь, ни общественная деятельность товарищей ничем не стеснены, лишь бы не вредили деятельности общества в целом. Но каждый должен при самом своем вступлении исполнить какое-либо важное и ответственное поручение общества. Этим способом, с одной стороны, укрепляется его связь с обществом, с другой — выясняется на деле уровень его способностей и энергии.

— Значит, и мне будет теперь же предложено такое поручение?

— Да.

— Какое именно?

— Вы должны принять участие в отправляющейся завтра экспедиции большого этеронефа на планету Марс.

— Насколько продолжительна будет экспедиция?

— Это неизвестно. Одна дорога туда и обратно требует не менее пяти месяцев. Можно и совсем не вернуться.

— Это-то я понимаю; не в том дело. Но как мне быть с моей революционной работой? Вы сами, по-видимому, социал-демократ и поймете мое затруднение.

— Выбирайте. Мы считаем перерыв в работе необходимым для завершения вашей подготовки. Поручение не может быть отложено. Отказ от него есть отказ от всего.

Я задумался. С выступлением на сцену широких масс устранение того или иного работника — факт совершенно ничтожный по своему значению для дела в его целом. К тому же это устранение временное, и, вернувшись к работе, я буду гораздо более полезен ей со своими новыми связями, знаниями и средствами. Я решил.

— Когда же я должен отправляться?

— Сейчас, со мною.

— Вы дадите мне два часа, чтобы известить товарищей? Меня надо завтра же заменить в районе.

— Это почти сделано. Сегодня приехал Андрей, бежавший с Юга. Я предупредил его, что вы можете уехать, и он готов занять ваше место. Дожидаясь вас, я написал ему на случай письмо с подробными указаниями. Мы можем завезти ему это письмо по дороге.

Больше толковать было не о чем. Я быстро уничтожил лишние бумаги, написал записку хозяйке и стал одеваться. Мэнни был уже готов.

— Итак, идем. С этой минуты я — ваш пленник.

— Вы — мой товарищ! — ответил Мэнни.

III. Ночь

Квартира Мэнни занимала весь пятый этаж большого дома, обособленно возвышавшегося среди маленьких домиков одной из окраин столицы. Нас никто не встретил. В комнатах, по которым мы шли, было пусто, и при ярком свете электрических лампочек пустота эта казалась особенно мрачной и неестественной. В третьей комнате Мэнни остановился.

— Вот здесь, — он указал на дверь четвертой комнаты, — находится воздушная лодочка, в которой мы сейчас поедем к большому этеронефу. Но раньше я должен подвергнуться маленькому превращению. В этой маске мне трудно было бы управлять гондолой.

Он расстегнул воротничок и снял с себя вместе с очками ту удивительно сделанную маску, которую я, как и все другие, принимал до этого момента за его лицо. Я был поражен тем, что увидел при этом. Его глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Их зрачки были расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение почти страшным. Верхняя часть лица и головы была настолько широка, насколько это было неизбежно для помещения таких глаз; напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, была сравнительно мала. Все вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй, уродства, но не карикатуры.

— Вы видите, какой наружностью наделила меня природа, — сказал Мэнни. — Вы понимаете, что я должен скрывать ее, хотя бы ради того, чтобы не пугать людей, не говоря уже о требованиях конспирации. Но вам уж придется привыкать к моему безобразию, вы по необходимости будете проводить много времени со мною.

Он отворил дверь следующей комнаты и осветил ее. Это была обширная зала. Посередине ее лежала небольшая, довольно широкая лодочка, сделанная из металла и стекла. В ее передней части и борта и дно были стеклянные, со стальными переплетами; эта прозрач-

ная стенка в два сантиметра толщиной была, очевидно, очень прочна. Над носовыми бортами две плоские хрустальные пластинки, соединенные под острым углом, должны были разрезать воздух и охранять пассажиров от ветра при быстром движении. Машина занимала среднюю часть лодочки, винт с тремя лопастями в полметра ширины находился в кормовой части. Передняя половина лодочки вместе с машиной была прикрыта сверху тонким пластинчатым навесом, прикрепленным к металлической оковке стеклянных бортов и к легким стальным колонкам. Все вместе было изящно как игрушка.

Мэнни предложил мне сесть на боковую скамеечку гондолы, погасил электрический свет и раскрыл огромное окно залы. Сам он сел спереди возле машины и выбросил несколько мешков балласта, лежавших на дне лодки. Затем он положил руку на рычаг машины. Лодка заколебалась, медленно поднялась и тихо проскользнула в открытое окно.

— Благодаря минус-материи для наших аэропланов не требуется ломких и неуклюжих крыльев, — заметил Мэнни.

Я сидел как прикованный, не решаясь пошевелиться. Шум винта становился все слышнее, холодный зимний воздух врывается под навес, приятно освежая мое горевшее лицо, но бессильный проникнуть под мое платье. Над нами сверкали, переливаясь, тысячи звезд, а внизу... Я видел через прозрачное дно гондолы, как уменьшались черные пятна домов и уходили вдаль яркие точки электрических фонарей столицы, и снежные равнины светились далеко под нами тусклым синевато-белым светом. Головокружение, сначала легкое и почти приятное, становилось все сильнее, и я закрыл глаза, чтобы избавиться от него.

Воздух становился все резче, шум винта и свист ветра все выше — очевидно, быстрота движения возрастала. Скоро среди этих звуков мое ухо стало различать тонкий, непрерывный и очень ровный серебристый звон — это дрожала, разбивая воздух, стеклянная стенка гондолы. Странная музыка заполняла сознание, мысли путались и уходили, оставалось только чувство стихийно-легкого и свободного движения, уносящего куда-то вперед и вперед, в бесконечное пространство.

— Четыре километра в минуту, — сказал Мэнни, и я открыл глаза.

— Это еще далеко? — спросил я.

— Около часу пути, на льду одного озера.

Мы находились на высоте нескольких сот метров, и лодка летела горизонтально, не опускаясь и не поднимаясь. Мои глаза привыкали к темноте, и я видел все яснее. Мы вступили в страну озер и гранитных скал. Эти скалы чернели местами, свободные от снега. Между ними кой-где лепились деревушки.

Налево позади нас оставалось вдали снежное поле замерзшего залива, справа — белые равнины громадного озера. На этом безжизненном зимнем ландшафте мне предстояло порвать свои связи со старой землей. И вдруг я почувствовал — не сомнение, нет, настоящую уверенность, что это — разрыв навсегда...

Гондола медленно опустилась между скалами, в небольшой бухте горного озера, перед темным сооружением, возвышавшимся на снегу. Ни окон, ни дверей не было видно. Часть металлической оболочки сооружения медленно сдвинулась в сторону, открывая черное отверстие, в которое и всплыла наша лодка. Затем отверстие снова закрылось, а пространство, где мы находились, осветилось электрическим светом. Это была большая удлиненная комната без мебели; на полу ее лежала масса мешков с балластом.

Мэнни прикрепил гондолу к специально предназначенным для этого колонкам и отворил одну из боковых дверей. Она вела в длинный полуосвещенный коридор. По сторонам его были расположены, по-видимому, каюты. Мэнни привел меня в одну из них и сказал:

— Вот ваша каюта. Устраивайтесь сами, а я пойду в машинное отделение. Увидимся завтра утром.

Я был рад остаться один. Сквозь все возбуждение, вызванное странными событиями вечера, утомление давало себя знать, я не прикоснулся к приготовленному для меня на столе ужину и, погасив лампочку, лег в постель. Мысли нелепо перемещивались в голове, переходя от предмета к предмету самым неожиданным образом. Я упорно заставлял себя заснуть, но это мне долго не удавалось. Наконец сознание стало неясным; смутные, неустойчивые образы начали толпиться перед глазами, окружающее ушло куда-то далеко, и тяжелые грезы овладели моим мозгом.

Цепь снов закончилась ужасным кошмаром. Я стоял на краю громадной черной пропасти, на дне которой сияли звезды, и Мэнни с непреодолимой силой увлекал меня вниз, говоря, что не стоит бояться силы тяжести и что через несколько сот тысяч лет падения

мы достигнем ближайшей звезды. Я застонал в мучительной последней борьбе и проснулся.

Нежный голубой свет наполнял мою комнату. Около меня сидел на постели и наклонялся ко мне... Мэнни? Да, он, но призрачно-странный и как будто другой: мне казалось, что он стал гораздо меньше, и глаза его не так резко выступали на лице, у него было мягкое, доброе выражение, а не холодное и непреклонное, как только что на краю бездны...

— Какой вы хороший... — произнес я, смутно сознавая эту перемену.

Он улыбнулся и положил руку мне на лоб. Это была маленькая мягкая рука. Я снова закрыл глаза и с нелепой мыслью о том, что надо поцеловать эту руку, забылся в спокойном, блаженном сне.

IV. Объяснение

Когда я проснулся и осветил комнату, часы показывали десять. Окончив свой туалет, я нажал кнопку звонка, и через минуту в комнату вошел Мэнни.

— Мы скоро отправимся? — спросил я.

— Через час, — ответил Мэнни.

— Вы заходили ко мне сегодня ночью или мне только приснилось?

— Нет, это не был сон; но приходил не я, а наш молодой доктор, Нэтти. Вы плохо и тревожно спали, он должен был усыпить вас посредством голубого света и внушения.

— Он ваш брат?

— Нет, — улыбаясь, сказал Мэнни.

— Вы до сих пор не сказали мне, какой вы национальности... Ваши остальные товарищи принадлежат к тому же типу, как и вы?

— Да, — ответил Мэнни.

— Значит, вы меня обманули, — резко заявил я. — Это не научное общество, а нечто другое?

— Да, — спокойно сказал Мэнни. — Все мы — жители другой планеты, представители другого человечества. Мы — марсиане.

— Зачем же вы меня обманули?

— А вы стали бы меня слушать, если бы я сразу сказал вам всю правду? У меня было слишком мало времени, чтобы убедить вас. Приходилось исказить истину ради правдоподобия. Без этой переходной ступени ваше сознание было бы чрезмерно потрясено.

В главном же я сказал правду — в том, что касается предстоящего путешествия.

— Значит, я все-таки ваш пленник?

— Нет, вы и теперь свободны. У вас еще час времени, чтобы решить вопрос. Если вы откажетесь за это время, мы отвезем вас обратно, а путешествие отложим, потому что нам одним теперь возвращаться нет смысла.

— Зачем же я вам нужен?

— Чтобы послужить живой связью между нашим и земным человечеством, чтобы ознакомиться с нашим строем жизни и ближе ознакомить марсиан с земным, чтобы быть — пока вы этого пожелаете — представителем своей планеты в нашем мире.

— Это уже вполне правда?

— Да, вполне, если вы окажетесь в силах выполнить эту роль.

— В таком случае надо попытаться. Я остаюсь с вами.

— Это ваше окончательное решение? — спросил Мэнни.

— Да, если и последнее ваше объяснение не представляет какой-нибудь... переходной ступени.

— Итак, мы едем, — сказал Мэнни, оставляя без внимания мою колкость. — Сейчас я пойду сделать последние указания машинисту, а потом вернусь к вам, и мы пойдем вместе наблюдать отплытие этеронефа.

Он ушел, а я предался размышлениям. Наше объяснение, в сущности, не было вполне закончено. Оставался еще один вопрос, и довольно серьезный; но я не решился предложить его Мэнни. Сознательно ли содействовал он моему разрыву с Анной Николаевной? Мне казалось, что да. Вероятно, он видел в ней препятствие для своей цели. Может быть, он был прав. Во всяком случае, он мог только ускорить этот разрыв, а не создать его. Конечно, и это было дерзким вмешательством в мои личные дела. Но теперь я уже был связан с Мэнни и все равно должен был подавлять свою враждебность к нему. Значит, незачем было и трогать прошлое, лучше всего было и не думать об этом вопросе.

В общем, новый оборот дела не слишком меня поразил: сон подкрепил мои силы, а удивить меня чем-нибудь после всего пережитого накануне было

уже довольно трудно. Надо было только выработать план дальнейших действий.

Задача состояла, очевидно, в том, чтобы как можно скорее и полнее ориентироваться в своей новой обстановке. Самое лучшее было — начинать с ближайшего и переходить шаг за шагом к более отдаленному. Ближайшим же являлось — этеронеф, его обитатели и начинающееся путешествие. Марс был еще далеко: самое меньшее на два месяца расстояния, как можно было заключить из вчерашних слов Мэнни.

Наружную форму этеронефа я успел заметить еще накануне: это был почти шар со сглаженным сегментом внизу, на манер поставленного колумбова яйца, — форма, рассчитанная, конечно, на то, чтобы получался наибольший объем при наименьшей поверхности, то есть наименьшей затрате материала и наименьшей площади охлаждения. Что касается материала, то преобладали, по-видимому, алюминий и стекло. Внутреннее устройство мне должен был показать и объяснить Мэнни, он же должен был познакомить меня со всеми остальными «чудовищами», как я мысленно называл моих новых товарищей.

Вернувшись, Мэнни повел меня к остальным марсианам. Все собрались в боковой зале с громадным хрустальным окном в половину стены. Настоящий солнечный свет был очень приятен после призрачного света электрических лампочек. Марсиан было человек двадцать, и все были, как мне тогда показалось, на одно лицо. Отсутствие бороды, усов, а также и морщин на их лицах почти сглаживало у них даже разницу возраста. Я невольно следил глазами за Мэнни, чтобы не потерять его среди этой чуждой мне компании. Впрочем, я скоро стал различать между ними моего посетителя, Нэтти, выделявшегося своей молодостью и живостью, а также широкоплечего гиганта Стэрни, поражавшего меня каким-то странно холодным, почти зловещим выражением лица. Кроме самого Мэнни, один Нэтти говорил со мною по-русски, Стэрни и еще три-четыре человека — по-французски, другие — по-английски и по-немецки, между собою же они говорили на каком-то совершенно новом для меня — очевидно, своем родном языке. Язык этот был звучен и красив и, как я с удовольствием заметил, не представлял, по-видимому, никаких особенных трудностей в произношении.

V. Отплытие

Как ни интересны были «чудовища», но главное мое внимание было невольно устремлено к приближающемуся торжественному моменту «отплытия». Я пристально смотрел на снежную поверхность, находившуюся перед нами, и на отвесную гранитную стену, поднимавшуюся за нею. Я ожидал, что вот-вот почувствую резкий толчок и все это быстро замелькает, удаляясь от нас. Но ничего подобного я не дождался.

Бесшумное, медленное, чуть заметное движение стало понемногу отделять нас от снежной площади. В течение нескольких секунд поднятие было едва заметно.

— Ускорение два сантиметра, — сказал Мэнни.

Я понял, что это значило. В первую секунду мы должны были пройти всего один сантиметр, во вторую три, в третью пять, в четвертую семь сантиметров; и скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через 15 минут — курьерского поезда и т. д.

Мы двигались по закону падения тел, но падали вверх и в 500 раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности земли.

Стеклянная пластинка окна начиналась от самого пола и составляла с ним тупой угол, сообразно направлению шаровой поверхности этеронефа, частью которого она являлась. Благодаря этому мы могли, наклоняясь вперед, видеть и то, что было прямо под нами.

Земля все быстрее уходила из-под нас, и горизонт расширялся. Уменьшились темные пятна скал и деревушек, очертания озер вырисовывались как на плане. А небо становилось все темнее; и в то самое время как синяя полоса незамерзшего моря заняла западную сторону горизонта, мои глаза уже стали различать наиболее яркие звезды при полуденном солнечном свете.

Очень медленное вращательное движение этеронефа вокруг его вертикальной оси позволило нам видеть все пространство вокруг.

Нам казалось, что горизонт поднимается вместе с нами, и земная площадь под нами представлялась громадным вогнутым блюдечком с рельефными украшениями. Их контуры становились мельче, рельеф все плосше, весь ландшафт принимал все в большей мере

характер географической карты, резко вычерченной в середине, расплывчато и неясно к ее краям, где все заволакивалось полупрозрачным синеватым туманом. А небо сделалось совсем черным, и бесчисленные звезды, вплоть до самых мелких, сияли на нем спокойным, немерцающим светом, не боясь яркого солнца, лучи которого стали жгучими до боли.

— Скажите, Мэнни, это ускорение в два сантиметра, с которым мы сейчас движемся, будет продолжаться все время путешествия?

— Да, — отвечал он, — только его направление будет около 50 километров в секунду, а средняя — около 25 километров, но к моменту прибытия она станет так же мала, как была в самом начале пути, и мы без всякого толчка и сотрясения опустимся на поверхность Марса. Без этих огромных переменных скоростей мы бы не могли достигнуть ни Земли, ни Венеры, потому что даже их ближайшие расстояния — 60 и 100 миллионов километров — при скорости, например, ваших поездов удалось бы проехать только в течение столетий, а не месяцев, как это сделаем мы с вами. Что же касается способа «пушечного выстрела», о котором я читал в ваших фантастических романах, то это, конечно, простая шутка, потому что по законам механики практически одно и то же — находиться ли внутри ядра во время выстрела или получить ядро внутрь.

— А каким путем вы достигаете такого равномерного замедления и ускорения?

— Движущая сила этеронефа — это одно из радирующих веществ, которое нам удастся добывать в большом количестве. Мы нашли способ ускорять разложение его элементов в сотни тысяч раз; это делается в наших двигателях при помощи довольно простых электрохимических приемов. Таким образом освобождается громадное количество энергии. Частицы распадающихся атомов разлетаются, как вам известно, со скоростью, которая в десятки тысяч раз превосходит скорость артиллерийских снарядов. Когда эти частицы могут вылетать из этеронефа только по одному определенному направлению, то есть по одному каналу с непроницаемыми для них стенками, тогда весь этеронеф движется в противоположную сторону, как это бывает при отдаче ружья или откате орудия. По известному вам закону живых сил вы легко можете рассчитать, что незначительной части миллиграмма таких частиц

в секунду вполне достаточно, чтобы дать нашему этеронефу его равномерно ускоренное движение.

Во время нашего разговора все марсиане исчезли из залы. Мэнни предложил мне идти позавтракать в его каюте. Я пошел с ним. Его каюта примыкала к стенке этеронефа, и в ней было большое хрустальное окно. Мы продолжали беседу. Я знал, что мне предстоят новые, неиспытанные ощущения в виде потери тяжести моего тела, и расспрашивал об этом Мэнни.

— Да, — сказал Мэнни, — хотя Солнце продолжает притягивать нас, но здесь это действие ничтожно. Влияние Земли тоже станет незаметно завтра-послезавтра. Только благодаря непрерывному ускорению этеронефа у нас будет сохраняться $1/400$ — $1/500$ нашего прежнего веса. В первый раз привыкать к этому нелегко, хотя перемена происходит очень постепенно. Приобретая легкость, вы будете делать массу неправильно рассчитанных движений, ведущих мимо цели. Удовольствие летать по воздуху покажется вам весьма сомнительным. Что касается неизбежных при этом сердцебиений, головокружений и даже тошноты, то избавиться от них поможет вам Нэтти. Трудно будет также справляться с водою и другими жидкостями, которые будут при малейших толчках ускользать из сосудов и разбрасываться повсюду в виде огромных сферических капель. Но у нас все старательно приспособлено для устранения этих неудобств: мебель и посуда прикрепляются к месту, жидкости сохраняются закупоренными, всюду приделаны ручки и ремни для остановки невольных полетов при резких движениях. Вообще же вы привыкнете; времени для этого хватит.

Со времени отъезда прошло около двух часов, а уменьшение веса было уже довольно ощутительно, хотя пока еще очень приятно: тело становилось легче, движения свободнее, и ничего больше. Атмосферу мы успели вполне миновать, но это нас не беспокоило, так как в нашем герметически закрытом корабле имелся, конечно, достаточный запас кислорода. Видимая область земной поверхности стала окончательно похожа на географическую карту, правда, с перепутанным масштабом: более крупным в середине, более мелким к горизонту; кое-где ее закрывали еще белые пятна облаков. На юге, за Средиземным морем, север Африки и Аравии был довольно ясно виден сквозь синюю дымку; на севере, за Скандинавией, взгляд терялся в снежной и ледяной пустыне, только скалы Шпицбергена вы-

делялись еще темным пятном. На востоке, за зеленова-то-бурой полосой Урала, местами прорезанной снежными пятнами, начиналось опять сплошное царство белого цвета, кое-где только с зеленоватым отливом — слабым напоминанием о громадных хвойных лесах Сибири. На западе, за ясными контурами средней Европы, терялись в облаках очертания берегов Англии и северной Франции. Я не мог долго смотреть на эту гигантскую картину, так как мысль о страшной глубине бездны, над которой мы находились, быстро вызывала у меня чувство, близкое к обмороку. Я возобновил разговор с Мэнни.

— Вы капитан этого корабля, не так ли?

Мэнни утвердительно кивнул головою и заметил:

— Но это не значит, чтобы я обладал тем, что у вас называется властью начальника. Просто я наиболее опытен в деле управления этеронефом, и мои указания принимаются так же, как я принимаю астрономические вычисления, выполняемые Стэрни, или как все мы принимаем медицинские советы Нэтти для поддержания нашего здоровья и рабочей силы.

— А сколько лет этому доктору Нэтти? Он кажется мне очень уж молодым.

— Не помню, шестнадцать или семнадцать, — с улыбкой ответил Мэнни.

Приблизительно так мне и казалось. Но я не мог не удивляться такой ранней учености.

— И в этом возрасте быть уже врачом! — невольно вырвалось у меня.

— И прибавьте: знающим и опытным врачом, — дополнил Мэнни.

В то время я не сообразил, а Мэнни умышленно не напомнил этого, что годы марсиан почти вдвое длиннее наших: оборот Марса вокруг Солнца совершается в 686 наших дней, и 16 лет Нэтти равнялись 30 земным годам.

VI. Этеронеф

После завтрака Мэнни провел меня осматривать наш «корабль». Прежде всего мы направились в машинное отделение. Оно занимало нижний этаж этеронефа, примыкая прямо к его уплощенному дну, и делилось перегородками на пять комнат — одну центральную и четыре боковые. В середине центральной комнаты возвышалась движущая машина, а во-

круг нее со всех четырех сторон были сделаны в полу круглые стеклянные окна, одно из чистого хрустала, три из цветного стекла различной окраски; стекла были в три сантиметра толщиной, удивительно прозрачные. В данную минуту мы могли видеть через них только часть земной поверхности.

Основную часть машины составлял вертикальный металлический цилиндр трех метров вышины и полметра в диаметре, сделанный, как мне объяснил Мэнни, из осмия — очень тугоплавкого, благородного металла, родственного платине. В этом цилиндре происходило разложение радирующей материи; накаленные до красна 20-сантиметровой толщины стенки ясно свидетельствовали об энергии этого процесса. И, однако, в комнате не было слишком жарко: весь цилиндр был окружен вдвое более широким футляром из какого-то прозрачного вещества, прекрасно защищающего от жары; а сверху этот футляр соединен был с трубами, по которым нагретый воздух отводился из него во все стороны для равномерного «отопления» этеронефа.

Остальные части машины, связанные разными способами с цилиндром, — электрические катушки, аккумуляторы, указатели с циферблатами и т. п., — были расположены вокруг в красивом порядке, и дежурный машинист благодаря системе зеркал видел все их сразу, не сходя со своего кресла.

Из боковых комнат одна была «астрономическая», справа и слева от нее находились «водяная» и «кислородная», а на противоположной стороне — «вычислительная». В астрономической комнате пол и наружная стенка были сплошь хрустальные, из геометрически отшлифованного стекла идеальной чистоты. Их прозрачность была такова, что когда я, идя вслед за Мэнни по воздушным мостикам, решился взглянуть прямо вниз, то я ничего не видел между собой и бездной, расстилавшейся под нами, — мне приходилось закрыть глаза, чтобы остановить мучительное головокружение. Я старался смотреть по сторонам на инструменты, которые были расположены в промежутках сети мостиков, на сложных штативах, спускавшихся с потолка и внутренних стен комнаты. Главный телескоп был около двух метров длины, но с непропорционально большим объективом и, очевидно, такой же оптической силой.

— Окуляры мы применяем только алмазные, — сказал Мэнни, — они дают наибольшее поле зрения.

— Насколько значительно обычное увеличение этого телескопа? — спросил я.

— Ясное увеличение около 600 раз, — отвечал Мэнни, — но когда оно недостаточно, мы фотографируем поле зрения и рассматриваем фотографию под микроскопом. Этим путем увеличение фактически доводится до 60 тысяч и более; а заземление с фотографированием не составляет у нас и минуты.

Мэнни предложил мне сейчас же взглянуть в телескоп на покинутую Землю. Он сам направил трубу.

— Расстояние теперь около двух тысяч километров, — сказал он. — Узнаете ли вы, что перед вами?

Я сразу узнал гавань скандинавской столицы, где нередко проезжал по делам партии. Мне было интересно рассмотреть пароходы на рейде. Мэнни одним поворотом боковой ручки, имевшейся при телескопе, поставил на место окуляра фотографическую камеру, а через несколько секунд снял ее с телескопа и целиком перенес в большой аппарат, стоявший сбоку и оказавшийся микроскопом.

— Мы проявляем и закрепляем изображение тут же, в микроскопе, не прикасаясь к пластинке руками, — пояснил он и после нескольких незначительных операций, через какие-нибудь полминуты предоставил мне окуляр микроскопа. Я с поразительной ясностью увидел знакомый мне пароход Северного общества, как будто он находился в нескольких десятках шагов от меня; изображение в проходящем свете казалось рельефным и имело совершенно натуральную окраску. На мостике стоял седой капитан, с которым я не раз беседовал во время поездки. Матрос, опускавший на палубу большой ящик, как будто застыл в своей позе, так же как и пассажир, указывающий ему что-то рукою. И все это было за две тысячи километров...

Молодой марсианин, помощник Стэрни, вошел в комнату. Ему надо было произвести точное измерение пройденного этеронефом расстояния. Мы не хотели мешать ему в работе и прошли дальше, в «водяную» комнату. Там находился огромный резервуар с водой и большие аппараты для ее очищения. Множество труб проводили эту воду из резервуара по всему этеронефу.

Далее шла «вычислительная» комната. Там стояли непонятные для меня машины со множеством циферблатов и стрелок. За самой большой машиной работал Стэрни. Из нее тянулась длинная лента, заключавшая,

очевидно, результаты вычислений Стэрни; но знаки на ней, как и на всех циферблатах, были мне незнакомы. Мне не хотелось мешать Стэрни и вообще разговаривать с ним. Мы быстро прошли в последнее боковое отделение.

Это была «кислородная» комната. В ней хранились запасы кислорода в виде 25 тонн бертолетовой соли, из которой можно было выделить по мере надобности 10 тысяч кубических метров кислорода: это количество достаточно для нескольких путешествий, подобных нашему. Тут же находились аппараты для разложения бертолетовой соли. Далее, там же хранились запасы барита и едкого кали для поглощения из воздуха углекислоты, а также запасы серного ангидрида для поглощения лишней влаги и летучего левкомаина — того физиологического яда, который выделяется при дыхании и который несравненно вреднее углекислоты. Этой комнатой заведовал доктор Нэтти.

Затем мы вернулись в центральное машинное отделение и из него в небольшом подъемнике переправились прямо в самый верхний этаж этеронефа. Там центральную комнату занимала вторая обсерватория, во всем подобная нижней, но только с хрустальной обложкой вверху, а не внизу, и с инструментами более крупных размеров. Из этой обсерватории видна была другая половина небесной сферы вместе с «планетой назначения». Марс сиял своим красноватым светом в стороне от зенита. Мэнни направил туда телескоп, и я отчетливо увидел знакомые мне по картам Скиапарелли очертания материков, морей и сети каналов. Мэнни фотографировал планету, и под микроскопом выступила детальная карта. Но я не мог ничего понять в ней без объяснений Мэнни: пятна городов, лесов и озер отличались одни от других неуловимыми и непонятными для меня частностями.

— Как велико расстояние? — спросил я.

— Сейчас сравнительно близкое — около ста миллионов километров.

— А почему Марс не в зените купола? Мы, значит, летим не прямо к нему, а в сторону?

— Да, и мы не можем иначе. Отправляясь с Земли, мы в силу инерции сохраняем, между прочим, скорость ее движения вокруг Солнца — 30 километров в секунду. Скорость же Марса всего 24 километра, и если бы летели по перпендикуляру между обеими орбитами, то мы ударились бы о поверхность Марса с остаточной боко-

вой скоростью 6 километров в секунду. Это очень неудобно, и мы должны выбирать криволинейный путь, на котором уравнивается и лишняя боковая скорость.

— Как же велик в таком случае весь наш путь?

— Около 160 миллионов километров, что потребует не менее двух с половиной месяцев.

Если бы я не был математиком, эти цифры ничего не говорили бы моему сердцу. Но теперь они вызывали во мне ощущение, близкое к кошмару, и я поспешил уйти из астрономической комнаты.

Шесть боковых отделений верхнего сегмента, окружавших кольцо обсерваторию, были совсем без окон, и их потолок, представлявший часть шаровой поверхности, наклонно опускался к самому полу. У потолка помещались большие резервуары «минус-материи», отталкивание которой должно было парализовать вес всего этеронефа.

Средние этажи — третий и второй — были заняты общими залами, лабораториями отдельных членов экспедиции, их каютами, ваннами, библиотекой, гимнастической комнатой и т. д.

Каюта Нэтти находилась рядом с моею.

VII. Люди

Потеря тяжести все больше давала себя знать. Возраставшее чувство легкости перестало быть приятным. К нему присоединился элемент неуверенности и какого-то смутного беспокойства. Я ушел в свою комнату и лег на койку.

Часа два спокойного положения и усиленных размышлений привели к тому, что я незаметно заснул. Когда я проснулся, в моей комнате у стола сидел Нэтти. Я невольно резким движением поднялся с постели и, как будто подброшенный чем-то сверху, ударился головой о потолок.

— Когда весишь менее двадцати фунтов, то надо быть осторожнее, — добродушно-философским тоном заметил Нэтти.

Он пришел ко мне со специальной целью дать все необходимые указания на случай той «морской болезни», которая уже началась у меня от потери тяжести. В каюте имелся особый сигнальный звонок в его комнату, которым я мог его всегда вызвать, если бы еще потребовалась его помощь.

Я воспользовался случаем разговориться с юным доктором, — меня как-то невольно влекло к этому симпатичному, очень ученому, но и очень веселому мальчику. Я спросил его, почему случилось так, что из всей компании марсиан на этеронефе он один, кроме Мэнни, владеет моим родным языком.

— Это очень просто, — объяснил он. — Когда мы искали человека, то Мэнни выбрал себя и меня для вашей страны, и мы провели в ней больше года, пока нам не удалось покончить это дело с вами.

— Значит, другие «искали человека» в других странах?

— Конечно, среди всех главных народов Земли. Но, как Мэнни и предвидел, найти его всего скорее удалось в вашей стране, где жизнь идет наиболее энергично и ярко, где люди вынуждены все больше смотреть вперед. Найдя человека, мы известили остальных; они собрались изо всех стран; и вот мы едем.

— Что вы, собственно, подразумеваете, когда говорите: «искали человека», «нашли человека»? Я понимаю, что дело шло о субъекте, пригодном для известной роли, — Мэнни объяснил мне, какой именно. Мне очень лестно видеть, что выбрали меня, но я хотел бы знать, чему я этим обязан.

— В самых общих чертах я могу сказать вам это. Нам нужен был человек, в натуре которого совмещалось бы как можно больше здоровья и гибкости, как можно больше способности к разумному труду, как можно меньше чисто личных привязанностей на Земле, как можно меньше индивидуализма. Наши физиологи и психологи полагали, что переход от условий жизни вашего общества, резко раздробленного вечной внутренней борьбой, к условиям нашего, организованного, как вы сказали, социалистически, — что переход этот очень тяжел и труден для отдельного человека и требует особенно благоприятной организации. Мэнни нашел, что вы подходите больше других.

— И мнения Мэнни было для всех вас достаточно?

— Да, мы вполне доверяем его оценке. Он — человек выдающейся силы и ясности ума и ошибается очень редко. Он имеет больше опыта в сношениях с земными людьми, чем кто-либо из нас; он первый начал эти сношения.

— А кто открыл самый способ сообщения между планетами?

— Это дело многих, а не одного. «Минус-материя» была добыта уже несколько десятков лет тому назад. Но вначале ее удавалось получать только в ничтожных количествах, и понадобились усилия очень многих фабричных коллегий, чтобы найти и развить способы ее производства в больших размерах. Затем понадобилось усовершенствовать технику добывания и разложения радирующей материи, чтобы иметь подходящий двигатель для этеронефов. Это также требовало массы усилий. Далее, много трудностей вытекало из самих условий межпланетной среды, с ее страшным холодом и жгучими солнечными лучами, не смягченными воздушной оболочкой. Вычисление пути оказалось тоже делом нелегким и подверженным таким погрешностям, которых не предвидели раньше. Словом, прежние экспедиции на Землю оканчивались гибелью всех участников, пока Мэнни не удалось организовать первую успешную экспедицию. А теперь, пользуясь его методами, мы проникли недавно и на Венеру.

— Но если так, то Мэнни настоящий великий человек, — сказал я.

— Да, если вам нравится так называть человека, который действительно много и хорошо работал.

— Я хотел сказать не это: работать много и хорошо могут и вполне обыкновенные люди, люди-исполнители. Мэнни же, очевидно, совсем иное: он гений, человек-творец, создающий новое и ведущий вперед человечество.

— Это все неясно и, кажется, неверно. Творец — каждый работник, но в каждом работнике творит человечество и природа. Разве в руках Мэнни не находится весь опыт предыдущих поколений и современных ему исследователей и разве не исходил из этого опыта каждый шаг его работы? И разве не природа предоставила ему все элементы и все зародыши его комбинации? И разве не из самой борьбы человечества с природой возникли все живые стимулы этих комбинаций? Человек — личность, но дело его безлично. Рано или поздно он умирает с его радостями и страданиями, а оно остается в беспредельно растущей жизни. В этом нет разницы между работниками; неодинакова только величина того, что они пережили, и того, что остается в жизни.

— Но ведь, например, имя такого человека, как Мэнни, не умирает же вместе с ним, а остается в памя-

ти человечества, тогда как бесчисленные имена других исчезают бесследно.

— Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества.

— Вы, пожалуй, и правы; но чувство нашего мира возмущается против этой логики. Для нас имена вождей мысли и дела — живые символы, без которых не может обойтись ни наша наука, ни наше искусство, ни вся наша общественная жизнь. Часто в борьбе сил и в борьбе идей имя на знамени говорит больше, чем отвлеченный лозунг. И имена гениев не балласт для нашей памяти.

— Это оттого, что единое дело человечества для вас все еще не единое дело; в иллюзиях, порождаемых борьбой между людьми, оно дробится и кажется делом людей, а не человечества. Мне тоже было трудно понять вашу точку зрения, как вам нашу.

— Итак, хорошо это или плохо, но бессмертных нет в нашей компании. Зато смертные здесь, вероятно, все из самых отборных — не так ли? — из тех, которые «много и хорошо работали», как вы выражаетесь?

— Вообще да. Мэнни подбирал товарищей из числа многих тысяч, выразивших желание отправиться с ним.

— А самый крупный после него, — это, может быть, Стэрни?

— Да, если уж вам упорно хочется измерять и сравнивать людей. Стэрни — выдающийся ученый, хотя и совершенно в другом роде, чем Мэнни. Он математик, каких очень мало. Он раскрыл целый ряд погрешностей в тех вычислениях, по которым устраивались все прежние экспедиции на Землю, и показал, что некоторые из этих погрешностей сами по себе уже были достаточны для гибели дела и работников. Он нашел новые методы для таких вычислений, и до сих пор результаты, полученные им, оказались непогрешимыми.

— Я так его себе и представлял на основании слов Мэнни и первых впечатлений. А между тем я сам не понимаю, почему его вид вызывает во мне какое-то тревожное чувство, какое-то неопределенное беспокойство, нечто вроде беспричинной антипатии. Не найдется ли у вас, доктор, какого-нибудь объяснения для этого?

— Видите ли, Стэрни — очень сильный, но холодный, главным образом аналитический ум. Он все разлагает, неумолимо и последовательно, и выводы его часто односторонни, иногда чрезмерно суровы, потому что анализ частей дает ведь не целое, а меньше целого: вы знаете, что везде, где есть жизнь, целое бывает больше суммы своих частей, как живое человеческое тело больше, чем груды его членов. Вследствие этого Стэрни меньше прочих может входить в настроения и мысли других людей. Он вам всегда охотно поможет в том, с чем вы сами к нему обратитесь, но он никогда не угадает за вас, что вам нужно. Этому мешает, конечно, и то, что его внимание почти всегда поглощено его работой, его голова постоянно полна какой-нибудь трудной задачей. В этом он непохож на Мэнни: тот всегда все видит вокруг и не раз умел объяснить даже мне самому, чего мне хочется, что меня беспокоит, чего ищет мой ум или мое чувство.

— Если все это так, то Стэрни, должно быть, к нам, земным людям, полным противоречий и недостатков, относится довольно враждебно?

— Враждебно? Нет; ему это чувство чуждо. Но скептицизма у него, я думаю, больше, чем следует. Он пробыл во Франции всего полгода и телеграфировал Мэнни: «Здесь искать нечего». Может быть, он был отчасти прав, потому что и Летта, который был вместе с ним, не нашел подходящего человека. Но характеристики, которые он дает виденным людям этой страны, гораздо суровее, чем те, которые дает Летта, и, конечно, гораздо более односторонни, хотя и не заключают в себе ничего прямо неверного.

-- А кто такой этот Летта, о котором вы говорите? Я его как-то не запомнил.

— Химик, помощник Мэнни, немолодой человек, старше всех на нашем этеронефе. С ним вы сойдетесь легко, и это будет для вас очень полезно. У него мягкая натура и много понимания чужой души, хотя он не психолог, как Мэнни. Приходите к нему в лабораторию, он будет рад этому и покажет вам много интересного.

В этот момент я вспомнил, что мы уже далеко улетели от Земли, и мне захотелось посмотреть на нее. Мы отправились вместе в одну из боковых зал с большими окнами.

— Не придется ли нам проехать близко от Луны? — спросил я по дороге.

— Нет, Луна остается далеко в стороне, и это жаль. Мне тоже хотелось посмотреть на Луну поближе. С Земли она казалась мне такой странной. Большая, холодная, медлительная, загадочно-спокойная, она совсем не то, что наши две маленькие луны, которые так быстро бегают по небу и так быстро меняют свое личико, точно живые, капризные дети. Правда, ваша Луна зато гораздо ярче, и свет ее такой приятный. Ярче и ваше Солнце; вот в чем вы гораздо счастливее нас. Ваш мир вдвое светлее: оттого и не нужны вам такие глаза, как наши, с большими зрачками для собирания слабых лучей нашего дня и нашей ночи.

Мы сели у окна. Земля сияла вдали, как гигантский серп, на котором можно было различить только очертания запада Америки, северо-востока Азии, тусклое пятно, обозначавшее часть Великого океана, и белое пятно Северного Ледовитого. Весь Атлантический океан и Старый Свет лежали во мраке; за расплывчатым краем серпа их можно было только угадывать, и именно потому, что невидимая часть Земли закрывала звезды на обширном пространстве черного неба. Наша косвенная траектория и вращение Земли вокруг оси привели к такой перемене картины.

Я смотрел, и мне было грустно, что я не вижу родной страны, где столько жизни, борьбы и страданий, где вчера еще я стоял в рядах товарищей, а теперь на мое место должен был стать другой. И сомнение поднялось в моей душе.

— Там, внизу, льется кровь, — сказал я, — а здесь вчерашний работник в роли спокойного созерцателя...

— Кровь льется там ради лучшего будущего, — отвечал Нэтти, — но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее. И ради этого знания вы здесь.

С невольным порывом я сжал его маленькую, почти детскую руку.

VIII. Сближение

Земля все более удалялась и, точно худея от разлуки, превращалась в луновидный серп, сопровождаемый теперь совсем маленьким серпом настоящей Луны. Параллельно с этим все мы, обитатели этеронефа, становились какими-то фантастическими акробатами, способными летать без крыльев и удобно располагаться в любом направлении пространства, головой к полу, или потолку, или к стене — почти безраз-

лично... Понемногу я сходиллся со своими новыми товарищами и начинал чувствовать себя с ними свободнее.

Уже на другой день после нашего отплытия (мы сохранили этот счет времени, хотя для нас, конечно, уже не существовало настоящих дней и ночей) я по собственной инициативе переоделся в марсианский костюм, чтобы меньше выделяться между всеми. Правда, костюм этот и сам по себе нравился мне: простой, удобный, без всяких бесполезных, условных частей вроде галстука или манжет, он оставлял наибольшую возможную свободу для движений. Отдельные части костюма так соединялись маленькими застежками, что весь костюм превращался в одно целое, и в то же время легко было в случае надобности отстегнуть и снять, например, один рукав или оба или всю блузу. И манеры моих спутников были похожи на их костюм: простота, отсутствие всего лишнего и условного. Они никогда не здоровались, не прощались, не благодарили, не затягивали разговора из вежливости, если прямая цепь его была исчерпана; и в то же время они с большим терпением давали всегда всякие разъяснения, тщательно приспособляясь к уровню понимания собеседника и входя в его психологию, как бы мало она ни подходила к их собственной.

Разумеется, я с первых же дней принялся за изучение их родного языка, и все они с величайшей готовностью исполняли роль моих наставников, а больше всех Нэтти. Язык этот очень оригинален; и, несмотря на большую простоту его грамматики и правил образования слов, в нем есть особенности, с которыми мне было нелегко справиться. Его правила вообще не имеют исключений, в нем нет таких разграничений, как мужской, женский и средний род; но рядом с этим все названия предметов и свойств изменяются по временам. Это никак не укладывалось в моей голове.

— Скажите, какой смысл в этих формах? — спрашивал я Нэтти.

— Неужели вы не понимаете? А между тем в ваших языках, называя предмет, вы старательно обозначаете, считаете ли вы его мужчиной или женщиной, что, в сущности, очень неважно, а по отношению к неживым предметам даже довольно странно. Насколько важнее различие между теми предметами, которые существуют, и теми, которых уже нет, или теми, которые еще должны возникнуть. У вас «дом» — «мужчина», а «лодка» — «женщина», у французов это наоборот, — и дело

от того нисколько не меняется. Но когда вы говорите о доме, который уже сгорел или который еще собираетесь выстроить, вы употребляете слово в той же форме, в которой говорите о доме, в котором живете. Разве есть в природе большее различие, чем между человеком, который живет, и человеком, который умер, — между тем, что есть, и тем, чего нет? Вам нужны целые слова и фразы для обозначения этого различия, — не лучше ли выражать его прибавлением одной буквы в самом слове?

Во всяком случае, Нэтти был доволен моей памятью, а его метод обучения был превосходен, и дело продвигалось вперед быстро. Это помогало мне сблизиться с марсианами, — я начинал все с большей уверенностью путешествовать по всему Этеронефу, заходя в комнаты и в лаборатории моих спутников и расспрашивая их обо всем, что меня занимало.

Молодой астроном Энно, помощник Стэрни, живой и веселый, тоже почти мальчик по возрасту, показывал мне массу интересных вещей, явно увлекаясь не столько измерениями и формулами, в которых он был, однако, настоящим мастером, сколько красотой наблюдаемого. У меня было хорошо на душе с юным астрономом-поэтом; а законное стремление ориентироваться в нашем положении среди природы давало мне постоянный повод проводить понемногу времени у Энно и его телескопов.

Один раз Энно показал мне при самом сильном увеличении крошечную планету Эрот, часть орбиты которой проходит между путями Земли и Марса, остальная часть лежит дальше Марса, переходя в район астероидов. И хотя в это время Эрот находился от нас на расстоянии 150 миллионов километров, но фотография его маленького диска представляла в поле зрения микроскопа целую географическую карту, подобную картам Луны. Конечно, это безжизненная планета, такая же, как Луна.

В другой раз Энно фотографировал рой метеоритов, проходивший всего в нескольких миллионах километров от нас. Изображение представляло, разумеется, только неопределенную туманность. При этом случае Энно рассказал мне, что в одной из прежних экспедиций на Землю этеронеф погиб как раз в то время, когда прорезывал другой подобный рой. Астрономы, следившие за этеронефом в самые большие телескопы, увида-

ли, как погас его электрический свет и этеронеф навеки исчез в пространстве.

— Вероятно, этеронеф столкнулся с несколькими из этих маленьких телец, а при громадной разности скоростей они должны были насквозь пронизать все его стенки. Тогда воздух ушел из него в пространство, и холод междупланетной среды оледенил уже мертвые тела путешественников. И теперь этеронеф летит, продолжая свой путь по кометной орбите; он удаляется от Солнца навсегда, и неизвестно, где конец этого страшного корабля, населенного трупами.

При этих словах Энно холод эфирных пустынь как будто проник в мое сердце. Я живо представил себе наш крошечный светлый островок среди бесконечного мертвого океана. Без всякой опоры в головокружительно быстром движении, и черная пустота повсюду вокруг... Энно угадал мое настроение.

— Мэнни — надежный кормчий, — сказал он, — и Стэрри не делает ошибок... А смерть... вы ее, вероятно, видели близко в своей жизни... ведь она только смерть, не более.

Очень скоро наступил час, когда мне пришлось вспомнить эти слова в борьбе с мучительной душевной болью.

Химик Летта привлекал меня к себе не только особенной мягкостью и чуткостью натуры, о которой говорил мне Нэтти, но также и своими громадными знаниями в наиболее интересном для меня научном вопросе — о строении материи. Один Мэнни был еще компетентнее его в этой области, но я старался как можно меньше обращаться к Мэнни, понимая, что его время слишком драгоценно и для интересов науки, и для интересов экспедиции, чтобы я имел право отвлекать его для себя. А добродушный старик Летта с таким неистощимым терпением относился к моему невежеству, с такой предупредительностью и даже видимым удовольствием разъяснял мне самую азбуку предмета, что с ним я несколько не чувствовал себя стесненным.

Летта стал читать мне целый курс по теории строения материи, причем иллюстрировал его рядом опытов разложения элементов и их синтеза. Многие из относящихся сюда опытов он должен был, однако, пропускать, ограничиваясь словесным их описанием, — именно те, в которых явления имеют особенно бурный характер и протекают в форме взрыва или могут принять такую форму.

Как-то раз во время лекции в лабораторию зашел Мэнни. Летта заканчивал описание очень интересного эксперимента и собирался приступить к его выполнению.

— Будьте осторожны,— сказал ему Мэнни,— я помню, что этот опыт однажды кончился у меня нехорошо; достаточно ничтожнейшей посторонней примеси к веществу, которое вы разлагаете, и тогда самый слабый электрический разряд может вызвать взрыв во время нагревания.

Летта хотел уже отказаться от выполнения опыта, но Мэнни, неизменно внимательный и любезный по отношению ко мне, сам предложил помочь ему тщательной проверкой всех условий опыта; и реакция прошла превосходно.

На следующий день предстояли новые опыты с тем же веществом. Мне казалось, что на этот раз Летта взял его не из той банки, из которой накануне. Когда он поставил уже реторту на электрическую баню, мне пришло в голову сказать ему об этом. Обеспокоенный, он тотчас пошел к шкафу с реактивами, оставив баню и реторту на столике у стены, которая была вместе с тем наружной стенкой этеронефа. Я пошел вместе с ним.

Вдруг раздался оглушительный треск, и нас обоих с большой силой ударило о дверцы шкафа. Затем последовал оглушительный свист и вой и металлическое дребезжанье. Я почувствовал, что непреодолимая сила, подобная урагану, увлекает меня назад, к наружной стене. Я успел машинально схватиться за крепкую ремennую ручку, приделанную к шкафу, и повис горизонтально, удерживаемый в этом положении могучим потоком воздуха. Летта сделал то же самое.

— Держитесь крепче!— крикнул он мне, и я едва расслышал его голос среди шума бури. Резкий холод пронизал мое тело.

Летта быстро осмотрелся вокруг. Лицо его было страшно своей бледностью, но выражение растерянности вдруг сменилось на нем выражением ясной мысли и твердой решимости. Он сказал только два слова — я не мог их расслышать, но угадал, что это было прощанье навеки,— и его руки разжались.

Глухой звук удара, и вой урагана прекратился. Я почувствовал, что можно выпустить ручку, и оглянулся. От столика не было и следа, а у стены, плотно прижавшись к ней спиной, неподвижно стоял Летта.

Глаза его были широко раскрыты, и все лицо как будто застыло. Одним прыжком я очутился у двери и отворил ее. Порыв теплого ветра отбросил меня назад. Через секунду в комнату вошел Мэнни. Он быстро подошел к Летта.

Еще через несколько секунд комната была полна народу. Нэтти оттолкнул всех с пути и бросился к Летта. Все остальные окружили нас в тревожном молчании.

— Летта умер, — раздался голос Мэнни. — Взрыв во время химического опыта пробил стенку этеронефа, и Летта своим телом закрыл брешь. Давление воздуха разорвало его легкие и парализовало сердце. Смерть была мгновенная. Летта спас нашего гостя, иначе гибель обоих была неизбежна.

У Нэтти вырвалось глухое рыдание.

IX. Прошлое

Несколько дней после катастрофы Нэтти не выходил из своей комнаты, а в глазах Стэрни я стал подмечать иногда прямо недоброжелательное выражение. Бесспорно, из-за меня погиб выдающийся ученый, и математический ум Стэрни не мог не делать сравнения между величиной ценности той жизни, которая была утрачена, и той, которая была спасена. Мэнни оставался неизменно ровным и спокойным и даже удвоил свое внимание и заботливость обо мне; так же вели себя и Энно, и все остальные.

Я стал усиленно продолжать изучение языка марсиан и при первом удобном случае обратился к Мэнни с просьбой дать мне какую-нибудь книгу по истории их человечества. Мэнни нашел мою мысль очень удачной и принес мне руководство, в котором популярно излагалась для детей-марсиан всемирная история.

Я начал с помощью Нэтти читать и переводить книжку. Меня поражало искусство, с каким неизвестный автор оживлял и конкретизировал иллюстрациями самые общие, самые отвлеченные на первый взгляд понятия и схемы. Это искусство позволяло ему вести изложение по такой геометрически стройной системе, в такой логически выдержанной последовательности, как не решился бы писать для детей ни один из наших земных популяризаторов.

Первая глава имела прямо философский характер и была посвящена идее вселенной как единого целого,

все заключающего в себе и все определяющего собой. Эта глава живо напомнила мне произведения того рабочего-мыслителя, который в простой и наивной форме первый изложил основы пролетарской философии природы.

В следующей главе изложение возвращалось к тому необозримо отдаленному времени, когда во вселенной не сложилось еще никаких знакомых нам форм, когда хаос и неопределенность царили в безграничном пространстве. Автор рассказывал, как обособлялись в этой среде первые бесформенные скопления неуловимо-тонкой, химически неопределившейся материи; скопления эти послужили зародышами гигантских звездных миров, какими являются звездные туманности, и в числе их наш Млечный Путь с 20 миллионами солнц, среди которых наше Солнце — одно из самых маленьких.

Далее шла речь о том, как материя, концентрируясь и переходя к более устойчивым сочетаниям, принимала форму химических элементов, а рядом с этим первичные, бесформенные скопления распадались и среди них выделялись газообразные солнечно-планетные туманности, каких сейчас еще при помощи телескопа можно найти многие тысячи. История развития этих туманностей, кристаллизации из них солнц и планет излагалась одинаково с нашей канто-лапласовской теорией происхождения миров, но с большей определенностью и большими подробностями.

— Скажите, Мэнни, — спросил я, — неужели вы считаете правильным давать детям с самого начала эти беспредельно общие и почти столь же отвлеченные идеи, эти бледные мировые картины, столь далекие от их ближайшей конкретной обстановки? Не значит ли это населять детский мозг почти пустыми, почти только словесными образами?

— Дело в том, что у нас никогда не начинают обучения с книг, — отвечал Мэнни. — Ребенок черпает свои сведения из живого наблюдения природы и живого общения с другими людьми. Раньше чем он возьмется за такую книгу он уже совершил множество поездок, видел разнообразные картины природы, знает множество пород растений и животных, знаком с употреблением телескопа, микроскопа, фотографии, фонографа, слышал от старших детей, от воспитателей и других взрослых друзей много рассказов о прошлом и отдаленном. Книга, подобная этой, должна только связать воедино

и упрочить его знания, заполняя мимоходом случайные пробелы и намечая дальнейший путь изучения. Понятно, что при этом идея целого прежде всего и постоянно должна выступать с полной отчетливостью, должна проводиться от начала и до конца, чтобы никогда не теряться в частностях. Цельного человека надо создавать уже в ребенке.

Все это было для меня очень непривычно, но я не стал подробнее расспрашивать Мэнни: мне все равно предстояло непосредственно познакомиться с марсианскими детьми и системой их воспитания. Я возвратился к своей книжке.

Предметом следующих глав являлась геологическая история Марса. Ее изложение, хотя и очень сжатое, было полно сопоставлений с историей Земли и Венеры. При значительном параллелизме всех трех основное различие заключалось в том, что Марс оказывался вдвое старше Земли и почти вчетверо старше Венеры. Были установлены и цифры возраста планет, я их хорошо помню, но не стану приводить здесь, чтобы не раздражать земных ученых, для которых они оказались бы довольно неожиданными.

Далее шла история жизни с самого ее начала. Давалось описание тех первичных соединений, сложных циановых производных, которые, не будучи еще настоящей живой материей, обладали многими ее свойствами, и описание тех геологических условий, при которых эти соединения химически создавались. Выяснялись причины, в силу которых такие вещества сохранялись и накапливались среди других, более устойчивых, но менее гибких соединений. Прослеживалось шаг за шагом усложнение и дифференциация этих химических зародышей всякой жизни, вплоть до образования настоящих живых клеток, с которых начинается «царство протистов».

Картина дальнейшего развития жизни сводилась к лестнице прогресса живых существ или, вернее, к их общему генеалогическому дереву; от протистов до высших растений, с одной стороны, до человека, с другой стороны, — вместе с различными боковыми отхождениями. При сравнении с «земной» линией развития оказывалось, что на пути от первичной клетки до человека ряд первых звеньев цепи почти одинаков и так же незначительны различия в последних звеньях, а в средних различий гораздо больше. Это представлялось мне чрезвычайно странным.

— Этот вопрос,— сказал мне Нэтти,— насколько я знаю, еще не исследован специально. Ведь еще двадцать лет тому назад мы не знали, как устроены высшие животные на Земле, и мы сами были очень удивлены, найдя такое сходство с нашим типом. Очевидно, число возможных высших типов, выражающих наибольшую полноту жизни, не так велико; и на планетах, настолько сходных, как наши, в пределах весьма однородных условий природа могла достигнуть этого максимума жизни только одним способом.

— И притом,— заметил Мэнни,— высший тип, который завладеет своей планетой, есть тот, который наиболее целостно выражает всю сумму ее условий, тогда как промежуточные стадии, способные захватить только часть своей среды, выражают эти условия так же частично и односторонне. Поэтому при громадном сходстве общей суммы условий высшие типы должны совпадать в наибольшей мере, а промежуточные в силу самой своей односторонности представляют больше простора для различий.

Я вспомнил, как мне еще во время моих университетских занятий та же мысль об ограниченном числе возможных высших типов пришла в голову по совершенно другому поводу: у спрутов, морских головоногих моллюсков, высших организмов целой ветви развития, глаза необычайно сходны с глазами нашей ветви — позвоночных; а между тем происхождение и развитие глаз головоногих совершенно иное, настолько иное, что даже соответственные слои тканей зрительного аппарата расположены у них в обратном нашем порядке...

Так или иначе, факт был налицо: на другой планете жили люди, похожие на нас, и мне оставалось усердно продолжать свое ознакомление с их жизнью и историей.

Что касается доисторических времен и вообще начальных фаз жизни человечества на Марсе, то и здесь сходство с земным миром было огромное. Те же формы родового быта, то же обособленное существование отдельных общин, то же развитие связи между ними посредством обмена. Но дальше начиналось расхождение, хотя и не в основном направлении развития, а скорее в его стиле и характере.

Ход истории на Марсе был как-то мягче и проще, чем на Земле. Были, конечно, войны племен и народов, была и борьба классов; но войны играли сравнительно

небольшую роль в исторической жизни и сравнительно рано совсем прекратились; а классовая борьба гораздо меньше и реже проявлялась в виде столкновений грубой силы. Это, правда, не указывалось прямо в книге, которую я читал, но это было очевидно для меня из всего изложения.

Рабства марсиане вовсе не знали; в их феодализме было очень мало военщины; а их капитализм очень рано освободился от национально-государственного дробления и не создал ничего подобного нашим современным армиям. <...>

Х. Прибытие

Управляемый ясной головой Мэнни этеронеф без новых приключений продолжил свой путь к далекой цели. Мне удалось уже сносно приспособиться к условиям невесомого существования, а также и справиться с главными трудностями языка марсиан, когда Мэнни объявил нам всем, что мы прошли половину пути и достигли наивысшего предела скорости, которая отныне будет уменьшаться.

В точно указанный Мэнни момент этеронеф быстро и плавно перевернулся. Земля, которая давно уже из большого светлого серпа успела сделаться маленьким, а из маленького серпа — яркой зеленоватой звездой вблизи солнечного диска, теперь из нижней части черного шара небосвода перешла в верхнее полушарие, а красная звезда Марса, ярко сиявшая над нашими головами, оказалась внизу.

Прошли еще десятки и сотни часов, и звезда Марса превратилась в ясный маленький диск, и скоро стали заметны две маленькие звездочки его спутников — Деймос и Фобос, невинные крошечные планетки, ничем не заслужившие этих грозных имен, означающих по-гречески «Ужас» и «Страх». Серьезные марсиане оживились и все чаще приходили в обсерваторию Энно — посмотреть на родные страны. Смотрел и я, но плохо понимал то, что видел, несмотря на терпеливые объяснения Энно. Там было действительно много для меня странного.

Красные пятна оказывались лесами и лугами, а совсем темные — полями, готовыми к жатве. Города представлялись в виде синеватых пятен, и только воды и снега имели понятный для меня оттенок. Веселый Энно иногда заставлял меня угадывать, что я вижу в поле

аппарата, и мои наивные ошибки сильно сместили его и Нэтти; я же за это платил им шутками, в свою очередь, называя их планету царством ученых слов и перепутанных красок.

Размеры красного диска все более возрастали — скоро он уже во много раз превосходил заметно уменьшившийся кружок Солнца и был похож на астрономическую карту без надписей. Сила тяжести тоже заметно начала прибавляться, что было для меня удивительно приятно. Деймос и Фобос из светлых точек превратились в крошечные, но ясно очерченные кружки.

Еще 15--20 часов, и вот уже Марс, как плоскопаре, развертывается под нами, и простым глазом я вижу больше, чем дают все астрономические карты наших ученых. Диск Деймоса скользит по этой круглой карте, а Фобос нам не виден, — он теперь по ту сторону планеты.

Все радуются вокруг меня — я один не могу преодолеть тревожного, тоскливого ожидания.

Ближе и ближе... Никто не в силах чем бы то ни было заниматься, — все смотрят вниз, где развертывается другой мир, для них родной, для меня полный тайны и загадок. Одного Мэнни нет с нами — он стоит у машины: последние часы пути самые опасные, надо проверить расстояние и регулировать скорость.

Что же я, невольный Колумб этого мира, не чувствую ни радости, ни гордости, ни даже того успокоения, которое должен принести вид твердого берега после долгого пути по океану Неосвязаемого?

Будущие события уже бросают тень на настоящее...

Остается всего два часа. Скоро мы вступим в пределы атмосферы. Сердце начинает мучительно биться; я не могу больше смотреть и ухожу в свою комнату. Нэтти уходит за мною.

Он начинает со мной разговор — не о настоящем, а о прошлом, о далекой Земле, там вверху.

— Вы должны еще туда вернуться, когда выполните задачу, — говорит он, и его слова звучат для меня как нежное напоминание о мужестве.

Мы разговариваем об этой задаче, о ее необходимости и ее трудностях. Время незаметно для меня проходит.

Нэтти смотрит на хронометр.

— Мы приехали, пойдем к ним! — говорит он.

Этеронэф остановился, сдвигаются широкие металлические пластинки, свежий воздух врывается внутрь.

Чистое зеленовато-синее небо над нами, толпы народа вокруг.

Мэнни и Стэрни выходят первыми, они несут на руках прозрачный гроб, где лежит оледенелое тело погибшего товарища — Летта.

За ним выходят другие. Я и Нэтти выходим последними и вместе, рука об руку, идем через многотысячную толпу людей, похожих на него...

ЧАСТЬ II

I. У Мэнни

На первое время я поселился у Мэнни, в фабричном городке, центр и основу которого составляет большая химическая лаборатория, расположенная глубоко под землей. Надземная часть городка разбросана среди парка на протяжении десятка квадратных километров: это несколько сот жилищ работников лаборатории, большой Дом собраний, Потребительный склад — нечто вроде универсальной лавки и Станция сообщений, которая связывает химический городок со всем остальным миром. Мэнни был там руководителем всех работ и жил вблизи от общественных зданий, рядом с главным спуском в лабораторию.

Первое, что меня поразило в природе Марса и с чем мне всего труднее было освоиться, — это красный цвет растений. Их красящее вещество, по составу чрезвычайно близкое к хлорофиллу земных растений, выполняет совершенно аналогичную ему роль в жизненной экономике природы: создает ткани растений за счет углекислоты воздуха и энергии солнечных лучей.

Заботливый Нэтти предлагал мне носить предохранительные очки, чтобы избавиться от непривычного раздражения глаз. Я отказался.

— Это цвет нашего социалистического знамени, — сказал я. — Должен же я освоиться с вашей социалистической природой.

— Если так, то надо признать, что и в земной флоре есть социализм, но в скрытом виде, — заметил Мэнни. — Листья земных растений имеют и красный оттенок — он только замаскирован гораздо более сильным зеленым. Достаточно надеть очки из стекол, вполне по-

глощающих зеленые лучи и пропускающих красные, чтобы ваши леса и поля стали красными, как у нас.

Я не могу тратить время и место на то, чтобы описывать своеобразные формы растений и животных на Марсе или его атмосферу, чистую и прозрачную, сравнительно разреженную, но богатую кислородом, или его небо, глубокое и темное, зеленоватого цвета, с похудевшим солнцем и крошечными лунами, с двумя яркими вечерними или утренними звездами — Венерой и Землей. Все это странное и чуждое тогда, прекрасное и дорогое мне теперь, в окраске воспоминаний, не так тесно связано с задачами моего повествования. Люди и их отношения — вот что всего важнее для меня; и во всей той сказочной обстановке именно они были всего фантастичнее, всего загадочнее.

Мэнни жил в небольшом двухэтажном домике, по архитектуре не отличавшемся от остальных. Самая оригинальная черта этой архитектуры заключалась в прозрачной крыше из нескольких громадных пластинок голубого стекла. Прямо под этой крышей помещалась спальня и комната для бесед с друзьями. Марсиане проводят часы отдыха непременно среди голубого освещения, ради его успокаивающего действия, и не находят неприятным тот мрачный для нашего глаза оттенок, который это освещение придает человеческому лицу.

Все рабочие комнаты — кабинет, домашняя лаборатория, комната сообщений — находились в нижнем этаже, большие окна которого свободно пропускали волны беспокойного красного света, отброшенного яркой листвой деревьев парка. Этот свет, который во мне первое время вызывал тревожное и рассеянное настроение, для марсиан является привычным возбуждением, полезным при работе.

В кабинете Мэнни было много книг и различные приборы для письма, от простых карандашей до печатающего фонографа. Последний аппарат представляет из себя сложный механизм, в котором запись фонографа при отчетливом произнесении слов тотчас передается рычагам пишущей машины таким способом, что получается точный перевод этой записи на обыкновенный алфавит. При этом фонограмма сохраняется в целости, так что ею можно пользоваться одинаково с печатным переводом, смотря по тому, что кажется удобнее.

Над письменным столом Мэнни висел портрет марсианина среднего возраста. Черты лица его сильно напоминали Мэнни, но отличались выражением суровой энергии и холодной решительности, почти грозным выражением, чуждым Мэнни, на лице которого всегда была только спокойная и твердая воля. Мэнни рассказал мне историю этого человека.

То был предок Мэнни, великий инженер. Он жил задолго до социальной революции, в эпоху прорыва Великих каналов; эти грандиозные работы были организованы по его плану и велись под его руководством. Его первый помощник, завидуя его славе и могуществу, повел интригу против него. Один из главных каналов, над которым работало несколько сот человек, начинался в болотистой, нездоровой местности. Многие тысячи работников умирали там от болезней, и среди остальных разгоралось недовольство. В то самое время как главный инженер вел переговоры с центральным правительством Марса о пенсиях семьям погибших на работе и тем, кто от болезней потерял способность к труду, старший помощник тайно вел агитацию против него среди недовольных: он подстрекал их устроить стачку, с требованием перенесения работ из этой местности в другую, что было невозможно по существу дела, так как разрушало весь план Великих работ, и отставки главного инженера, что было, конечно, вполне осуществимо... Когда тот узнал все это, он пригласил к себе старшего помощника для объяснений и убил его на месте. На суде инженер отказался от всякой защиты, а только заявил, что он считает свой образ действий справедливым и необходимым. Его приговорили к многолетнему заключению в тюрьме.

Но вскоре оказалось, что никто из его преемников не в силах вести гигантскую организацию работ; начались недоразумения, хищения, беспорядки, весь механизм дела пришел в расстройство, расходы возросли на сотни миллионов, а среди рабочих острое недовольство грозило перейти в восстание. Центральное правительство поспешило обратиться к прежнему инженеру; ему было предложено полное помилование и восстановление в должности. Он решительно отказался от помилования, но согласился руководить работами из тюрьмы.

Назначенные им ревизоры быстро выяснили положение дела на местах; при этом были разогнаны и отданы под суд тысячи инженеров и подрядчиков. Зара-

ботная плата была повышена, организация доставки рабочим пищи, одежды, орудий труда была перестроена заново, планы работ пересмотрены и исправлены. Скоро порядок был вполне восстановлен, и громадный механизм стал работать быстро и точно, как послушное орудие в руках настоящего мастера.

А мастер не только руководил всем делом, но и разрабатывал план его продолжения на будущие годы; и одновременно он готовил себе заместителя в лице одного энергичного и талантливого инженера, выдвинувшегося из рабочей среды. К тому дню, когда истекал срок тюремного заключения, все было подготовлено настолько, что великий мастер нашел возможным передать дело в другие руки без опасения за его судьбу; и в тот самый момент, когда в тюрьму явился первый министр центрального правительства, чтобы освободить заключенного, главный инженер покончил с собой.

Когда Мэнни рассказывал мне все это, его лицо как-то странно изменилось; у него появилось тоже выражение непреклонной суровости, и он стал совершенно похож на своего предка. А я почувствовал, до какой степени ему близок и понятен этот человек, умерший за сотни лет до его рождения.

Комната сообщений была центральной комнатой нижнего этажа. В ней находились телефоны и соответствующие им оптические аппараты, передающие на каком угодно расстоянии изображения того, что перед ними происходит. Одни из приборов соединяли жилище Мэнни со Станцией сообщений, а через нее — со всеми другими домами города и со всеми городами планеты. Другие служили связью с подземной лабораторией, которою управлял Мэнни. Эти последние действовали непрерывно: на нескольких тонко-решетчатых пластинках видны были умеренные изображения освещенных зал, где находились большие металлические машины и стеклянные аппараты, а перед ними — десятки и сотни работающих людей. Я обратился к Мэнни с просьбой взять меня с собой в эту лабораторию.

— Это неудобно, — отвечал он. — Там ведутся работы над материей в ее неустойчивых состояниях; и как ни мала при наших предосторожностях опасность взрыва или отравления невидимыми лучами, но эта опасность всегда существует. Вы не должны ей подвер-

гаться, потому что вы теперь у нас один и заменить вас было бы некем.

В домашней лаборатории Мэнни находились всегда только те приборы и материалы, которые относились к его исследованиям, выполняемым в данное время.

В коридоре нижнего этажа у потолка была подвешена воздушная гондола, на которую во всякое время можно было сесть и отправиться куда угодно.

— Где живет Нэтти? — спросил я у Мэнни.

— В большом городе, в двух часах воздушного пути отсюда. Там находится машинный завод с несколькими десятками тысяч работников, и у Нэтти больше материала для его медицинских исследований. Здесь же у нас есть другой доктор.

— А машинный завод мне не воспрещается осмотреть при случае?

— Конечно, нет: там не угрожают никакие особенные опасности. Если хотите, мы завтра же отправимся туда вместе.

Так мы и решили.

II. На заводе

Около 500 километров в два часа — скорость самого быстрого соколиного полета, не достигнутая до сих пор даже нашими электрическими дорогами... Внизу разворачивались в быстрой смене незнакомые, странные ландшафты; еще быстрее проносились иногда мимо нас незнакомые странные птицы. Лучи солнца вспыхивали синим светом на крышах домов и обычным желтоватым светом на огромных куполах каких-то незнакомых мне зданий. Реки и каналы мелькали стальными лентами; мои глаза отдыхали на них, потому что они были такие же, как на Земле. Вот вдали стал виден огромный город, раскинутый вокруг маленького озера и перерезанный каналом. Гондола замедлила ход и плавно опустилась около небольшого красивого домика — домика Нэтти.

Нэтти был дома и радостно нас встретил. Он сел в нашу гондолу, и мы отправились дальше: завод был еще в нескольких километрах, на той стороне озера.

Пять громадных зданий, расположенных крестообразно, все одинакового устройства; чистый стеклянный свод, лежащий на нескольких десятках темных колонн, образующих точный круг или мало растянутый эллипс; такие же стеклянные пластинки, поочередно про-

зрачные и матовые, между колоннами в виде стен. Мы остановились у центрального, самого большого корпуса, перед воротами, занимавшими целый промежуток от колонны до колонны, метров десять ширины и метров двенадцать вышины. Потолок первого этажа горизонтально перерезывал посредине пространство ворот; несколько пар рельсов входили в ворота и терялись внутри корпуса.

Мы подплыли к верхней половине ворот и, оглушенные шумом машин, сразу попали во второй этаж. Впрочем, это не был особый этаж в точном смысле слова, а скорее сеть воздушных мостиков, оплывавшая со всех сторон гигантские машины незнакомого мне устройства. На несколько метров над нею находилась другая подобная сеть, еще выше — третья, четвертая, пятая; все они были образованы из стеклянного паркета, охваченного брусками железных решеток, все были связаны множеством подъемников и лестниц, и каждая следующая сеть была меньше предыдущей.

Ни дыма, ни копоти, ни запаха, ни мелкой пыли. Среди чистого, свежего воздуха машины, залитые светом, неярким, но проникающим всюду, работали стройно и размеренно. Они резали, шлифовали, строгаали, сверлили громадные куски железа, алюминия, никеля, меди. Рычаги, похожие на испанские стальные руки, двигались ровно и плавно; большие платформы ходили вперед и назад со стихийной точностью; колеса и передаточные ремни казались неподвижными. Не грубая сила огня и пара, а тонкая, но еще более могучая сила электричества была душой этого грозного механизма.

Самый шум машин, когда ухо к нему несколько привыкало, начинал казаться почти мелодичным, кроме тех моментов, когда падает главный молот в несколько тысяч тонн и все содрогается в громовом ударе.

Сотни работников уверенно ходили между машинами, и ни шаги их, ни голоса не были слышны среди моря звуков. В выражении их лиц не было напряженной озабоченности, только спокойное внимание; они казались любознательными, учеными наблюдателями, которые, собственно, ни при чем во всем происходящем; им просто интересно видеть, как громадные куски металла, на рельсовых платформах выплывающие под прозрачный купол, попадают в железные объятия темных чудовищ, как эти чудовища затем разгрызают их своими крепкими челюстями, мнут своими тяжелыми,

твердыми лапами, строгают и сверлят своими блестящими, острыми когтями и как, наконец, остатки этой жестокой игры увозятся с другой стороны корпуса легкими вагонами электрической дороги в виде стройных и изящных машинных частей с загадочным назначением. Казалось вполне естественным, что остальные чудовища не трогают маленьких большеглазых созерцателей, доверчиво гуляющих между ними: это было просто пренебрежение к слабости, признание добычи слишком ничтожною, недостойною грозной силы гигантов. Были неуловимы и невидимы со стороны те нити, которые связывали нежный мозг людей с несокрушимыми органами механизма.

Когда мы наконец вышли из корпуса, водивший нас техник спросил, желаем ли мы осматривать другие корпуса и вспомогательные строения сейчас же или намерены сделать перерыв для отдыха. Я высказался за перерыв.

— Я видел машины и работников, — сказал я, — но самой организации труда совершенно себе не представляю. Вот об этом мне хотелось бы расспросить вас.

Вместо ответа техник повел нас к маленькому кубической формы строению, находившемуся между центральным и одним из угловых корпусов. Таких строений было еще три, и все они были аналогично расположены. Их черные стены были покрыты рядами блестящих белых знаков — это были просто таблицы статистики труда. Я уже владел языком марсиан настолько, что мог разбирать их. На одной, отмеченной номером первым, значилось:

«Машинное производство имеет излишек в 968757 рабочих часов ежедневно, из них 11325 часов труда опытных специалистов».

«На этом заводе излишек 753 часа, из них 29 часов труда опытных специалистов».

«Нет недостатка работников в производствах: земледельческом, горном, земляных работ, химическом...» и т. д. (было перечислено в алфавитном порядке множество различных отраслей труда).

На таблице номер второй было написано:

«Производство одежды имеет недостаток в 392685 рабочих часов ежедневно, из них 21380 часов труда опытных механиков для специальных машин и 7852 часа труда специалистов-организаторов».

«Производство обуви нуждается в 79360 часах; из них...» и т. д.

«Институт подсчетов — в 3078 часах»... и т. д.

Такого же содержания были и таблицы номеров 3-го и 4-го. В списке отраслей труда были и такие, как воспитание детей младшего возраста, воспитание детей среднего возраста, медицина городов, медицина сельских округов и проч.

— Почему излишек труда точно указан только в машинном производстве, а недостаток повсюду отмечен с такими подробностями? — спросил я.

— Это очень понятно, — отвечал Мэнни, — посредством таблиц надо повлиять на распределение труда: для этого необходимо, чтобы каждый мог видеть, где рабочей силы не хватает и в какой именно мере. Тогда, при одинаковой или приблизительно равной склонности к двум занятиям, человек выберет то из них, где недостаток сильнее. А об излишке труда знать точные данные достаточно только там, где этот излишек имеется, чтобы каждый работник такой отрасли мог сознательно принять в расчет и степень излишка, и степень своей склонности к перемене занятия.

В то время как мы таким образом разговаривали, я вдруг заметил, что некоторые цифры таблицы исчезли, а затем на их месте появились новые. Я спросил, что это значит.

— Цифры меняются каждый час, — объяснил Мэнни, — в течение часа несколько тысяч человек успели заявить о своем желании перейти с одних работ на другие. Центральный статистический механизм все время отмечает это, и каждый час электрическая передача разносит его сообщения повсюду.

— Но каким образом центральная статистика устанавливает цифры излишка и недочета?

— Институт подсчетов имеет везде свои агентства, которые следят за движением продуктов в складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого требуется. Затем институту остается подсчитать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщать об этом повсюду. Поток добровольцев тогда восстанавливает равновесие.

— А потребление продуктов ничем не ограничено?

— Решительно ничем: каждый берет то, что ему нужно, и столько, сколько хочет.

— И при этом не требуется ничего похожего на деньги, никаких свидетельств о количестве выполненного труда или обязательств его выполнить, или вообще чего-нибудь в этом роде?

— Ничего подобного. В свободном труде у нас и без этого никогда не бывает недостатка: труд — естественная потребность развитого социалистического человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни.

— Но если потребление ничем не ограничено, то не возможны ли в нем резкие колебания, которые могут опрокинуть все статистические расчеты?

— Конечно, нет. Отдельный человек, может быть, станет есть то или иное кушанье в двойном, в тройном против обычного количестве или захочет переменить десять костюмов в десять дней, но общество в три тысячи миллионов человек не подвержено таким колебаниям. При таких больших числах отклонения в ту и другую сторону уравниваются, и средние величины изменяются очень медленно, в строгой непрерывности.

— Таким образом, ваша статистика работает почти автоматически — простые вычисления, и ничего больше?

— Ну нет. Трудности тут очень большие. Институт подсчетов должен зорко следить за новыми изобретениями и за изменением природных условий производства, чтобы их точно учитывать. Вводится новая машина — она сразу требует перемещения труда как в той области, где применяется, так и в машинном производстве, а иногда и в производстве материалов для той или другой отрасли. Источается руда, открываются новые минеральные богатства — опять перемещение труда в целом ряде рельсовых путей и т. д. Все это надо рассчитать с самого начала если не вполне точно, то с достаточной степенью приближения, а это вовсе не легко, пока не будут получены данные прямого наблюдения.

— При таких трудностях, — заметил я, — очевидно, необходимо иметь постоянно в запасе некоторый излишек труда?

— Именно так — в этом и заключается главная опора нашей системы. Лет двести тому назад, когда коллективного труда лишь кое-как хватало для удовлетворения всех потребностей общества, тогда была необходима полная точность в расчетах, и распределение труда не могло совершаться вполне свободно: су-

ществовал обязательный рабочий день, и в его пределах приходилось не всегда и не вполне считаться с призывом товарищей. Но каждое изобретение, создавая статистике временные трудности, облегчало главную задачу — переход к неограниченной свободе труда. Сначала рабочий день сокращался, затем, когда во всех областях труда оказался избыток, всякая обязательность была окончательно устранена. Заметьте, как незначительны все цифры, выражающие недостаток труда по производствам: тысячи, десятки, сотни тысяч рабочих часов, не более, — это при миллионах и десятках миллионов часов труда, который уже затрачивается в тех же производствах.

— Однако и недостаток труда все же бывает, — возразил я. — Правда, он, вероятно, покрывается последующим избытком, не так ли?

— И не только последующим избытком. В действительности самое вычисление необходимого труда ведется таким образом, что к основной цифре надбавляется еще некоторое количество. В самых важных для общества отраслях — в производстве пищи, одежды, зданий, машин — эта надбавка достигает 6 процентов, в менее важных — 1—2 процента. Таким образом, цифры недостатка в этих таблицах выражают, вообще говоря, только относительный, а не абсолютный недочет. Если бы обозначенные здесь десятки и сотни тысяч часов и не были пополнены, это еще не значит, что общество стало бы терпеть недостаток.

— А сколько времени работает ежедневно каждый, например, на этом заводе?

— Большею частью полтора, два, два с половиной часа, — ответил техник, — но бывает и меньше, и больше. Вот, например, товарищ, который заведует главным молотом, до того увлекается своей работой, что никому не позволяет сменить себя за все рабочее время завода, то есть шесть часов ежедневно.

Я мысленно перевел для себя все эти цифры на земной счет с марсианского, по которому сутки, немного более длинные, чем наши, заключают в себе 10 часов. Оказалось: обычная работа 4, 5, 6 часов; наибольшая продолжительность — 15 часов, то есть такая, как у нас, на Земле, в наиболее эксплуатируемых предприятиях.

— А разве не вредно товарищу на молоте работать так много? — спросил я.

— Пока еще не вредно, — отвечал Нэтти, — еще с полгода он может позволять себе такую роскошь. Но

я, конечно, предупредил его об опасностях, которыми угрожает ему это увлечение. Одна из них — это возможность судорожного психического припадка, который с непреодолимой силой потянет его под молот. В прошлом году подобный случай произошел на этом же заводе с другим механиком, таким же любителем сильных ощущений. Только благодаря счастливой случайности успели остановить молот, и невольное самоубийство не удалось. Жажда сильных ощущений сама по себе не есть еще болезнь, но она легко подвергается извращениям, как только нервная система хоть немного пошатнулась от переутомления, душевной борьбы или какой-нибудь случайной болезни. Вообще же я, разумеется, не упускаю из виду тех товарищей, которые неумеренно предаются какой бы то ни было однообразной работе.

— А не должен ли был бы этот товарищ, о котором мы говорим, сократить свою работу ввиду того, что в машинном производстве есть избыток труда?

— Конечно, нет, — засмеялся Мэнни. — Почему именно он должен за свой счет восстанавливать равновесие? Статистика никого ни к чему не обязывает. Каждый принимает ее во внимание при своих расчетах, но не может руководиться ею одной. Если бы вы пожелали немедленно поступить на этот завод, вам, вероятно, нашлась бы работа, а в центральной статистике цифра излишка увеличилась бы на один-два часа, только и всего. Влияние статистики непрерывно сказывается на массовых перемещениях труда, но каждая личность свободна.

За разговором мы успели достаточно отдохнуть, и все, кроме Мэнни, отправились дальше осматривать завод. А Мэнни ушел домой — его вызывали в лабораторию.

Вечером я решил остаться у Нэтти: он обещал на следующий день свести меня в «дом детей», где одной из воспитательниц была его мать.

III. «Дом детей»

«Дом детей» занимал целую значительную и пригом лучшую часть города с населением в 15—20 тысяч человек. Это население составляли действительно почти только дети с их воспитателями. Такие учреждения имеются во всех больших городах планеты, а во многих случаях образуют и самосто-

ятельные города; только в маленьких поселениях, таких, как «химический городок» Мэнни, их по большей части нет.

Большие двухэтажные дома с обычными голубыми крышами, разбросанные среди садов с ручейками, прудами, площадками для игр и гимнастики, грядками цветов и полезных трав, домиками для ручных животных и птиц... Толпы большеглазых ребятишек неизвестного пола — благодаря одинаковому для мальчиков и девочек костюму... Правда, и среди взрослых марсиан трудно различать мужчин и женщин по костюму — в основных чертах он одинаков, некоторая разница только в стиле: у мужчин платье более точно передает формы тела, у женщин в большей мере их маскирует. Во всяком случае та немолодая особа, которая встретила нас при выходе из гондолы перед дверями одного из самых больших домов, была, несомненно, женщина, ибо Нэтти, обнимая, назвал ее мамой. В дальнейшем разговоре он, впрочем, часто обозначал ее, как и всякого другого товарища, просто по имени — Нэлла.

Марсианка уже знала о цели нашего приезда и прямо повела нас в свой «дом детей», по всем его отделениям, начиная с отделения самых маленьких, которым она сама заведовала, до отделения старшего детского возраста, граничащего с отрочеством. Маленькие чудовища по пути присоединялись к нам и шли за нами, с интересом наблюдая своими огромными глазами человека с другой планеты, — они хорошо знали, кто я такой; и когда мы обходили последние отделения, нас сопровождала уже целая толпа, хотя большинство ребятишек еще с утра разбежалось по садам.

Всего жило в этом доме около трехсот детей различных возрастов. Я спросил Нэллу, почему в «домах детей» все возрасты соединяются вместе, а не отделяются каждый в особом доме, что значительно облегчило бы разделение труда между воспитателями и упростило бы всю их работу.

— Потому что тогда не было бы действительного воспитания, — отвечала мне Нэлла. — Чтобы получить воспитание для общества, ребенок должен жить в обществе. Всего больше жизненного опыта и знаний дети усваивают друг у друга. Изолировать один возраст от другого — значило бы создавать для них одностороннюю и узкую жизненную среду, в которой развитие будущего человека должно идти медленно, вяло и однообразно. И для прямой активности различие возрастов

дает наибольший простор. Старшие дети — наши лучшие помощники в уходе за маленькими. Нет, мы не только сознательно соединяем все детские возрасты, но и воспитателей в каждом детском доме стараемся подобрать самых различных возрастов и различных практических специальностей.

— Однако в этом доме дети распределены по отделениям сообразно с возрастом, это как будто не согласуется с тем, что вы говорите?

— Дети собираются по отделениям только для того, чтобы спать, завтракать, обедать, тут, конечно, нет надобности смешивать различные возрасты. Но для игр и занятий они постоянно группируются так, как это им самим нравится. Даже когда бывают какие-нибудь чтения, беллетристические или научные, для детей одного отделения, в аудиторию всегда набивается масса ребятшек всех других отделений. Дети сами выбирают себе свое общество и сами любят сходиться с детьми других возрастов, а особенно со взрослыми.

— Нэлла, — сказал в это время, выходя из толпы, один мальчик, — Эста унесла мою лодочку, которую я сам сделал; возьми лодочку у нее и отдай мне.

— А она где? — спросила Нэлла.

— Она убежала к пруду спускать лодочку на воду, — объяснил ребенок.

— Ну, у меня сейчас нет времени идти туда; пусть кто-нибудь из старших детей идет с тобой и убедит Эсту не обижать тебя. А всего лучше иди туда один и помогай ей спускать лодочку; нет ничего удивительного, что лодочка ей понравилась, если сделана хорошо.

Ребенок ушел, а Нэлла обратилась к остальным:

— А вы, детки, хорошо бы сделали, если бы оставили нас одних. Иностранцу едва ли приятно, что на него таращится сотня детских глаз. Представь себе, Эльви, что на тебя внимательно смотрит целая толпа иностранцев. Что бы ты тогда сделал?

— Я бы убежал, — храбро заявил ближайший из толпы, которого она назвала. И все дети в ту же минуту со смехом разбежались. Мы вышли в сад.

— Да, вот посмотрите, какова сила прошлого, — с улыбкой сказала воспитательница. — Казалось бы, коммунизм у нас полный, отказывать детям почти никогда и ни в чем не приходится, — откуда взяться чувству личной собственности? А ребенок приходит и заявляет: «моя» лодочка, «я сам» делал. И это очень часто: ино-

гда дело доходит и до драки. Ничего не поделаешь — общий закон жизни: развитие организма сокращенно повторяет развитие вида, развитие личности таким же образом повторяет развитие общества. Самоопределение ребенка среднего и старшего возраста в большинстве случаев имеет такой смутно-индивидуалистический характер. Приближение половой зрелости сначала еще усиливает этот оттенок. Только в юношеском возрасте социальная среда настоящего окончательно побеждает остатки прошлого.

— А вы знакомите детей с этим прошлым? — спросил я.

— Конечно, знакомим: и они очень любят разговоры и рассказы о старых временах. Сначала для них это сказки, красивые, немножко страшные сказки о другом мире, далеком и странном, но пробуждающем своими картинами борьбы и насилия неясные отзвуки в атавистической глубине детских инстинктов. Только впоследствии, преодолевая живые остатки прошлого в своей собственной душе, ребенок научается яснее воспринимать связь времен, и картины-сказки становятся для него действительностью истории, преобразуются в живые звенья живой непрерывности.

Мы шли по аллеям обширного сада. Временами нам попадались группы детей, занятых то играми, то рытьем канавок, то работой с какими-нибудь ремесленными инструментами, то постройкой беседок, то просто оживленным разговором. Все они с интересом обращались на меня, но никто не шел за нами: по-видимому, все были предупреждены. Большинство встречавшихся групп было смешанного возраста; во многих было по одному, по двое взрослых.

— В вашем доме довольно много воспитателей, — заметил я.

— Да, особенно если в числе их считать всех детей старшего возраста, как это по справедливости следует. Но воспитателей-специалистов у нас здесь всего трое; остальные взрослые, которых вы видите, это большей частью матери и отцы, временно поселяющиеся у нас около своих детей, или молодые люди, желающие изучить дело воспитания.

— Что же, все желающие родители могут здесь поселиться, чтобы жить со своими детьми?

— Да, разумеется; и некоторые из матерей живут здесь по нескольку лет. Но большинство их приезжает время от времени на неделю, на две, на месяц. Отцы

живут здесь реже. В нашем доме всего 60 отдельных комнат для родителей и для тех детей, которые ищут уединения, и я не помню случая, чтобы этих комнат не хватало.

— Значит, и дети иногда отказываются жить в общих помещениях?

— Да, дети старшего возраста нередко предпочитают жить отдельно. В этом сказывается отчасти тот неопределенный индивидуализм, о котором я вам говорила, отчасти же, особенно у детей, склонных сильно углубляться в научные занятия, просто стремление отстранить все, что развлекает и рассеивает внимание. Ведь и из числа взрослых у нас любят жить совершенно отдельно главным образом те, кто всего больше занимается научными исследованиями или художественным творчеством.

В этот момент впереди себя на небольшой полянке мы заметили ребенка, на мой взгляд, лет шести или семи, который с палкой в руках гонялся за каким-то животным. Мы ускорили шаги; ребенок не обращал на нас внимания. В тот момент, как мы подошли, он настиг свою добычу — это оказалось нечто вроде большой лягушки — и сильно ударил ее палкой. Животное медленно поползло по траве с перешибленной лапой.

— Зачем ты это сделал, Альдо? — спокойно спросила Нэлла.

— Я никак не мог ее поймать, она все убегала, — объяснил мальчик.

— А ты знаешь, что ты сделал? Ты причинил лягушке боль и переломил ей лапку. Дай сюда палку, я тебе объясню это.

Мальчик подал тросточку Нэлле, и она быстрым движением сильно ударила его по руке. Мальчик вскрикнул.

— Тебе больно, Альдо? — все так же спокойно спросила воспитательница.

— Очень больно, злая Нэлла! — отвечал он.

— А лягушку ты ударил сильнее этого. Я только ушибла тебе руку, а ты ей сломал лапку. Ей не только гораздо больнее, чем тебе, но она теперь не может бегать и прыгать, ей нельзя будет находить пищу, и она умрет с голоду или ее загрызут злые животные, от которых она не может убежать. Что ты об этом думаешь, Альдо?

Ребенок стоял со слезами боли на глазах, придер-

живая ушибленную руку другой рукой. Но он задумался. Через минуту он сказал:

— Надо починить ей лапку.

— Вот это верно, — сказал Нэтти. — Дай, я научу тебя, как это сделать.

Они тотчас поймали раненое животное, которое успело отползти только на несколько шагов. Нэтти вынул свой платок и разорвал его на полоски, а Альдо по его указанию принес ему несколько тонких щечочек. Затем оба, с серьезностью истинных детей, занятых очень важным делом, принялись устраивать плотную укрепляющую повязку на сломанную лапку лягушки.

Вскоре я и Нэтти собрались уходить домой.

— Да, вот что, — вспомнила Нэлла, — сегодня вечером вы могли бы застать у нас вашего старого друга Энно. Он будет читать детям старшего возраста о планете Венера.

— Значит, он живет в этом же городе? — спросил я.

— Нет, обсерватория, в которой он работает, лежит в трех часах пути отсюда. Но он очень любит детей и не забывает меня, свою старую воспитательницу. Поэтому он часто приезжает сюда и каждый раз рассказывает детям что-нибудь интересное.

Вечером, в назначенный час, мы, разумеется, опять явились в «дом детей», в большую аудиторию, где собрались уже все дети, кроме совсем маленьких, и несколько десятков взрослых. Энно радостно меня встретил.

— Я выбрал тему как будто для вас, — шутливо говорил он. — Вас огорчает отсталость вашей планеты и злые нравы вашего человечества. Я буду рассказывать о такой планете, где высшие представители жизни пока только динозавры и летучие ящеры, а их обычаи хуже, чем у вашей буржуазии. Ваш каменный уголь там не горит в огне капитализма, а еще только растет в виде гигантских лесов. Поедем когда-нибудь туда вместе охотиться на ихтиозавров? Это тамошние Ротшильды и Рокфеллеры, правда, много умереннее ваших земных, но зато гораздо менее культурные. Там царство самого первоначального накопления, забытого в «Капитале» вашего Маркса... Ну, Нэлла уже хмурится на мою легкомысленную болтовню. Сейчас начинаю.

Он увлекательно описывал далекую планету с ее глубокими бурными океанами и горами громадной высоты, с ее жгучим солнцем и густыми белыми облаками, с ее страшными ураганами и грозами, с ее безобраз-

ными чудовищами и величественными исполинскими растениями. Все это он иллюстрировал живыми фотографиями на экране, занимавшем целую стену залы. Голос Энно один был слышен во мраке; глубокое внимание царило в зале. Когда он, описывая приключения первых путешественников в этом мире, рассказал, как один из них ручной гранатой убил исполинскую ящерицу, произошла странная маленькая сцена, не замеченная большинством публики. Альдо, все время державшийся около Нэллы, вдруг тихо заплакал.

— Что с тобой? — наклонившись к нему, спросила Нэлла.

— Мне жаль чудовище. Ему было очень больно, и оно совсем умерло, — тихо отвечал мальчик.

Нэлла обняла ребенка и стала что-то ему объяснять вполголоса, но он не скоро еще успокоился.

А Энно между тем рассказывал о неисчислимых естественных богатствах прекрасной планеты, о ее гигантских водопадах в сотни миллионов лошадиных сил, о благородных металлах, найденных прямо на поверхности ее гор, о богатейших залежах радия на глубине нескольких сот метров, о запасах энергии на сотни тысяч лет. Я еще не настолько владел языком, чтобы чувствовать красоту изложения, но самые картины приковывали мое внимание так же всецело, как и внимание детей. Когда Энно кончил и зала осветилась, мне стало даже немного грустно, как детям бывает жаль, когда окончена красивая сказка.

По окончании лекции начались вопросы и возражения со стороны слушателей. Вопросы были разнообразны, как сами слушатели; они касались то подробностей в картинах природы, то способов борьбы с этой природой. Был такой вопрос: через сколько времени на Венере должны были бы из ее собственной природы появиться люди и какое должно у них быть устройство тела?

Возражения, большей частью наивные, но иногда и довольно остроумные, направленные главным образом против того вывода Энно, что в настоящую эпоху Венера — планета очень неудобная для людей и едва ли скоро удастся использовать сколько-нибудь значительно ее великие богатства. Юные оптимисты энергично восставали против этого положения, выражавшего взгляды большинства исследователей. Энно указывал, что жгучее солнце и влажный воздух с массой бактерий создают для людей опасность многих болезней,

что испытали на себе все путешественники, побывавшие на Венере; что ураганы и грозы затрудняют работу и угрожают жизни людей, и многое другое. Дети находили, что перед подобными препятствиями странно отступать, когда надо овладеть такой прекрасной планетой. Для борьбы с бактериями и болезнями надо как можно скорее послать туда тысячу врачей, для борьбы с ураганами и грозами — сотни тысяч строителей, которые проведут, где надо, высокие стены и поставят громоотводы. «Пусть девять десятых погибнет, — говорил один пылкий мальчик лет двенадцати, — тут есть из-за чего умереть, лишь бы была одержана победа!» И по его горящим глазам было видно, что сам он, конечно, не отступил бы перед тем, чтобы оказаться в числе этих девяти десятых.

Энно мягко и спокойно разрушал карточные домики своих противников; но было видно, что в глубине души он сочувствует им и что в его горячей юной фантазии скрываются такие же решительные планы, разумеется более обдуманые, но, может быть, не менее самоотверженные. Он сам еще не был на Венере, и по его увлечению было ясно, что ее красота и ее опасности сильно притягивают его.

Когда беседа закончилась, Энно отправился со мною и Нэтти. Он решил пробыть еще день в этом городе и предложил мне завтра вместе пойти в музей искусства. Нэтти был занят — его вызывали в другой город на большое совещание врачей.

IV. Музей искусства

— Вот уж никак не предполагал, что у вас существовали особые музеи художественных произведений, — сказал я Энно по дороге в музей. — Я думал, что скульптурные и картинные галереи — особенность именно капитализма с его показной роскошью и стремлением грубо нагромождать богатства. В социалистическом же обществе, я предполагал, искусство рассеивается повсюду рядом с жизнью, которую оно украшает.

— В этом вы и не ошибались, — отвечал Энно. — Большая часть произведений искусства предназначена у нас всегда для общественных зданий — тех, в которых мы обсуждаем наши общие дела, тех, в которых учимся и исследуем, в которых отдыхаем... Гораздо меньше мы украшаем наши фабрики и заводы:

эстетика могучих машин и их стройного движения приятна нам в ее чистом виде, и очень мало таких произведений искусства, которые вполне гармонировали бы с нею, нисколько не рассеивая и не ослабляя ее впечатлений. Всего меньше мы украшаем наши дома, в которых большей частью живем очень мало. А наши музеи искусства — это научно-эстетические учреждения, это школы для изучения того, как развиваются искусства или, вернее, как развивается человечество в его художественной деятельности.

Музей находился на маленьком острове озера, который узким мостом соединялся с берегом. Самое здание, удлиненным четырехугольником окружавшее сад с высокими фонтанами и множеством синих, белых, черных, зеленых цветов, было изящно разукрашено снаружи и полно света внутри.

Там действительно не было такого сумбурного скопления статуй и картин, как в больших музеях Земли. Передо мной в нескольких сотнях образцов прошла цепь развития пластических искусств, от первобытных грубых произведений доисторической эпохи до технически идеальных произведений последнего века. И от начала до конца всюду чувствовалась печать той живой внутренней цельности, которую люди называют «гением». Очевидно, это были лучшие произведения всех эпох.

Чтобы вполне ясно понимать красоту другого мира, надо глубоко знать его жизнь, а чтобы дать другим понятие об этой красоте, необходимо быть самому органически к ней причастным... Вот почему для меня невозможно описать то, что я там видел; я могу дать только намеки, только отрывочные указания на то, что меня всего более поразило.

Основной мотив марсианской, как и нашей, скульптуры — это прекрасное человеческое тело. Различия физического сложения марсиан от сложения земных людей в общем невелики; если не считать резкой разницы в величине глаз и отчасти, значит, в устройстве черепа, то различия эти не превосходят тех, какие существуют между земными расами. Я не сумел бы точно объяснить их — для этого я слишком плохо знаю анатомию; но мой глаз легко привыкал к ним и воспринимал их почти сразу не как безобразия, а как оригинальность.

Я заметил, что мужское и женское сложения сходны в большей мере, чем у большинства земных племен:

сравнительно широкие плечи женщин, не так резко, благодаря некоторой полноте выступающая мускулатура мужчин и их менее узкий таз сглаживают разницу. Это, впрочем, относится главным образом к последней эпохе — к эпохе свободного человеческого развития: в статуях капиталистического периода половые различия выражены сильнее. Очевидно, домашнее рабство женщины и лихорадочная борьба за существование мужчины искажают их тело в двух несходных направлениях.

Ни на минуту не исчезало во мне то ясное, то смутное сознание, что передо мною образы чужого мира; оно придавало всем впечатлениям какую-то странную, полупризрачную окраску. И даже прекрасное женское тело этих статуй и картин вызывало во мне непонятное чувство, как будто совсем непохожее на знакомое мне любовно-эстетическое влечение, а похожее скорее на те неясные предчувствия, которые волновали меня когда-то давно, на границе детства и юности.

Статуи ранних эпох были одноцветные, как у нас, позднейшие — естественных цветов. Это меня не удивило. Я всегда думал, что отклонение от действительности не может быть необходимым элементом искусства, что оно даже антихудожественно, когда уменьшает богатство воприятия, как одноцветность скульптуры, что оно в этом случае не помогает, а мешает художественной идеализации, концентрирующей жизнь.

В статуях и картинах древних эпох, как в нашей античной скульптуре, преобладали образы безмятежной гармонии, свободной от всякого напряжения. В средние, переходные эпохи выступает иной характер: порыв, страсть, волнуемое стремление, иногда смягченное до степени блуждания мечты, эротической или религиозной, иногда резко прорывающееся в предельном напряжении неуравновешенных сил души и тела. В социалистическую эпоху основной характер опять меняется: это гармоничное движение, спокойно-уверенное проявление силы, действие, чуждое болезненности усилия, стремление, свободное от волнения, живая активность, проникнутая сознанием своего стройного единства и своей непобедимой разумности.

Если идеальная женская красота древнего искусства выражала беспредельную возможность любви, а идеальная красота средних веков и времен Возрождения — неутолимую жажду любви, мистическую или чувственную, то здесь, в идеальной красоте другого

идущего впереди нас мира воплощалась сама любовь в ее спокойном и гордом самосознании, сама любовь — ясная, светлая, всепобеждающая...

Для позднейших художественных произведений, как и для древних, характерна чрезвычайная простота и единство мотива. Изображаются очень сложные человеческие существа с богатым и стройным жизненным содержанием, и при этом выбираются такие моменты их жизни, когда вся она сосредоточивается в одном каком-нибудь чувстве, стремлении... Любимые темы новейших художников — экстаз творческой мысли, экстаз любви, экстаз наслаждения природой, спокойствие добровольной смерти, — сюжеты, глубоко очерчивающие сущность великого племени, которое умеет жить со всей полнотой и напряженностью, умирать сознательно и с достоинством.

Отдел живописи и скульптуры составлял одну половину музея, другая была посвящена всецело архитектуре. Под архитектурой марсиане понимают не только эстетику зданий и больших инженерных сооружений, но также эстетику мебели, орудий, машин, вообще эстетику всего материально-полезного. Какую громадную роль в их жизни играет это искусство, о том можно было судить по особенной полноте и тщательности составления этой коллекции. От первобытных пещерных жилищ с их грубо украшенной утварью до роскошных общественных домов из стекла и алюминия с их внутренней обстановкой, исполненной лучшими художниками, до гигантских заводов с их грозно-красивыми машинами, до величайших каналов с их гранитными набережными и воздушными мостами, — тут были представлены все типические формы в виде картин, чертежей, моделей и особенно стереограмм в больших стереоскопах, где все воспроизводилось с полной иллюзией тождества. Особое место занимала эстетика садов, полей и парков; и как ни была непривычна для меня природа планеты, но даже мне часто была понятна красота тех сочетаний цветов и форм, которые создавались из этой природы коллективным гением племени с большими глазами.

В произведениях прежних эпох очень часто, как и у нас, изящество достигалось за счет удобства, украшения вредили прочности, искусство совершало насилие над прямым полезным назначением предметов. Ничего подобного мой глаз не улавливал в произведениях новейшей эпохи — ни в ее мебели, ни в ее орудиях,

ни в ее сооружениях. Я спросил Энно, допускает ли их современная архитектура уклонение от практического совершенства предметов ради их красоты.

— Никогда, — отвечал Энно, — это была бы фальшивая красота, искусственность, а не искусство.

В досоциалистические времена марсиане ставили памятники своим великим людям; теперь они ставят памятники только великим событиям; таким, как первая попытка достигнуть Земли, закончившаяся гибелью исследователей, таким, как уничтожение смертельной эпидемической болезни, таким, как открытие разложения и синтеза всех химических элементов. Ряд памятников был представлен в стереограммах того же отдела, где находились гробницы и храмы (у марсиан раньше существовали и религии). Одним из последних памятников великим людям был памятник того инженера, о котором рассказывал мне Мэнни. Художник сумел ясно представить силу души человека, победоносно руководившего армией труда в борьбе с природой и гордо отвергнувшего трусливый суд нравственности над его поступками. Когда я в невольной задумчивости остановился перед панорамой памятника, Энно тихо произнес несколько стихов, выражавших сущность душевной трагедии героя.

— Чьи это стихи? — спросил я.

— Мои, — ответил Энно, — я написал их для Мэнни.

Я не мог вполне судить о внутренней красоте стихов на чуждом еще для меня языке; но несомненно, что их мысль была ясна, ритм очень стройный, рифма звучная и богатая. Это дало новое направление моим мыслям.

— Значит, у вас, в поэзии еще процветают строгий ритм и рифма?

— Конечно, — с оттенком удивления сказал Энно. — Разве это кажется вам некрасивым?

— Нет, вовсе не то, — объяснил я, — но у нас распространено мнение, что эта форма была порождена вкусами господствующих классов нашего общества, как выражение их похотливости и пристрастия к условностям, сковывающим свободу художественной речи. Из этого делают вывод, что поэзия будущего, поэзия эпохи социализма должна отвергнуть и забыть эти стеснительные законы.

— Это совершенно несправедливо, — горячо возразил Энно. — Правильно ритмическое кажется нам красивым вовсе не из пристрастия к условному, а потому,

что оно глубоко гармонирует с ритмической правильностью процессов нашей жизни и сознания. А рифма, завершающая ряд многообразий в одинаковых конечных аккордах, разве она не находится в таком же глубоком родстве с той жизненной связью людей, которая их внутреннее многообразие увеличивает единством наслаждения в искусстве? Без ритма вообще нет художественной формы. Где нет ритма звуков, там должен быть, и притом тем строже, ритм идей... А если рифма действительно феодального происхождения, то ведь это можно сказать и о многих других хороших и красивых вещах.

— Но ведь рифма в самом деле стесняет и затрудняет выражение поэтической идеи?

— Так что же из этого? Ведь это стеснение вытекает из цели, которую свободно ставит себе художник. Оно не только затрудняет, но и совершенствует выражение поэтической идеи, и только ради этого оно и существует. Чем сложнее цель, тем труднее путь к ней и, следовательно, тем больше стеснений на этом пути. Если вы хотите построить красивое здание, сколько правил техники и гармонии будут определять и, значит, «стеснять» вашу работу! Вы свободны в выборе целей — это и есть единственная человеческая свобода. Но раз вы желаете цели, тем самым вы желаете и средств, которыми она достигается.

Мы сошли в сад отдохнуть от массы впечатлений. Был уже вечер, ясный и мягкий весенний вечер. Цветы начинали свертывать свои чашечки и листья, чтобы закрыть их на ночь; эта общая особенность растений Марса, порожденная его холодными ночами. Я возобновил начатый разговор.

— Скажите, какие роды беллетристики у вас теперь преобладают?

— Драма, особенно трагедия, и поэзия картин природы, — ответил Энно.

— В чем же содержание вашей трагедии? Где материал для нее в вашем счастливом мирном сосуществовании?

— Счастливое? мирное? откуда вы это взяли? У нас царствует мир между людьми, это правда, но нет мира со стихийностью природы, и не может его быть. А это такой враг, в самом поражении которого всегда есть новая угроза. За последний период нашей истории мы в десятки раз увеличили эксплуатацию нашей планеты, наша численность возрастает, и еще несравненно

быстрее растут наши потребности. Опасность истощения природных сил и средств уже не раз вставала перед нами то в одной, то в другой области труда. До сих пор нам удавалось преодолеть ее, не прибегая к ненавистному сокращению жизни — в себе и в потомстве; но именно теперь борьба принимает особенно серьезный характер.

— Я никак не думал, что при нашем техническом и научном могуществе возможны такие опасности. Вы говорите, что это уже случилось в вашей истории?

— Еще семьдесят лет тому назад, когда иссякли запасы каменного угля, а переход на водяную и электрическую энергию был далеко еще не завершен, нам, чтобы выполнить громадную перестройку машин, пришлось истребить значительную долю дорогих нам лесов нашей планеты, что на десятки лет обезобразило ее и ухудшило климат. Потом, когда мы оправились от этого кризиса, лет двадцать тому назад, оказалось, что приходят к концу железные руды. Началось спешное изучение твердых сплавов алюминия, и громадная доля технических сил, которыми мы располагали, была направлена на электрическое добывание алюминия из почвы. Теперь, по вычислениям статистиков, нам угрожает через тридцать лет недостаток пищи, если до того времени не будет выполнен синтез белковых веществ из элементов.

— А другие планеты? — возразил я. — Разве там вы не можете найти, чем пополнить недостаток?

— Где? Венера, по-видимому, еще недоступна. Земля? Она имеет свое человечество, и вообще до сих пор не выяснено, насколько удастся нам использовать ее силы. На переезд туда нужна каждый раз громадная затрата энергии; а запасы радирующей материи, необходимой для этого, по словам Мэнни, который недавно рассказывал мне о своих последних исследованиях, очень невелики на нашей планете. Нет, трудности повсюду значительны; и чем теснее наше человечество смыкает свои ряды для завоевания природы, тем теснее смыкаются и стихии для мести за победы.

— Но всегда же достаточно, например, сократить размножение, чтобы поправить дело?

— Сократить размножение? Да ведь это и есть победа стихий. Это отказ от безграничного роста жизни, это неизбежная ее остановка на одной из ближайших ступеней. Мы побеждаем, пока нападаем. Когда же мы откажемся от роста нашей армии, это будет значить,

что мы уже осаждены стихиями со всех сторон. Тогда станет ослабевать вера в нашу коллективную силу, в нашу великую общую жизнь. А вместе с этой верой будет теряться и смысл жизни каждого из нас, потому что в каждом из нас, маленьких клеток великого организма, живет целое, и каждый живет этим целым. Нет, сократить размножение — это последнее, на что мы бы решились; а когда это случится помимо нашей воли, то оно будет началом конца.

— Ну хорошо, я понимаю, что трагедия целого для вас всегда существует, по крайней мере, как угрожающая возможность. Но пока победа остается еще за человечеством, личность достаточно защищена от этой трагедии коллективностью; даже когда наступает прямая опасность, гигантские усилия и страдания напряженной борьбы так ровно распределяются между бесчисленными личностями, что не могут серьезно нарушить их спокойного счастья. А для такого счастья у вас, кажется, есть все, что надо.

— Спокойное счастье! Да разве может личность не чувствовать сильно и глубоко потрясений жизни целого, в котором ее начало и конец? И разве не возникает глубоких противоречий жизни из самой ограниченности отдельного существа по сравнению с его целым, из самого бессилия вполне слиться с этим целым, вполне растворить в нем свое сознание и охватить его своим сознанием? Вам не понятны эти противоречия? Это потому, что они затмнены в вашем мире другими, более близкими и грубыми. Борьба классов, групп, личностей отнимает у вас идею целого, а с ней и то счастье, и те страдания, которые она приносит. Я видел ваш мир; я не мог бы вынести десятой доли того безумия, среди которого живут ваши братья. Но именно поэтому я не взялся бы решить: кто из нас ближе к спокойному счастью: чем жизнь стройнее и гармоничнее, тем мучительнее в ней неизбежные диссонансы.

-- Но скажите, Энно, разве, например, вы не счастливый человек? Молодость, наука, поэзия и, наверное, любовь... Что могли вы испытать такого тяжелого, чтобы говорить настолько горячо о трагедии жизни?

— Это очень удачно, — засмеялся Энно, и странно звучал его смех. — Вы не знаете, что веселый Энно один раз уже решил было умереть. И если бы Мэнни всего на один день опоздал написать ему шесть слов, расстроивших все расчеты: «Не хотите ли ехать на Землю?» — то у вас не было бы вашего веселого спутника.

Но сейчас я не сумел бы объяснить вам всего этого. Вы сами увидите потом, что если есть у нас счастье, так только не то мирное и спокойное счастье, о котором вы говорили.

Я не решился идти дальше в вопросах. Мы встали и вернулись в музей. Но я не мог больше систематически осматривать коллекции: мое внимание было рассеяно, мысли ускользали. Я остановился в отделе скульптуры перед одной из новейших статуй, изображавших прекрасного мальчика. Черты его лица напоминали Нэтти; но всего больше меня поразило то искусство, с которым художник сумел в несложившемся теле, в незаконченных чертах, в тревожных, пытливо вглядывающихся глазах ребенка воплотить зарождающуюся гениальность. Я долго неподвижно стоял перед статуей, и все остальное успело исчезнуть из моего сознания, когда голос Энно заставил меня очнуться.

— Это вы, — сказал он, указывая на мальчика, — это ваш мир. Это будет чудесный мир, но он еще в детстве; и посмотрите, какие смутные грезы, какие тревожные образы волнуют его сознание... Он в полусне, но он проснется, я чувствую это, я глубоко верю в это!

К радостному чувству, которое вызвали во мне эти слова, примешивалось странное сожаление:

«Зачем не Нэтти сказал это!»

V. В лечебнице

Я возвратился домой очень утомленный, а после двух бессонных ночей и целого дня полной неспособности к работе я решил опять отправиться к Нэтти, так как мне не хотелось обращаться к незнакомому врачу химического городка. Нэтти с утра работал в лечебнице; там я и нашел его за приемом проходящих больных.

Когда Нэтти увидал меня в приемной, он тотчас подошел ко мне, внимательно посмотрел на мое лицо, взял за руку и отвел в отдельную маленькую комнату, где с мягким голубым светом смешивался легкий, приятный запах незнакомых мне духов, и тишина ничем не нарушалась. Там он удобно усадил меня в глубокое кресло и сказал:

— Ни о чем не думайте, ни о чем не заботьтесь. На сегодня я беру все это себе. Отдохните, я потом приду.

Он ушел, а я ни о чем не думал, ни о чем не беспокоился, так как он взял на себя все мысли и заботы. Это

было очень приятно, и через несколько минут я заснул. Когда я очнулся, Нэтти опять стоял передо мной и с улыбкой смотрел на меня.

— Вам теперь лучше? — спросил он.

— Я совершенно здоров, а вы — гениальный врач, — отвечал я. — Идите к своим больным и не беспокойтесь обо мне.

— Моя работа на сегодня уже кончена. Если хотите, я покажу вам нашу лечебницу, — предложил Нэтти.

Мне это было очень интересно, и мы отправились в обход по всему обширному красивому зданию.

Среди больных преобладали хирургические и нервные. Большая часть хирургических были жертвы несчастных случаев с машинами.

— Неужели у вас на заводах и фабриках недостаточно ограждений? — спросил я Нэтти.

— Абсолютных ограждений, при которых несчастные случаи были бы невозможны, почти не существует. Но здесь собраны эти больные из района с населением больше двух миллионов человек, — на такой район несколько десятков пострадавших не так много. Чаще всего это новички, еще не освоившиеся с устройством машин, на которых работают: у нас ведь все любят переходить из одной области производства в другую. Специалисты, ученые и художники особенно легко становятся жертвами своей рассеянности: внимание им часто изменяет, они задумываются или забываются в созерцании.

— А нервные больные — это, конечно, главным образом от переутомления?

— Да, таких немало. Но не меньше и болезней, вызванных волнениями и кризисами половой жизни, а также другими душевными потрясениями, например, смертью близких людей.

— А здесь есть душевнобольные с затемненным или спутанным сознанием?

— Нет, таких здесь нет; для них есть отдельные лечебницы. Там нужны особые приспособления для тех случаев, когда больной может причинить вред себе или другим.

— В этих случаях и у вас прибегают к насилию над больными?

— Настолько, насколько это безусловно необходимо, разумеется.

— Вот уже второй раз я встречаюсь с насилием в вашем мире. Первый раз это было в «доме детей». Скажите: вам, значит, не удастся вполне устранить эти

элементы из вашей жизни, вы принуждены их сознательно допускать?

— Да, как мы допускаем болезнь и смерть или, пожалуй, как горькое лекарство. Какое же разумное существо откажется от насилия, например, для самозащиты?

— Знаете, для меня это значительно уменьшает пропасть между нашими мирами.

— Но ведь их главное различие вовсе не в том заключается, что у вас много насилия и принуждения, а у нас мало. Главное различие в том, что у вас то и другое облекается в законы, внешние и внутренние, в нормы права и нравственности, которые господствуют над людьми и постоянно тяготеют над ними. У нас же насилие существует либо как проявление болезни, либо как разумный поступок разумного существа. В том и другом случае ни из него, ни для него не создаются никаких общественных законов и норм, никаких личных или безличных повелений.

— Но установлены же у вас правила, по которым вы ограничиваете свободу ваших душевнобольных или ваших детей?

— Да, чисто научные правила ухода за больными и педагогики. Но, конечно, и в этих технических правилах вовсе не предусматриваются ни все случаи необходимости насилия, ни все способы его применения, ни его степень, — все это зависит от совокупности действительных условий.

— Но если так, то здесь возможен настоящий произвол со стороны воспитателей или тех, кто ухаживает за больными?

— Что означает это слово — «произвол»? Если оно означает ненужное, излишнее насилие, то оно возможно только со стороны больного человека, который сам подлежит лечению. А разумный и сознательный человек, конечно, не способен на это.

Мы миновали комнаты больных, операционные, комнаты лекарств, квартиры ухаживающих за больными и, поднявшись в верхний этаж, прошли в большую красивую залу, через прозрачные стены которой открывался вид на озеро, лес и отдаленные горы. Комнату украшали высокохудожественные статуи и картины, мебель была роскошна и изящна.

— Это комната умирающих, — сказал Нетти.

— Вы приносите сюда всех умирающих? — спросил я.

— Да, или они сами сюда приходят,— отвечал Нетти.

— Но разве ваши умирающие могут еще сами ходить? — удивился я.

— Те, которые физически здоровы, конечно, могут. Я понял, что речь шла о самоубийцах.

— Вы предоставляете самоубийцам эту комнату для выполнения их дела?

— Да, и все средства спокойной, безболезненной смерти.

— И при этом никаких препятствий?

— Если сознание пациента ясно и его решение твердо, то какие же могут быть препятствия? Врач, конечно, сначала предлагает больному посоветоваться с ним. Некоторые соглашаются на это, другие нет.

— И самоубийства очень часты между вами?

— Да, особенно среди стариков. Когда чувство жизни слабеет и притупляется, тогда многие предпочитают не ждать естественного конца.

— Но вам приходится сталкиваться и с самоубийством молодых людей, полных сил и здоровья?

— Да, бывает и это, но это нечасто. На моей памяти в этой лечебнице было два таких случая; в третьем случае попытку удалось остановить.

— Кто же были эти несчастные и что привело их к гибели?

— Первый был мой учитель, знаменитый врач, который внес в науку много нового. У него была чрезмерно развита способность чувствовать страдания других людей. Это направило его ум и энергию в сторону медицины, но это и погубило его. Он не вынес. Свое душевное состояние он скрывал от всех так хорошо, что крушение произошло совершенно неожиданно. Это случилось после тяжелой эпидемии, возникшей при работах по осушению одного морского залива, вследствие разложения нескольких сот миллионов килограммов погибшей при этом рыбы. Болезнь была мучительна, как ваша холера, но еще гораздо опаснее и в девяти случаях из десяти оканчивалась смертью. Благодаря этой слабой возможности выздоровления врачи не могли даже исполнять просьб своих больных о скорой и легкой смерти: ведь нельзя считать вполне сознательным человека, захваченного острой лихорадочной болезнью. Мой учитель безумно работал во время эпидемии, и его исследования помогли довольно

скоро покончить с нею. Но когда это было сделано, он отказался жить.

— Сколько лет ему было тогда?

— По нашему счету — около пятидесяти. У нас это еще совсем молодой возраст.

— А другой случай?

— Это была женщина, у которой умерли муж и ребенок одновременно.

— И наконец, третий случай?

— Его мог бы рассказать вам только сам товарищ, его переживший.

— Это правда, — сказал я. — Но объясните мне другое: почему у вас, марсиан, так долго сохраняется молодость? Особенность ли это вашей расы или результат лучших условий жизни, или еще что-нибудь?

— Раса тут ни при чем: лет двести тому назад мы были вдвое менее долговечны. Лучшие условия жизни? Да, в значительной мере именно это. Но не только это. Главную роль тут играет применяемое нами обновление жизни.

— Это что же такое?

— Вещь, в сущности, очень простая, но вам она, вероятно, покажется странной. А между тем в вашей науке уже имеются все данные для этого метода. Вы знаете, что природа, чтобы повысить жизнеспособность клеток или организмов, постоянно дополняет одну особь другою. Для этой цели одноклеточные существа, когда их жизнеспособность понизится в однообразной обстановке, сливаются по два в одно, и только этим путем возвращается в полной мере способность их к размножению — «бессмертие» их протоплазмы. Такой же смысл имеет и половое скрещивание высших растений и животных: здесь также соединяются жизненные элементы двух различных существ, чтобы получился более совершенный зародыш третьего. Наконец, вы знаете уже и применение кровяных сывороток для передачи от одного существа другому элементов жизнеспособности, так сказать, по частям — в виде, например, повышенного сопротивления той или другой болезни. Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови и между двумя человеческими существами, из которых каждое может передать другому массу условий повышения жизни. Это просто одновременное переливание крови от одного человека другому и обратно, путем двойного соединения соответственными приборами их кровеносных сосудов. При соблюдении всех предосто-

рожностей это совершенно безопасно; кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани.

— И таким образом можно возвращать молодость старикам, вливая в их жилы юношескую кровь?

— Отчасти да, но не вполне, разумеется, потому что кровь не все в организме и она, в свою очередь, им перерабатывается. Поэтому, например, молодой человек не стареет от крови пожилого: то, что в ней есть слабого, старческого, быстро преодолевается молодым организмом, но в то же время из нее усваивается многое такое, чего не хватает этому организму; энергия и гибкость его жизненных отправлений также возрастают.

— Но если это так просто, то почему же наша земная медицина до сих пор не пользуется этим средством? Ведь она знает и переливание крови уж несколько сот лет, если не ошибаюсь.

— Не знаю, может быть, есть какие-нибудь особые органические условия, которые у вас лишают это средство его значения. А может быть, это просто результат господствующей у вас психологии индивидуализма, которая так глубоко отграничивает у вас одного человека от другого, что мысль об их жизненном слиянии для ваших ученых почти недоступна. Кроме того, у вас распространена такая масса болезней, отравляющих кровь, болезней, о которых сами больные часто не знают, а иногда и просто скрывают. Практикуемое в вашей медицине — теперь очень редко — переливание крови имеет какой-то филантропический характер: тот, у кого ее много, дает другому, у которого в ней есть острая нужда, вследствие, например, большого кровотечения из раны. У нас бывает, конечно, и это; но постоянно применяется другое — то, что соответствует всему нашему строю: товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом существовании...

VI. Работа и призраки

Впечатления первых дней, бурным потоком нахлынувшие на мое сознание, дали мне понятие о громадных размерах той работы, которая мне предстояла. Надо было прежде всего постигнуть этот мир, неизмеримо богатый и своеобразный в своей жизнен-

ной стройности. Надо было затем войти в него не в качестве интересного музейного экземпляра, а в качестве человека среди людей, работника среди работников. Только тогда могла быть выполнена моя миссия, только тогда я мог послужить началом действительной взаимной связи двух миров, между которыми я, социалист, находился на границе как бесконечно малый момент настоящего между прошлым и будущим.

Когда я уезжал из лечебницы, Нэтти сказал мне: «Не очень спешите!» Мне казалось, что он не прав. Надо было именно спешить, надо было пустить в ход все свои силы, всю свою энергию, потому что ответственность была страшно велика! Какую колоссальную пользу нашему старому, измученному человечеству, какое гигантское ускорение его развития, его расцвета должно было принести живое, энергичное влияние высшей культуры, могучей и гармоничной! И каждый момент замедления в моей работе мог отдалять это влияние... Нет, ждать, отдыхать было некогда.

И я очень много работал. Я знакомился с наукой и техникой нового мира, я напряженно наблюдал его общественную жизнь, я изучал его литературу. Да, тут было много трудного.

Их научные методы ставили меня в тупик: я механически усваивал их, убеждался на опыте, что применение их легко, просто и непогрешимо, а между тем я не понимал их, не понимал, почему они ведут к цели, где их связь с живыми явлениями, в чем их сущность. Я был точно те старые математики XVII века, неподвижная мысль которых органически не могла усваивать живой динамики бесконечно малых величин. Общественные собрания марсиан поражали меня своим напряженно-деловым характером. Были ли они посвящены вопросам науки, или вопросам организации работ, или даже вопросам искусства, — доклады и речи были страшно сжаты и кратки, аргументация определена и точна, никто никогда не повторялся и не повторял других. Решения собраний, чаще всего единогласные, выполнялись со сказочной быстротой. Решало собрание ученых одной специальности, что надо организовать такое-то научное учреждение; собрание статистиков труда, что надо устроить такое-то предприятие; собрание жителей города, что надо украсить его таким-то зданием, — немедленно появлялись новые цифры необходимого труда, публикуемые центральным бюро, приезжали по воздуху сотни и тысячи но-

вых работников, и через несколько дней или недель все было уже сделано, а новые работники исчезали неизвестно куда. Все это производило на меня впечатление как будто своеобразной магии, странной магии, спокойной и холодной, без заклинаний и мистических украшений, но тем более загадочной в своем сверхчеловеческом могуществе.

Литература нового мира, даже чисто художественная, не была также для меня ни отдыхом, ни успокоением. Ее образы были как будто несложны и ясны, но как-то внутренне чужды для меня. Мне хотелось глубже в них проникнуть, сделать их близкими и понятными, но мои усилия приводили к совершенно неожиданному результату: образы становились призрачными и одевались туманом.

Когда я шел в театр, то и здесь меня преследовало все то же чувство непонятного. Сюжеты были просты, игра превосходна, а жизнь оставалась далекой. Речи героев были так сдержанны и мягки, поведение так спокойно и осторожно, их чувства подчеркивались так мало, как будто они не хотели навязывать зрителю никаких настроений, как будто они были сплошные философы да еще, как мне казалось, сильно идеализированные. Только исторические пьесы из далекого прошлого давали мне сколько-нибудь знакомые впечатления, а игра актеров там была настолько же энергична и выражения личных чувств настолько же откровенны, как я привык видеть в наших театрах.

Было одно обстоятельство, которое, несмотря на все, привлекало меня в театр нашего маленького городка с особенной силой. Это именно то, что в нем вовсе не было актеров. Пьесы, которые я там видел, либо передавались оптическими и акустическими передаточными аппаратами из далеких больших городов, либо даже — и это чаще всего — были воспроизведением игры, которая была давно, иногда так давно, что сами актеры уже умерли. Марсиане, зная способы моментального фотографирования в естественных цветах, применяли их для того, чтобы фотографировать жизнь в движении, как это делается для наших кинематографов. Но они не только соединяли кинематограф с фотографом, как это начинают делать у нас на Земле, — пока еще весьма неудачно, — но они пользовались идеей стереоскопа и превращали изображения кинематографа в рельефные. На экране давалось одновременно два изображения — две половины стереограммы, а перед

каждым креслом зрительной залы был прикреплен соответствующий стереоскопический бинокль, который сливал два плоских изображения в одно, но всех трех измерений. Было странно видеть ясно и отчетливо живых людей, которые движутся, действуют, выражают свои мысли и чувства, и сознавать в то же время, что там ничего нет, а есть матовая пластинка и за нею — фонограф и электрический фонарь с часовым механизмом. Это было почти мистически странно и порождало смутное сомнение во всей действительности.

Все это, однако, не облегчало мне выполнения моей задачи — понять чужой мир. Мне, конечно, нужна была помощь со стороны. Но я все реже обращался к Мэнни за указаниями и объяснениями. Мне было неловко обнаруживать свои затруднения во всем их объеме. К тому же внимание Мэнни в это время было страшно занято одним важным исследованием из области добывания «минус-материи». Он работал неутомимо, часто не спал целые ночи, и мне не хотелось мешать ему и отвлекать его; а его увлечение работой было как будто живым примером, который невольно побуждал меня идти дальше в своих усилиях.

Остальные друзья между тем временно исчезли с моего горизонта. Нэтти уехал за несколько тысяч километров руководить устройством и организацией новой гигантской лечебницы в другом полушарии планеты. Энно был занят как помощник Стэрни в его обсерватории измерениями и вычислениями, необходимыми для новых экспедиций на Землю и Венеру, а также для экспедиций на Луну и Меркурий с целью их лучше сфотографировать и привезти образчики их минералов. С другими марсианами я близко не сходиллся, а ограничивался необходимыми расспросами и деловыми разговорами: трудно и странно было сближаться с чуждыми мне и высшими, чем я, существами.

С течением времени мне стало казаться, что работа моя идет, в сущности, недурно. Я все меньше нуждался в отдыхе и даже в сне. То, что я изучал, как-то механически легло и свободно стало укладываться в моей голове, и при этом ощущение было таково, словно голова совершенно пуста и в ней можно поместить еще очень, очень много. Правда, когда я пытался по старой привычке отчетливо формулировать для себя то, что узнавал, это мне большей частью не удавалось; но я находил, что это неважно, что мне не хватает только

выражений да каких-нибудь частности и мелочей, а общее понятие у меня имеется, и это главное.

Никакого живого удовольствия мне мои занятия уже не доставляли; ничто не вызывало во мне прежнего непосредственного интереса. «Что же, это вполне понятно, — думал я, — после всего, что я видел и узнал, меня трудно чем-нибудь еще удивить; дело не в том, чтобы это мне было приятно, а в том, чтобы овладеть всем, чем надо».

Только одно было непонятно: все труднее становилось сосредоточивать внимание на одном предмете. Мысли отвлекались то и дело то в одну, то в другую сторону; яркие воспоминания, часто очень неожиданные и далекие, всплывали в сознании и заставляли забывать окружающее, отнимая драгоценные минуты. Я замечал это, спохватывался и с новой энергией принимался за работу; но проходило короткое время, и снова летучие образы прошлого или фантазии овладевали моим мозгом, и снова приходилось подавлять их резким усилием.

Все чаще меня тревожило какое-то странное, беспокойное чувство, точно было что-то важное и спешное, чего я не исполнил и о чем все забываю и стараюсь вспомнить. Вслед за этим чувством поднимался целый рой знакомых лиц и минувших событий и неудержимым потоком уносил меня все дальше назад, через юность и отрочество к самому раннему детству, теряясь затем в каких-то смутных и неясных ощущениях. После этого моя рассеянность становилась особенно сильной и упорной.

Подчиняясь внутреннему сопротивлению, которое не давало мне долго сосредоточиваться на чем-нибудь одном, я начинал все чаще и быстрее переходить от предмета к предмету и для этого нарочно собирал в своей комнате целые груды книг, раскрытых заранее на нужном месте, таблиц, карт, стенограмм, фонограмм и т. д. Таким путем я надеялся устранить потерю времени, но рассеянность все незаметнее подкрадывалась ко мне, и я ловил себя на том, что уже долго смотрю в одну точку, ничего не понимая и ничего не делая.

Зато когда я ложился в постель и смотрел сквозь стеклянную крышу на темное небо, тогда мысль начинала самовольно работать с удивительной живостью и энергией. Целые страницы цифр и формул выступали перед моим внутренним зрением с такой ясностью, что

я мог перечитывать их строчка за строчкой. Но эти образы скоро уходили, уступая место другим; и тогда мое сознание превращалось в какую-то панораму удивительно ярких и отчетливых картин, не имевших уже ничего общего с моими занятиями и заботами: земные ландшафты, театральные сцены, картины детских сказок спокойно, точно в зеркале, отражались в моей душе и исчезали и сменялись, не вызывая никакого волнения, а только легкое чувство интереса или любопытства, не лишенное очень слабого приятного оттенка. Эти отражения сначала проходили внутри моего сознания, не смешиваясь с окружающей обстановкой, потом они ее вытесняли, и я погружался в сон, полный живых и сложных сновидений, очень легко прерывавшийся и не дававший мне главного, к чему я стремился, — чувства отдыха.

Шум в ушах уже довольно давно меня беспокоил, а теперь он становился все постояннее и сильнее, так что иногда мешал мне слушать фонограммы, а по ночам уносил остатки сна. Время от времени из него выделялись человеческие голоса, знакомые и незнакомые; часто мне казалось, что меня окликают по имени, часто казалось, что я слышу разговор, слов которого из-за шума не могу разобрать. Я стал понимать, что уже не совсем здоров, тем более что рассеянность окончательно овладела мною и я не мог даже читать больше нескольких строчек подряд.

«Это, конечно, просто переутомление, — думал я. — Мне надо только больше отдыхать; я, пожалуй, слишком много работал. Но не надо, чтобы Мэнни заметил, что со мной происходит: это слишком похоже на банкротство с первых же шагов моего дела».

И когда Мэнни заходил ко мне в комнату — это бывало тогда, правда, не часто, — я притворялся, что усердно занимаюсь. А он замечал мне, что я работаю слишком много и рискую переутомиться.

— Особенно сегодня у вас нездоровый вид, — говорил он. — Посмотрите в зеркало, как блестят ваши глаза и как вы бледны. Вам надо отдохнуть, вы этим выиграете в дальнейшем.

И я сам очень хотел бы этого, но мне не удавалось. Правда, я почти ничего не делал, но меня утомляло уже всякое, самое маленькое усилие; а бурный поток живых образов, воспоминаний и фантазий не прекращался ни днем, ни ночью. Окружающее как-то бледне-

ло и терялось за ними и приобретало призрачный оттенок.

Наконец, я должен был сдать. Я видел, что вялость и апатия все сильнее овладевают моей волей и я все меньше могу бороться со своим состоянием. Раз утром, когда я встал с постели, у меня все сразу потемнело в глазах. Но это быстро прошло, и я подошел к окну, чтобы посмотреть на деревья парка. Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я обернулся — передо мной стояла Анна Николаевна. Лицо ее было бледно и грустно, взгляд полон упрека. Меня это огорчило, и я, совершенно не думая о странности ее появления, сделал шаг по направлению к ней и хотел сказать что-то. Но она исчезла, как будто растаяла в воздухе.

С этого момента началась оргия призраков. Многого я, конечно, не помню, и, кажется, сознание часто спутывалось у меня наяву, как во сне. Приходили и уходили или просто появлялись и исчезали самые различные люди, с какими я встречался в своей жизни, и даже совершенно незнакомые мне. Но между ними не было марсиан, это были все земные люди, большей частью те, которых я давно не видал, — старые школьные товарищи, молодой брат, который умер еще в детстве. Как-то раз через окно я увидел на скамейке знакомого шпиона, который со злобной насмешкой смотрел на меня своими хищными, бегающими глазами. Призраки не разговаривали со мной, а ночью, когда было тихо, слуховые галлюцинации продолжались и усиливались, превращаясь в целые связные, но нелепо-бессодержательные разговоры большей частью между неизвестными мне лицами: то пассажир торговался с извозчиком, то приказчик уговаривал покупателя взять у него материю, то шумела университетская аудитория, а субинспектор убеждал успокоиться, потому что сейчас придет господин профессор. Зрительные галлюцинации были по крайней мере интересны, да и мешали мне гораздо меньше и реже.

После появления Анны Николаевны я, разумеется, сказал все Мэнни. Он тотчас уложил меня в постель, позвал ближайшего врача и телефоновал Нэтти за шесть тысяч километров. Врач сказал, что он не решается что-нибудь предпринять, потому что недостаточно знает организацию земного человека, но что, во всяком случае, главное для меня — спокойствие и отдых,

и тогда неопасно подождать несколько дней, пока придет Нэтти.

Нэтти явился на третий день, передав все свое дело другому. Увидав, в каком я состоянии, с грустным упреком взглянул на Мэнни.

VII. Нэтти

Несмотря на лечение такого врача, как Нэтти, болезнь продолжалась еще несколько недель. Я лежал в постели, спокойный и апатичный, одинаково равнодушно наблюдая действительность и призраки; даже постоянное присутствие Нэтти доставляло мне лишь очень слабое, едва заметное удовольствие.

Мне странно вспоминать о своем тогдашнем отношении к галлюцинациям: хотя десятки раз мне приходилось убеждаться в их нереальности, но каждый раз, как они появлялись, я как будто забывал все это; даже если мое сознание не затемнялось и не спутывалось, я принимал их за действительные лица и вещи. Понимание их призрачности выступало только после их исчезновения или перед самым исчезновением.

Главные усилия Нэтти в его лечении были направлены на то, чтобы заставить меня спать и отдыхать. Никаких лекарств для этого, однако, и он применять не решался, боясь, что все они могут оказаться ядами для земного организма. Несколько дней ему не удавалось усыпить меня его обычными способами: галлюцинаторные образы врывались в процесс внушения и разрушали его действие. Наконец ему удалось это, и, когда я проснулся после двух-трех часов сна, он сказал:

— Теперь ваше выздоровление несомненно, хотя болезнь еще довольно долго будет идти своим путем.

И она в самом деле шла своим путем. Галлюцинации становились реже, но они не были менее живыми и яркими, они даже стали несколько сложнее, — иногда призрачные гости вступали в разговор со мною.

Но из этих разговоров только один имел смысл и значение для меня. Это было в конце болезни.

Проснувшись утром, я увидел около себя по обыкновению Нэтти, а за его креслом стоял мой старший товарищ по революции, пожилой человек и очень злой насмешник, агитатор Ибрагим. Он как будто ожидал чего-то. Когда Нэтти вышел в другую комнату приготовить ванну, Ибрагим грубо и решительно сказал мне:

— Ты дурак! Чего ты зеваешь? Разве ты не видишь, кто твой доктор?

Я как-то мало удивился намеку, заключающемуся в этих словах, а их циничный тон не возмутил меня — он был мне знаком и очень обычен для Ибрагима. Но я вспомнил железное пожатие маленькой руки Нэтти и не поверил Ибрагиму.

— Тем хуже для тебя! — сказал он с презрительной усмешкой и в ту же минуту исчез.

В комнату вошел Нэтти. При виде его я почувствовал странную неловкость. Он пристально посмотрел на меня.

— Это хорошо, — сказал он. — Ваше выздоровление идет быстро.

Весь день после этого он был как-то особенно молчалив и задумчив. На другой день, убедившись, что я чувствую себя хорошо и галлюцинации не повторяются, он уехал по своим делам до самой ночи, заменив себя другим врачом. После этого в течение целого ряда дней он являлся лишь по вечерам, чтобы усыпить меня на ночь. Тогда только мне стало ясно, насколько для меня важно и приятно его присутствие. Вместе с волнами здоровья, которые как будто вливались в мой организм из всей окружающей природы, стали все чаще приходиться размышления о намеке Ибрагима. Я колебался и всячески убеждал себя, что это нелепость, порожденная болезнью: из-за чего бы Нэтти и прочим друзьям обманывать меня относительно этого? Тем не менее смутное сомнение оставалось, и оно мне было приятно.

Иногда я допрашивал Нэтти, какими делами он сейчас занят. Он объяснял мне, что идет ряд собраний, связанных с устройством новых экспедиций на другие планеты, и он там нужен как эксперт. Мэнни руководил этими собраниями; но ни Нэтти, ни он не собирались скоро ехать, что меня очень радовало.

— А вы сами не думаете ехать домой? — спросил меня Нэтти, и в его тоне я подметил беспокойство.

— Но ведь я еще ничего не успел сделать, — отвечал я.

Лицо Нэтти просияло.

— Вы ошибаетесь, вы сделали многое... даже и этим ответом, — сказал он.

Я чувствовал в этом намек на что-то такое, чего я не знаю, но что касается меня.

— А не могу ли я отправиться с вами на одно из этих совещаний? — спросил я.

— Ни в каком случае! — решительно заявил Нэтти. — Кроме безусловного отдыха, который вам нужен, вам надо еще целые месяцы избегать всего, что имеет тесную связь с началом вашей болезни.

Я не спорил. Мне было так приятно отдыхать; а мой долг перед человечеством ушел куда-то далеко. Меня беспокоили только, и все сильнее, странные мысли о Нэтти.

Раз вечером я стоял у окна и смотрел на темневшую внизу таинственную красную «зелень» парка, и она казалась мне прекрасной, и не было в ней ничего чуждого моему сердцу. Раздался легкий стук в дверь: я сразу почувствовал, что это Нэтти. Он вошел своей быстрой, легкой походкой и, улыбаясь, протянул мне руку — старое, земное приветствие, которое нравилось ему. Я радостно сжал его руки с такой энергией, что и его сильным пальцам пришлось плохо.

— Ну, я вижу, моя роль врача окончена, — смеясь, сказал он. — Тем не менее я должен еще вас порасспросить, чтобы твердо установить это.

Он расспрашивал меня, я бестолково отвечал ему в непонятном смущении и читал скрытый смех в глубине его больших-больших глаз. Наконец я не выдержал:

— Объясните мне, откуда у меня такое сильное влечение к вам? Почему я так необыкновенно рад вас видеть?

— Всего скорее, я думаю, оттого, что я лечил вас, и вы бессознательно переносите на меня радость выздоровления. А может быть... и еще одно... это, что я... женщина...

Молния блеснула перед моими глазами, и все потемнело вокруг, и сердце словно перестало биться... Через секунду я как безумный сжимал Нэтти в своих объятиях и целовал ее руки, ее лицо, ее большие, глубокие глаза, зеленовато-синие, как небо ее планеты.

Великодушно и просто Нэтти уступала моим необузданным порывам... Когда я очнулся от своего радостного безумия и вновь целовал ее руки с невольными слезами благодарности на глазах, — то была, конечно, слабость от перенесенной болезни, — Нэтти сказала со своей милой улыбкой:

— Да, мне казалось сейчас, что весь ваш юный мир я чувствую в своих объятиях. Его деспотизм, его эгоизм, его отчаянная жажда счастья — все было в ваших ласках. Ваша любовь сродни убийству... Но... я люблю вас, Лэнни...

Это было счастье.

ЧАСТЬ III

I. Счастье

Эти месяцы... Когда я их вспоминаю, трепет охватывает мое тело, и туман застилает мои глаза, и все вокруг кажется ничтожным. И нет слов, чтобы выразить минувшее счастье.

Новый мир стал мне близок и, казалось, вполне понятен. Прошлые поражения не смущали меня, юность и вера возвратились ко мне и, я думал, никогда не уйдут больше. У меня был надежный и сильный союзник, слабости не было места, будущее принадлежало мне.

К прошлому мысль моя возвращалась редко, а больше всего к тому, что касалось Нэтти и нашей любви.

— Зачем вы скрывали от меня свой пол? — спросил я ее вскоре после того вечера.

— Сначала это произошло само собой, случайно. Но потом я поддерживала ваше заблуждение вполне сознательно и даже умышленно изменила в своем костюме все то, что могло навести вас на истину. Меня напугала трудность и сложность вашей задачи, я боялась усложнить ее еще больше, особенно когда заметила ваше бессознательное влечение ко мне. Я и сама не вполне понимала себя... до вашей болезни.

— Значит, это она решила дело... Как я благодарен моим милым галлюцинациям!

— Да, когда я услышала о вашей болезни, это было как громовой удар. Если бы мне не удалось вполне вылечить вас, я бы, может быть, умерла.

После нескольких секунд молчания она прибавила:

— А знаете, в числе ваших друзей есть еще одна женщина, о которой вы этого не подозревали, и она также очень любит вас... конечно, не так, как я...

— Энно! — сейчас же догадался я.

— Ну конечно. И она также обманывала вас нарочно по моему совету.

— Ах, сколько обмана и коварства в вашем мире! — воскликнул я с шутливым пафосом. (...)

Дни проходили за днями, и я радостно овладевал прекрасным новым миром.

II. Разлука

И все-таки этот день наступил, день, о котором я не могу вспомнить без проклятья, день, когда между мной и Нэтти встала черная тень ненавистной и неизбежной... разлуки. Со спокойным и ясным, как всегда, выражением лица Нэтти сказала мне, что она должна отправиться на днях вместе с гигантской экспедицией, снаряжаемой на Венеру под руководством Мэнни. Видя, как я ошеломлен этим известием, она прибавила:

— Это будет недолго; в случае успеха, в котором я не сомневаюсь, часть экспедиции вернется очень скоро, и я в том числе.

Затем она стала объяснять мне, в чем дело. На Марсе запасы радиоматерии, необходимой как двигатель междупланетного сообщения и как орудие разложения и синтеза всех элементов, приходили к концу: она только тратилась, и не было средств для ее возобновления. На Венере, молодой планете, которая существовала почти вчетверо меньше, чем Марс, было по несомненным признакам установлено присутствие у самой поверхности колоссальных залежей радилирующих веществ, не успевших самостоятельно разложиться. На одном острове, расположенном среди главного океана Венеры и носившем у марсиан имя «Острова горячих бурь», находилась самая богатая руда радиоматерии; и там решено было начать немедленно ее разработку. Но прежде всего для этого было необходимо постройкой очень высоких и прочных стен оградить работающих от губельного действия влажного горячего ветра, который своей жестокостью далеко превосходит бури наших песчаных пустынь. Поэтому и потребовалась экспедиция из десяти этеронефов и полутора-двух тысяч человек, из них всего одна двадцатая для химических, а почти все остальные для строительных работ. Были привлечены лучшие научные силы, в том числе и наиболее опытные врачи: опасности здоровью угрожали и со стороны климата и со стороны убийственных лучей и эманаций радилирующего вещества. Нэтти, по ее словам, не могла уклониться от участия в экспедиции; но предполагалось, что если работы пойдут хорошо, то уже через три месяца один этеронеф отправится обратно с известиями и с запасом добытого вещества. С этим этеронефом должна была вернуться и Нэтти, значит, через 10—11 месяцев после отъезда.

Я не мог понять, почему Нэтти необходимо ехать. Она говорила мне, что предприятие слишком серьезное, чтобы от него можно было отказаться; что оно имеет большое значение и для моей задачи, так как его успех впервые даст возможность частых и широких сношений с Землею; что всякая ошибка в постановке медицинской помощи с самого начала может привести к крушению всего дела. Все это было убедительно, — я уже узнал, что Нэтти считается лучшим врачом для всех тех случаев, которые выходят из рамок старого медицинского опыта, — и все-таки мне казалось, что это не все. Я чувствовал, что тут есть что-то недоговоренное.

В одном я не сомневался — в самой Нэтти и в ее любви. Если она говорила, что ехать необходимо, значит, это было необходимо; если она не говорила почему, значит, мне не следовало ее допрашивать. Я видел страх и боль в ее прекрасных глазах, когда она думала, что я не смотрю на нее.

— Энно будет для тебя хорошим и милым другом, — сказала она с грустной улыбкой, — и Нэллу ты не забывай, она любит тебя за меня, у нее много опыта и ума, ее поддержка в трудные минуты драгоценна. А обо мне думай только одно: что я вернусь как можно скорее.

— Я верю в тебя, Нэтти, — сказал я, — и потому верю в себя, в человека, которого ты полюбила.

— Ты прав, Лэнни. И я убеждена, что из-под всякого гнета судьбы, из всякого крушения ты выйдешь верным себе, сильнее и чище, чем прежде.

Будущее бросало свою тень на наши прощальные ласки, и они смешались со слезами Нэтти.

III. Фабрика одежды

За те короткие месяцы я успел с помощью Нэтти в значительной мере подготовить выполнение своего главного плана — стать полезным работником марсианского общества. Я сознательно отклонял все предложения читать лекции о Земле и ее людях: было бы неразумно сделать это своей специальностью, так как это значило бы искусственно останавливать свое знание на образах своего прошлого, которое и без того не могло от меня уйти, вместо того будущего, которое надо было завоевать. Я решил поступить просто

на фабрику и выбрал на первый раз, после обстоятельного сравнения и обсуждения, фабрику одежды.

Я выбрал, конечно, почти самое легкое. Но для меня и здесь потребовалась немалая и серьезная предварительная работа, пришлось изучить выработанные наукою принципы устройства фабрик вообще, ознакомиться специально с устройством той фабрики, где мне предстояло работать, с ее архитектурой, с ее организацией труда, я специально должен был иметь дело, — конечно, во всех применяемых на ней машинах, а той машины, с которою я специально должен был иметь дело, — конечно во всех подробностях. При этом оказалось необходимо предварительно усвоить некоторые отделы общей и прикладной механики и технологии и даже математического анализа. Главные трудности тут возникали для меня не из содержания того, что приходилось изучать, а из формы. Учебники и руководства не были рассчитаны на человека низшей культуры. Я вспоминал, как в детстве мучил меня случайно попавшийся под руку французский учебник математики. У меня было серьезное влечение к этому предмету и, по-видимому, недюжинные способности к нему: трудные для большинства начинающих идеи «предела» и «производной» достались мне как-то незаметно, точно я всегда был знаком с ними. Но у меня не было той логической дисциплины и практики научного мышления, которую предполагал в читателе-ученике французский профессор, очень ясный и точный в выражениях, но очень скупой на объяснения. Он постоянно пропускал те логические мостики, которые могли сами собой подразумеваться для человека более высокой научной культуры, но не для юного азиата. И я не раз целыми часами думал над каким-нибудь магическим превращением, следующим за словами: «откуда, принимая во внимание предыдущие уравнения, мы выводим...». Так было со мной и теперь, только еще сильнее, когда я читал марсианские научные книги; иллюзия, которая владела мной в начале моей болезни, когда мне все казалось легко и понятно, исчезла без следа. Но терпеливая помощь Нэтти постоянно была со мною и сглаживала трудный путь.

Вскоре после отъезда Нэтти я решился и вступил на фабрику. Это было гигантское и очень сложное предприятие, совершенно не подходящее к нашему обычному представлению о фабрике одежды. Там совмещалось пряденье, тканье, кройка, шитье, окраска

одежды, а материалом работы служил не лен, не хлопок и вообще не волокна растений, и не шерсть, и не шелк, а нечто совсем иное.

В прежние времена марсиане приготавливали ткани для одежды приблизительно таким же способом, как это делается у нас: культивировали волокнистые растения, стригли шерсть с подходящих животных и сдирали с них кожу, разводили особые породы пауков, из паутины которых получалось вещество, подобное шелку, и т. д. Толчок к изменению техники дан был необходимостью увеличивать все более и более производство хлеба. Волокнистые растения стали вытесняться волокнистыми минералами вроде горного льна. Затем химики направили свои усилия на исследование паутинных тканей и на синтез новых веществ с аналогичными свойствами. Когда это удалось им, то за короткое время во всей этой отрасли промышленности произошла полная революция, и теперь ткани старого типа хранятся только в исторических музеях.

Наша фабрика была истинным воплощением этой революции. Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся «материал» для пряжи в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устраняющих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстия вязкая жидкость продавливалась под большим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах и превращались в прозрачные паутиновые волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую «пряжу» в следующее ткацкое отделение. Там на ткацких станках нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисея и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше, в мастерскую кройки. Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали во много слоев и вырезали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма.

В швейной мастерской скроенные куски сшивались в готовое платье, но без всяких иголок, ниток и швейных машин. Ровно сложенные края кусков размягчались посредством особого химического растворителя, приходя в прежнее полужидкое состояние, и когда растворяющее вещество, очень летучее, через минуту испарялось, то куски материи оказывались прочно спаянными, лучше, чем это могло быть сделано каким бы то ни было швом. Одновременно с этим спаивались везде, где требовалось, и застежки, так что получались готовые части костюма — несколько тысяч образцов, различных по форме и размеру.

На каждый возраст имелось несколько сотен образцов, из которых на всякого желающего почти всегда можно было выбрать вполне подходящий, тем более что одежда у марсиан обыкновенно очень свободная. Если подходящего найти не удавалось, например, вследствие не вполне нормального сложения, то немедленно снимали особую мерку, устанавливали машину для кройки по новым чертежам и «шили» специально на данное лицо, что требовало какого-нибудь часа времени.

Что касается цвета костюма, то большинство марсиан удовлетворяется обычными оттенками, темными и мягкими, в каких готовится самая материя. Если же требуется иной цвет, кроме того, какой оказался налицо, то костюм отправляют в красильное отделение, где в несколько минут при помощи электрохимических приемов он приобретает желательную окраску, идеально-ровную и идеально-прочную.

Из таких же тканей, только гораздо более плотных и прочных, и приблизительно такими же способами готовится обувь и теплая зимняя одежда. Наша фабрика этим не занималась, но другие, еще более крупные, производили сразу решительно все, что нужно, чтобы одеть человека с головы до ног.

Я работал поочередно во всех отделениях фабрики и вначале очень увлекался своей работой. Особенно интересно было заниматься в отделении кройки, где мне приходилось применять на деле новые для меня способы математического анализа. Задача состояла в том, чтобы из данного куска материи с наименьшей потерей материала выкраивать все части костюма. Задача, конечно, очень прозаичная, но и очень серьезная; потому что даже минимальная ошибка, повторенная много

миллионов раз, давала громадную потерю. И достигать успешного решения мне удавалось «не хуже» других.

Работать «не хуже» других — к этому я стремился всеми силами и в общем не без успеха. Но я не мог не заметить, что мне это стоит гораздо больших усилий, чем остальным работникам. После обычных 4—6 (по земному счету) часов труда я бывал сильно утомлен, и мне нужен был немедленный отдых, тогда как прочие отправлялись по музеям, библиотекам, лабораториям или на другие фабрики наблюдать производство, а иногда даже там еще работать...

Я надеялся, что придет привычка к новым видам труда и сравняет меня со всеми работниками. Но этого не было. Я все более убеждался, что у меня не хватает культуры внимания. Физических движений требовалось очень мало, и по их быстроте и ловкости я не уступал, даже превосходил многих. Но требовалось такое непрерывное и напряженное внимание при наблюдении за машинами и материалом, которое было очень тяжело для моего мозга: очевидно, только в ряде нескольких поколений могла развиться эта способность до той степени, какая здесь являлась обычной и средней.

Когда — обыкновенно к концу моей дневной работы — в ней начинало уже сказываться утомление и внимание мне начинало изменять, я делал ошибку или замедлял на секунду выполнение какого-нибудь акта работы, тогда неминуемо и безошибочно рука кого-нибудь из соседей поправляла дело.

Меня не только удивляла, но порой прямо возмущала их странная способность, ни на йоту не отрываясь от своего дела, замечать все происходящее вокруг. Их заботливость не столько трогала меня, сколько вызвала во мне досаду и раздражение; у меня являлось такое чувство, как будто все они постоянно следят за моими действиями... Это беспокойное настроение увеличивало еще более мою рассеянность и портило мою работу.

Теперь, спустя долгое время, когда я тщательно и уже беспристрастно вспоминаю все обстоятельства, я нахожу, что все это воспринималось неверно. Совершенно с такой же заботливостью и совершенно таким же образом — может быть, только менее часто — мои товарищи на фабрике помогали и друг другу. Я не был предметом какого-нибудь исключительного надзора и контроля, как мне тогда казалось. Я сам — человек

индивидуалистического мира — невольно и бессознательно выделял себя из остальных и болезненно воспринимал их доброту и товарищеские услуги, за которые, как это казалось мне, человеку товарного мира, мне нечем было заплатить.

IV. Энно

Миновала и долгая осень; зима, мало-снежная, но холодная, воцарилась в нашей области — в средних широтах северного полушария. Маленькое солнце совсем не грело и светило меньше прежнего. Природа сбросила яркие краски, стала бледной и суровой. Холод заползал в сердце, сомнения росли в душе, и нравственное одиночество пришельца из другого мира становилось все более мучительным.

Я отправился к Энно, с которой давно уже не виделся. Она встретила меня как близкого и родного человека, — точно яркий луч недалекого прошлого прорезал холод зимы и сумрак заботы. Потом я заметил, что она и сама была бледна и как будто утомлена или измучена чем-то; была какая-то скрытая печаль в ее манерах и разговоре. Нам было о чем говорить между собою, и несколько часов прошли для меня незаметно и хорошо, как не бывало с самого отъезда Нэтти.

Когда я встал, чтобы отправиться домой, нам обоим стало грустно.

— Если ваша работа не приковывает вас здесь, то поедем со мною, — сказал я.

Энно сразу согласилась, взяла с собой работу — она в это время занималась не наблюдением на обсерватории, а проверкой огромного запаса вычислений, — и мы поехали в химический городок, где я жил один в квартире Мэнни. По утрам я каждый день путешествовал на свою фабрику, находившуюся в сотне километров, то есть в полчаса пути оттуда, а долгие зимние вечера мы с Энно стали теперь проводить вместе в научных занятиях, разговорах и иногда прогулках по окрестностям.

Энно рассказала мне свою историю. Она любила Мэнни и была раньше его женой. Ей страстно хотелось иметь от него ребенка, но проходил год за годом, а ребенка не было. Тогда она обратилась к Нэтти за советом. Нэтти самым внимательным образом выяснила все обстоятельства и пришла к категорическому выводу, что детей никогда не будет. Мэнни слишком поздно

сложился из мальчика в мужчину и слишком рано стал жить самой напряженной жизнью ученого и мыслителя. Активность его мозга своим чрезмерным развитием подорвала и подавила жизненность элементов размножения с самого начала; и это было непоправимо.

Приговор Нэтти был страшным ударом для Энно, у которой любовь к гениальному человеку и глубокий материнский инстинкт слились в одном страстном стремлении, оказавшемся вдруг безнадежным.

Но это было не все; исследование привело Нэтти еще к другому результату. Оказалось, что для гигантской умственной работы Мэнни, для полноты развития его гениальных способностей было нужно как можно больше физической сдержанности, как можно меньше любовных ласк. Энно не могла не последовать этому совету и быстро убедилась, насколько он был справедлив и разумен. Мэнни оживился, стал работать энергичнее, чем когда-либо, новые планы с необыкновенной быстротой зарождались в его голове и выполнялись особенно успешно, и, по-видимому, он нисколько не чувствовал лишения. Тогда Энно, для которой ее любовь была дороже жизни, но гений любимого человека дороже любви, сделала все выводы из того, что узнала.

Она разошлась с Мэнни; это вначале его огорчило, но потом он быстро примирился с фактом. Истинная причина разрыва осталась для него, может быть, даже неизвестной: Энно и Нэтти сохраняли ее в тайне; хотя, конечно, нельзя было знать наверняка, не угадал ли проницательный ум Мэнни скрытую подкладку событий. А для Энно жизнь оказалась настолько опустошенной, подавленное чувство создавало такие страдания, что спустя короткое время молодая женщина решила умереть.

Чтобы помешать самоубийству, Нэтти, к содействию которой обратилась Энно, под разными предлогами затянула на день его выполнение, а сама известила Мэнни. Тот в это время организовывал экспедицию на Землю и тотчас послал Энно приглашение принять участие в этом важном и опасном предприятии. Уклониться было трудно. Энно приняла предложение. Масса новых впечатлений помогла ей справиться с душевной болью; и ко времени возвращения на Марс она успела уже овладеть собою настолько, что могла при-

нять на себя вид веселого мальчика-поэта, которого я знал на Этеронефе.

В новую экспедицию Энно не поехала потому, что боялась вновь слишком привыкнуть к присутствию Мэнни. Но тревога за его судьбу не покидала ее, пока она оставалась в одиночестве: она слишком хорошо знала опасности предприятия. В долгие зимние вечера наши мысли и разговоры постоянно возвращались к одной и той же точке вселенной: туда, где под лучами огромного солнца, под дыханием палящего ветра, самые близкие для нас обоих существа с лихорадочной энергией вели свою титанически смелую работу. Нас глубоко сближало это единство мысли настроения. Энно была для меня более чем сестрою.

Как-то само собою, без порыва и без борьбы, наше сближение привело нас к любовным отношениям. Неизменно-кроткая и добрая Энно не уклонялась от этой близости, хотя и не стремилась к ней сама. Она только решила не иметь от меня детей... Был оттенок мягкой грусти в ее ласках — ласках нежной дружбы, которая все позволяет...

А зима по-прежнему простирала над нами свои холодные, бледные крылья — долгая марсианская зима без оттепелей, бурь и метелей, спокойная и неподвижная, как смерть. И у нас обоих не было желания лететь на юг, где в это время грело солнце и полная жизни природа развертывала свою яркую одежду. Энно не хотелось той природы, слишком мало гармонизировавшей с ее настроением; я же избегал новых людей и новой обстановки, потому что знакомиться и привыкать к ним требовало нового, лишнего труда и утомления, а я и без того слишком медленно шел к своей цели. Призрачно-странной была наша дружба — любовь в царстве зимы, заботы, ожидания...

V. У Нэллы

Энно еще в ранней юности была самой близкой подругой Нэтти и много рассказывала мне о ней. В одном из наших разговоров мой слух поразило такое сочетание имен Нэтти и Стэрни, которое показалось мне странным. Когда я задал прямой вопрос, Энно сначала задумалась и как будто даже смутилась и затем ответила:

— Нэтти была раньше женой Стэрни. Если она этого вам не сказала, значит, и мне не следовало говорить.

Я сделала, очевидно, ошибку, и дальше вы меня не спрашивайте об этом.

Я был как-то странно потрясен тем, что услышал... Как будто не было ничего нового... Я никогда не предполагал, что я первый муж Нэтти. Было бы нелепостью думать, что женщина, полная жизни и здоровья, красивая телом и душой, дитя свободной высококультурной расы, могла без любви прожить до нашей встречи. Чем же вызвано было мое непонятно-ошеломленное состояние? Я не мог рассуждать об этом, я чувствовал только одно, что мне надо знать все, знать точно и ясно. Но допрашивать Энно, очевидно, было невозможно. Я вспомнил о Нэлле.

Нэтти, уезжая, говорила: «Не забывай о Нэлле, иди к ней в трудную минуту!» И я не раз уже думал о том, как бы повидаться с ней; но мешала отчасти работа, отчасти какой-то смутный страх перед сотнями любопытных детских глазок, которые ее окружали. Но теперь всякая нерешительность исчезла, и я в тот же день был в «доме детей», в Большом городе машин.

Нэлла тотчас бросила работу, которой была занята, и, попросив другую воспитательницу заменить себя, провела меня в свою комнату, где дети не могли мешать нам.

Я решил не говорить ей сразу о цели моего посещения, тем более что мне самому эта цель не казалась ни особенно разумной, ни особенно благородной. Было как нельзя более естественно, что я завел разговор о самом близком для нас обоих человеке; а затем оставалось ожидать подходящего момента для моего вопроса. Нэлла много и с увлечением рассказывала мне о Нэтти, об ее детстве и юности.

Первые годы своей жизни Нэтти провела при матери, как в большинстве случаев и бывает у марсиан. Затем, когда надо было отдать Нэтти в «дом детей», чтобы не лишать ее воспитательного влияния детского общества, Нэлла не могла уже с нею расстаться и сначала временно поселилась в этом же доме, а потом навсегда осталась там воспитательницей. Это подходило и к ее научной специальности: она занималась главным образом психологией.

Нэтти была живым, энергичным, порывистым ребенком, с большой жаждой знаний и деятельности. Особенно интересовал и привлекал ее таинственный астрономический мир за пределами планеты. Земля, которой тогда еще не удавалось достигнуть, и ее неви-

димые люди были любимой мечтой Нэтти, любимым сюжетом ее разговоров с другими детьми и с воспитателями.

Когда был опубликован отчет о первой удачной экспедиции Мэнни на Землю, девочка чуть не сошла с ума от радости и восхищения. Доклад Мэнни она запомнила от слова до слова и поэтому замучила Нэллу и воспитателей требованиями объяснить ей каждый непонятный термин этого доклада. Она влюбилась в Мэнни заочно и написала ему восторженное письмо; в этом письме она, между прочим, умоляла его привезти с Земли ребенка, которого некому воспитывать; она бралась воспитать его самым лучшим образом. Она увещала всю свою комнату земными видами и портретами земных людей и стала изучать словари земных языков, как только они появились в печати. Она негодовала на насилие, которое Мэнни и его спутники применили к первому встреченному ими земному человеку: они взяли его в плен, чтобы он помог им познакомиться с земными языками; и в то же время она горячо сожалела, что, уезжая обратно, они отпустили его на свободу, а не привезли с собой на Марс. Она твердо решила когда-нибудь поехать на Землю и в ответ на шутку матери, что там она выйдет замуж за земного человека, подумавши, заявила: «Очень может быть!»

Всего этого сама Нэтти никогда не рассказывала мне; в своих разговорах она вообще избегала касаться прошлого. И конечно, никто, даже она сама, не мог бы рассказать этого лучше Нэллы. Как ярко сияла материнская любовь в описаниях Нэллы! Минутами я совсем забывался и как живую видел перед собою чудную девочку с горящими большими глазами и с загадочным влечением к далекому, далекому миру... Но это быстро проходило: возвращалось сознание окружающего и воспоминание о цели разговора, и вновь становилось холодно на душе.

Наконец, когда разговор перешел к более поздним годам жизни Нэтти, я решился спросить с возможно спокойным и непринужденным видом, как возникли отношения Нэтти и Стэрни. Нэлла задумалась на минуту.

— А, вот что! — сказала она. — Так вы явились ко мне из-за этого... Почему же вы не сказали мне этого прямо?

Непривычная строгость звучала в ее голосе. Я молчал.

— Разумеется, я могу рассказать вам это, — продолжала она. — Это очень несложная история. Стэрни был один из учителей Нэтти, он читал молодежи лекции по математике и астрономии. Когда он вернулся из своей первой поездки на Землю — то была, кажется, вторая экспедиция Мэнни, — он выступил с целым рядом докладов об этой планете и ее обитателях. При этом Нэтти была его постоянной слушательницей. Особенно сблизило их то терпение и внимание, с которым он относился к ее бесконечным вопросам. Сближение привело к браку. Тут было своего рода полярное тяготение двух очень несходных, во многом противоположных натур. Впоследствии то же самое несходство, проявляясь более постоянно и во всей полноте в их совместной жизни, привело к охлаждению и к разрыву. Вот и все.

— Скажите, когда совершился этот разрыв?

— Окончательно — после смерти Летта. Собственно, уже сближение Нэтти и Летта было началом этого разрыва. Нэтти становилось не по себе от аналитически холодного ума Стэрни; он слишком систематично и упорно разрушал все воздушные замки, все фантазии ума и чувства, которыми она так много и так сильно жила. Она невольно стала искать человека, который относился бы ко всему этому иначе. А у старого Летта было на редкость отзывчивое сердце и много полудетского энтузиазма. Нэтти нашла в нем такого товарища, какого ей было надо: он не только умел терпеливо относиться к порывам ее воображения, но нередко и сам увлекался вместе с нею. У него она отдыхала душой от суровой, все замораживающей критики Стэрни. Он, как и она, любил Землю мечтой и фантазией, верил в будущий союз двух миров, который принесет с собою великий расцвет и великую поэзию жизни. И когда она узнала, что человек с таким сокровищем чувства в душе никогда не знал женской любви и ласки, она не могла с этим примириться. Так возникла ее вторая связь. <...>

Почему Нэтти не говорила мне всего этого? И сколько еще тайн и обманов вокруг меня? И сколько их ожидать в будущем? Опять неправда! Тайна — да, это верно. Но обмана тут не было. А разве в этом случае тайна не обман?..

Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, когда дверь отворилась и в комнату опять вошла Нэлла. Она, очевидно, прочитала на моем лице, насколько мне бы-

ло тяжело, потому что в ее тоне, когда она ко мне обратилась, уже не было прежней сухости и суровости.

— Конечно,— сказала она,— нелегко привыкать к совершенно чуждым жизненным отношениям и к обычаям другого мира, с которым не имеешь кровной связи. Вы преодолели уже много препятствий, справитесь и с этим. Нэтти в вас верит, и я думаю, что она права. А разве ваша вера в нее поколебалась?

— Отчего она скрывала все это от меня? Где тут ее вера? Я не могу ее понять.

— Почему она так поступила, я этого не знаю. Но я знаю, что она должна была иметь для этого серьезные и хорошие, а не мелкие мотивы. Может быть, их объяснит вам это письмо. Она мне оставила его для вас на случай именно такого разговора, какой сейчас был между нами.

Письмо было написано на моем родном языке, который так хорошо изучила моя Нэтти. Вот что я там прочитал.

«Мой Лэнни! Я ни разу не говорила с тобой о моих прежних личных связях, но это было не потому, что я хотела скрывать от тебя что бы то ни было из моей жизни. Я глубоко доверяю твоей ясной голове и твоему благородному сердцу; я не сомневаюсь, что, как бы ни были чужды и непривычны для тебя некоторые из наших жизненных отношений, ты в конце концов всегда сумеешь верно понять и справедливо оценить их.

Но я боялась одного... После болезни ты быстро накоплял силы для работы, но то душевное равновесие, от которого зависит самообладание в словах и поступках во всякую минуту и при всяком впечатлении, еще не вполне к тебе вернулось. Если бы под влиянием момента и стихийных сил прошлого, всегда таящихся в глубине человеческой души, ты хоть на секунду обнаружил ко мне, как женщине, то нехорошее, возникшее из насилия и рабства отношение, которое господствует в старом мире, ты никогда не простил бы себе этого. Да, дорогой мой, я знаю, ты строг, часто даже жесток к самому себе,— ты вынес эту черту из вашей суровой школы вечной борьбы земного мира, и одна секунда дурного, болезненного порыва навсегда осталась бы для тебя темным пятном на нашей любви.

Мой Лэнни, я хочу и могу тебя успокоить. Пусть спит и никогда не просыпается в душе твоей злое чувство, которое с любовью к человеку связывает беспокойство за живую собственность. У меня не будет дру-

гих личных связей. Я могу легко и уверенно обещать тебе это, потому что перед моей любовью к тебе, перед страстным желанием помочь тебе в твоей великой жизненной задаче все остальное становится так мелко и ничтожно. Я люблю тебя не только как жена, я люблю тебя как мать, которая ведет своего ребенка в новую и чуждую ему жизнь, полную усилий и опасностей. Эта любовь сильнее и глубже всякой другой, какая может быть у человека к человеку. И потому в моем обещании нет жертвы.

До свиданья, мое дорогое, любимое дитя.

Твоя Нэтти».

Когда я дочитал письмо, Нэлла вопросительно посмотрела на меня.

— Вы были правы, — сказал я и поцеловал ее руку.

VI. В поисках

От этого эпизода у меня осталось в душе чувство глубокого унижения. Еще болезненнее, чем прежде, я стал воспринимать превосходство надо мной окружающих и на фабрике и во всех других сношениях с марсианами. Несомненно, я даже преувеличивал это превосходство и свою слабость. В доброжелательстве и заботливости их обо мне я начинал видеть оттенок полупрезрительной снисходительности, в их осторожной сдержанности — скрытое отвращение к низшему существу. Точность восприятия и верность оценки все более нарушались в этом направлении.

Во всех других отношениях мысль оставалась ясной, и теперь она особенно сильно работала над заполнением пробелов, связанных с отъездом Нэтти. Больше, чем прежде, я был убежден, что для участия Нэтти в этой экспедиции существовали еще неизвестные мне мотивы, более сильные и более важные, чем те, которые приводились для меня. Новое доказательство любви Нэтти и того громадного значения, которое она придавала моей миссии в деле сближения двух миров, было новым подтверждением того, что без исключительных причин она не решилась бы покинуть меня надолго среди глубин и мелей и подводных камней океана чуждой мне жизни, лучше и яснее меня самого понимая своим умом, какие опасности тут угрожали. Было что-то, чего я не знал, но был убежден, что оно

имело ко мне какое-то серьезное отношение; и надо было выяснить это что-то во что бы то ни стало.

Я решил добраться до истины путем систематического исследования. Припоминая некоторые случайные и невольные намеки Нэтти, беспокойное выражение, которое я очень задолго улавливал на ее лице, когда при мне заходила речь о колониальных экспедициях, я пришел к заключению, что Нэтти решилась на эту разлуку не тогда, когда об этом мне сказала, а очень давно, не позже первых дней нашего брака. Значит, и причины надо искать около этого времени. Но где их искать?

Они могли быть связаны либо с личными делами Нэтти, либо с происхождением, характером, значением самой этой экспедиции. Первое после письма Нэтти представлялось наименее вероятным. Следовательно, прежде всего надо было направить розыски по второму направлению и начать с того, чтобы вполне выяснить историю происхождения экспедиции.

Само собой разумеется, что экспедиция была решена «колониальной группой» — так называлось собрание работников, активно участвующих в организации междупланетных путешествий, вместе с представителями от центральной статистики и от тех заводов, которые делают этеронефы и вообще доставляют необходимые средства для этих путешествий. Я знал, что последний съезд этой «колониальной группы» был как раз во время моей болезни. Мэнни и Нэтти участвовали там. Так как я тогда уже выздоравливал и мне было скучно без Нэтти, то я хотел быть тоже на этом съезде, но Нэтти сказала, что это опасно для моего здоровья. Не зависела ли «опасность» от чего-нибудь такого, чего мне не следовало знать? Очевидно, требовалось достать точные протоколы съезда и прочитать все, что могло относиться к данному вопросу.

Но тут встретились затруднения. В колониальной библиотеке мне дали только собрание решений съезда. В решениях была превосходно намечена, почти до мелочей, вся организация грандиозного предприятия на Венере, но не было ничего такого, что специально меня теперь интересовало. Это никоим образом для меня не исчерпывало вопроса. Решения при всей их обстоятельности были изложены без всякой мотивировки, без всяких указаний на все обсуждение, которое им предшествовало. Когда я сказал библиотекарю, что мне нужны самые протоколы, он мне объяснил, что протоколы

не опубликованы и что подобных протоколов вообще не велось, как обыкновенно и делается при техниче-ски-деловых собраниях.

На первый взгляд это казалось правдоподобным. Марсиане действительно чаще всего публикуют только решения своих технических съездов, находя, что всякое разумное и полезное мнение, высказанное там, либо найдет себе отражение в принятой резолюции, либо го-раздо лучше и обстоятельнее, чем в короткой речи, бу-дет выяснено автором в особой статье, брошюре, кни-ге, если сам автор находит его важным. Марсиане вооб-ще не любят чрезмерно размножать литературу, и ни-чего подобного нашим многотомным «трудам комис-сий» у них найти нельзя: все сжимается до наименьше-го возможного объема. Но в данном случае я не пове-рил библиотекаря. Слишком крупные и важные вещи решались на съезде, чтобы можно было так отнестись к их обсуждению, как к обычным дебатам по како-му-нибудь обычному техническому вопросу.

Я, однако, постарался скрыть свое недоверие и, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, покорно углубился в изучение того, что мне дали, в действи-тельности же тем временем обдумывал план дальней-ших действий.

Было очевидно, что в книжной библиотеке я не по-лучу того, что мне надо: протоколов либо в самом де-ле не было, либо предупрежденный моим вопросом библиотекарь искусно спрячет их от меня. Оставалось другое — фонографическое отделение библиотеки.

Там протоколы могли найтись даже в том случае, если не были изданы в печати. Фонограф часто заменя-ет у марсиан стенографию, и в их архивах хранятся многие неизданные фонограммы различных обществен-ных собраний.

Я выбрал момент, когда книжный библиотекарь был сильно поглощен работой, и незаметно для него про-шел в фонографический отдел. Там я спросил у дежур-ного товарища большой каталог фонограмм. Он дал мне его.

По каталогу я быстро нашел номера фонограмм ин-тересующего меня съезда и, делая вид, что не хочу бес-покоить доставанием их дежурного товарища, отпра-вился сам разыскивать их. Это мне также легко уда-лось.

Всех фонограмм было пятнадцать, по числу заседаний съезда. При каждой, как обыкновенно у марсиан делается, было приложено писаное оглавление. Я быстро пересмотрел их.

Первые пять заседаний оказались посвященными всецело докладам об экспедициях, устроенных после предыдущего съезда, и новых усовершенствованиях в технике этероневов.

В заголовке шестой фонограммы значилось:

«Предложение центральной статистики о переходе к массовой колонизации. Выбор планеты — Земля и Венера. Речи и предложения Стэрни, Нэтти, Мэнни и других. Предварительное решение в пользу Венеры».

Я почувствовал, что это то самое, что искал. Я вставил фонограмму в аппарат. То, что я услышал, навсегда врезалось мне в душу. Вот что там было.

Шестое заседание открыл Мэнни, председатель конгресса. Первым взял слово для доклада представитель центральной статистики.

Он посредством ряда точных цифр доказал, что при данном росте населения и прогрессе его потребностей, если марсиане будут ограничиваться эксплуатацией всей планеты, то через тридцать лет начнется недостаток в средствах питания. Помешать этому могло бы открытие технически легкого синтеза белков из неорганической материи, но никоим образом нельзя ручаться, что за тридцать лет этого удастся достигнуть. Поэтому совершенно необходимо, чтобы колониальная группа от простых научных экскурсий на другие планеты перешла к делу организации настоящего массового переселения туда марсиан. Налицо имеется две доступные для марсиан планеты с громадными естественными богатствами. Надо немедленно же решить, какую из них сделать для начала центром колонизации, и затем приступить к выработке плана.

Мэнни спрашивает, есть ли желающие возразить по существу против предложения центральной статистики или против его мотивировки. Желающих не оказывается.

Тогда Мэнни ставит на обсуждение вопрос о том, какую планету выбрать в первую очередь в деле массовой колонизации.

Слово берет Стэрни.

VII. Стэрни

— Первый вопрос, поставленный нам представителем центральной статистики,— так начал Стэрни своим обычным, математически-деловым тоном,— вопрос о выборе планеты для колонизации, на мой взгляд, не нуждается в решении, потому что решен давно, решен самой действительностью. Выбирать не из чего. Из двух доступных нам теперь планет только одна вообще пригодна для массовой колонизации. Это Земля. О Венере существует большая литература, с которой все вы, конечно, знакомы. Вывод из всех собранных в ней данных возможен только один: овладеть Венерой мы теперь не можем. Ее жгучее солнце истомит и обессилит наших колонистов, ее страшные грозы и бури разрушат наши постройки, разбьют в пространстве наши аэропланы и разобьют их об исполинские горы. С ее чудовищами мы могли бы еще справиться, хотя и ценою немалых жертв; но ее бактериальный мир, страшно богатый формами, известен нам лишь в ничтожной степени,— а сколько новых болезней для нас скрывает он в себе? Ее вулканические силы еще находятся в беспокойном брожении; сколько неожиданных землетрясений, извержений лавы, океанических наводнений они нам обещают. Разумные существа не должны предпринимать невозможного. Попытка колонизовать Венеру дала бы нам бесчисленные, но и бесполезные жертвы, не жертвы науки и общего счастья, а жертвы безумия и мечты. Этот вопрос, мне кажется, ясен, и уже один доклад последней экспедиции на Венеру вряд ли в ком-нибудь мог оставить какие бы то ни было сомнения.

Таким образом, если дело идет вообще о массовом переселении, то, конечно, только о переселении на Землю. Тут препятствия со стороны природы ничтожны, ее богатства неисчислимы,— они в восемь раз превосходят то, что дает наша планета. Самое дело колонизации хорошо подготовлено уже существующей на Земле, хотя и невысокой культурой. Все это, разумеется, известно и центральной статистике. Если она предлагает нам вопрос о выборе, а мы находим нужным его обсуждать, то исключительно по той причине, что Земля представляет нам одно очень серьезное препятствие. Это ее человечество.

Люди Земли владеют ею, и ни в каком случае они ее добровольно не уступят, не уступят сколько-нибудь

значительной доли ее поверхности. Это вытекает из всего характера их культуры. Ее основа есть собственность, огражденная организованным населением. Хотя даже самые цивилизованные племена Земли эксплуатируют на деле только ничтожную часть доступных им сил природы, но стремление к захвату новых территорий у них никогда не ослабевает. Систематическое ограбление земель и имущества менее культурных племен носит у них название колониальной политики и рассматривается как одна из главных задач их государственной жизни. Можно себе представить, как отнесутся они к естественному и разумному предложению с нашей стороны — уступить нам часть их материков, взамен чего мы научили бы их и помогли бы им несравненно лучше пользоваться остальной частью... Для них колонизация — это вопрос только грубой силы и насилия; и хотим мы или не хотим, они заставят нас принять по отношению к ним эту точку зрения.

Если бы при этом дело шло только о том, чтобы один раз доказать им перевес нашей силы, это было бы сравнительно просто и потребовало бы не больше жертв, чем любая из их обычных бессмысленных и бесполезных войн. Существующие у них большие стада дрессированных для убийства людей, называемых армиями, послужили бы самым подходящим материалом для такого необходимого насилия. Любой из наших этеронефов мог бы посредством потока губительных лучей, возникающих при ускоренном разложении радия, уничтожить в несколько минут одно-два таких стада, и это было бы скорее полезно, чем вредно даже для их культуры. Но, к сожалению, дело не так просто, а главные трудности только начались бы с этого момента.

В вечной борьбе между племенами Земли у них сложилась психологическая особенность, называемая патриотизмом. Это неопределенное, но сильное и глубокое чувство включает в себе и злобное недоверие ко всем чуждым народам и расам, и стихийную привычку к своей общей жизненной обстановке, особенно к территории, с которой земные племена срастаются, как черепаха со своей оболочкой, и какое-то коллективное самомнение, и, часто кажется, простую жажду истребления, насилия, захватов. Патриотическое душевное состояние чрезвычайно усиливается и обостряется после военных поражений, особенно когда победители отнимают у побежденных часть территории; тогда патриотизм побежденных приобретает характер длитель-

ной и жестокой ненависти к победителям, и месть им становится жизненным идеалом всего племени, не только его худших элементов — «высших», или правящих, классов, но и лучших — его трудящихся масс.

И вот если бы мы взяли себе часть земной поверхности посредством необходимого насилия, то несомненно, что это повело бы к объединению всего земного человечества в одном чувстве земного патриотизма, в беспощадной расовой ненависти и злобе против наших колонистов; истребление пришельцев каким бы то ни было способом, вплоть до самых предательских, стало бы в глазах людей священным и благородным подвигом, дающим бессмертную славу. Существование наших колонистов сделалось бы совершенно невыносимым. Вы знаете, что разрушение жизни — дело вообще очень легкое, даже для нашей культуры; мы неизмеримо сильнее земных людей в случае открытой борьбы, но при неожиданных нападениях они могут убивать нас так же успешно, как обыкновенно делают это друг с другом. Надо к тому же заметить, что искусство истребления развито у них несравненно выше, чем все другие стороны их своеобразной культуры.

Жить вместе с ними и среди них было бы, конечно, прямо невозможно; это означало бы вечные заговоры и террор с их стороны, постоянное сознание неотвратимой опасности и бесчисленные жертвы для наших товарищей. Пришлось бы выселить их из всех занятых нами областей — выселить сразу десятки, может быть, сотни миллионов. При их общественном строе, не признающем товарищеской взаимной поддержки, при их социальных отношениях, обуславливающих услуги и помощь уплатою денег, наконец, при их неуклюжих и лишенных гибкости способах производства, не допускающих достаточно быстрого расширения производительности и перераспределения продуктов труда, — эти миллионы выселенных нами людей были бы в громадном большинстве обречены на мучительную голодную смерть. А уцелевшее меньшинство образовало бы кадры ожесточенных, фанатичных агитаторов против нас среди всего остального человечества Земли.

Затем пришлось бы все-таки продолжать борьбу. Вся наша земная область должна была бы превратиться в непрерывно охраняемый военный лагерь. Страх дальнейших захватов с нашей стороны и великая расовая ненависть направили бы все силы земных племен на подготовку и организацию войн против нас. Если уже теперь их оружие гораздо совершеннее их орудий

труда, то тогда прогресс истребительной техники пойдет у них еще несравненно быстрее. В то же время они будут отыскивать и подстерегать случаи для внезапного открытия войны, и если им это удастся, они, несомненно, нанесут нам большие вознаградимые потери, хотя бы дело и окончилось нашей победой. Кроме того, нет ничего невозможного и в том, что они каким-нибудь способом узнают устройство нашего главного оружия. Радирующая материя им уже известна, а метод ускоренного ее разложения может быть либо разведан ими каким-нибудь способом у нас, либо даже самостоятельно открыт их учеными. Но вы знаете, что при таком оружии тот, кто на несколько минут предупреждает противника своим нападением, тот неизбежно его уничтожает; и разрушить высшую жизнь в этом случае так же легко, как самую элементарную.

Каково же было бы существование наших товарищей среди этих опасностей и этого вечного ожидания? Были бы отравлены не только все радости жизни, но и самый тип ее скоро был бы извращен и принижен. В нее мало-помалу проникли бы подозрительность, мстительность, эгоистичная жажда самосохранения и неразрывно связанная с нею жестокость. Эта колония перестала бы быть нашей колонией, превратившись в военную республику среди побежденных, неизменно враждебных племен. Повторяющиеся нападения с их жертвами не только порождали бы чувство мести и злобы, искажающее дорогой нам образ человека, но и объективно вынуждали бы к переходу из самозащиты в беспощадное наступление. И в конце концов после долгих колебаний и бесплодной мучительной растраты сил дело пришлось бы неизбежно к той постановке вопроса, какую мы, существа сознательные и предвидящие ход событий, должны принять с самого начала: колонизация Земли требует полного истребления земного человечества.

(Среди сотен слушателей проносится ропот ужаса, из которого выделяется громкое негодующее восклицание Нэтти.) Когда тишина восстанавливается, Стэрни спокойно продолжает:

— Надо понять необходимость и твердо смотреть ей в глаза, как бы ни была она сурова. Нам предстоит одно из двух: либо остановка в развитии нашей жизни, либо уничтожение чуждой нам жизни на Земле. Ничего третьего нет перед нами. (Голос Нэтти: «Неправда!») Я знаю, что имеет в виду Нэтти, протестуя против моих

слов, и разберу сейчас ту третью возможность, которую она предлагает.

— Это попытка немедленного социалистического перевоспитания земного человечества, план, к которому все мы еще недавно склонялись и от которого теперь, по моему мнению, должны неизбежно отказаться. Мы достаточно уже знаем о людях Земли, чтобы понять всю неосуществимость этой идеи.

Уровень культуры передовых народов Земли приблизительно соответствует тому, на котором стояли наши предки в эпоху прорытия Больших каналов. Там также господствует капитализм и существует пролетариат, ведущий борьбу за социализм. Судя по этому, можно было думать, что недалек уже момент переворота, который устранил систему организованного насилия и создаст возможность свободного и быстрого развития человеческой жизни. Но у земного капитализма есть важные особенности, сильно изменяющие все дело.

С одной стороны, земной мир страшно раздроблен политическими и национальными делениями, так что борьба за социализм ведется не как единый цельный процесс в одном обширном обществе, а как целый ряд самостоятельных и своеобразных процессов в отдельных обществах, разъединенных государственной организацией, языком, иногда и расою. С другой стороны, формы социальной борьбы там гораздо грубее и механичнее, чем это было у нас, и несравненно большую роль в них играет прямое материальное насилие, воплощенное в постоянных армиях и вооруженных восстаниях.

Благодаря всему этому получается то, что вопрос о социальной революции становится очень неопределенным: предвидится не одна, а множество социальных революций, в разных странах в различное время, и даже во многом, вероятно, неодинакового характера, а главное — с сомнительным и неустойчивым исходом. Господствующие классы, опираясь на армию и высокую военную технику, в некоторых случаях могут нанести восставшему пролетариату такое истребительное поражение, которое в целых обширных государствах на десятки лет отбросит назад дело борьбы за социализм; и примеры подобного рода уже бывали в летописях Земли. Затем отдельные передовые страны, в которых социализм восторжествует, будут как острова среди враждебного им капиталистического, а частью даже докапиталистического мира. Борясь за свое собст-

венное господство, высшие классы несоциалистических стран направят все свои усилия, чтобы разрушить эти острова, будут постоянно организовывать на них военные нападения и найдут среди социалистических наций достаточно союзников, готовых на всякое правительство, из числа прежних собственников, крупных и мелких. Результат этих столкновений трудно предугадать. Но даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с неизбежным последствием — варварским патриотизмом. Это будет далеко не наш социализм.

Задача нашего вмешательства должна была, по нашим прежним планам, заключаться в том, чтобы ускорить и помочь торжеству социализма. Каким способом для нас возможно это сделать? Во-первых, мы можем передать людям Земли нашу технику, нашу науку, наше умение господствовать над силами природы, и тем самым настолько сразу поднять их культуру, что отсталые формы экономической и политической жизни окажутся в слишком резком противоречии с нею и падут в силу своей негодности. Во-вторых, мы можем прямо поддержать социалистический пролетариат в его революционной борьбе и помочь ему сломить сопротивление двух классов. Иных способов нет. Но эти два достигают ли своей цели? Мы теперь достаточно знаем, чтобы решительно ответить: нет!

К чему приведет сообщение земным людям наших технических знаний и методов?

Первыми захватят их в свою пользу и увеличат ими свою силу господствующие классы всех стран. Это неизбежно, потому что в их руках находятся все материальные средства труда и им служат девяносто девять сотых всех ученых и инженеров, — значит, им будет принадлежать вся возможность применения новой техники. И они воспользуются ею ровно настолько, насколько это будет для них выгодно и насколько это будет усиливать их власть над массами. Более того: те новые и могущественные средства истребления и разрушения, которые при этом попадут в их руки, они постараются немедленно пустить в ход для подавления социалистического пролетариата. Они удесятерят его преследования и организуют широкую провокацию, чтобы поскорее вызвать его на открытый бой и в этом бою раздавить его сознательные и лучшие силы, идейно его обезглавить, пока он не успел, в свою

очередь, овладеть новыми лучшими методами военного насилия. Таким образом, наше вмешательство послужит толчком для реакции сверху и в то же время даст ей оружие невиданной силы. В конечном итоге оно на целые десятки лет замедлит борьбу социализма.

А чего достигли бы мы попытками оказать прямую помощь социалистическому пролетариату против его врагов?

Предположим — это ведь еще не наверное, — что он примет союз с нами. Первые победы будут тогда одержаны легко. Но дальше? Неизбежное развитие среди всех других классов общества самого ожесточенного и бешеного патриотизма, направленного против нас и против социалистов Земли... Пролетариат все еще представляет меньшинство почти во всех, даже наиболее передовых странах Земли; большинство образуют не успевшие разложиться остатки класса мелких собственников, массы наиболее невежественные и темные. Восстановить всех их до крайней степени против пролетариата будет тогда для крупных собственников и их ближайших прислужников — чиновников и ученых — очень легко, потому что эти массы, по своей сущности консервативные и даже частью реакционные, чрезвычайно болезненно воспринимают всякий быстрый прогресс. Передовой пролетариат, окруженный со всех сторон страшно озлобленными, беспощадными врагами, — к ним примкнут и обширные слои отсталых по развитию пролетариев, — окажется в таком же невыносимом положении, в каком оказались бы наши колонисты среди побежденных земных племен. Будут бесчисленные предательские нападения, погромы, резня, а главное, вся позиция пролетариата среди общества будет как нельзя более неблагоприятна для того, чтобы руководить преобразованием общества. И опять-таки наше вмешательство не приблизит, а замедлит социальный переворот.

Время этого переворота, таким образом, остается неопределенным, и не от нас зависит его ускорить. Во всяком случае, ждать его пришлось бы гораздо дольше, чем это для нас возможно. Уже через 30 лет у нас окажется 15—20 миллионов избыточного населения, а затем каждый год оно будет возрастать еще на 20—25 миллионов. Надо заранее произвести значительную колонизацию; иначе у нас не хватит сил и средств для того, чтобы сразу выполнить ее в необходимых размерах.

Кроме того, более чем сомнительно, чтобы нам удалось мирно столкнуться даже с социалистическими обществами Земли, если бы они неожиданно скоро образовались. Как я уже говорил, это будет во многом не наш социализм.

Века национального дробления, взаимного непонимания, грубой и кровавой борьбы не могли пройти даром,— они надолго оставят глубокие следы в психологии освобожденного земного человечества; и мы не знаем, сколько варварства и узости социалисты Земли принесут с собою в свое новое общество.

Перед нами налицо опыт, который позволяет судить, в какой мере далека от нас психология Земли даже в лучших ее представителях. Из последней экспедиции мы привезли с собою одного земного социалиста, человека, выдающегося в своей среде душевной силой и физическим здоровьем. И что же? Вся наша жизнь оказалась для него такой чуждой, в таком противоречии со всей его организацией, что прошло очень немного времени, и он уже болен глубоким психическим расстройством.

Таков один из лучших, которого выбрал среди многих сам Мэнни. Чего мы можем ожидать от остальных?

Итак, остается все та же дилемма: или приостановка нашего собственного размножения, и с нею ослабление всего развития нашей жизни, или колонизация Земли, основанная на истреблении всего ее человечества.

Я говорю об истреблении всего ее человечества, потому что мы не можем даже сделать исключения для его социалистического авангарда. Нет, во-первых, никакой технической возможности среди всеобщего уничтожения выделить этот авангард среди остальных масс, незначительную долю которых он представляет. И, во-вторых, если бы нам удалось сохранить социалистов, они сами начали бы потом с нами ожесточенную, беспощадную войну, жертвуя в ней собою до полного истребления, потому что они никогда не могли бы примириться с убийством сотен миллионов людей, им подобных и с ними связанных многими, часто очень тесными жизненными связями. В столкновениях двух миров здесь нет компромисса.

Мы должны выбирать. И я говорю: мы можем выбирать только одно.

Высшей жизнью нельзя жертвовать ради низшей. Среди земных людей не найдется и нескольких миллионов, сознательно стремящихся к действительно че-

ловеческому типу жизни. Ради этих зародышевых людей мы не можем отказаться от возможности зарождения и развития десятков, может быть, сотен миллионов существ нашего мира — людей в несравненно более полном значении этого слова. И не будет жестокости в наших действиях, потому что мы сумеем выполнить это истребление с гораздо меньшими страданиями для них, чем они сами постоянно причиняют друг другу.

Мировая жизнь едина. И для нее будет не потерей, а приобретением, если на Земле вместо ее еще далекого полуварварского социализма развернется теперь же наш социализм, жизнь несравненно более гармоничная в ее непрерывном, беспредельном развитии.

(После речи Стэрни наступает сначала глубокая тишина. Ее прерывает Мэнни, предлагая высказаться тем, кто держится противоположного взгляда. Слово берет Нэтти.)

VIII. Нэтти

— «Мировая жизнь едина» — это сказал Стэрни. И что же он предложил нам?

Уничтожить, навеки истребить целый своеобразный тип этой жизни, тип, которого потом мы никогда уже не можем ни восстановить, ни заменить.

Сотни миллионов лет жила прекрасная планета, жила своей, особенной жизнью, не такой, как другие... И вот из ее могучих стихий стало организовываться сознание; поднимаясь в жестокой и трудной борьбе с низших ступеней на высшие, оно наконец приняло близкие, родные нам человеческие формы. Но эти формы не те, что у нас: в них отразилась и сосредоточилась история иной природы, иной борьбы; под ними скрыта иная стихийность, в них заключаются иные противоречия, иные возможности развития. Настала эпоха, когда впервые может осуществиться соединение двух великих линий жизни. Сколько нового многообразия, какая высшая гармония должна возникнуть из этого сочетания! И нам говорят: мировая жизнь едина, поэтому нам надо не объединять, а... разрушать ее.

Когда Стэрни указывал, насколько человечество Земли, его история, его нравы, его психология непохожи на наши, он опровергал свою идею почти лучше, чем я могу это сделать. Если бы они были совершенно похожи на нас во всем, кроме ступени развития, если бы они были тем, чем были наши предки в эпоху нашего капитализма, тогда со Стэрни можно было бы со-

гласиться: низшей ступенью стоит пожертвовать ради высшей, слабыми ради сильных. Но земные люди не таковы, они не только ниже и слабее нас по культуре — они иные, чем мы, и потому, устраняя их, мы их не заместим в мировом развитии, мы только механически заполним собою ту пустоту, которую создадим в царстве форм жизни.

Не в варварстве, не в жестокости земной культуры заключается ее действительное различие от нашей. Варварство и жестокость — это только преходящие проявления той общей расточительности в процессе развития, которою отличается вся жизнь Земли. Там борьба за существование энергичнее и напряженнее, природа непрерывно создает гораздо больше форм, но гораздо больше их и погибает жертвами развития. И это не может быть иначе, потому что от источника жизни — Солнца — Земля в целом получает лучистой энергии в восемь раз больше, чем наша планета. Оттого там рассеивается и разбрасывается так много жизни, оттого в разнообразии ее форм возникает так много противоречий и так мучительно сложен и полон крушений весь путь их примирения. В царстве растений и животных миллионы видов ожесточенно боролись и быстро вытесняли друг друга, участвуя своей жизнью и своей смертью в выработке новых, более законченных и гармоничных, более синтетических типов. Так было и в царстве человека.

Наша история, если ее сравнить с историей земного человечества, кажется удивительно простой, свободной от блужданий и правильной до схематичности. Спокойно и непрерывно происходило накопление элементов социализма, — исчезали мелкие собственники, поднимался со ступени на ступень пролетариат; все это происходило без колебаний и толчков, на всем протяжении планеты, объединенной в связное политическое целое. Велась борьба, но люди кое-как понимали друг друга; пролетариат не заглядывал далеко вперед, но и буржуазия не была утопична в своей реакционности; различные эпохи и общественные формации не перемещивались до такой степени, как это происходит на Земле, где в высококапиталистической стране возможна иногда феодальная реакция, и многочисленное крестьянство, отстающее по своей культуре на целый исторический период, часто служит для высших классов орудием подавления пролетариата. Ровным и гладким путем мы пришли несколько поколений тому назад к такому общественному устройству,

которое освобождает и объединяет все силы социального развития.

Не такова была дорога, по которой шли наши земные братья, — тернистая, с множеством поворотов и перерывов. Немногие из нас знают, и никто из нас не в силах себе ясно представить, до какого безумия было доведено искусство мучить людей у самых культурных народов Земли в идейных и политических организациях господства высших классов — в церкви и государстве. И что же в результате? Замедлилось развитие? Нет, мы не имеем основания утверждать этого, потому что первые стадии капитализма, до зарождения пролетарского социалистического сознания, протекли среди путаницы и жестокой борьбы различных формаций не медленнее, а быстрее, чем у нас, — в постепенных и более спокойных переходах. Но самая суровость и беспощадность борьбы породила в борцах такой подъем энергии и страсти, такую силу героизма и мученичества, каких не знала более умеренная и менее трагичная борьба наших предков. И в этом земной тип жизни людей не ниже, а выше нашего, хотя мы, старшие по культуре, стоим на гораздо более высокой ступени.

Земное человечество раздроблено, его отдельные расы и нации глубоко срослись со своими территориями, они говорят на разных языках, и глубокое непонимание друг друга проникает во все их жизненные отношения... Все это верно, и верно то, что общечеловеческое объединение, которое с великими трудностями пробивает себе дорогу через все эти границы, будет достигнуто нашими земными братьями сравнительно гораздо позже, чем нами. Это дробление возникло из обширности земного мира, богатства и разнообразия его природы. Оно ведет к возникновению множества различных точек зрения и оттенков в понимании вселенной. Разве все это ставит Землю и ее людей ниже, а не выше нашего мира в аналогичные эпохи его истории?

Даже механическое различие языков, на которых они говорят, во многом помогало развитию их мышления, освобождая понятие от грубой власти слов, которыми они выражаются. Сравните философию земных людей с философией наших капиталистических предков. Философия Земли не только разнообразнее, но и тоньше, не только исходит из более сложного материала, но в своих лучших школах и анализирует его глубже, вернее, устанавливая связь фактов и понятий. Конечно, всякая философия есть выражение слабости и разрозненности познания, недостаточности научного

развития; это попытка дать единую картину бытия, заполняя предложениями пробелы научного опыта; поэтому философия будет устранена на Земле, как устранена уже у нас, монизмом наука. Но посмотрите, сколько предложений философии, созданной их передовыми мыслителями и борцами, предупреждают в грубых чертах открытия нашей науки — такова почти вся общественная философия социалистов. Ясно, что племена, превзошедшие наших предков в творчестве философском, могут впоследствии превзойти нас самих в творчестве научном.

И Стэрни хочет измерять это человечество счетом праведников — сознательных социалистов, которых оно сейчас в себе заключает, — хочет судить его по его нынешним противоречиям, а не по тем силам, которыми порождены и в свое время будут разрешены эти противоречия. Он хочет осушить навеки этот бурный, но прекрасный океан жизни!

Твердо и решительно мы должны ему ответить: никогда!

Мы должны подготовить свой будущий союз с человечеством Земли. Мы не можем значительно ускорить его переход к свободному строю: но то немногое, что мы в силах сделать для этого, мы сделать должны. И если первого посланника Земли в нашей среде мы не сумели уберечь от ненужных страданий болезни, это не делает чести нам, а не им. К счастью, он скоро выздоровеет, и даже если в конце концов его убьет это слишком быстрое сближение с чуждой для него жизнью, он успеет сделать еще многое для будущего союза двух миров.

А наши собственные затруднения и опасности мы должны преодолеть на других путях. Надо направить новые научные силы на химию белковых веществ, надо готовить, насколько возможно, колонизацию Венеры. Если мы не успеем решить этих задач в короткий срок, который нам остался, надо временно сократить размножение. Какой разумный акушер не пожертвует жизнью народившегося младенца, чтобы сохранить жизнь женщины? Мы должны также, если это необходимо, пожертвовать частицей той нашей жизни, которой еще нет, для той, пока еще чуждой жизни, которая есть и развивается. Союз миров бесконечно окупит эту жертву.

Единство жизни есть высшая цель, и любовь — высший разум!

(Глубокое молчание. Затем слово берет Мэнни.)

IX. Мэнни

— Я внимательно наблюдал настроение товарищей и вижу, что значительное большинство их на стороне Нэтти. Я очень рад этому, потому что приблизительно такова же и моя точка зрения. Прибавлю только одно практическое соображение, которое мне кажется очень важным. Существует серьезная опасность, что в настоящее время нам даже не хватило бы технических средств, если бы мы сделали попытку массовой колонизации других планет.

Мы можем построить десятки тысяч больших этеронефов, и может оказаться, что их нечем будет привести в движение. Той радирующей материи, которая служит необходимым двигателем, нам придется тратить в сотни раз больше, чем до сих пор. А между тем все известные нам месторождения истощаются и новые открываются все реже и реже.

Надо не забывать, что радиоматерия нужна нам постоянно не только для того, чтобы давать этеронефам их громадную скорость. Вы знаете, что вся наша техническая химия построена теперь на этих веществах. Их мы затрачиваем при производстве «минус-материи», без которой те же этеронефы и наши бесчисленные аэропланы превращаются в негодные тяжелые ящики. Этим необходимым применением активной материи жертвовать не приходится.

Но всего хуже то, что единственная возможная замена колонизации — синтез белков — может оказаться неосуществимой из-за того же недостатка радирующих веществ. Технически легкий и удобный для фабричного производства синтез белков при громадной сложности их состава немыслим на пути старых методов синтеза, методов постепенного усложнения. На том пути, как вы знаете, уже несколько лет тому назад удалось получить искусственные белки, но в ничтожном количестве и с большими затратами энергии и времени, так что вся работа имеет лишь теоретическое значение. Массовое производство белков из неорганического материала возможно только посредством тех быстрых и резких изменений химических составов, какие достигаются у нас действием неустойчивых элементов на обыкновенную устойчивую материю. Чтобы добиться успеха в этом направлении, десяткам тысяч работников придется перейти специально на исследования по синтезу белков и поставить миллионы разнообразнейших новых опытов. Для этого, а затем, в случаях

успеха, для массового производства белков опять-таки необходимо будет затрачивать громадные количества активной материи, каких теперь нет в нашем распоряжении.

Таким образом, с какой точки зрения ни посмотреть, мы можем обеспечить себе успешное разрешение занимающего нас вопроса только в том случае, если найдем новые источники радиоэлементов. Но где их искать? Очевидно, на других планетах, то есть либо на Земле, либо на Венере; и для меня несомненно, что первую попытку следует сделать именно на Венере.

Относительно Земли можно предполагать, что там есть богатые запасы активных элементов. Относительно Венеры это вполне установлено. Земные месторождения нам неизвестны, потому что те, которые найдены земными учеными, к сожалению, ничего не стоят. Месторождения на Венере нами уже открыты с первых шагов нашей экспедиции. На Земле главные залежи расположены, по-видимому, так же, как и у нас, то есть глубоко под поверхностью. На Венере некоторые из них находятся так близко к поверхности, что их радиации были сразу обнаружены фотографическим путем. Если искать радий на Земле, то придется перерывать ее материи так, как мы это сделали на нашей планете; на это могут потребоваться десятки лет, и есть еще риск обмануться в ожиданиях. На Венере остается только добывать то, что уже найдено, и это можно сделать без всяких промедлений.

Поэтому, как бы мы ни решили впоследствии вопрос о массовой колонизации, теперь, чтобы гарантировать возможность этого решения, надо, по моему глубокому убеждению, немедленно произвести маленькую, может быть, временную колонизацию Венеры, с единственной целью добывания активной материи.

Естественные препятствия, конечно, громадны, но нам вовсе не придется теперь преодолевать их полностью. Мы должны овладеть только маленьким клочком этой планеты. В сущности, дело сводится к большой экспедиции, которая должна будет пробыть там не месяцы, как прежние наши экспедиции, а целые годы, занимаясь добыванием радия. Придется, конечно, одновременно вести энергичную борьбу с природными условиями, ограждая себя от губительного климата, неизвестных болезней и других опасностей. Будут большие жертвы; возможно, что только малая часть экспедиции вернется назад. Но попытку сделать необходимо.

Наиболее подходящим местом для начала является, по многим данным, остров Горячих бурь. Я тщательно изучил его природу и составил подробный план организации всего дела. Если вы, товарищи, считаете возможным обсуждать его теперь, я немедленно изложу его вам.

(Никто не высказался против, и Мэнни переходит к изложению своего плана, причем обстоятельно рассматривает все технические детали. По окончании его речи выступают новые ораторы, но все они говорят исключительно по поводу его плана, разбирая частности. Некоторые выражают недоверие к успеху экспедиции, но все соглашаются, что попытаться надо. В заключение принимается резолюция, предложенная Мэнни.)

Х. Убийство

То глубокое ошеломление, в котором я находился, исключало всякую даже попытку собраться с мыслями. Я только чувствовал, как холодная боль железным кольцом сжимала мне сердце, и еще перед моим сознанием с яростью галлюцинации выступала огромная фигура Стэрни с его неумолимо-спокойным лицом. Все остальное смещивалось и терялось в тяжелом, темном хаосе.

Как автомат, я вышел из библиотеки и сел в свою гондолу. Холодный ветер от быстрого полета заставил меня плотно закутаться в плащ, и это как будто внушило мне новую мысль, которая сразу застыла в сознании и сделалась несомненной: мне надо остаться одному. Когда я приехал домой, я немедленно привел ее в исполнение — все так же механично, как будто действовал не я, а кто-то другой.

Я написал руководящей фабричной коллегии, что на время ухожу от работы. Энно я сказал, что нам надо пока расстаться. Она тревожно-пытливо взглянула на меня и побледнела, но не сказала ни слова. Только потом, в самую минуту отъезда, она спросила, не желаю ли я видеть Нэллу. Я ответил: «Нет» — и поцеловал Энно в последний раз.

Затем я погрузился в мертвое оцепенение. Была холодная боль, и были обрывки мыслей. От речей Нэтти и Мэнни осталось бледное, равнодушное воспоминание, как будто это все было неважно и неинтересно. Раз только промелькнуло соображение: «Да, вот почему уехала Нэтти: от экспедиции зависит все». Резко и отчетливо выступали отдельные выражения и целые

фразы Стэрни: «Надо понять необходимость... несколько миллионов человеческих зародышей... полное истребление земного человечества... он болен тяжелой душевной болезнью...» Но не было ни связи, ни выводов. Иногда мне представлялось истребление человечества как совершившийся факт, но в смутной, отвлеченной форме. Боль в сердце усиливалась, и зарождалась мысль, что я виновен в этом истреблении. На короткое время пробивалось сознание, что ничего этого еще нет и, может быть, не будет. Боль, однако, не прекращалась, и мысль опять медленно констатировала: «Все умрут... и Анна Николаевна... и рабочий Ваня... и Нэтти, нет, Нэтти останется, она марсианка... а все умрут... и не будет жестокости, потому что не будет страданий... да, это говорил Стэрни... а все умрут, оттого что я был болен... значит, я виновен...» Обрывки тяжелых мыслей цепенели и застывали и оставались в сознании, холодные, неподвижные. И время как будто остановилось с ними.

Это был бред, мучительный, непрерывный, безысходный. Призраков не было вне меня. Был один черный призрак в моей душе, но он был — все. И конца ему быть не могло, потому что время остановилось.

Возникла мысль о самоубийстве и медленно тянулась, но не заполняла сознания. Самоубийство казалось бесполезным и скучным: разве могло оно прекратить эту черную боль, которая была все? Не было веры в самоубийство, потому что не было веры в свое существование. Существовала тоска, холод, ненавистное все, но мое «я» терялось в этом как что-то незаметное, ничтожное, бесконечно малое. «Меня» не было.

Минутами мое сознание становилось настолько невыносимым, что возникало непреодолимое желание бросаться на все окружающее, живое и мертвое, бить, разрушать, уничтожать без следа. Но я еще сознавал, что это было бессмысленно и по-детски; я стискивал зубы и удерживался.

Мысль о Стэрни постоянно возвращалась и неподвижно останавливалась в сознании. Она была тогда как будто центром всей тоски и боли. Мало-помалу, очень медленно, но непрерывно около этого центра стало формироваться намерение, которое перешло затем в ясное непреклонное решение: «Надо видеть Стэрни». Зачем, по каким мотивам видеть, я не мог бы сказать этого. Было только несомненно, что я это сделаю. И было в то же время мучительно трудно выйти из моей неподвижности, чтобы исполнить решение.

Наконец настал день, когда у меня хватило энергии, чтобы преодолеть это внутреннее сопротивление. Я сел в гондолу и поехал в ту обсерваторию, которой руководил Стэрни. По дороге я пытался обдумать, о чем буду с ним говорить; но холод в сердце и холод вокруг парализовали мысль. Через три часа я доехал.

Войдя в большую залу обсерватории, я сказал одному из работавших там товарищей: «Мне надо видеть Стэрни». Товарищ пошел за Стэрни и, возвратившись через минуту, сообщил, что Стэрни занят проверкой инструментов, через четверть часа будет свободен, а пока мне удобнее подождать в его кабинете.

Меня провели в кабинет, я сел в кресло перед письменным столом и стал ожидать. Кабинет был полон различных приборов и машин, частью уже знакомых мне, частью незнакомых. Направо от моего кресла стоял какой-то маленький инструмент на тяжелом металлическом штативе, оканчивавшемся тремя ножками, на столе лежала раскрытая книга о Земле и ее обитателях. Я машинально начал ее читать, но остановился на первых же фразах и впал в состояние, близкое к прежнему оцепенению. Только в груди вместе с обычной тоскою чувствовалось еще какое-то неопределенное судорожное волнение. Так прошло не знаю сколько времени.

В коридоре послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел Стэрни со своим обычным спокойно-деловым видом; он опустился в кресло по другую сторону стола и вопросительно посмотрел на меня. Я молчал. Он подождал с минуту и обратился ко мне с прямым вопросом:

— Чем я могу быть полезен?

Я продолжал молчать и неподвижно смотрел на него как на неодушевленный предмет. Он чуть заметно пожал плечами и выжидательно расположился в кресле.

— Муж Нэтти...— наконец произнес я с усилием и полусознательно, в сущности не обращаясь к нему.

— Я был мужем Нэтти,— спокойно поправил он:— Мы разошлись уже давно.

— ...Истребление... не будет... жестокостью...— продолжал я, так же медленно и полусознательно повторяя ту мысль, которая окаменела в моем мозгу.

— А, вы вот о чем,— сказал он спокойно.— Но ведь теперь об этом нет и речи. Предварительное решение, как вы знаете, принято совершенно иное.

— Предварительное решение...— машинально повторил я.

— Что касается моего тогдашнего плана,— прибавил Стэрни,— то хотя я не вполне от него отказался, но должен сказать, что не мог бы теперь защищать его так уверенно.

— Не вполне...— повторил я.

— Ваше выздоровление и участие в нашей общей работе разрушили отчасти мою аргументацию...

— Истребление... отчасти,— перебил я, и, должно быть, вся тоска и мука слишком ясно отразилась в моей бессознательной иронии. Стэрни побледнел и тревожно взглянул на меня. Наступило молчание.

И вдруг холодное кольцо боли с небывалой, невыразимой силой сжало мое сердце. Я откинулся на спинку кресла, чтобы удержаться от безумного крика. Пальцы моей руки судорожно охватили что-то твердое и холодное. Я почувствовал холодное оружие в своей руке, и стихийно-непреодолимая боль стала бешеным отчаянием. Я вскочил с кресла, нанося страшный удар Стэрни. Одна из ножек треножника попала ему в висок, и он без крика, без стога склонился на бок, как инертное тело. Я отбросил свое оружие, оно зазвенело и загремело об машины. Все было кончено.

Я вышел в коридор и сказал первому товарищу, которого я встретил: «Я убил Стэрни». Тот побледнел и быстро прошел в кабинет, но там он, очевидно, сразу убедился, что помощь уже не нужна, и тотчас вернулся ко мне. Он отвел меня в свою комнату и, поручив другому находившемуся там товарищу вызвать по телефону врача, а самому идти к Стэрни, остался вдвоем со мною. Заговорить со мною он не решался. Я сам спросил его:

— Здесь ли Энно?

— Нет,— отвечал он,— она уехала на несколько дней к Нелле.

Затем снова молчание, пока не явился доктор. Он попытался расспросить меня о происшедшем; я сказал, что мне не хочется разговаривать. Тогда он отвез меня в ближайшую лечебницу душевнобольных.

Там мне предоставили большое удобное помещение и долго не беспокоили меня. Это было все, чего я мог желать.

Положение казалось мне ясным. Я убил Стэрни и тем погубил все. Марсиане видят на деле, чего они могут ожидать от сближения с земными людьми. Они видят, что даже тот, кого они считали наиболее спо-

собным войти в их жизнь, не может дать им ничего, кроме насилия и смерти, Стэрни убит — его идея воскресает. Последняя надежда исчезает, земной мир обречен. И я виновен во всем.

Эти идеи быстро возникли в моей голове после убийства и неподвижно воцарились там вместе с воспоминанием о нем. Было сначала некоторое успокоение в их холодной несомненности. А потом тоска и боль стали вновь усиливаться, казалось, до бесконечности.

Сюда присоединилось глубокое отвращение к себе. Я чувствовал себя предателем всего человечества. Мелькала смутная надежда, что марсиане меня убьют, но тотчас являлась мысль, что я для них слишком противен и их презрение помешает им сделать это. Они, правда, скрывали свое отвращение ко мне, но я ясно видел его, несмотря на их усилия.

Сколько времени прошло таким образом, я не знаю. Наконец врач пришел ко мне и сказал, что мне нужна перемена обстановки, что я отправляюсь на Землю. Я думал, что за этим скрывается предстоящая мне смертная казнь, но не имел ничего против. Я только просил, чтобы мое тело выбросили как можно дальше от всех планет: оно могло осквернить их.

Впечатления обратного путешествия очень смутны в моих воспоминаниях. Знакомых лиц около меня не было; я ни с кем не разговаривал. Сознание не было спутано, но я почти не замечал ничего окружающего. Мне было все равно.

ЧАСТЬ IV

I. У Вернера

Не помню, каким образом я очнулся в лечебнице у доктора Вернера, моего старшего товарища. Это была земская больница одной из северных губерний, знакомая мне еще ранее из писем Вернера; она находилась в нескольких верстах от губернского города, была очень скверно устроена и всегда страшно переполнена, с необыкновенно ловким экономом и недостаточным, замученным работою медицинским персоналом. Доктор Вернер вел упорную войну с очень либеральной земской управой из-за эконома, из-за лишних бараков, которые она строила очень неохотно, из-за церкви, которую она достраивала во что бы то ни

стало, из-за жалованья служащих и т. п. Больные благополучно переходили к окончательному слабоумию вместо выздоровления, а также умирали от туберкулеза вследствие недостатка воздуха и питания. Сам Вернер, конечно, давно ушел бы оттуда, если бы его не вынуждали оставаться совершенно особые обстоятельства, связанные с его революционным прошлым.

Но меня все прелести земской лечебницы несколько не коснулись. Вернер был хороший товарищ и не задумался пожертвовать для меня своими удобствами. В своей большой квартире, отведенной ему как старшему врачу, он предоставил мне две комнаты, в третьей рядом с ними поселил молодого фельдшера, в четвертой под видом служителя для ухода за больными — одного скрывавшегося товарища. У меня не было, конечно, прежнего комфорта, и надзор за мною при всей деликатности молодых товарищей был гораздо грубее и заметнее, чем у марсиан, но для меня все это было совершенно безразлично.

Доктор Вернер, как и марсианские врачи, почти не лечил меня, только давал иногда усыпляющие средства, а заботился главным образом о том, чтобы мне было удобно и спокойно. Каждое утро и каждый вечер он заходил ко мне после ванны, которую для меня устраивали заботливые товарищи; но заходил он только на минутку и ограничивался вопросом, не надо ли мне чего-нибудь. Я же за долгие месяцы болезни совершенно отвык разговаривать и отвечал ему только «нет» или не отвечал вовсе. Но его внимание трогало меня, а в то же время я считал, что совершенно не заслуживаю такого отношения и что должен сообщить ему об этом. Наконец мне удалось собраться с силами настолько, чтобы сказать ему, что я убийца и предатель и что из-за меня погибнет все человечество. Он ничего не возразил на это, только улыбнулся и после того стал заходить ко мне чаще.

Мало-помалу перемена обстановки оказала свое благотворное действие. Боль слабее сжимала сердце, тоска бледнела, мысли становились все более подвижными, их колорит делался светлее. Я стал выходить из комнат, гулял по саду и в роце. Кто-нибудь из товарищей постоянно был поблизости; это было неприятно, но я понимал, что нельзя же убийцу пустить одного гулять на свободе; иногда я даже сам разговаривал с ними, конечно, на безразличные темы.

Была ранняя весна, и возрождение жизни вокруг уже не обостряло моих мучительных воспоминаний;

слушая чирикание птичек, я находил даже некоторое грустное успокоение в мысли о том, что они останутся и будут жить, а только люди обречены на гибель. Раз как-то возле рожи меня встретил слабоумный больной, который шел с заступом на работу в поле. Он поспешил отрекомендоваться мне, причем с необыкновенной гордостью — у него была мания величия, — выдавая себя за урядника, — очевидно, высшая власть, которую он знал во время жизни на свободе. В первый раз за всю мою болезнь я невольно засмеялся. Я чувствовал отечество вокруг себя и, как Антей, набирался, правда, очень медленно, новых сил от родной земли.

II. Было — не было?

Когда я стал больше думать об окружающих, мне захотелось узнать, известно ли Вернеру и другим обоим товарищам, что со мной было и что я сделал. Я спросил Вернера, кто привез меня в лечебницу. Он отвечал, что я приехал с двумя незнакомыми ему молодыми людьми, которые не могли сообщить ему о моей болезни ничего интересного. Они говорили, что случайно встретили меня в столице совершенно больным, знали меня раньше, до революции, и тогда слышали от меня о докторе Вернере, а потому и решились обратиться к нему. Они уехали в тот же день. Вернеру они показались людьми надежными, которым нет основания не верить. Сам же он потерял меня из виду уже несколько лет перед тем и ни от кого не мог добиться никаких известий обо мне...

Я хотел рассказать Вернеру историю совершенного мной убийства, но это представлялось мне страшно трудным вследствие ее сложности и множества таких обстоятельств, которые каждому беспристрастному человеку должны были показаться очень странными. Я объяснил свое затруднение Вернеру и получил от него неожиданный ответ:

— Самое лучшее, если вы вовсе не будете мне теперь ничего рассказывать. Это бесполезно для вашего выздоровления. Спорить с вами я, конечно, не буду, но истории вашей все равно не поверю. Вы больны меланхолией, болезнью, при которой люди совершенно искренно приписывают себе небывалые преступления, и их память, приспособляясь к их бреду, создает ложные воспоминания. Но и вы мне тоже не поверите, пока не выздоровеете; и поэтому лучше отложить ваш рассказ до того времени.

Если бы этот разговор произошел несколькими месяцами раньше, я, несомненно, увидел бы в словах Вернера величайшее недоверие и презрение ко мне. Но теперь, когда моя душа уже искала отдыха и успокоения, я отнесся к делу совершенно иначе. Мне было приятно думать, что мое преступление неизвестно товарищам и что самый факт его еще может законно подвергаться сомнению. Я стал думать о нем реже и меньше.

Выздоровление пошло быстрее; только изредка возвращались приступы прежней тоски и всегда ненадолго. Вернер был явно доволен мною и почти даже снял с меня медицинский надзор. Как-то раз, вспоминая его мнение о моем «бреде», я попросил его дать мне прочитать типичную историю такой же болезни, как моя, из тех, которые он наблюдал и записывал в лечебнице. С большим колебанием и явной неохотой он, однако, исполнил мою просьбу. Из большой груды историй болезни он на моих глазах выбрал одну и подал ее мне.

Там говорилось о крестьянине отдаленной, глухой деревушки, которого нужда привела на заработки в столицу, на одну из самых больших ее фабрик. Жизнь большого города его, видимо, ошеломила, и, по словам его жены, он долго ходил «словно бы не в себе». Потом это прошло, и он жил и работал как все остальные. Когда разразилась на фабрике стачка, он был заодно с товарищами. Стачка была долгая и упорная; и ему, и жене, и ребенку пришлось сильно голодать. Он вдруг «загрустил», стал упрекать себя за то, что женился и прижил ребенка и что вообще жил «не по-божески».

Затем он начал уже «заговариваться», и его отвезли в больницу, а из больницы отправили в лечебницу той губернии, откуда он был родом. Он утверждал, что нарушил стачку и выдал товарищей, а также «доброго инженера», тайно поддерживающего стачку, который и был повешен правительством. По случайности я был близко знаком со всей историей стачки — я тогда работал в столице; в действительности никакого предательства там не произошло, а «добрый инженер» не только не был казнен, но даже и не арестован. Болезнь рабочего окончилась выздоровлением.

Эта история придала новый оттенок моим мыслям. Стало возникать сомнение, совершил ли я на самом деле убийство или, быть может, как говорил Вернер, это было «приспособление моей памяти к бреду меланхолии». В то время все мои воспоминания о жизни среди

марсиан были странно-смутны и бледны, во многом даже отрывочны и неполны; и хотя картина преступления вспоминалась всего отчетливее, но и она как-то путалась и тускнела перед простыми и ясными впечатлениями настоящего. Временами я отбрасывал малодушные, успокоительные сомнения и ясно сознавал, что все было и ничем это изменить нельзя. Но потом сомнения и софизмы возвращались; они мне помогали отделаться от мысли о прошлом. Люди так охотно верят тому, что для них приятно... И хотя где-то в глубине души оставалось сознание, что это ложь, но я упорно ей предавался, как предаются радостным мечтам.

Теперь я думаю, что без этого обманчивого самоуспокоения мое выздоровление не было бы ни таким быстрым, ни таким полным.

III. Жизнь Родины

Вернер тщательно устранял от меня всякие впечатления, которые могли бы быть «неполезны» для моего здоровья. Он не позволял мне заходить к нему в самую лечебницу, и из всех душевнобольных, которые там находились, я мог наблюдать только тех неизлечимо-слабоумных и дегенератов, которые ходили на свободе и занимались разными работами в поле, в роще, в саду; а это, правду сказать, было для меня неинтересно: я очень не люблю всего безнадежного, всего ненужного и обреченного. Мне хотелось видеть острых больных и именно тех, которые могут выздороветь, особенно меланхоликов и веселых маниакальных. Вернер обещал сам показать мне их, когда мое выздоровление достаточно продвинется вперед, но все откладывал и откладывал. Так дело до этого и не дошло.

Еще больше Вернер старался изолировать меня от всей политической жизни моей родины. По-видимому, он полагал, что самое заболевание возникло из тяжелых впечатлений революции; он не подозревал того, что все это время я был оторван от родины и даже не мог знать, что там делалось. Это полное незнание он считал просто забвением, обусловленным моей болезнью, и находил, что оно очень полезно для меня; и он не только сам ничего из этой области мне не рассказывал, но запретил и моим телохранителям; а во всей его квартире не было ни единой газеты, ни единой книжки, журнала последних лет: все это хранилось в его кабинете в лечебнице. Я должен был жить на политически-необитаемом острове.

Вначале, когда мне хотелось только спокойствия и тишины, такое положение мне нравилось. Но потом, по мере накопления сил, мне стало делаться все теснее в этой раковине; я начал приставать с расспросами к моим спутникам, а они, верные приказу врача, отказывались мне отвечать. Было досадно и скучно. Я стал искать способов выбраться из моего политического карантина и попытался убедить Вернера, что я уже достаточно здоров, чтобы читать газеты. Но все было бесполезно: Вернер объяснил, что это еще преждевременно и что он сам решит, когда мне можно будет переменить мою умственную диету.

Оставалось прибегнуть к хитрости. Я должен был найти себе подобного сообщника из числа окружающих. Фельдшера склонить на свою сторону было бы очень трудно: он имел слишком высокое представление о своем профессиональном долге. Я направил усилия на другого телохранителя, товарища Владимира. Тут большого сопротивления не встретилось.

Владимир был раньше рабочим. Малообразованный и почти еще мальчик по возрасту, он был рядовым революции, но уже испытанным солдатом. Во время одного знаменитого погрома, где множество товарищей погибло от пуль и в пламени пожара, он пробил себе дорогу сквозь толпу погромщиков, застрелив несколько человек и не получив по какой-то случайности ни одной раны. Затем он долго скитался нелегальным по разным городам и селам, выполняя скромную и опасную роль транспортера оружия и литературы. Наконец почва стала слишком горяча под его ногами, и он вынужден был на время скрыться у Вернера. Все это я, конечно, узнал позже. Но с самого начала я подметил, что юношу очень угнетает недостаток образования и трудность самостоятельных занятий при отсутствии предварительной научной дисциплины. Я начал заниматься с ним; дело пошло хорошо, и очень скоро я навсегда завоевал его сердце. А дальнейшее было уже легко; медицинские соображения были вообще мало понятны Владимиру, и у нас с ним составилась маленький заговор, парализовавший строгость Вернера. Рассказы Владимира, газеты, журналы, политические брошюры, которые он тайком приносил мне, быстро развернули передо мною жизнь родины за годы моего отсутствия.

Революция шла неровно и мучительно затягивалась. Рабочий класс, выступивший первым, сначала благодаря стремительности своего нападения одержал

большие победы; но затем, не поддержанный в решительный момент крестьянскими массами, он потерпел жестокое поражение от соединенных сил реакции. Пока он набирался энергии для нового боя и ожидал крестьянского арьергарда революции, между старой помещичьей властью и буржуазией начались переговоры, попытки сторговаться и столковаться для подавления революции. Попытки эти были облечены в форму парламентской комедии; они постоянно оканчивались неудачей вследствие непримиримости крепостников-реакционеров. Игрушечные парламенты созывались и грубо разгонялись один за другим. Буржуазия, утомленная бурями революции, запуганная самостоятельностью и энергией первых выступлений пролетариата, все время шла направо. Крестьянство, в своей массе вполне революционное по настроению, медленно усваивало политический опыт и пламенем бесчисленных поджогов освещало свой путь к высшим формам борьбы. Старая власть наряду с кровавым подавлением крестьянства попыталась часть его подкупить продажей земельных участков, но вела все дело в таких грошовых размерах и до такой степени бестолково, что из этого ничего не вышло. Повстанческие выступления отдельных партизан и групп учащались с каждым днем. В стране царил небывалый, невиданный ни где в мире двойной террор -- сверху и снизу.

Страна, очевидно, шла к новым решительным битвам. Но так долг и полон колебаний был этот путь, что многие успели утомиться и даже отчаяться. Со стороны радикальной интеллигенции, которая участвовала в борьбе главным образом своим сочувствием, измена была почти поголовная. Об этом, конечно, жалеть было нечего. Но даже среди некоторых моих прежних товарищей успели свить себе гнездо уныние и безнадежность. По этому факту я мог судить, насколько тяжела и изнурительна была революционная жизнь за минувшее время. Сам я, свежий человек, помнивший предреволюционное время и начало борьбы, но не испытывавший на себе всего гнета последующих поражений, видел ясно бессмысленность похорон революции; я видел, насколько все изменилось за эти годы, сколько новых элементов прибавилось для борьбы, насколько невозможна остановка на создавшемся мнимом равновесии. Новая волна революции была неизбежна и недалека.

Приходилось, однако, ждать. Я понимал, как мучительно-тяжела работа товарищей в этой обстановке.

Но сам я не спешил идти туда независимо даже от мнения Вернера. Я находил, что лучше запастись силами, чтобы их хватило тогда, когда они понадобятся полностью.

Во время долгих прогулок по роще мы с Владимиром обсуждали шансы и условия предстоящей борьбы. Меня глубоко трогали его наивно-героические планы и мечты; он казался мне благородным милым ребенком, которому суждена такая же простая непритязательно-красивая смерть бойца, какова была его юная жизнь. Славные жертвы намечает себе революция, и хорошею кровью окрашивает она свое пролетарское знамя!

Но не один Владимир казался мне ребенком. Много наивного и детского, чего я раньше как будто не замечал и не чувствовал, я находил и в Вернере, старом работнике революции, и в других товарищах, о которых вспоминал. Все люди, которых я знал на Земле, представлялись мне полудетьми, подростками, смутно воспринимающими жизнь в себе и вокруг себя, полусознательно отдающимися внутренней и внешней стихийности. В этом чувстве не было ни капли снисходительности или презрения, а была глубокая симпатия и братский интерес к людям-зародышам, детям юного человечества.

IV. Конверт

Жаркое летнее солнце как будто растопило лед, окутывающий жизнь страны. Она пробуждалась, и зарницы новой грозы уже вспыхивали на горизонте, и снова глухие раскаты начинали доноситься с низов. И это солнце и это пробуждение согревали мою душу и поднимали мои силы, и я чувствовал, что скоро буду здоров, как не был никогда в жизни.

В этом смутно-жизнерадостном состоянии мне не хотелось думать о прошлом и приятно было сознавать, что я забыт всем миром, забыт всеми... Я рассчитывал воскреснуть для товарищей в такое время, когда никому и в голову не придет меня спрашивать о годах моего отсутствия — когда всем будет слишком не до того и мое прошлое потонет надолго в бурных волнах нового прилива. А если мне случалось подмечать факты, вызывавшие сомнение в надежности этих расчетов, во мне зарождалась тревога, и беспокойство, и неопределенная враждебность ко всем, кто мог еще обо мне помнить.

В одно летнее утро Вернер, вернувшись из лечебницы с обхода больных, не ушел в сад отдыхать, как он делал обыкновенно, потому что эти обходы страшно его утомляли, а пришел ко мне и стал очень подробно расспрашивать меня о моем самочувствии. Мне показалось, что он запоминал мои ответы. Все это было не вполне обычно, и сначала я подумал, что он как-нибудь случайно проник в тайну моего маленького заговора. Но из разговора я скоро увидел, что он ничего не подозревает. Потом он ушел — опять-таки не в сад, а к себе в кабинет, и только через полчаса я увидел его в окно гуляющим по его любимой темной аллее. Я не мог не думать об этих мелочах, потому что ничего более крупного вокруг меня вообще не было. После различных догадок я остановился на том наиболее правдоподобном предположении, что Вернер хотел написать кому-то — очевидно, по специальной просьбе — подробный отчет о состоянии моего здоровья. Почту к нему всегда приносили утром в его кабинет в лечебнице; в этот раз он, должно быть, получил письмо с запросом обо мне.

От кого письмо и зачем, узнать, и притом немедленно, было необходимо для моего успокоения. Спрашивать Вернера было бесполезно — он почему-нибудь, очевидно, не находил возможным сказать мне это, иначе сказал бы сам, без всяких вопросов. Не знал ли чего-нибудь Владимир? Нет, оказалось, что он не знал ничего. Я стал придумывать, каким бы способом добратся до истины.

Владимир был готов оказать мне всякую услугу. Мое любопытство он считал вполне законным, скрытность Вернера — неосновательной. Он, не задумываясь, произвел целый обыск в комнатах Вернера и в его медицинском кабинете, но не нашел ничего интересного.

— Надо полагать, — сказал Владимир, — что он либо носит это письмо при себе, либо изорвал его и бросил.

— А куда он бросает обыкновенно изорванные письма и бумаги? — спросил я.

— В корзину, которая стоит у него в кабинете под столом, — отвечал Владимир.

— Хорошо, в таком случае принесите мне все клочки, которые вы найдете в этой корзине.

Владимир ушел и скоро вернулся.

— Там нет никаких клочков, — сообщил он, — а вот что я нашел там, конверт письма, полученного, судя по штемпелю, сегодня.

Я взял конверт и взглянул на адрес. Земля поплыла у меня под ногами, и стены стали валиться на меня...

Почерк Нэтти!

V. Итоги

Среди того хаоса воспоминаний и мыслей, который поднялся в моей душе, когда я увидел, что Нэтти была на Земле и не хотела встретиться со мной, для меня вначале был ясен только конечный вывод. Он возник как будто сам собой, без всякого заметного логического процесса и был вне всякого сомнения. Но я не мог ограничиться тем, чтобы просто осуществить его поскорее. Я хотел достаточно и отчетливо мотивировать его для себя и для других. Особенно не мог я примириться с тем, что меня не поняла бы и Нэтти и приняла бы за простой порыв чувства то, что было логической необходимостью, что неизбежно вытекало из всей моей истории.

Поэтому я должен был прежде всего последовательно рассказать свою историю, рассказать для товарищей, для себя, для Нэтти... Таково происхождение этой моей рукописи. Вернер, который прочитает ее первым, — на другой день после того, как мы с Владимиром исчезнем, — позаботится о том, чтобы она была напечатана, — конечно, со всеми необходимыми ради конспирации изменениями. Это мое единственное завещание ему. Очень жалею, что мне не придется пожать ему руку на прощанье.

По мере того как я писал эти воспоминания, прошлое прояснилось передо мной, хаос уступал место определенности, моя роль и мое положение точно обрисовывались перед сознанием. В здравом уме и твердой памяти я могу теперь подвести все итоги...

Совершенно бесспорно, что задача, которая была на меня возложена, оказалась выше моих сил. В чем заключалась причина неуспеха? И как объяснить ошибку проницательного, глубокого психолога Мэнни, сделавшего такой неудачный выбор?

Я припоминаю свой разговор с Мэнни об этом выборе, разговор, происходивший в то счастливое для меня время, когда любовь Нэтти внушала мне беспредельную веру в свои силы.

— Каким образом, — спросил я, — вы, Мэнни, пришли к тому, что из массы разнообразных людей нашей страны, которых вы встречали в своих поисках, вы признали меня наиболее подходящим для миссии представителя Земли?

— Выбор был не так уж обширен, — отвечал он. — Его сфера должна была с самого начала ограничиваться представителями научно-революционного социализма;

все другие мировоззрения отстают гораздо дальше от нашего мира.

— Пусть так. Но среди пролетариев, образующих основу и главную силу нашего направления, разве не среди них могли вы всего легче найти то, что вам было надо?

— Да, искать там было бы всего вернее. Но... у них обыкновенно не хватает одного условия, которое я считал необходимым: широкого разностороннего образования, стоящего на всей высоте вашей культуры. Это отклонило линию моих поисков в другую сторону.

Так говорил Мэнни. Его расчеты не оправдались. Значило ли это, что ему вообще некого было взять, что различие обеих культур составляет необходимую пропасть для отдельной личности и преодолеть его может только общество? Думать так было бы, пожалуй, утешительно для меня лично, но у меня остается серьезное сомнение. Я полагаю, что Мэнни следовало бы еще проверить его последнее соображение — то, которое касалось товарищей-рабочих.

На чем именно я потерпел крушение?

В первый раз это произошло таким образом, что нахлынувшая на меня масса впечатлений чуждой жизни, ее грандиозное богатство затопило мое сознание и размыло линии его берегов. С помощью Нэтти я пережил кризис и справился с ним, но не был ли самый кризис усилен и преувеличен той повышенной чувствительностью, той утонченностью восприятия, которая свойственна людям социально-умственного труда? Быть может, для натуры, несколько более примитивной, несколько менее сложной, но зато органически более стойкой и прочной, все обошлось бы легче, переход был бы менее болезненным? Быть может, для малообразованного пролетария войти в новое, высшее существование было бы не так трудно, потому что хотя ему пришлось бы больше учиться вновь, но зато гораздо меньше надо было бы переучиваться, а именно это тяжелее всего... Мне кажется, что да, и я думаю, что Мэнни тут впал в ошибку расчета, придавая уровню культурности больше значения, чем культурной силе развития.

Во второй раз то, обо что разбились мои душевные силы, это был самый характер той культуры, в которую я попытался войти всем моим существом: меня подавила ее высота, глубина ее социальной связи, чистота и прозрачность ее отношений между людьми. Речь Стэрни, грубо выразившая всю несоизмеримость

двух типов жизни, была только поводом, только последним толчком, сбросившим меня в ту темную бездну, к которой тогда стихийно и неудержимо вело меня противоречие между моей внутренней жизнью и всей социальной средой, на фабрике, в семье, в общении с друзьями. И опять-таки не было ли это противоречие гораздо более сильным и острым именно для меня, революционера-интеллигента, всегда девять десятых своей работы выполнявшего либо просто в одиночку, либо в условиях одностороннего неравенства с товарищами-сотрудниками, в качестве их учителя и руководителя,— в обстановке обособления моей личности среди других? Не могло ли противоречие оказаться слабее и мягче для человека, девять десятых своей трудовой жизни переживающего хотя бы в примитивной и неразвитой, но все же в товарищеской среде, с ее, быть может, несколько грубым, но действительным равенством сотрудников? Мне кажется, что это так; и я полагаю, что Мэнни следовало бы возобновить его попытку, но уже в новом направлении...

А затем для меня остается то, что было между двумя крушениями, то, что дало мне энергию и мужество для долгой борьбы, то, что и теперь позволяет мне без чувства унижения подводить ее итоги. Это любовь Нэтти.

Бесспорно, любовь Нэтти была недоразумением, ошибкой ее благородного и пылкого воображения. Но такая ошибка оказалась возможной, этого никто не отнимет и ничто не изменит. В этом для меня ручательство за действительную близость двух миров, за их будущее слияние в один невиданно-прекрасный и стройный.

А сам я... но тут нет никакого итога. Новая жизнь мне недоступна, а старой я уже не хочу: я не принадлежу ей больше ни своей мыслью, ни своим чувством. Выход ясен.

Пора кончать. Мой сообщник дожидается меня в саду; вот его сигнал. Завтра мы оба будем далеко отсюда, на пути туда, где жизнь кипит и переливается через край, где так легко стереть ненавистную для меня границу между прошлым и будущим. Прощайте, Вернер, старый, хороший товарищ.

Да здравствует новая, лучшая жизнь, и привет тебе, ее светлый призрак, моя Нэтти!

Из письма доктора Вернера литератору Мирскому.

(Письмо без всякой даты — очевидно, по рассеянности Вернера.)

.....

Канонада уже давно замолкла, а раненых все везли и везли. Громадное большинство их были не милиционеры и не солдаты, а мирные обыватели; было много женщин, даже детей: все граждане равны перед шрапнелью. В мой госпиталь, ближайший к театру битвы, везли главным образом милиционеров и солдат. Многие раны от шрапнели и гранатных осколков производили потрясающее впечатление даже на меня, старого врача, когда-то несколько лет работавшего по хирургии. Но над всем этим ужасом носилось и господствовало одно светлое чувство, одно радостное слово — «победа!».

Это наша первая победа в настоящем большом сражении. Но для всякого ясно, что она решает дело. Чашки весов наклонились в другую сторону. Переход к нам целых полков с артиллерией — ясное знамение. Страшный суд начался. Приговор будет немилостив, но справедлив. Давно пора кончать...

На улицах кровь и обломки. Солнце от дыма пожаров и канонады стало совсем красным. Но не зловещим кажется оно нашим глазам, а радостно-грозным. В душе звучит боевая песня, песня победы.

.....

Леонида привезли в мой госпиталь около полудня. У него одна опасная рана в грудь и несколько легких ран, почти царапин. Он еще среди ночи отправился с пятью «гренадерами» в те части города, которые находились во власти неприятеля: поручение заключалось в том, чтобы несколькими отчаянными нападениями вызвать там тревогу и деморализацию. Он сам предложил этот план и сам вызвался на его выполнение. Как человек, в прежние годы много работавший здесь и хорошо знакомый со всеми закоулками города, он мог выполнить отчаянное предприятие лучше других, и главный начальник милиции после некоторых колебаний согласился. Им удалось добраться со своими гранатами до одной из неприятельских батарей и с крыши взорвать несколько ящиков со снарядами.

Среди вызванной взрывами паники они спустились вниз, перепортили орудия и взорвали остальные снаряды. При этом Леонид получил несколько легких ран от осколков. Затем, во время поспешного отступления, они наткнулись на отряд неприятельских драгун. Леонид передал команду Владимиру, который был его адъютантом, а сам с последними двумя гранатами скользнул в ближайшие ворота и остался в засаде, пока остальные отступали, пользуясь всякими случайными прикрытиями и энергично отстреливаясь. Он пропустил мимо себя большую часть неприятельского отряда и бросил первую гранату в офицера, а вторую в ближайшую группу драгун. Весь отряд беспорядочно разбежался, а наши вернулись, подобрали Леонида, тяжело раненного осколком своей гранаты. Они благополучно доставили его к нашим линиям еще до рассвета и передали на мое попечение.

Осколок сразу удалось вынуть, но легкое задето, и положение серьезное. Я устроил больного как можно лучше и удобнее, но одного, конечно, я не мог ему дать — это полного покоя, который ему необходим. С рассветом общая битва возобновилась, ее шум был слишком хорошо слышен у нас, и беспокойный интерес к ее перипетиям усиливал лихорадочное состояние Леонида. Когда начали привозить других раненых, он стал волноваться еще более, и я был вынужден, насколько возможно, изолировать его, поместивши за ширмами, чтобы он, по крайней мере, не видел чужих ран.

.

Около четырех часов дня сражение уже кончилось, и исход был ясен. Я был занят исследованием и распределением раненых. В это время мне передали карточку той особы, которая несколько недель тому назад письменно справлялась у меня о здоровье Леонида, а потом была у меня сама после бегства Леонида и должна была заехать к вам с моей рекомендацией, чтобы ознакомиться с его рукописью. Так как эта дама, несомненно, товарищ и, по-видимому, врач, то я пригласил ее прямо к себе в палату. Она, как и прошлый раз, когда я ее видел, была под темной вуалью, которая сильно маскировала черты ее лица.

— Леонид у вас? — спросила она, не здороваясь со мною.

— Да, — отвечал я, — но не следует особенно тревожиться: хотя его рана и серьезна, однако, я полагаю, его возможно вылечить.

Она быстро и умело задала мне ряд вопросов, чтобы выяснить положение больного. Затем она заявила, что желает его видеть.

— А не может ли это свидание взволновать его? — возразил я.

— Несомненно, да, — был ее ответ, — но это принесет ему меньше вреда, чем пользы. Я ручаюсь вам за это.

Ее тон был очень решительный и уверенный. Я чувствовал, что она знает, что говорит, и не мог отказать ей. Мы прошли в ту палату, где лежал Леонид, и я жестом показал ей, чтобы она прошла за ширмы, но сам остался по соседству, у постели другого тяжелораненого, которым мне все равно предстояло заняться. Я хотел слышать весь ее разговор с Леонидом, чтобы вменаться, если это потребуется.

Уходя за ширмы, она несколько приподняла вуаль. Ее силуэт был виден для меня через малопрозрачную ткань ширм, и я мог различить, как она наклонилась над больным.

— Маска... — произнес слабый голос Леонида.

— Твоя Нэтти! — отвечала она, и столько нежности и ласки было вложено в эти два слова, сказанные тихим, мелодичным голосом, что мое старое сердце задрожало в груди, охваченное до боли радостным сочувствием.

Она сделала какое-то резкое движение рукой, точно расстегивала воротничок, и, как мне показалось, сняла с себя шляпу с вуалью, а затем еще ближе наклонилась к Леониду. Наступило минутное молчание.

— Значит, я умираю? — сказал он тихо тоном вопроса.

— Нет, Лэнни, жизнь перед нами. Твоя рана не смертельна и даже не опасна...

— А убийство? — возразил он болезненно-тревожно.

— Это была болезнь, мой Лэнни. Будь спокоен, этот порыв смертельной боли не станет никогда между нами, ни на пути к нашей великой общей цели. Мы достигнем ее, мой Лэнни...

Легкий стон вырвался из его груди, но это не был стон боли. Я ушел, потому что относительно моего больного уже выяснил то, что мне было надо, а подслушивать больше не следовало и было незачем. Через

несколько минут незнакомка, опять в шляпке и в вуа-а-а, вызвала меня снова.

— Я возьму Леонида к себе, — заявила она. — Леонид сам желает этого, и условия для лечения у меня лучше, чем здесь, так что вы можете быть спокойны. Два товарища дожидаются внизу; они перенесут его ко мне. Распорядитесь дать носилки.

Спорить не приходилось: в нашем госпитале все условия действительно не блестящие. Я спросил ее адрес — это очень близко отсюда — и решил завтра же зайти к ней навестить Леонида. Двое рабочих пришли и осторожно унесли его на носилках.

.....

(Приписка, сделанная на следующий день)

И Леонид и Нэтти бесследно исчезли. Сейчас я зашел на их квартиру: двери отперты, комнаты пусты. На столе в большой зале, в которой одно огромное окно отворено настежь, я нашел записку, адресованную мне. В ней дрожащим почерком было написано всего несколько слов.

«Привет товарищам. До свиданья. Ваш Леонид».

Странное дело: у меня нет никакого беспокойства. Я смертельно устал за эти дни, видел много крови, много страданий, которым не мог помочь, насмотрелся картин гибели и разрушения, а на душе все так же радостно и светло.

Все худшее позади. Борьба была долгая и тяжелая, но победа перед нами... Новая борьба будет легче...

**Константин
ЦИОЛКОВСКИЙ**



НА ЛУНЕ

I

Я проснулся и, лежа еще в постели, раздумывал о только что виденном мною сне: я видел себя купающимся, а так как была зима, то мне особенно казалось приятно помечтать о летнем купанье.

Пора вставать!

Потягиваюсь, приподнимаюсь... Как легко! Легко сидеть, легко стоять. Что это? Уж не продолжается ли сон? Я чувствую, что стою особенно легко, словно погруженный по шею в воду: ноги едва касаются пола.

Но где же вода? Не вижу. Махаю руками: не испытываю никакого сопротивления.

Не силю ли я? Протираю глаза — все то же.

Странно!..

Однако надо же одеться!

Передвигаю стулья, открываю шкафы, достаю платье, поднимаю разные вещи и — ничего не понимаю!

Разве увеличились мои силы?.. Почему все стало так воздушно? Почему я поднимаю такие предметы, которые прежде и сдвинуть не мог?

Нет! Это не мои ноги, не мои руки, не мое тело!

Те такие тяжелые и делают все с таким трудом...

Откуда мощь в руках и ногах?

Или, может быть, какая-нибудь сила тянет меня и все предметы вверх и облегчает тем мою работу? Но, в таком случае, как же она тащит сильно! Еще немного — и мне кажется: я увлечен буду к потолку.

Отчего это я не хожу, а прыгаю? Что-то тянет меня в сторону, противоположную тяжести, напрягает мускулы, заставляет делать скачок.

Не могу противиться искушению — прыгаю.

Мне показалось, что я довольно медленно поднялся и столь же медленно опустился.

Прыгаю сильнее и с порядочной высоты озираю комнату... Ай! Ушиб голову о потолок... Комнаты высокие... Не ожидал столкновения... Больше не буду таким неосторожным.

Крик, однако, разбудил моего друга: я вижу, как он заворочался и спустя немного вскочил с постели. Не стану описывать его изумления, подобного моему. Я увидел такое же зрелище, какое незаметно для себя несколько минут назад сам изображал собственной персоной. Мне доставляло большое удовольствие смотреть на вытаращенные глаза, смешные позы и неестественную живость движений моего друга; меня забавляли его странные восклицания, очень похожие на мои.

Дав истощиться запасу удивления моего приятеля-физика, я обратился к нему с просьбой разрешить мне вопрос: что такое случилось — увеличились ли наши силы или уменьшилась тяжесть?

И то и другое предположение были одинаково изумительны, но нет такой вещи, на которую человек, к ней привыкнув, не стал бы смотреть равнодушно. До этого мы еще не дошли с моим другом, но у нас уже зародилось желание постигнуть причины.

Мой друг, привыкший к анализу, скоро разобрался в массе явлений, ошеломивших и запутавших мой ум.

— По силомеру, или пружинным весам, — сказал он, — мы можем измерить нашу мускульную силу и узнать, увеличилась ли она или нет. Вот я упираюсь ногами в стену и тяну за нижний крюк силомера. Видишь — пять пудов: моя сила не увеличилась. Ты можешь проделать то же и также убедиться, что ты не стал богатырем, вроде Ильи Муромца.

— Мудрено с тобой согласиться, — возразил я, — факты противоречат. Объясни, каким образом я поднимаю край этого книжного шкафа, в котором не менее пятидесяти пудов? Сначала я вообразил себе, что он пуст, но, отворив его, увидел, что ни одной книги не пропало... Объясни, кстати, и прыжок на пятиаршинную высоту!

— Ты поднимаешь большие грузы, прыгаешь высоко и чувствуешь себя легко не оттого, что у тебя силы стало больше — это предположение уже опровергнуто силомером, — а оттого, что тяжесть уменьшилась, в чем можешь убедиться посредством тех же пружинных весов. Мы даже узнаем, во сколько именно раз она уменьшилась...

С этими словами он поднял первую попавшуюся гирию, оказавшуюся 12-ти фунтовиком, и привесил ее к динамометру (силомеру).

— Смотри! — продолжал он, взглянув на показание весов. — Двенадцатифунтовая гирия оказывается в два фунта. Значит, тяжесть ослабла в шесть раз.

Подумав, он прибавил:

— Точно такое же тяготение существует и на поверхности Луны, что там происходит от малого ее объема и малой плотности ее вещества.

— Уж не на Луне ли мы? — захохотал я.

— Если и на Луне, — смеялся физик, впадая в шутливый тон, — то беда в этом не велика, так как такое чудо, раз оно возможно, может повториться в обратном порядке, то есть мы опять возвратимся восвояси.

— Постой: довольно каламбурить... А что, если взвесить какой-нибудь предмет на обыкновенных рычажных весах! Заметно ли будет уменьшение тяжести?

— Нет, потому что взвешиваемый предмет уменьшается в весе во столько же раз, во сколько и гирия, положенная на другую чашку весов; так что равновесие не нарушается, несмотря на изменение тяжести.

— Да, понимаю!

Тем не менее я все-таки пробую сломать палку — в чайнии обнаружить прибавление силы, что мне, впрочем, не удастся, хотя палка не толста и вчера еще хрустела у меня в руках.

— Этаким упрямец! Брось! — сказал мой друг-физик. — Подумай лучше о том, что теперь, вероятно, весь мир взволнован переменами...

— Ты прав, — ответил я, бросая палку, — я все забыл; забыл про существование человечества, с которым и мне, так же как и тебе, страстно хочется поделиться мыслями...

— Что-то стало с нашими друзьями?.. Не было ли и других переворотов?

Я открыл уже рот и отдернул занавеску (они все были опущены на ночь от лунного света, мешавшего нам спать), чтобы перемолвиться с соседом, но сейчас же поспешно отскочил. О ужас! Небо было чернее самых черных чернил!

Где же город? Где люди?

Это какая-то дикая, невообразимая, ярко освещенная солнцем местность!

Не перенесли ли мы в самом деле на какую-нибудь пустынную планету?

Все это я только подумал — сказать же ничего не мог и только бессвязно мычал.

Приятель бросился было ко мне, предполагая, что мне дурно, но я указал ему на окно, и он сунулся туда и также онемел.

Если мы не упали в обморок, то единственно благодаря малой тяжести, препятствовавшей излишнему приливу крови к сердцу.

Мы оглянулись.

Окна были по-прежнему занавешены; того, что нас поражало, не было перед глазами; обыкновенный же вид комнаты и находившихся в ней хорошо знакомых предметов еще более нас успокоил.

Прижавшись с некоторой еще робостью друг к другу, мы сначала приподняли только край занавески, потом приподняли их все и, наконец, решились выйти из дому для наблюдения траурного неба и окрестностей.

Несмотря на то, что мысли наши поглощены были предстоящей прогулкой, мы еще кое-что замечали. Так, когда мы шли по обширным и высоким комнатам, нам приходилось действовать своими грубыми мускулами крайне осторожно — в противном случае подошва скользила по полу бесполезно, что, однако, не угрожало падением, как это было бы на мокром снегу или на земном льду; тело же при этом значительно подпрыгивало. Когда мы хотели сразу привести себя в быстрое горизонтальное движение, то в первый момент надо было заметно наклоняться вперед, подобно тому как лошадь наклоняется, если ее заставляют сдвинуть телегу с непосильным грузом; но это только так казалось — на самом деле все движения наши были крайне легки... Спускаться с лестницы со ступеньки на ступеньку — как это скучно! Движение шагом — как это медленно! Скоро мы бросили все эти церемонии, пригодные для Земли и смешные здесь. Двигаться выучились вскачь; спускаться и подниматься стали через десять и более ступеней, как самые отчаянные школяры, а то иной раз прямо прыгали через всю лестницу или из окна. Одним словом, сила обстоятельств заставила нас превратиться в скачущих животных вроде кузнечиков или лягушек.

Итак, побегав по дому, мы выпрыгнули наружу и побежали вскачь по направлению к одной из ближайших гор.

Солнце было ослепительно и казалось синеватым. Закрыв глаза руками от Солнца и блиставших отра-

женным светом окрестностей, можно было видеть звезды и планеты, также большей частью синеватые. Ни те, ни другие не мерцали, что делало их похожими на вбитые в черный свод гвозди с серебряными головками.

А вон и месяц — последняя четверть! Ну, он не мог нас не удивить, так как поперечник его казался раза в три или четыре больше, нежели диаметр прежде виденного нами месяца. Да и блестел он ярче, чем днем на Земле, когда он представляется в виде белого облачка. Тишина... ясная погода... безоблачное небо... Не видно ни растений, ни животных... Пустыня с черным однообразным сводом и с синим Солнцем-мертвецом. Ни озера, ни реки и ни капли воды! Хоть бы горизонт белелся — это указывало бы на присутствие паров, но он так же черен, как и зенит!

Нет ветра, который шелестит травой и качает на Земле вершинами деревьев... Не слышно стрекотанья кузнечиков... Не заметно ни птиц, ни разноцветных бабочек! Одни горы и горы, страшные, высокие горы, вершины которых, однако, не блестят от снега. Нигде ни одной снежинки! Вон долины, равнины, плоскогорья... Сколько там навалено камней... Черные и белые, большие и малые, но все острые, блестящие, не закругленные, не смягченные волной, которой никогда здесь не было, которая не играла ими с всеслышим шумом, не трудилась над ними!

А вот место совсем гладкое, хоть и волнистое: не видно ни одного камешка, только черные трещины расползаются во все стороны, как змеи... Твердая почва — каменная... Нет мягкого чернозема; нет ни песка, ни глины.

Мрачная картина! Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, так как мы не видим на них легкой вуали — прозрачной синеватой дымки, которую накидывает на земные горы и отдаленные предметы воздух... Строгие, поразительно отчетливые ландшафты! А тени! О, какие темные! И какие резкие переходы от мрака к свету! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли и которые может дать только атмосфера. Даже Сахара — и та показалась бы раем в сравнении с тем, что мы видели тут. Мы жалели о ее скорпионах, о саранче, о вздымаемом сухим ветром раскаленном песке, не говоря уже об изредка встречаемой скудной растительности и финиковых рощах... Надо было думать о возвращении. Почва была холодна и дышала холодом, так что ноги зябли, но Солнце припекало. В об-

щем, чувствовалось неприятное ощущение холода. Это было похоже на то, когда озябший человек греется перед пылающим камином и не может согреться, так как в комнате чересчур холодно: по его коже пробегают приятные струи тепла, не могущие превозмочь озноб.

На обратном пути мы согревались, перепрыгивая с легкостью серн через двухсаженные каменные груды... То были граниты, порфиры, сиениты, горные хрустали и разные прозрачные и непрозрачные кварцы и кремнеземы — все вулканические породы. Потом, впрочем, мы заметили следы нептунической деятельности.

Вот мы и дома!

В комнате чувствуешь себя хорошо: температура равномернее. Это располагало нас приступить к новым опытам и обсуждению всего нами виденного и замеченного. Ясное дело, что мы находимся на какой-то другой планете. На этой планете нет воздуха, нет и никакой другой атмосферы.

Если бы был газ, то мерцали бы звезды; если бы был воздух, небо было бы синим и была бы дымка на отдаленных горах. Но каким образом мы дышим и слышим друг друга? Этого мы не понимали. Из множества явлений можно было видеть отсутствие воздуха и какого бы то ни было газа: так, нам не удавалось закурить сигару, и сгоряча мы испортили здесь пропасть свечек; каучуковый закрытый и непроницаемый мешок сдавливался без малейшего усилия, чего не было бы, если бы в его пространстве находился какой-нибудь газ. Это отсутствие газов ученые доказывают и на Луне.

— Не на Луне ли и мы?

— Ты заметил, что отсюда Солнце не кажется ни больше, ни меньше, чем с Земли? Такое явление можно наблюдать только с Земли да с ее спутника, так как эти небесные тела находятся почти на равном расстоянии от Солнца. С других же планет оно должно казаться или больше, или меньше: так, с Юпитера угол Солнца раз в пять меньше, с Марса — раза в полтора, а с Венеры, наоборот, — в полтора раза больше: на Венере Солнце жжет вдвое сильнее, а на Марсе — вдвое слабее. И такая разница с двух ближайших к Земле планет! На Юпитере же, например, Солнце согревает в двадцать пять раз меньше, чем на Земле. Ничего подобного мы здесь не видим, несмотря на то, что имеем к тому полнейшую возможность благодаря запасу угломерных и других измерительных приборов.

— Да, мы на Луне: все говорит про это!

— Говорит об этом даже размер месяца, который мы видели в виде облака и который есть, очевидно, покинутая нами, не по своей воле, планета. Жаль, что мы не можем рассмотреть теперь ее пятна, ее портрет и окончательно определить место своего нахождения. Дождемся ночи...

— Как же ты говоришь, — заметил я своему другу, — что Земля и Луна находятся на равном расстоянии от Солнца? А по-моему, так это разница весьма порядочная! Ведь она, сколько мне известно, равняется тремстам шестидесяти тысячам верст.

— Я говорю: почти, так как эти триста шестьдесят тысяч составляют только одну четырехсотую часть всего расстояния до Солнца, — возразил физик. — Одной четырехсотой можно пренебречь.

II

Как я устал, и не столько физически, сколько нравственно! Клонит ко сну непреодолимо... Что-то скажут часы?.. Мы встали в шесть, теперь пять... прошло одиннадцать часов; между тем, судя по теням, Солнце почти не сдвинулось: вон тень от крутой горы немного не доходила до дому, да и теперь столько же не доходит; вон тень от флюгера упирается на тот же камень...

Это еще новое доказательство того, что мы на Луне...

В самом деле, вращение ее вокруг оси так медленно... Здесь день должен продолжаться около пятнадцати наших суток, или триста шестьдесят часов, и столько же — ночь. Не совсем удобно... Солнце мешает спать! Я помню: я то же испытывал, когда приходилось прожить несколько летних недель в полярных странах: Солнце не сходило с небосклона и ужасно надоедало! Однако большая разница между тем и этим. Здесь Солнце движется медленно, но тем же порядком; там оно движется быстро и каждые двадцать четыре часа описывает невысоко над горизонтом круг...

И там и здесь можно употребить одно и то же средство: закрыть ставни.

Но верны ли часы? Отчего такое несогласие между карманными и стенными часами с маятником? На первых — пять, а на стенных — только десятый... Какие же верны? Что это маятник качается так лениво?

Очевидно, эти часы отстают!

Карманные же часы не могут врать, так как их маятник качает не тяжесть, а упругость стальной пружинки, которая все та же — как на Земле, так и на Луне.

Можем это проверить, считая пульс. У меня было семьдесят ударов в минуту... Теперь семьдесят пять... Немного больше, но это можно объяснить нервным возбуждением, зависящим от необычайной обстановки и сильных впечатлений.

Впрочем, есть еще возможность проверить время: ночью мы увидим Землю, которая делает оборот в двадцать четыре часа. Это лучшие и непогрешимые часы!

Несмотря на одолевавшую нас обоих дремоту, мой физик не утерпел, чтобы не поправить стенных часов. Я вижу, как он снимает длинный маятник, точно измеряет его и укорачивает в шесть раз или около этого. Почтенные часы превращаются в чикущи. Но здесь они уже не чикущи, ибо и короткий маятник ведет себя степенно, хотя и не так, как длинный. Вследствие этой метаморфозы стенные часы сделались согласны с карманными.

Наконец мы ложимся и накрываемся легкими одеялами, которые здесь кажутся воздушными.

Подушки и тюфяки почти не применяются. Тут можно бы, кажется, спать даже на досках.

Не могу избавиться от мысли, что ложиться еще рано. О, это Солнце, это время! Вы застыли, как и вся лунная природа.

Товарищ мой перестал мне отвечать; заснул и я.

Веселое пробуждение... Бодрость и волчий аппетит... До сих пор волнение лишало нас обыкновенного позыва к еде.

Пить хочется! Открываю пробку... Что это — вода закипает! Вяло, но кипит. Дотрагиваюсь рукой до графина. Не обжечься бы... Нет, вода только тепла. Неприятно такую пить!

— Мой физик, что ты скажешь?

— Здесь абсолютная пустота, оттого вода и кипит, не удерживаемая давлением атмосферы. Пускай еще покипит: не закрывай пробку! В пустоте кипение оканчивается замерзанием... Но до замерзания мы не доведем ее... Довольно! Наливай воду в стакан, а пробку заткни, иначе много выкипит.

Медленно льется жидкость на Луне!..

Вода в графине успокоилась, а в стакане продолжа-

ет безжизненно волноваться — и чем дольше, тем слабее.

Остаток воды в стакане обратился в лед, но и лед испаряется и уменьшается в массе.

Как-то мы теперь пообедаем?

Хлеб и другую, более или менее твердую пищу можно было есть свободно, хотя она быстро сохла в незакрытом герметически ящике: хлеб быстро обратился в камень, фрукты съезжились и также сделались довольно тверды. Впрочем, их кожица все еще удерживала влажность.

— Ох, эта привычка кушать горячее! Как с нею быть? Ведь здесь нельзя развести огонь: ни дрова, ни уголь, ни даже спички не горят!

— Не употребить ли в дело Солнце?.. Пекут же яйца в раскаленном песке Сахары!..

И горшки, и кастрюли, и другие сосуды мы переделали так, чтобы крышки их плотно и крепко прикрывались. Все было наполнено чем следует, по правилам кулинарного искусства, и выставлено на солнечное место в одну кучу. Затем мы собрали все бывшие в доме зеркала и поставили их таким образом, чтобы отраженный от них солнечный свет падал на горшки и кастрюли.

Не прошло и часа, как мы могли уже есть хорошо сварившиеся и изжаренные кушанья.

Да что говорить!.. Вы слышали про Муццо? Его усовершенствованная солнечная стряпня была далеко позади!.. Похвальба, хвастовство? Как хотите... Можете объяснить эти самонадеянные слова нашим волчьим аппетитом, при котором всякая гадость должна была казаться прелестью.

Одно было нехорошо: надо было спешить. Признаюсь, мы не раз-таки давились и захлебывались. Это станет понятно, если я скажу, что суп кипел и охлаждался не только в тарелках, но даже и в наших горлах, пищеводах и желудках; чуть зазевался — глядишь: вместо супа кусок льда...

Удивительно, как это целы наши желудки! Давление пара порядком-таки их растягивало...

Во всяком случае, мы были сыты и довольно покойны. Мы не понимали, как мы живем без воздуха, каким образом мы сами, наш дом, двор, сад и запасы пищи и питья в погребах и амбарах перенесены с Земли на Луну. На нас нападало даже сомнение. И мы думали: не сон ли это, не мечта ли, не наваждение ли бесовское?

И за всем тем мы привыкли к своему положению и относились к нему отчасти с любопытством, отчасти равнодушно: необъяснимое нас не удивляло, а опасность умереть с голоду одинокими и несчастными нам даже не приходила на мысль.

Чем объясняется такой невозможный оптимизм, вы это узнаете из развязки наших походов.

Прогуляться бы после еды... Спать много я не решаюсь: боюсь удара.

Увлекаю и приятеля.

Мы — на обширном дворе, в центре которого возвышается гимнастика, а по краям — забор и службы.

Зачем здесь этот камень? О него можно ушибиться. На дворе почва обыкновенная земная, мягкая. Вон его, через забор!.. Берись смело! Не пугайся величины! И вот камень пудов в шестьдесят обоюдными усилиями приподнят и перевален через забор. Мы слышали, как он глухо ударился о каменную почву Луны. Звук достиг нас не воздушным путем, а подземным: удар привел в сотрясение почву, затем наше тело и ушные кости. Таким путем мы нередко могли слышать производимые нами удары.

— Не так ли мы и друг друга слышим?

— Едва ли! Звук не раздавался бы, как в воздухе. Легкость движений возбуждает сильнейшее желание ползти и попрыгать.

Сладкое время детства! Я помню, как взбирался на крыши и деревья, уподобляясь кошкам и птицам. Это было приятно...

А соревновательные прыжки через веревочку и рвы! А беготня на приз! Этому я отдавался страстно...

Не вспомнить ли старину? У меня было мало силы, особенно в руках. Прыгал и бегал я порядочно, но по канату и шесту взбирался с трудом.

Я мечтал о большой физической силе: отплатил бы я врагам и наградил бы друзей!.. Дитя и дикарь — одно и то же. Теперь для меня смешны эти мечты о сильных мускулах... Тем не менее желания мои, жаркие в детстве, здесь осуществляются: силы мои благодаря ничтожной лунной тяжести как будто ушестерились.

Кроме того, мне не нужно теперь одолевать вес собственного тела, что еще более увеличивает эффекты силы. Что такое для меня тут забор? Не более, чем порог или табурет, который на Земле я могу перешагнуть. И вот, как бы для проверки этой мысли, мы взвешиваемся и без разбега перелетаем через ограду. Вот

вспрыгиваем и даже перепрыгиваем через сарай, но для этого приходится разбегаться. А как приятно бежать: ног не чувствуешь под собой. Давай-ка... кто кого?.. В галоп!..

При каждом ударе пяткой о почву мы пролетали сажени, в особенности в горизонтальном направлении. Стой! В минуту — весь двор: 500 сажен — скорость скаковой лошади...

Ваши «гигантские шаги» не дают возможности делать таких скачков!

Мы делали измерения: при галопе, довольно легко, над почвой поднимались аршина на четыре; в продольном же направлении пролетали сажен пять и более, смотря по быстроте бега.

— К гимнастике!..

Едва напрягая мускулы, даже, для смеху, с помощью одной левой руки мы взбирались по канату на ее площадку.

Страшно: четыре сажени до почвы!.. Все кажется, что находишься на неуклюжей Земле!.. Кружится голова...

С замирающим сердцем я первый решаюсь броситься вниз. Лечу... Ай! Ушиб слегка пятки!

Мне бы предупредить об этом приятеля, но я его коварно подбиваю спрыгнуть. Подняв голову, я кричу ему:

— Прыгай, ничего — не ушибешься!

— Напрасно уговариваешь: я отлично знаю, что прыжок отсюда равен прыжку на Земле с двухаршинной высоты. Понятно, придется немного по пяткам!

Летит и мой приятель. Медленный полет... особенно сначала. Всего он продолжался секунд пять.

В такой промежуток о многом можно подумать.

— Ну что, физик?

— Сердце бьется — больше ничего.

— В сад!.. По деревьям лазить, по аллеям бегать!..

— Почему же это там не высохли листья?

Свежая зелень... Защита от Солнца... Высокие липы и березы! Как белки, мы прыгали и лазили по нетолстым ветвям, и они не ломались. Еще бы — ведь мы здесь не тяжелее жирных индюшек!..

Мы скользили над кустарниками и между деревьями, и движение наше напоминало полет. О, это было весело! Как легко тут соблюдать равновесие! Покачнулся на сучке, готов упасть, но наклонность к падению так слаба и самое уклонение от равновесия так

медленно, что малейшего движения рукой или ногой достаточно, чтобы его восстановить.

На простор!.. Стромный двор и сад кажутся клеткой... Сначала садим по ровной местности. Встречаются неглубокие рвы, сажен до десяти шириной. С разбегу мы перелетаем их, как птицы. Но вот начался подъем; сперва слабый, а затем все круче и круче. Какая крутизна! Боюсь одышки.

Напрасная боязнь: поднимаемся свободно, большими и быстрыми шагами по склону. Гора высока — и легкая Луна утомляет. Садимся. Отчего это так тут мягко? Не размягчились ли камни?

Беру большой камень и ударяю о другой; сыплются искры.

— Отдохнули. Назад...

— Сколько до дому?

— Теперь немного, сажен двести...

— Кинешь на это расстояние камень?

— Не знаю, попробую!

Мы взяли по небольшому угловатому камню... Кто бросит дальше? Мой камень перенесся через жилище. И отлично. Следя за его полетом, я очень опасался, что он разобьет стекла.

— А твой?.. Твой еще дальше!

Интересна здесь стрельба: пули и ядра должны пролетать в горизонтальном и вертикальном направлении сотни верст.

— Но будет ли тут работать порох?

— Взрывчатые вещества в пустоте должны проявлять себя даже с бóльшей силой, чем в воздухе, так как последний только препятствует их расширению; что же касается кислорода, то они в нем не нуждаются, потому что все необходимое его количество заключено в них самих.

III

Мы пришли домой.

— Я насыплю пороху на подоконник, освещенный Солнцем, — сказал я. — Наведи на него фокус зажигательного стекла... Видишь огонь... взрыв, хотя и бесшумный. — Знакомый запах, моментально исчезнувший...

— Можешь выстрелить. Не забудь только надеть пистон: зажигательное стекло и Солнце заменят удар курка.

— Установим ружье вертикально, чтобы пулю после взрыва отыскать поблизости...

Огонь, слабый звук, легкое сотрясение почвы.

— Где же пыж? — воскликнул я. — Он должен быть тут, поблизости, хотя и не станет дымить!

— Пыж улетел вместе с пулей и едва ли от нее отстанет, так как только атмосфера мешает ему на Земле поспевать за свинцом, здесь же и пух падает и летит вверх с такой же стремительностью, как и камень... Ты бери пушинку, торчащую из подушки, а я возьму чугунный шарик: ты можешь кидать свой пух и попадать им в цель, даже отдаленную, с таким же удобством, как я шариком. Я могу при этой тяжести кинуть шарик сажен на двести; ты на такое же расстояние можешь бросить пушинку; правда, ты никого ею не убьешь и при бросании даже не почувствуешь, что ты что-нибудь бросаешь. Бросим наши метательные снаряды изо всех сил, которые у нас не очень различны, и в одну цель: вон в тот красный гранит...

Мы видим, как пушинка опередила немного чугунный шарик, как бы увлекаемая сильным вихрем...

— Но что это: со времени выстрела прошло три минуты, а пули нет? — сказал я.

— Подожди две минуты, и она, наверно, вернется, — отвечал физик.

Действительно, через указанный приблизительно срок мы ощущаем легкое сотрясение почвы и видим прыгающий невдалеке пыж.

— Где же пуля? Ведь не клок же пакли произвел сотрясение? — удивился я.

— Вероятно, от удара пуля накалилась до расплавления и мелкие брызги разлетелись в разные стороны.

Поискав кругом, мы в самом деле нашли несколько мельчайших дробинок, составлявших, очевидно, частицы пропавшей пули.

— Как долго летела пуля!.. На какую же высоту она должна подняться? — спросил я.

— Да верст на семьдесят. Эту высоту создают малая тяжесть и отсутствие воздушного сопротивления.

.....
Утомились ум и тело и потребовали отдыха. Луна Луною, а неумеренные прыжки дают себя чувствовать. Вследствие продолжительности полетов во время их совершения мы не всегда падали на ноги и — ушибались. В течение четырех — шести секунд полета можно не только осмотреть окрестности с порядочной высо-

ты, но и совершить некоторые движения руками и ногами; однако самовольно кувыркаться в пространстве нам не удавалось. Потом мы выучились одновременно сообщать себе поступательное и вращательное движения; в таких случаях мы переворачивались в пространстве раз до трех. Интересно испытать это движение, интересно и видеть его со стороны. Так я подолгу наблюдал за движением моего физика, совершавшего без опоры, без почвы под ногами многие опыты. Описать их — надо для этого целую книгу.

.....
Проспали часов восемь.

Становилось теплее. Солнце поднялось выше и пекло даже слабее, захватывая меньшую поверхность тела, но почва нагрелась и уже не обдавала холодом; в общем, действие Солнца и почвы было теплое, почти горячее.

Пора было, однако, принять меры предосторожности, так как нам становилось ясным, что еще до наступления полудня мы должны изжариться.

Как же быть?

У нас были разные планы.

— Несколько дней можно прожить в погребе, но нельзя ручаться, что вечером, то есть часов через двести пятьдесят, жара не проникнет туда, так как погреб недостаточно глубок. Кроме того, мы соскучимся при отсутствии всяких удобств и в закрытом пространстве.

Положим, терпеть скуку и неудобства легче, чем жариться.

Но не лучше ли выбрать ущелье поглубже? Заберемся туда и проведем там в приятной прохладе остаток дня и часть ночи.

Это гораздо веселее и поэтичнее. А то — погреб!..

Загонит же человека нужда в такое место!..

Итак, ущелье. Чем сильнее будет Солнце печь, тем ниже мы будем спускаться. Впрочем, достаточно глубины нескольких сажен.

Захватим зонтики, провизию в закупоренных ящиках и бочках; на плечи накинem шубы, которые нам могут пригодиться и при излишнем тепле и при излишнем холоде, притом они не отягчат здесь плечи.

Прошло еще несколько часов, в продолжение которых мы успели поесть, отдохнуть и поговорить еще о гимнастике на Луне и о том, какие чудеса могли бы произвести здесь земные акробаты. Медлить более было нельзя: жара стояла адская; по крайней мере, снару-

жи, в местах освещенных, каменная почва накаливалась до того, что пришлось подвязать под сапоги довольно толстые деревянные дощечки.

Второпях мы роняли стеклянную и глиняную посуду, но она не разбивалась — так слаба была тяжесть.

Чуть не забыл сказать про судьбу нашей лошади, занесенной сюда вместе с нами. Это несчастное животное, когда мы хотели его запрячь в телегу, как-то вырвалось из рук и сначала помчалось быстрее ветра, кувыркаясь и ушибаясь, затем, не сообразив силы инерции и не успев обогнуть встретившуюся на пути каменную глыбу, разбилось об нее вдребезги. Мясо и кровь сначала замерзли, а потом высохли.

Кстати сказать и о мухах. Они не могли летать, а только прыгали, но крайней мере на пол-аршина...

Итак, захватив все необходимое, с огромным грузом на плечах, что нас немало потешало, так как все казалось пусто и тонко, что мы ни несли, и, закрыв двери, окна и ставни дома, чтобы он меньше прокалился и пострадал от высокой температуры, — мы отправились искать подходящее ущелье или пещеру.

Во время поисков нас поражали резкие перемены температуры: места, давно освещенные Солнцем, обдавали жаром раскаленной печи; мы старались их скорее миновать и освежались и отдыхали где-нибудь в тени, бросаемой большим камнем или скалой, — и до того освежались, что если бы помедлили, то с пользой могли бы употребить в дело шубы. Но и эти места вообще ненадежны: Солнце должно перейти на другую сторону и осветить место, где были тень и холод. Мы знали это и искали ущелье, где Солнце хотя и будет светить, но на короткое время и не успеет накалить камни.

Вот и ущелье со стенами, почти отвесными. Видно только начало стен — оно черно и представляется бездонным. Мы обошли теснину и нашли туда пологий спуск, ведущий, по-видимому, в самый ад. Несколько шагов делаем благополучно, но тьма сгустилась, и впереди ничего не было видно; идти далее казалось ужасным, да и рискованным... Мы вспомнили, что захватили электрическую лампу: свечи же и факелы тут невозможны... Засиял свет и моментально осветил ущелье сажен в двадцать глубиной; спуск оказался удобным.

Вот тебе и бездонное ущелье, вот тебе и ад! Нас разочаровала подобная мизерность.

Темнота его, во-первых, объясняется тем, что оно лежит в тени и вследствие его узости и глубины лучи от освещенных окрестностей и высоких гор не проникают туда; во-вторых, тем, что оно не освещается сверху атмосферой, что было бы на Земле, где нельзя поэтому ни в каком колодце встретить такой сильной темноты.

По мере того как мы опускались, хватаясь иногда за стены, температура понижалась, но менее 15 градусов по Цельсию не было. Видно, это средняя температура той широты, на которой мы находились... Выбираем удобное, ровное местечко, подстилаем шубы и располагаемся комфортабельно.

Но что это? Не наступила ли ночь? Заслонив лампу рукой, мы глядим на клочок темного неба и на многочисленные звезды, сияющие довольно ярко над нашими головами.

Однако хронометр показывает, что времени прошло немного, а Солнце не могло внезапно закатиться.

Ах! Неловкое движение — и лампа разбита, хотя угольная полоска продолжает светиться даже сильнее; будь это на Земле, она сейчас же потухла бы, сгорев в воздухе.

Я с любопытством дограгиваюсь до нее; она ломается — и все погружается во мрак: мы не видим друг друга только на высоте края ущелья чуть заметны, да длинная узкая полоса черного свода засветилась еще большим количеством звезд.

Не верится, что день в разгаре. Я не могу утерпеть, с трудом отыскиваю запасную лампу, замыкаю электрический ток и иду вверх... Светлее и теплее... Свет ослепил меня; электрическая лампа как будто потухла.

Да, день: и Солнце и тени всё там же.

Жарко! Скорее назад.

IV

От нечего делать мы спали, как сурки. Нора наша не нагревалась.

Иногда мы выходили из нее, отыскивали тенистое местечко и наблюдали течение Солнца, звезд, планет и нашего большого месяца, который, по сравнительной величине с вашим жалким месяцем, был то же, что яблоко относительно вишни.

Солнце двигалось почти наравне со звездами

и лишь едва заметно от них отставало, что и с Земли замечается.

Месяц стоял совершенно неподвижно и не был виден из ущелья, о чем мы очень тужили, так как из темноты мы могли бы наблюдать его с таким же успехом, как ночью, до которой было еще далеко. Напрасно мы не выбрали другого ущелья, из которого можно было бы видеть месяц, но теперь уже поздно!..

Приближался полдень; тени перестали укорачиваться; месяц имел вид узкого серпа, все более и более бледневшего, по мере приближения к нему Солнца.

Месяц — яблоко, Солнце — вишня; не зашла бы вишня за яблоко, не случилось бы солнечного затмения.

На Луне оно составляет частое и грандиозное явление; на Земле оно редко и ничтожно: пятнышко тени, чуть не с булавоочную головку (а иногда и в несколько верст длины, но что это, как не булавоочная головка в сравнении с величиной Земли), описывает полосу на планете, переходя в благоприятном случае из города в город и пребывая в каждом из них несколько минут. Здесь же тень покрывает или всю Луну, или в большинстве случаев значительную часть ее поверхности, так что полная темнота продолжается целые часы...

Серп стал еще уже и наряду с Солнцем едва заметен...

Серп совсем сделался не виден.

Мы вылезли из ущелья и глядели на Солнце через темное стекло...

Вот как будто кто-то с одной стороны светила приплюснул невидимым гигантским пальцем его светящуюся массу.

Вот уже видна только половина Солнца.

Наконец исчезла последняя его частица, и все погрузилось в мрак. Набежала и прикрыла нас огромная тень.

Но слепота быстро исчезает: мы видим месяц и множество звезд.

Это не тот месяц — серп; этот имеет форму темного круга, охваченного великолепным багровым сиянием, особенно ярким, хотя и бледным с той стороны, где пропал остаток Солнца.

Да, я вижу цвета зари, которыми когда-то мы любовались с Земли.

И окрестности залиты багрянцем, как бы кровью...

Тысячи людей глядят невооруженными глазами

и через стекла на нас, наблюдая полное лунное затмение...

Родные очи! Видите ли вы нас?..

Пока мы тут горевали, красный венчик становился равномернее и красивее. Вот он равен по всей окружности месяца; это середина затмения. Вот одна сторона его, противоположная той, где скрылось Солнце, побледнела и посветлела... Вот она делается все блестящее и принимает вид брильянта, вставленного в красный перстень...

Брильянт превратился в кусочек Солнца — и венчик невидим... Ночь переходит в день — и оцепенение наше пропадает: прежняя картина предстала перед глазами... Мы заговорили оживленно.

Я говорил: «Мы выбирали тенистое местечко и делали наблюдения», но вы можете спросить: «Каким образом из тенистого местечка вы наблюдали Солнце?»

Я отвечаю: «Не все тенистые места холодны и не все освещенные места накалены. Действительно, температура почвы зависит от того, главным образом, сколько времени Солнце нагревало это место. Есть пространства, только несколько часов тому назад освещенные Солнцем и бывшие до того времени в тени. Понятно, температура их не только не могла быть высока, но она даже чересчур низка. Где есть скалы и крутые горы, бросающие тени, там есть и пространства, хотя освещенные, так что с них можно видеть Солнце, но холодные. Правда, только иногда их не бывает под рукой, и прежде чем их отыщешь и дойдешь до них, порядком пропечешься — не спасет и зонтик».

Ради удобства и отчасти моциона мы, заметив множество камней в нашей щели, решили те из них, которые еще не успели нагреться, натаскать в достаточном количестве наружу, чтобы застелить ими некоторую открытую со всех сторон площадь и тем защитить свои тела от жары.

Сказано — сделано...

Таким образом, мы всегда могли выходить наверх и, восседая в центре каменной груды, торжественно делать наблюдения.

Камни могли прогреться!

Можем натаскать новых, благо их тут внизу много; в силах, ушестеренных Луной, также недостатка быть не может.

Это мы совершили уже после солнечного затмения, которого даже и не ждали с уверенностью.

Кроме этого дела, тотчас после затмения мы занялись определением широты той местности Луны, на которой мы находились, что было сделать нетрудно, имея в виду эпоху равноденствия (она видна из случившегося затмения) и высоту Солнца. Таким образом, широта места оказалась в 40° северной широты и мы не находились, значит, на экваторе Луны.

Итак, прошел полдень — семь земных суток с восхода Солнца, чему мы не были свидетелями. В самом деле, хронометр указывает, что время нашего пребывания на Луне равно пяти земным суткам. Следовательно, мы явились на Луну рано утром, в сорок восьмом часу. Это объясняет, почему мы, проснувшись, нашли почву очень холодной: она не успела нагреться, будучи страшно охлаждена предшествующей продолжительной пятнадцатидневной ночью.

.

Мы спали и просыпались и каждый раз видели над собой всё новые и новые звезды. Это все тот же знакомый Земле узор, всё те же звезды; только узкая дыра, в которой мы помещались, не позволяла зараз видеть большое их количество, да не мерцали они на черном поле, да текли в двадцать восемь раз медленнее.

Вон показался Юпитер; его спутников можно видеть здесь невооруженными глазами, и мы наблюдали их затмения. Перестал быть виден Юпитер. Выкатилась Полярная звезда. Бедная! Она не играет здесь важной роли. Только месяц один никогда не заглянет в наше ущелье, если мы даже будем тут дожидаться его тысячу лет. Не зайдет, потому что он вечно неподвижен. Его оживить может только движение наших тел на этой планете; тогда он может опуститься, подняться и закатиться... К этому вопросу мы еще вернемся...

.

Нельзя все спать!

Мы принялись строить планы.

— Ночью выйдем из ущелья, но не тотчас после заката, когда почва накалена до крайней почти степени, а спустя несколько десятков часов. Посетим и наше жилище; что-то там делается? Не напроказило ли Солнце? Затем повояжируем при месячном освещении. Насладимся видом здешнего месяца. До сих пор мы видели его похожим на белое облачко; ночью же увидим во всей красе, во всем блеске и со всех сторон, так как он быстро вертится и сам себя покажет не более чем

в двадцать четыре часа, то есть в незначительную часть лунных суток.

Наш большой месяц — Земля — имеет фазы, как и Луна, на которую мы прежде смотрели издали с мечтательным любопытством.

Для нашей местности в полдень бывает новомесячие, или новоземлие; при заходе Солнца — первая четверть; в полночь — полномесячие; при восходе — последняя четверть.

Мы находимся в местности, где ночи и даже дни вечно месячные. Это недурно, но только до тех пор, пока мы существуем в полушарии, видимом с Земли; но как скоро мы переходим в другое полушарие, не видимое с Земли, то тотчас же лишаемся ночного освещения. Лишаемся до тех пор, пока находимся в этом несчастном и вместе с тем столь таинственном полушарии. Таинственно оно для Земли, так как Земля его никогда не видит, и потому ученых оно очень интригует; несчастно оно потому, что его жители, буде они там есть, лишены ночного светила и великолепного зрелища.

В самом деле, есть ли на Луне обитатели? Каковы они? Похожи ли на нас? До сих пор мы их не встречали, да и довольно трудно было встретить, так как мы сидели чуть не на одном месте и занимались гораздо более гимнастикой, чем селенографией. Особенно интересна та неведомая половина, черные небеса которой по ночам вечно покрыты массой звезд, большей частью мелких, телескопических, так как нежное сияние их не разрушается многократными преломлениями атмосферы и не заглушается грубым светом огромного месяца.

Нет ли там углубления, в котором могут скопиться газы, жидкости и лунное население. Таково содержание наших разговоров, в которых мы проводили время, дожидаясь ночи и заката. Его мы ждали также с нетерпением. Было не очень скучно. Не забыли и про опыты с деревянным маслом, о котором заранее говорил физик.

Дело в том, что нам удавалось получить капли громадных размеров. Так, капли масла с горизонтальной плоскости при падении достигали величины яблока. Капли с острия были гораздо меньше; через отверстия масло вытекало раза в два с половиной медленнее, чем на Земле при одинаковых условиях. Явления волосности проявлялись на Луне с ушестеренной силой. Так, масло по краям сосуда поднималось над средним уровнем раз в шесть сильнее.

В маленькой рюмке масло имело форму почти сферическую — вдавленную...

Не забывали мы и о грешной своей утробе. Через каждые шесть — десять часов подкрепляли себя пищей и питьем.

С нами был самовар с плотно привинченной крышкой, и мы частенько попивали настой китайской травки.

Конечно, ставить его обыкновенным образом не приходилось, так как для горения угля и лучины необходим воздух; мы просто выносили его на солнце и обкладывали особенно накалившимися мелкими камешками. Поспевал он живо, не закипая. Горячая вода вырывалась с силой из открытого крана, побуждаемая к тому давлением пара, не уравновешенным тяжестью атмосферы.

Такой чай пить было не особенно приятно — ввиду возможности жестоко обвариться, ибо вода разлеталась во все стороны, как взрываемый порох.

Поэтому мы, кладя заранее чай в самовар, давали ему сначала сильно нагреться, потом ждали, пока он, освобожденный от горячих камней, остынет, и, наконец, пили готовый чай, не обжигая губ. Но и этот, сравнительно холодный, чай вырывался с заметной силой и слабо кипел в стаканах и во рту, подобно сельтерской воде.

V

Скоро закат.

Мы смотрели, как Солнце коснулось вершины одной горы. На Земле мы смотрели бы на это явление простыми глазами — здесь это невозможно, потому что тут нет ни атмосферы, ни паров воды, вследствие чего Солнце нисколько не потеряло ни своей синеватости, ни своей тепловой и световой силы. Взглянуть на него без темного стекла можно было только мельком; это не то что наше багровое и слабое при закате и восходе Солнце!..

Оно погружалось, но медленно. Вот уже от первого его прикосновения к горизонту прошло полчаса, а половина его еще не скрылась.

В Петербурге или Москве время заката не более трех — пяти минут; в тропических же странах оно около двух минут; и только на полюсе оно может продолжаться несколько часов.

Наконец за горами потухла последняя частица Солнца, казавшаяся яркой звездой.

Но зари нет. Вместо зари мы видим кругом себя множество светящихся довольно ярким отраженным светом вершин гор и других возвышенных частей окрестности.

Этого света вполне достаточно, чтобы не потонуть во мраке в продолжение многих часов, если бы даже и не было месяца.

Одна отдаленная вершина, как фонарь, светилась в продолжение тридцати часов.

Но и она потухла.

Нам светил только месяц и звезды, а ведь световая сила звезд ничтожна.

Тотчас после заката и даже некоторое время спустя отраженный солнечный свет преобладал над свечением месяца.

Теперь же, когда потух последний конус горы, месяц — господин ночи — воцарился над Луной.

Обратим же к нему наш взор.

Поверхность его раз в пятнадцать больше поверхности земного месяца, который был перед этим, как я уже говорил, то же, что вишня перед яблоком.

Сила света его раз в пятьдесят — шестьдесят превышает свет знакомого нам месяца.

Без напряжения можно было читать; казалось, не ночь это, а какой-то фантастический день.

Его сияние, без особенных экранов, не позволяло видеть ни зодиакальный свет, ни звездную мелочь.

Какой вид! Здравствуй, Земля! Наши сердца бились томительно: не то горько, не то сладко. Воспоминания врывались в душу...

Как была мила теперь и таинственна эта прежде ругаемая и пошлая Земля! Видим ее, как бы картину, закрытую голубым стеклом. Это стекло — воздушный океан Земли.

Видим Африку и часть Азии, Сахару, Гоби, Аравию! Страны бездождия и безоблачного неба! На вас нет пятен: вы всегда открыты для взоров селенита. Только при поворачивании планеты вокруг оси уносятся ею эти пустыни.

Белые бесформенные клоки и полосы — это облака.

Суша казалась грязно-желтой или грязно-зеленой.

Моря и океаны темны, но оттенки их различны, что зависит, вероятно, от степени их волнения и покоя. Вот там, может быть, на гребнях волн, играют бараш-

ки — так море белесовато. Воды кое-где покрыты облаками, но не все облака белоснежны, хотя сероватых мало: должно быть, они закрыты верхними светлыми слоями, состоящими из ледяной кристаллической пыли.

Два диаметральных конца планеты особенно блестели: это полярные снега и льды.

Северная белизна была чище и имела бóльшую поверхность, чем южная.

Если бы облака не двигались, то их трудно было бы отличить от снега. Впрочем, снега большей частью лежат глубже в воздушном океане, и потому покрывающий их голубой цвет темнее, чем эта же окраска у облаков.

Снеговые блестки небольшой величины мы видим рассеянными по всей планете и даже на экваторе — это вершины гор, иногда настолько высоких, что даже в тропических странах с них никогда не сходит снеговая шапка.

Это Альпы блестят!

Это Кавказские вершины!

Это Гималайский хребет!

Снеговые пятна более постоянны, чем облачные, но и они (снеговые) изменяются, исчезают и вновь появляются с временами года...

В телескоп можно было разобрать все подробности... Полюбовались мы!

Была первая четверть: темная половина Земли, освещенная слабой Луной, различалась с большим трудом и была далеко темнее темной (пепельной) части Луны, видимой с Земли.

Нам захотелось есть. Но прежде чем сойти в ущелье, мы пожелали узнать, очень ли еще горяча почва. Сходим с устроенной нами каменной настилки, уже несколько раз возобновляемой, и оказываемся в невозможно натопленной бане. Жар быстро проникает через подошвы... Поспешно ретируемся: не скоро еще остынет почва.

Мы обедаем в ущелье, края которого теперь не светятся, но звезд видно страшное множество.

Через каждые два-три часа мы выходили и наблюдали месяц — Землю.

Мы могли бы осмотреть ее всю часов в двадцать, если бы этому не мешала облачность вашей планеты. С некоторых мест облака упрямо не сходили и выводили нас из терпения, хотя мы и надеялись их еще уви-

дать, и действительно мы их наблюдали, как только там выступало ведро.

.....
Пять дней мы скрывались в недрах Луны и если выходили, то в ближайшие места и на короткое время.

Почва остывала и к концу пятых суток по-земному, или к середине ночи — по-лунному, настолько охлади-лась, что мы решились предпринять свое путешествие по Луне: по ее долам и горам. Ни в одном низком месте мы, собственно, и не были.

Эти темноватые, огромные и низкие пространства Луны принято называть морями, хотя совсем неправильно, так как там присутствие воды не обнаружено. Не найдем ли мы в этих «морях» и еще более низких местах следов нептунической деятельности — следов воды, воздуха и органической жизни, по мнению некоторых ученых, уже давно исчезнувших на Луне? Есть предположение, что все это когда-то на ней было, если и теперь не есть где-нибудь в расщелинах и пропастях: были вода и воздух, но всосались, поглотились с течением веков ее почвой, соединившейся с ними химически; были и организмы — какая-нибудь растительность несложного порядка, какие-нибудь раковины, потому что где вода и воздух, там и плесень, а плесень — начало органической жизни, по крайней мере низшей.

Что касается до моего приятеля-физика, то он думает и имеет на то основание, что на Луне никогда не было ни жизни, ни воды, ни воздуха. Если и была вода, если и был воздух, то при такой высокой температуре, при которой никакая органическая жизнь невозможна.

Да простят мне читатели, что я высказываю тут личный взгляд моего друга-физика, несколько притом не доказанный.

Вот когда совершим кругосветное путешествие, тогда и видно будет, кто прав. Итак, захватив грузы, которые значительно облегчились по причине большого количества съеденного и выпитого, оставляем гостеприимное ущелье и по месяцу, стоявшему на одном и том же месте черного свода, направляемся к жилищу, которое вскоре и отыскиваем.

Деревянные ставни и другие части дома и служб, сделанные из того же материала, подверженные продолжительному действию Солнца, разложились и обуглились с поверхности. На дворе мы нашли обломки разорванной давлением пара бочки с водой, которую, закупорив, неосторожно оставили на солнечном при-

пеке. Следов воды, конечно, не было: она улетучилась без остатка. У крыльца нашли осколки стекла — это от фонаря, оправа которого была сделана из легкоплавкого металла: понятно — она расплавилась, и стекла полетели вниз. В доме мы нашли меньше повреждений: толстые каменные стены защитили. В погребке все оказалось целехонько.

Забрав из погреба необходимое, чтобы не умереть от жажды и голода, мы отправились в продолжительное путешествие к полюсу Луны и в другое таинственное полушарие, не виденное еще ни одним из людей.

— Не бежать ли нам за Солнцем к западу, — предложил физик, — склоняясь понемногу к одному из полюсов? Тогда мы можем зараз убить двух зайцев: первый заяц — достижение полюса и безмесячного полушария; второй заяц — избежание чрезмерного холода, так как, если не отстанем от Солнца, будем бежать по местам, нагреваемым Солнцем определенное время, — следовательно, по местам с неизменной температурой. Мы можем даже произвольно, по мере надобности, менять температуру: перегоняя Солнце, мы будем ее повышать, отставая — понижать. Особенно это хорошо, имея в виду, что мы приблизимся к полюсу, средняя температура которого низка.

— Да полно, возможно ли это? — заметил я на странные теории физика.

— Очень возможно, — ответил он. — Возьми только в расчет легкость бега на Луне и медленное движение (видимое) Солнца. В самом деле, наибольший лунный круг имеет тысяч десять верст протяжения. Это протяжение надо пробежать, чтобы не отстать от Солнца, в тридцать суток, или семьсот часов, выражаясь земным языком; следовательно, в час требуется пробежать четырнадцать с половиной верст.

— На Луне четырнадцать верст в час! — воскликнул я. — Гляжу на это число не иначе, как с презрением.

— Ну, вот видишь.

— Шутя пробежим вдвое больше! — продолжал я, припоминая наши обоюдные гимнастические упражнения. — И тогда можно через каждые двенадцать часов столько же спать...

— Другие параллели, — объяснял физик, — чем ближе к полюсу, тем меньше, а так как мы направляемся именно через этот пункт, то можем бежать, не отставая от Солнца, постепенно с меньшей быстротой. Однако холод полярных стран не позволит этого сделать:

по мере приближения к полюсу мы должны, чтобы не замерзнуть, приблизиться к Солнцу, то есть бежать по местам, хотя и полярным, но подверженным более продолжительному освещению Солнцем. Полярное Солнце стоит невысоко над горизонтом, и потому нагревание почвы несравненно слабее, так что даже при самом закате почва только тепла.

Чем ближе к полюсу, тем ближе мы должны быть к закату, ради возможного постоянства температуры.

— К западу, к западу!

Скользим, как тени, как привидения, бесшумно касаясь ногами приятно согревающей почвы. Месяц почти округлился и светил поэтому весьма ярко, представляя очаровательную картину, прикрытую голубым стеклом, толщина которого как бы возрастает к краям, так как чем ближе к ним, тем оно темнее; по самым краям нельзя разобрать ни суши, ни воды, ни форм облаков.

Теперь мы видим полушарие, богатое сушей; через двенадцать часов — наоборот, богатое водой, — почти один Тихий океан; он плохо отражает лучи солнца, и потому, если бы не облака и льды, сильно светящиеся, месяц не был бы так ярок, как сейчас.

Легко взбегаем на возвышения и еще легче сбегает с них. Изредка погружаемся в тень, из которой видно более звезд. Пока встречаются только небольшие холмы. Но и высочайшие горы не составят препятствия, так как здесь температура места не зависит от его высоты: вершины гор так же теплы и свободны от снега, как и низкие долины... Неровные пространства, уступы, пропасти на Луне не страшны. Неровные места и пропасти, достигающие 10—15 сажен ширины, мы перепрыгиваем; а если они очень велики и недоступны, то стараемся обежать их стороной или лепимся по крутизнам и уступам с помощью тонких бечевки, острых палок с крючьями и колючих подошв.

Припомните нашу малую тяжесть, которая не требует для поддержания нас канатов, — и вам все будет понятно.

— Отчего мы не бежим к экватору, ведь мы там не были? — заметил я.

— Ничего не мешает нам туда бежать, — согласился физик.

И мы тотчас же изменили наш курс.

Бежали мы чересчур быстро, и потому почва становилась все теплее; наконец бежать становилось невоз-

можно от жары, ибо мы попали в места, более нагретые Солнцем.

— Что будет, — спросил я, — если мы будем бежать, несмотря ни на какой жар, с этой быстротой и по тому же направлению — к западу?

— Дней, по-земному, через семь такого бега мы увидели бы сначала освещенные Солнцем вершины гор, а потом и самое Солнце, восходящее на западе.

— Неужели Солнце взойшло бы там, где оно обыкновенно заходит? — усомнился я.

— Да, это верно, и будь мы сказочные саламандры, застрахованные от огня, мы могли бы воочию убедиться в этом явлении.

— Что же, Солнце только покажется и опять скроется или будет восходить обычным порядком?

— До тех пор, пока мы бежим, положим, по экватору со скоростью, превышающей четырнадцать с половиной верст, до тех пор Солнце будет двигаться от запада к востоку, где и зайдет; но стоит нам только остановиться, как оно тотчас же будет двигаться обычным порядком и, приподнятое насильно с запада, опять погрузится за горизонт.

— А что, если мы не будем бежать ни быстрее, ни тише четырнадцати с половиною верст в час, что тогда произойдет? — спросил еще я.

— Тогда Солнце, как во времена Иисуса Навина, остановится в небесах и день или ночь никогда не кончатся.

— Можно ли и на Земле все эти штуки проделать? — приставал я к физику.

— Можно, если ты только в состоянии бежать, ехать или лететь на Земле со скоростью до тысячи пяти сот сорока верст в час и более.

— Как? В пятнадцать раз скорее бури или урагана? Ну, за это я не берусь... то есть забыл — не взялся бы!

— То-то! Что здесь возможно, даже легко, то вон на той Земле, — физик показал пальцем на месяц, — совсем немыслимо.

Так мы рассуждали, усевшись на камнях, ибо бежать было невозможно от жары, о чем я уже говорил.

Утомленные, мы скоро заснули.

Нас разбудила значительная свежесть. Бодро вскочив и припрыгивая аршин на пять, опять побежали мы на запад, склоняясь к экватору.

Вы помните: мы определили широту нашей хижины в 40° ; поэтому до экватора оставалось порядочное рас-

стояние. Но не считайте, пожалуйста, градус широты на Луне такой же длины, как и на Земле. Не забывайте, что величина Луны относится к величине Земли, как вишня к яблоку: градус лунной широты поэтому не более тридцати верст, тогда как земной — сто четыре версты.

О приближении к экватору мы, между прочим, убеждались тем, что температура глубоких расщелин, представляющих среднюю температуру, постепенно повышалась и, достигнув высоты 50 градусов по Реомюру, остановилась на этой величине; потом даже стала уменьшаться, что указывало на переход в другое полушарие.

Точнее свое положение мы определяли астрономически.

Но прежде чем мы перебежали экватор, мы встретили много гор и сухих «морей».

Форма лунных гор прекрасно известна земным жителям. Это большей частью круглая гора с котловиной посередине.

Котловина же не всегда пуста, не всегда оказывается кратером новейшим: в середине его иногда возвышается еще целая гора и опять с углублением, которое оказывается кратером более новым, но редко-редко действующим — с краснеющей внутри, на самом дне его, лавою.

Не вулканы ли эти в былое время выбросили довольно часто находимые нами камни? Иное происхождение их мне непонятно.

Мы нарочно из любопытства пробегали мимо вулканов, по самому их краю, и, заглядывая внутрь кратеров, два раза видели сверкающую и переливающуюся волнами лаву.

Однажды в стороне даже заметили над вершиной одной горы огромный и высокий сноп света, состоящий, вероятно, из большого числа накаленных до свечения камней: сотрясение от падения их достигло и наших легких здесь ног.

Вследствие ли недостатка кислорода на Луне или вследствие других причин, только нам попадались неокисленные металлы и минералы, всего чаще алюминий.

Низкие и ровные пространства, сухие «морья» в иных местах, вопреки убеждениям физика, были покрыты явными, хотя и жалкими следами нептунической деятельности. Мы любили такие, несколько *пыльные от*

прикосновения ног, изменности; но мы так скоро бежали, что пыль оставалась позади и тотчас же улегалась, так как ее не поднимал ветер и не сыпал ею нам в глаза и нос. Мы любили их потому, что набивали пятки по каменистым местам, и они заменяли нам мягкие ковры или траву. Затруднять бега этот наносный слой не мог по причине его малой толщины, не превышающей нескольких дюймов или линий.

Физик указал мне вдаль рукой, и я увидел с правой стороны как бы костер, разбрызгивающий по всем направлениям красные искры. Последние описывали красивые дуги.

По согласию делаем крюк, чтобы объяснить себе причину этого явления.

Когда мы прибежали к месту, то увидели разбросанные куски более или менее накалившегося железа. Маленькие куски уже успели остынуть, большие были еще красны.

— Это метеорное железо, — сказал физик, взяв в руки один из остывших кусков аэролита. — Такие же куски падают и на Землю, — продолжал он. — Я не раз видел их в музеях. Неправильно только название этих небесных камней, или, точнее, тел. В особенности это название неприменимо тут, на Луне, где нет атмосферы. Они и не бывают здесь видны до тех пор, пока не ударятся о гранитную почву и не накалятся вследствие превращения работы их движения в тепло. На Земле же они заметны при самом почти вступлении в атмосферу, так как накаляются еще в ней через трение о воздух.

Перебежав экватор, мы опять решили уклониться к Северному полюсу.

Удивительны были скалы и груды камней.

Их формы и положения были довольно смелы. Ничего подобного мы не видали на Земле.

Если бы переставить их туда, то есть на вашу планету, они неминуемо бы со страшным грохотом рухнули. Здесь же их причудливые формы объясняются малой тяжестью, не могущей их повалить.

Мы мчались и мчались, все более и более приближаясь к полюсу. Температура в расщелинах все понижалась. На поверхности же мы не чувствовали этого, потому что нагоняли постепенно Солнце. Скоро нам предстояло увидеть чудесный восход его на западе.

Мы бежали не быстро: не было в этом надобности.

Для сна уже не спускались в расщелины, потому что не хотели холода, а прямо отдыхали и ели, где останавливались.

Засыпали и на ходу, предаваясь бессвязным грезам; удивляться этому не следует, зная, что и на Земле подобные факты наблюдаются; тем более они возможны здесь, где стоять то же, что у нас — лежать (относительно тяжести говоря).

VI

Месяц опускался все ниже, освещая нас и лунные ландшафты то слабее, то сильнее, смотря по тому, какой стороной к нам обращался — водной или почвенной, или по тому, в какой степени его атмосфера была насыщена облаками.

Пришло и такое время, когда он коснулся горизонта и стал за него заходить — это означало, что мы достигли другого полушария, невидимого с Земли.

Часа через четыре он совсем скрылся, и мы видели только несколько освещенных им вершин. Но и они потухли. Мрак был замечательный. Звезд — бездна! Только в порядочный телескоп можно с Земли их столько видеть.

Неприятна, однако, их безжизненность, неподвижность, далекая от неподвижности голубого неба тропических стран.

И черный фон тяжел!

Что это вдали так сильно светит?

Через полчаса узнаем, что это верхушки горы. Засияли еще и еще такие же верхушки.

Приходится взбегать на гору. Половина ее светится. Там — Солнце! Но пока мы взбежали на нее, она уже успела погрузиться в темноту, и Солнца с нее не было видно.

Очевидно, это местность заката.

Припустились поскорее.

Летим, как стрелы, пущенные из лука.

Могли бы и не спешить так; все равно бы увидели Солнце, восходящее на западе, если бы бежали и со скоростью 5 верст в час, то есть не бежали — какой это бег! — а шли.

Нет — нельзя не торопиться.

И вот, о чудо!..

Заблистала восходящая звезда на западе. Размер ее быстро увеличивался... Виден целый отрезок Солнца...

Все Солнце! Оно поднимается, отделяется от горизонта... Выше и выше!

И между тем все это только для нас, бегущих; вершины же гор, остающихся позади нас, тухнут одна за другой.

Если бы не глядеть на эти недвигающиеся тени, иллюзия была бы полная.

— Довольно, устали! — шутливо воскликнул физик, обращаясь к Солнцу. — Можешь отправиться на покой.

Мы уселись и дожидались того момента, когда Солнце, заходя обычным порядком, скроется из глаз.

— Кончена комедия!

Мы повертелись и заснули крепким сном.

Когда проснулись, то опять, но не спеша, единственно ради тепла и света, нагнали Солнце и уже не выпускали его из виду. Оно то поднималось, то опускалось, но постоянно было на небе и не переставало нас согревать. Засыпали мы — Солнце было довольно высоко: просыпались — каналья-Солнце делало поползновение зайти, но мы вовремя укрощали его и заставляли снова подниматься. Приближаемся к полюсу!

Солнце так низко и тени так громадны, что, перебегая их, мы порядочно зябнем. Вообще контраст температур поразителен. Какое-нибудь выдающееся место нагрелось до того, что к нему нельзя подойти близко. Другие же места, лежащие по пятнадцати и более суток (по-земному) в тени, нельзя пробежать, не рискуя схватить ревматизм. Не забывайте, что здесь Солнце, и почти лежащее на горизонте, нагревает плоскости камней (обращенных к его лучам) несколько не слабее, а даже раза в два сильнее, чем земное Солнце, стоящее над самой головой. Конечно, этого не может быть в полярных странах Земли: потому что сила солнечных лучей, во-первых, почти поглощается толщей атмосферы, во-вторых, оно у вас не так упрямо светит и на полюсе; каждые двадцать четыре часа свет и Солнце обходят камень кругом, хотя и не выпускают его из виду.

Вы скажете: «А теплопроводность? Должно же тепло камня или горы уходить в холодную и каменную почву?» — «Иногда, — отвечу я, — оно и уходит, когда гора составляет одно целое с материком; но множество глыб гранита просто, несмотря на свою величину, брошено и прикасается к почве или к другой глыбе тремя-четырьмя точками. Через эти точки тепло уходит крайне медленно, лучше сказать — незаметно. И вот

масса нагревается и нагревается; лучеиспускание же так слабо».

Затрудняли нас, впрочем, не камни эти, а очень охлажденные и лежащие в тени долины. Они мешали приближению нашему к полюсу, потому что чем ближе к нему, тем тенистые пространства обширнее и непроходимее.

Еще будь тут времена года более заметны, а то их здесь почти нет: летом Солнце на полюсе и не поднимается выше 5° , тогда как на Земле это поднятие в пять раз больше.

Да и когда мы дождемся лета, которое, пожалуй, и дозволит, с грехом пополам, достигнуть полюса?

Итак, продвигаясь по тому же направлению за Солнцем и делая круг, или, вернее, спираль, на Луне, снова удаляемся от этого замороженного местами пункта с набросанными повсюду горячими камнями.

Мы не желали ни морозиться, ни обжигаться!.. Удаляемся и удаляемся... Все жарче и жарче... Принуждены потерять Солнце. Принуждены отстать от него, чтобы не зажариться. Бежим в темноте, сперва украшенной немного светлыми вершинами горных хребтов. Но их уже нет. Бежать легче: много съедено и выпито.

Скоро покажется месяц, который мы заставили двигаться.

Вот он.

Приветствуем тебя, о дорогая Земля!

Не шутя мы ей обрадовались.

Еще бы! Пробыть столько времени в разлуке!

Много и еще протекло часов. Хотя места эти и горы никогда нами не виданы, но они не привлекают нашего любопытства и кажутся однообразными. Все надоело — все эти чудеса! Сердце щемит, сердце болит. Вид прекрасной, но недоступной Земли только растравляет боль воспоминаний, язвы невозвратимых утрат. Скорее бы хоть достигнуть жилища! Сна нет! Но и там, в жилище, что нас ожидает? Знакомые, но неодушевленные предметы, способные еще более уколоть и уязвить сердце.

Откуда поднялась эта тоска?.. Мы прежде ее почти не знали. Не заслонял ли ее тогда интерес окружающего, не успевшего еще прискучить, интерес новизны?

Скорее к жилищу, чтобы хоть не видеть этих мертвых звезд и траурного неба!

Жилище, должно быть, близко. Оно тут, астрономически мы это установили, но, несмотря на несомненные

указания, не только не находим знакомого двора, а даже не узнаем ни одного вида, ни одной горы, которые должны быть нам известны.

Ходим и ищем.

Туда и сюда! Нет нигде.

В отчаянии садимся и засыпаем.

Нас пробуждает холод.

Подкрепляем себя пищей, которой уж немного осталось.

Приходится спасаться от холода бегством.

Как назло, не попадается ни одной подходящей трещины, где мы могли бы укрыться от холода.

Опять бежать за Солнцем. Бежать подобно рабам, прикованным к колеснице! Бежать вечно!

О, далеко не вечно! Осталась только одна порция пищи.

Что тогда?

Съедена порция, последняя порция!

Сон смежил наши очи. Холод заставил нас братски прижаться друг к другу.

И куда подевались эти ущелья, попадавшие тогда, когда они не были нужны?

Недолго мы спали: холод, еще более сильный, пробудил нас. Бесцеремонный и беспощадный! Не дал и трех часов проспать. Не дал выспаться.

Бессильные, ослабленные тоской, голодом и надвигающимся холодом, мы не могли бежать с прежней быстротой.

Мы замерзали!

Сон клонил то меня — и физик удерживал друга, то его самого — и я удерживал от сна, от смертельного сна, физика, научившего меня понять значение этого ужасного, последнего усыпления.

Мы поддерживали и укрепляли друг друга. Нам не приходила, как я теперь припоминаю, даже мысль покинуть друг друга и отдалить час кончины.

Физик засыпал и бредил о Земле; я обнимал его тело, стараясь согреть своим.

Соблазнительные грезы: о теплой постели, об огоньке камина, о пище и вине овладели мной... Меня окружают домашние... Ходят за мной, жалеют...
Подают...

.....

Мечты, мечты! Голубое небо, снег на соседних крышах... Пролетела птица... Лица, лица знакомые... Доктор... Что он говорит?..

— Летаргия, продолжительный сон, опасное положение... Значительное уменьшение в весе. Сильно исхудал... Ничего! Дыхание улучшилось... Чувствительность восстанавливается... Опасность миновала.

Кругом радостные, хотя и заплаканные лица...

Сказать короче, я спал болезненным сном и теперь проснулся: лег на Земле и пробудился на Земле; тело оставалось здесь, мысль же улетела на Луну.

Тем не менее я долго бредил: спрашивал про физика, говорил о Луне, удивлялся, как попали на нее мои друзья. Земное мешал с небесным: то воображал себя на Земле, то опять возвращался на Луну.

Доктор не велел со мной спорить и меня раздражать... Боялись помешательства.

Очень медленно приходил я в сознание и еще медленнее поправлялся.

Нечего и говорить, что физик очень удивился, когда я, по выздоровлении, рассказал ему всю эту историю. Он советовал мне ее записать и немного дополнить своими объяснениями.

Валерий БРЮСОВ



ГОРА ЗВЕЗДЫ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вступая десять лет назад в пустыню, я верил, что навсегда расстался с образованным миром. Взяться за перо и писать воспоминания заставили меня события совершенно необыкновенные. То, что я видел, быть может, не видел никто из людей. Но еще больше пережил я в глубине души. Мои убеждения, казавшиеся мне непоколебимыми, разрушены или потрясены. С ужасом вижу, как много властной истины в том, что я всегда презирал. У этих записок могла бы быть цель: предостеречь других, подобных мне. Но, вероятно, они никогда не найдут читателя. Пишу их соком на листьях, пишу в джунглях Африки, далеко от последних следов просвещения, под шалашом бечуана, слушая немолчный грохот Мози-оа-Тунья. О великий водопад! Красивейшее, что есть на свете! В этой пустыне один ты, быть может, постигаешь мои волнения. И тебе посвящаю я эти страницы.

Селение. 9 августа 1895 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Небосвод был темно-синим, звезды крупными и яркими, когда я открыл глаза. Я не шевельнулся, только рука, и во сне сжимавшая рукоятку кинжала, налегла на нее сильнее... Стон повторился. Тогда я приподнялся и сел. Большой костер, с вечера разложенный против диких зверей, потухал, а мой негр Мстегà спал, уткнувшись в землю...

— Вставай, — крикнул я, — бери копьё, иди за мной! Мы пошли по тому направлению, откуда слышались

были стоны. Минут десять мы блуждали наудачу. Наконец я заметил что-то светлое впереди.

— Кто лежит здесь без костра? — окликнул я. — Отвечай, или буду стрелять. — Эти слова я сказал по-английски, а потом повторил на местном кафрском наречии, потом еще раз по-голландски, по-португальски, по-французски. Ответа не было. Я приблизился, держа револьвер наготове.

На песке в луже крови лежал человек, одетый по-европейски. То был старик лет шестидесяти. Все тело его было изранено ударами копий. Кровавый след вел далеко в пустыню; раненый долго полз, прежде чем упал окончательно.

Я приказал Мстеге развести костер и попытался привести старика в чувство. Через полчаса он начал шевелиться, ресницы его приподнялись, и на мне остановился взор, сначала тусклый, потом прояснившийся.

— Понимаете ли вы меня? — спросил я по-английски. Не получив ответа, я повторил вопрос на всех знакомых мне языках, даже по-латыни. Старик долго молчал, потом заговорил по-французски:

— Благодарю вас, друг мой. Все эти языки я знаю, и если я молчал, то по своим причинам. Скажите, где вы меня нашли?

Я объяснил.

— Почему я так слаб? Разве мои раны опасны?

— Вам не пережить дня.

Едва я произнес эти слова, умирающий весь затрепетал, губы его искривились, костлявые пальцы впились в мою руку. Его мерная речь сменилась хриплыми криками.

— Не может быть!.. Не теперь, нет!.. у пристани!.. вы ошиблись.

— Возможно, — холодно сказал я.

— Пусть господин погодит, — глухо простонал он, — колдун скажет все, он слышал об этом от отцов еще мальчиком. Там, посреди Проклятой пустыни, стоит Гора Звезды, высокая, до неба. В ней живут демоны. Иногда они выходят из своей страны и пожирают младенцев в краалях. Кто идет в пустыню, тот погибнет. И говорить о ней нельзя...

С меня было довольно. Я опустил винчестер и медленно прошел среди оторопелой толпы в отведенную мне хижину. Остаться в деревне на ночь казалось мне небезопасным. Кроме того, я понимал, что по Проклятой пустыне можно было идти только ночью. Я прика-

зал Мстеге готовиться в дорогу. Мы взяли с собой запас воды дней на пять, немного провизии и все необходимое для шалаша, чтобы было куда укрываться от зноя. Всю ношу я разделил на два равных выюка, себе и Мстеге. Затем послал сказать начальнику племени, что мы уходим. Провожать нас вышла вся деревня, но все держались в значительном отдалении. До границы пустыни я шел, весело насвистывая. Взошел месяц. Грани пластов причудливо засветились под лунными лучами. В это время я услышал чей-то голос. Обернувшись, я увидел, что колдун выступил из толпы вперед и тоже стоял на границе пустыни. Протянув руки в нашу сторону, он отчетливо произносил установленные слова. То было заклятие, обрекавшее нас духам-мстителям за то, что мы тревожим спокойствие пустыни.

Луна стояла еще невысоко, и длинные тени от рук колдуна тянулись за нами в пустыню и долго с упорством цеплялись за наши ноги.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В тот же день к вечеру я начал путешествие, обещанное старику. Карта той части Африки, еще почти не исследованной, была мне известна много лучше, чем любому европейскому географу... Подвигаясь вперед, я все настойчивей собирал сведения о той местности, куда направлялся. Сначала только самые сведущие могли отвечать мне, что там лежит особая Проклятая пустыня. Потом стали встречаться лица, знавшие об этой пустыне разные сказания. Все говорили о ней неохотно. Через [несколько] дней пути мы пришли в страны, соседние с Проклятой пустыней. Здесь ее знали все, все ее видели, но никто не бывал в ней. Прежде выискивались смельчаки, вступавшие в пустыню, но, кажется, из них не возвратился никто.

Мальчик, взятый мною как проводник, довел нас до самой пустыни ближайшими тропинками. За лесом путь шел через роскошную степь. К вечеру мы дошли до временной деревушки бечуанов, раскинутой уже у самого рубежа пустыни. Меня встретили почтительно, отдали мне особую хижину и прислали в подарок телку.

Перед закатом солнца, оставив Мстегу сторожить имущество, я пошел один посмотреть на пустыню. Ничего более странного, чем граница этой пустыни, не видел я за свою скитальческую жизнь. Растительность

исчезла не постепенно: не было обычной переходной полосы от зелени лугов к бесплодной степи. Сразу на протяжении двух-трех саженой пастбище обращалось в безжизненную каменистую равнину. На тучную почву, покрытую тропической травой, вдруг налегали углами серые не то сланцевые, не то солончаковые пласты; громоздясь друг на друга, они образовывали дикую зубчатую плоскость, уходившую вдаль. На этой поверхности змеились и тянулись трещины и расселины, часто очень глубокие и до двух аршин шириною, но сама она была тверда как гранит. Лучи заходящего солнца отражались там и сям от ребер и зазубрин, слепя глаза переливами света. Но все же, внимательно вглядываясь, можно было различить на горизонте бледно-серый конус, вершина которого сверкала, как звезда. Я вернулся в крааль задумчивый. Скоро меня окружила толпа: собрались посмотреть на белого человека, идущего в Проклятую пустыню. В толпе заметил я и местного колдуна. Вдруг, подступив к нему, я направил дуло винчестера в уровень с его грудью. Колдун окаменел от страха; видно, ружье ему было знакомо. А толпа отхлынула в сторону.

— А что,— спросил я медленно,— знает ли отец мой какие-либо молитвы перед смертью?

— Знаю,— нетвердо отвечал колдун.

— Так пусть он их читает, потому что сейчас умрет. Я щелкнул курком. Негры вдалеке испустили вопль.

— Ты умрешь,— повторил я,— потому что скрываешь от меня, что знаешь о Проклятой пустыне.

Я наблюдал на лице колдуна смену настроений. Его губы кривились, на лбу то сдвигались, то раскрывались морщины. Я положил палец на «собачку». Могло случиться, что колдун действительно не знает ничего, но через мгновение я спустил бы курок. Вдруг колдун повалился наземь.

— Просто я потерял много крови.

Я улыбнулся:

— Вы продолжаете ее терять; мне не удалось остановить кровотечение.

Старик стал плакать, молил спасти его. Наконец у него горлом пошла кровь, и он опять потерял сознание. Очнувшись во второй раз, он был снова спокоен.

— Да, я умираю,— сказал он,— вы правы. Тяжело это теперь. Но слушайте. Судьба сделала вас моим наследником.

— Я ни в чем не нуждаюсь,— возразил я.

— О, не думайте,— перебил старик,— дело идет не о кладе, не о деньгах. Здесь другое. Я владею тайной.

Он говорил торопливо, сбивчиво; то начинал рассказывать свою жизнь, то перескакивал к последним событиям. Многого я не понял. Вероятно, большинство на моем месте сочло бы старика помешанным. С детства его увлекала мысль о межпланетных сношениях. Он посвятил ей всю жизнь. В разных научных обществах делал он доклады об изобретенных им снарядах для полета с Земли на другую планету. Его везде осмеяли. Но небо, по его выражению, хранило награду его старости. На основании каких-то замечательных документов он убедился, что вопрос о межпланетных сношениях уже был решен именно жителями Марса. В конце XIII столетия нашего летосчисления они послали на Землю корабль. Корабль этот опустился в Центральной Африке. По предположению старика, на этом корабле были не путешественники, а изгнанники, дерзкие беглецы на другую планету. Они не занялись исследованием Земли, а постарались только устроиться поудобнее. Оградив себя от дикарей искусственной пустыней, они жили в ее середине отдельным самостоятельным обществом. Старик был убежден, что потомки этих переселенцев с Марса до сих пор живут в той стране.

— Есть у вас точные указания места? — спросил я.

— Я вычислил приблизительно долготу и широту... ошибка не больше десяти минут... может быть, четверть градуса...

Все случившееся со стариком после и нужно было ожидать. Не желая делиться успехом, он сам отправился на исследования...

— Вам, вам поручаю я мою тайну,— говорил мне умирающий,— возьмитесь за мое дело, окончите его во имя науки и человечества.

Я засмеялся:

— Науку я презираю, человечества не люблю.

— Ну ради славы,— сказал старик с горечью.

— Полноте,— возразил я.— На что мне нужна слава? Но я все равно блуждаю по пустыне и могу из любопытства заглянуть в ту страну.

Старик зашептал обиженно:

— Мне нет выбора... Пусть будет так... Но поклянитесь, что вы сделаете все возможное, чтобы пройти туда... что только смерть вас остановит.

Я опять засмеялся и произнес клятву. Тогда умирающий со слезами на глазах произнес дрожащим голо-

сом несколько цифр — широту и долготу. Я отметил их на прикладе ружья. Вскоре после полудня старик умер. Последней его просьбой было, чтобы я упомянул его имя, когда буду писать о своем путешествии. Исполняю эту просьбу. Его звали Maurice Cardeaux.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Далеко не все трудности пути предвидел [я], вступая в Проклятую пустыню. С первых же шагов почувствовали мы, как тяжело идти по этой каменной, растрескавшейся почве. Ногам было больно ступать по зазубринам пластов; игра лунного света обманывала глаз, и ежеминутно мы могли оступиться в расщелину. В воздухе стояла тонкая пыль, резавшая глаза. Однообразие местности было таково, что мы постоянно сбивались с прямого направления и кружили: идти приходилось по звездам, потому что абрис Горы не был виден во мраке. Ночью можно было идти еще бодро, но, как только всходило солнце, нас охватывал нестерпимый зной. Почва быстро раскалялась и жгла ноги сквозь обувь. Воздух становился огненным паром, как над растопленной плитой, — мучительно было дышать. Приходилось наскоро разбивать палатку и под ней лежать до вечера, почти не двигаясь.

Этой Проклятой пустыней мы шли шесть суток. Вода, бывшая у нас в мехах, очень быстро испортилась, пропахла кожей, сделалась отвратительной на вкус. Такая вода почти не удовлетворяла жажды. К третьему утру у нас оставался очень маленький остаток ее, мутные последки на дне меха. Я решил поделить этот остаток между нами до конца, так как днем он испортился бы окончательно. В тот же день начались обычные мучения жажды: заболело горло, язык стал жестким, большим, являлись быстро исчезающие миражи. Но четвертую ночь мы еще шли без остановки. Мне казалось, что Гора Звезды близко, что к ней ближе, чем назад, к границе пустыни. Утром, однако, я увидел, что силуэт Горы почти не вырос, все так же недоступен. В этот четвертый день мной окончательно овладел бред. Мне стали грезиться озера в пальмовых оазисах, стада антилоп на берегу и наши русские речки с заводами, где ивы купают плакучие ветви, мне грезился месяц, отраженный в море, раздробленный в волнах, и отдых в лодке за прибрежной скалой, где вечно волнуется прибой, вал набегаает за валом, пенится и высоко

встает брызгами. Во сне оставалось смутное сознание, оно говорило, что все эти картины — призрак, что они мне недоступны. Я жаждал не грезить, победить свой бред, но на это сил не хватало. И это было мучительно... Но едва солнце закатилось и настала мгла, я вдруг очнулся, вдруг встал, как лунатик, словно на тайный зов. Мы уже не собрали палатку, так как не могли нести ее. Но мы шли опять вперед, упорно тянулись к Горе Звезды. Она влекла меня как магнит. Мне начинало казаться, что жизнь моя тесно связана с этой Горой, что я должен, должен и против воли идти к ней. И я шел, временами бежал, сбивался с пути, опять находил его, падал, вставал и шел снова. Если Мстега отставал, я кричал на него, грозил ему ружьем. Взошел убывающий месяц и осветил конус Горы. Я приветствовал Гору восторженной речью, протягивал к ней руки, умолял помочь мне, и опять шел, и опять шел, уже без отчета, слепо...

Ночь миновала, справа от нас выкатилось красное солнце, Звезда на вершине Горы загорелась ярко. У нас уже не было палатки, я крикнул Мстеге, чтобы он не останавливался.

Мы продолжали идти. Вероятно, около полудня я упал, побежденный зноем, но продолжал подвигаться ползком. Я бросил револьвер, охотничьи ножи, заряды, куртку. Долго я тащил за собой мой верный винчестер, но потом бросил и его. Я полз опухшими ногами по раскаленной почве, цепляясь окровавленными руками за острые камни. Перед каждым новым движением мне казалось, что оно будет последним, что еще одного я не буду в состоянии сделать. Но в моем сознании была только одна мысль: надо идти вперед. И я полз даже среди бреда, полз, выкрикивая невнятные слова, разговаривая с кем-то. Однажды я занялся ловлей каких-то жуков и бабочек, которые, как мне казалось, сновали вокруг меня. Приходя в себя, я отыскивал взором силуэт Горы и снова начинал ползти к ней. Настала ночь, но ненадолго принесла успокоение своей свежестью. Силы меня покидали, я изнемогал до конца. Слух был наполнен страшным звоном и ревом, глаза все более густой пеленой застилал кровавый туман. Сознание покидало меня окончательно. Последнее, что я помню, когда я очнулся: солнце стояло невысоко, но уже мучительно палило меня. Мстеги со мной не было. Первое мгновение хотелось мне сделать усилие, чтобы посмотреть, где Гора. Затем в следующее мгновение

мне ясно блеснула мысль, заставившая меня вдруг рассмеяться. Я смеялся, хотя из моих растрескавшихся губ текла при этом кровь, сочась по подбородку и каплями падая на грудь. Я смеялся потому, что вдруг понял свое безумие. Зачем я шел вперед? Что могло быть около Горы? Жизнь, вода? А что, если и там все та же мертвая, та же Проклятая пустыня! Да, конечно, оно так и есть. Мстега умнее меня и, конечно, пошел назад. Что ж! Быть может... ноги и донесут его до рубежа! А я заслужил свою участь. И, насмеявшись, я закрыл глаза и остался неподвижным. Но внимание мое было пробуждено чем-то темным, что я почувствовал сквозь опущенные веки. Я взглянул снова. Между мною и небом парил коршун, африканский коршун-стервятник. Он почуял добычу. И, смотря прямо на него, стал я думать, как он спустится ко мне на грудь, выклюет те самые глаза, которыми я смотрю, будет вырывать из меня куски мяса. И я думал, что мне все равно. Но вдруг новая мысль, ослепительно яркая, залила все мое сознание. Откуда здесь коршун? Зачем ему залетать в пустыню? Или Гора Звезды близко, а около нее и жизнь, и леса, и вода!

Сразу же по моим жилам пробежала струя силы. Я вскочил на ноги. Близко-близко чернела высокая Гора, а со стороны ее ко мне бежал верный Мстега. Он искал меня и, увидав, закричал радостно:

— Господин! Пусть господин идет! Вода близко, я видел ее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я вскочил на ноги. Я бросился вперед дикими скачками. Мстега бежал за мной, что-то громко крича. Скоро мне стало ясно, что посреди Проклятой пустыни была громадная котловина, в которой и стояла Гора. Я остановился только у края обрыва над этой котловиной.

Удивительная картина открылась перед нами. Пустыня обрывалась отвесом больше чем в сто саженей глубины. Внизу, на этой глубине, расстилалась равнина правильной эллиптической формы. Меньший поперечник долины был верст десять; противоположный край обрыва, столь же высокий, столь же отвесный, был отчетливо виден за Горой.

Гора стояла в самой середине долины. Высота Горы была втрое больше, чем высота обрыва, может быть,

доходила до полуверсты. Форма ее была правильная, конусообразная. В нескольких местах форму эту нарушали небольшие уступы, обходившие вокруг всей Горы и образовавшие террасы. Цвет Горы был темно-серый, несколько с коричневым оттенком. На вершине можно было рассмотреть плоскую площадку, на которой возвышалось что-то ярко сверкавшее, как золотое острие.

Долина вокруг Горы была видна, как на плане. Она вся была покрыта роскошной растительностью. Сначала около самой Горы шли рощи, прорезанные узкими аллеями. Затем шел широкий пояс полей, занимавший большую часть всей долины; поля эти чернели только что вспаханной землей, так как был август месяц; там и сям бороздили их ручейки и канальчики, сходившиеся в нескольких озерах. У самого края обрыва опять начинался пояс пальмового леса, расширявшийся в узких заливах эллипса; лес был разделен на участки широкими просеками и кое-где состоял уже из старых деревьев, а кое-где еще из молодой поросли.

Нам были видны и люди. На полях всюду виднелись кучки негров, работавших мерно, словно по команде.

Вода! Зелень! Люди! Что еще было нам нужно. Конечно, мы не очень долго любовались видом страны, я едва окинул ее взором, даже не понял ясно всех чудес этой картины. Я знал только одно: что мучения кончены и цель достигнута.

Впрочем, предстояло еще одно испытание. Надо было спуститься по отвесному обрыву в сто сажень глубины. Обрыв в верхней своей части состоял из тех же безжизненных сланцевых пластов, как и пустыня. Ниже начиналась более жирная почва, росли кустарники, трава. Мы спускались, цепляясь за выступы пластов, за камни, за колючие ветви. Над нами с криком кружили коршуны и орлы, гнездившиеся поблизости на уступах. Раз у меня из-под ног выскользнул камень, и я повис на одной руке. Помню, меня поразила моя рука, исхудавшая, на которой выступали все мускулы и вены. Сажень в трех от земли я оборвался снова и на этот раз упал. По счастью, трава была высокая, шелковистая. Я не разбился, но все же потерял сознание от удара.

Мстега привел меня в чувство. Поблизости оказался источник, обложенный тесаными камнями, который живым ручейком убежал вдаль, к середине долины. Несколько капель воды возвратили меня к жизни. Вода! Какое блаженство! Я пил воду, я дышал свежим воздухом, валялся по сочной траве и смотрел на небо сквозь веерную зелень пальмы. Я без раздумий, без мысли отдавался радости бытия.

Шум шагов вернул меня к действительности. Я вскочил на ноги, проклиная себя за то, что мог так забыться. В одно мгновение вихрем пронеслось в моем уме сознание нашего положения. Мы были в стране, населенной неизвестным племенем, ни языка, ни обычаев которого мы не знали. Мы были обессилены страданиями тяжкого пути и долгим голоданием. Мы были без оружия, потому что в пустыне я побросал все, все — даже ружье, даже свой неразлучный стилет... Но я еще не успел принять никакого решения, как на полянке показалась кучка людей. Один из них был до пят закутан в сероватый плащ, остальные были голые негры бечуанского типа. Видимо, они нас искали. Я двинулся им навстречу.

— Привет владыкам этой страны! — громко и отчетливо произнес я на наречии бечуанов. — Странники просят у вас приюта.

Слова свои, сколько возможно, я пояснял знаками. При моих первых словах негры остановились. Но тотчас же человек в плаще закричал им тоже по-бечуански, хотя и с особым выговором:

— Рабы, повинуйтесь и исполняйте.

Тогда пятеро человек с исступленным ревом кинулись на меня. Я думал, что меня хотят убить, и встретил первого таким ударом кулака, что тот покатился по земле. Но мне было не под силу бороться с несколькими врагами. Меня повалили и крепко связали особыми ремнями. Я видел, что то же сделали и с Мстегой, который не оборонялся. Затем нас подняли и понесли. Я понимал, что кричать и говорить бесполезно, и только замечал дорогу.

Нас долго несли полями, быть может, и час. Везде видны были кучки работающих негров, удивленно останавливавшихся при нашем приближении. Потом пронесли нас через лесок около Горы. В самой Горе стала видна темная арка, ведущая в ее недра. Нас внесли под ее желтые своды, и начался путь по каменным проходам, скудно освещенным редкими факелами.

По узким спиральям спустились мы куда-то вниз, и на меня повеяло сыростью погребка или могилы. Наконец меня бросили на каменный пол во мраке подземной темницы, и я остался один. Мстегу унесли куда-то в другое место.

Сначала я был ошеломлен, но понемногу оправился и стал осматривать свое помещение. То была темница, высеченная в самом сердце Горы; в длину и ширину она была сажени полторы, в высоту немногим выше человеческого роста. Темница была пуста — не было ни ложа, ни соломы, ни кружки с водой. Уходя, бросившие меня негры задвинули вход тяжелым тесаным камнем, который я не мог пошевелинуть. Попытался я было ослабить свои путы, но и это оказалось мне не под силу. Тогда я решил ждать.

Через несколько часов послышался мне гулкий стук шагов по каменному сходу. На серые своды упали красноватые отблески факелов. Отвалили камень у входа. В мою тюрьму вошли двое человек, закутанных в серые плащи, за ними виднелось пятеро голых негров. Один из бывших в плаще направил свет факела мне в лицо и сурово спросил:

— Чужеземец, понимаешь ли ты меня?

Вопрос был предложен по-бечуански, но произношение отличалось особым изящным выговором.

— У всех народов, — отвечал я, — почитают гостя. Я пришел к вам как гость, как друг. За что вы связали и бросили меня, как злодея?

Человек в плаще спросил меня:

— Откуда ты прибыл?

— Я житель Звезды! — бросил я ему.

Двое, бывшие в плащах, переглянулись. Я в это мгновение разглядел их лица: по цвету кожи они приближались к арабам. Говоривший со мной спросил опять:

— С какой Звезды прибыл ты?

Я побоялся назвать Марс.

— С утренней и вечерней, потому что это одна и та же Звезда, только видимая в разное время. Я сын царя этой Звезды. И мой отец сумеет отомстить за меня, если вы сделаете со мной что-нибудь дурное; он сожжет ваши поля, раздавит самую Гору...

— Мы не боимся ничьих угроз, — прервал меня человек в плаще.

— По нашим законам чужеземцы, зашедшие к нам из других стран, становятся рабами, но ты прибыл со Звезды и потому умрешь.

— Вы не посмеете! — вскричал я.

— Я, член верховного совета, Болло, зять царя, ныне собственной властью приговариваю этого человека к смерти. Рабы, повинуйтесь и исполняйте.

Сразу на меня бросились пятеро. Меня быстро развязали. Четверо негров навалились мне на руки и на ноги, пятый сел мне на грудь и приготовил нож. Я видел над собой его отвратительное лицо. Палач ждал знака, я же, задыхаясь, выкрикивал:

— Это стыд, это убийство... Вы нарушаете свои законы, вы нарушаете законы всех людей. Гость священен...

Болло холодно сказал мне:

— Мы законы исполняем. Твой раб будет нашим рабом, а ты умрешь.

И он уже повернулся, видимо, чтобы уйти. В отчаянной тоске я рванулся за ним, я звал его:

— Остановись! Пусть и я буду рабом! Буду служить вам верно, покорно... Какая выгода меня убивать... сжальтесь.

Болло опять обернулся.

— У тебя кожа белая,— проронил он.

— Так что ж, что белая! Разве я не могу работать! Я могу быть рабом. Я силен!

— Но ведь ты житель Звезды?

— Да, я житель Звезды,— с непонятным упорством прохрипел я, уже задыхаясь,— но это ничего! Я солгал, что за меня отомстят. Я не могу подать знака своим. Я бессилен. Я не опасен вам. Сжальтесь, сделайте меня рабом.

Не знаю как, я несколько высвободился, я тащился по каменному полу за своим судьей, ловил край его одежды.

Второй человек в плаще, до сих пор молчавший, что-то сказал Болло на языке, мне непонятном. Болло опять обернулся. Я видел, что он улыбался.

— Хорошо,— медленно сказал он мне,— ты будешь рабом, ты способен быть рабом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Меня повели вверх по прежним переходам, ежеминутно толкая вперед, потому что я был очень слаб. После довольно долгого пути открылась громадная [полутемная] зала, под сводами которой лежала вечная мгла. Красное зарево костров смутно озаряло толпу рабов в несколько тысяч человек, дикую, шумную. При нашем появлении все, бывшие поближе, сразу стихли.

— Завтра тебе укажут работу,— сказали мне.

Я остался один в толпе дикарей и от усталости тут же упал на пол. Вокруг меня тотчас столпились любопытные. Меня рассматривали, трогали мою кожу, надо мной хохотали. Я не сопротивлялся. Наконец протиснулась ко мне древняя старуха, которая пожалела меня.

— Видите, он устал, пусть отдохнет, — сказала она другим.

Я попросил есть. Старуха принесла мне маису. Я накинулся на него с жадностью.

— Ты откуда? — спросила у меня старуха, сидя около меня на корточках.

— Из другой земли, из другого народа.

Старуха меня не поняла, а только покачала головой. Тогда я спросил ее в свой черед:

— А кто люди в плащах?

Старуха удивилась:

— Да лэтеи.

— Что значит лэтеи?

— А господа наши. Мы рабы, а они лэтеи.

— Видишь ли, бабка, — сказал я. — Я пришел очень издалека. За соляной пустыней живут другие люди. О вас мы ничего не знаем. Расскажи мне, как вы здесь живете.

— Как живем? Как все живут. Работаем.

— А что же делают лэтеи?

— Как что? Они наши господа.

— Где же лэтеи?

— А наверху.

Я смутно начинал угадывать истину. Но утомление мешало мне расспрашивать дальше. Я опустился на грязную циновку и под рев многотысячной толпы заснул железным сном.

Утром меня разбудил оглушительный бой барабана. Рабы покорно поднимались и шли к выходу. Я побрел за другими. У дверей особые распорядители [разбивали] нас в отряды и уводили на отдельные участки поля работать. Солнце только что показывалось из-за края обрыва. Мне дали лопату, и вместе с другими я стал вскапывать поле. Надсмотрщики все время бродили около и нещадно били палками по плечам всякого залившегося. Побой принимались рабами молча и покорно. В полдень был отдых часа на два, нам опять дали маису. Я пытался заговорить со своими сотоварищами, но они не отвечали. После обеда работа возобновилась и продолжалась до захода солнца.

Вечером нас опять загнали в залу нижнего этажа. Женщины, проводившие день за тканьем и другими ручными работами, уже ждали нас. Начался ужин и оргии животного отдыха. Каменное эхо стен гремело от рева и хохота...

Я блуждал по зале среди веселящихся рабов. Любопытные ходили за мной. Я видел стариков, уныло и молчаливо сидящих вокруг костра, видел молодежь, спешившую грубо насладиться часами свободы, видел матерей, как тигрицы ласкавших и кормивших своих детей, с которыми весь день они были разлучены. Я видел везде отупелые лица, слышал бессмысленные восклицания. Даже мне, привыкшему к жизни дикарей, сделалось страшно [от] этого животного состояния целого племени.

В одном из углов я увидел Мстегу. Вокруг него собралось несколько юношей, с любопытством слушающих его рассказы. Увидев меня, Мстега дико обрадовался, бросился ко мне, упал в ноги.

— Господин! — твердил он. — Господин!

— Молчи, — сказал я ему. — Здесь не хотят знать, что я господин. Они жестоко поплатятся. Кто знает, может быть, вся Гора будет стерта с земли.

Я заметил, что слова мои произвели впечатление. Когда немного погодя я подошел к кружку стариков, гревшихся у костра, один из них сказал мне:

— Нехорошо, друг, говорить такие слова, как ты сказал.

Я возражал ему почтительно:

— Отец мой! Посуди сам. На родине я царский сын. Сюда пришел по своей воле, а не взят в плен во время войны. Почему же они не приняли меня как гостя, а обходятся со мной жестоко?

— Сын мой, — важно отвечал мне старик, трясая седой головой над пламенем, — не знаю, что говоришь ты о другой стране, я слышал о ней и в юности, но не знаю. Здесь же надлежит повиноваться лэтеям! Много тысяч зим прошло, как стоит эта Гора, и доньне ничем не потревожена власть их. Все другие были рабами, господа только лэтей. Так идет от начала, сын мой! Поверь старику, который много слышал.

Другие старики, все сморщенные, безобразные, одобрительно закивали головой. Но когда я вернулся в свой угол и наконец остался один, ко мне подошел юноша лет восемнадцати. Он стал передо мной на колени, как перед лэтеем, и сказал мне:

— Меня зовут Итчуу, я тоже верю, что ты господин...

Я видел, что он хочет еще что-то добавить, и спросил его:

— А ненавидишь ли ты лэтеев?

Очи юноши ясно засверкали во мраке, и он прошептал, глядя прямо на меня:

— Клянусь предками и солнцем ненавидеть их всегда и сделать им столько зла, сколько могу.

Это восклицание заронило в мою душу смутную надежду. Но, засыпая на грязной циновке, как раб среди рабов, готовясь завтра снова начать день мучительного труда, я с отчаянием думал, что Гора так же далека от меня, как и в Проклятой пустыне. Я здесь, в ее стране, но свою жизнь она таит от меня ревниво. Кто эти лэтеи, истинные властители страны? Какая жизнь, какие чудеса свершаются там, в таинственных переходах верхних этажей? И еще сильнее, чем в Пустыне, Гора Звезды влекла к себе мои помыслы. Засыпая, я давал себе клятву остаться в этой стране, пока не озарю эту тайну до дна.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В несколько дней я совершенно вошел в новую жизнь. Я покорно работал в поле, исполнял повеления надсмотрщиков, но пользовался всяким случаем, чтобы увеличить свое значение среди рабов. Я рассказывал им любопытные истории, рисовал углем их портреты, лечил как умел, во время работы придумывал разные приспособления, чтобы облегчить труд. Так, когда мы поднимали бревна, я устроил блок, вещь, здесь невиданную, смотреть которую приходили и лэтеи.

Среди рабов я пользовался большим почетом. Итчуу и еще двое юношей поклонялись мне. Даже старики стали смотреть на меня менее враждебно. Но все мои попытки ближе взглянуть на жизнь таинственных владык Горы оставались тщетными. Я видел лэтеев лишь как надсмотрщиков, да изредка на террасах, опоясавших Гору, мелькали сероватые силуэты. Но я уже знал, что по ночам, когда рабы заперты в своей зале, лэтеи спускаются в долину и гуляют по аллеям между лугов под деревьями. Я уже знал, угадывал, что там, наверху, есть роскошь, есть наука, искусства. Однажды

всю ночь простоял я у входа в нашу залу, слушая звуки нежной музыки, долетавшие откуда-то сверху.

На седьмой или восьмой день моей жизни рабом пришел праздник Посева. В этот день сам царь со свитой объезжает поля. С утра нас вывели в поле и построили, как солдат, в ряды у дороги. Насколько хватал глаз, везде на полях видны были такие же правильные группы рабов. Надсмотрщики хлопотали, устанавливая их красивее и втолковывая, как надо приветствовать царя, вельмож и царскую дочь. Лэтеи имели свой особый выход из Горы, с противоположной стороны, чем рабы; поэтому мы не видели, как царский поезд вышел в долину. Только громогласные крики, долетавшие до нас, показали, что объезд начался. Нам, однако, пришлось ждать своей очереди до полудня.

Крики понемногу приближались к нам. Наконец стали видны царские носилки. Их несли шестеро дюжих рабов. Около каждого поля царь останавливался и милостиво беседовал с надсмотрщиками. Когда царские носилки поравнялись с нами, я успел рассмотреть царя. То был уже совершенно седой старик, но с осанкой истинного владыки. Черты лица его были правильны и напоминали тип древних египтян. Одет он был, как все лэтеи, в сероватый плащ, но на голове его было особое украшение, служившее короной, все усыпанное самоцветными камнями.

Мы, как было приказано, упали на колени и прокричали: «Лэ!», царь проговорил несколько слов на особом лэтейском языке, обращаясь к нашему надсмотрщику, потом махнул рукой, и носилки направились дальше. За царем шла длинная процессия лэтеев, женщин справа, мужчин слева. Все были в серых плащах, все с украшениями из драгоценных камней и золота. Ноги были в сандалиях. Волосы у мужчин обрезаны, у женщин собраны в красивые прически. Некоторые держали в руке какой-то музыкальный инструмент в виде лиры и пели. Другие разговаривали между собой и смеялись. Лица их почти все были очень красивы, только бледны слишком.

Мы кричали [«Лэтэтэ!»], пока процессия проходила. За лэтеями, шедшими пешком, рабы опять несли носилки. То была дочь царя, царевна Сеата. Ее носилки были маленькие, изогнутые, тоже украшенные блестящими камушками. Царевну не было видно за розовыми полами из какой-то тонкой материи. По сторонам но-

силкок шло несколько юных лэтеев, очень хорошеньких.

Когда носилки поравнялись с нами, царица вдруг открыла розовые полы и сделала знак остановиться. Я увидел бледное красивое лицо, большие черные глаза и прелестную руку. Царица подозвала знаком надсмотрщика и что-то говорила ему. Но мне показалось, что она смотрела все время на меня. Конечно, она слышала о странном [иностранце], а из числа рабов я выделялся цветом кожи. Вот скрылись и носилки царицы. Весь поезд прошел дальше и скрылся за поворотом. Скоро и нам объявили, что мы свободны, загнали нас в нашу залу и дали бочку хмельного майсового напитка, встреченного рабами с ревом восторга...

Но в моей памяти запечатлелось глубоко лицо царицы Сеаты. Безумная мечта овладела моей душой, и я не мог с ней бороться. Я почему-то был уверен, что именно она связана с моей жизнью. Так, задумавшись, сидел я в стороне от гогочущей толпы, когда ко мне подошел Итчуу.

— Учитель, — сказал он, — я хочу тебя спросить.

— В чем дело, друг?

— Скажи мне, что лэтеи — люди?

— Как? Люди ли?

— Разве они такие люди, как мы? И они умирают?

Я уже понял.

— Конечно, они люди, такие же, как ты, как все здесь. Конечно, они умирают. Неужели ты никогда не узнавал, что умер царь, или надсмотрщик, или еще кто...

— Нет, не слыхал, — пробормотал юноша.

Он отошел от меня еще в некоторой неуверенности...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На ночь все рабы должны были собираться в большой зале нижнего этажа Горы. Зала эта имела в поперечнике не меньше ста саженей и занимала, вероятно, больше трех десятин пространства. В нее вел широкий проход длиною саженей в пятьдесят. Ночью проход этот задвигался особыми камнями, и на стражу становился очередной лэтей, который должен был убивать каждого раба, который попытался бы выйти в долину.

Несмотря на то, рабы умели обманывать бдительность сторожа, и нередко смельчаки уходили ночью в Гору искать добычу; особенно ценились оружие и водка. Порция хмельного напитка, розданная на празднике Посева, разлакомила рабов. На другой день вечером пошли толки, что хорошо бы было раздобыть еще водки. Идти на добычу вызвались двое: Ксути, человек бывалый, уже немолодой, и мой знакомец, Итчуу. Я попросил, чтобы взяли и меня. Старики после некоторого колебания согласились.

Первая трудность состояла в том, чтобы проскользнуть мимо сторожа-лэтея у выхода из Горы в долину. Нам это не оказалось трудным. Лэтеи дремали, положив около себя свой короткий меч. Мы проползли осторожно через поляну перед самой Горой, так как нас могли заметить с террас. В первом леске мы встали на ноги.

Тишина царила над долиной. Лэтеи утомились вчера в день праздника. Никто не вышел гулять в лунном свете. Пустынны были красивые аллеи среди вечерних пальм. Никого не было видно и на отдаленных террасах. Однако, соблюдая осторожность, мы пробирались от дерева к дереву и так обошли весь полукруг Горы. Там был второй вход в нее, ведущий сначала в кладовую, а потом крутой лестницей уходивший в верхние этажи. И у этого входа всю ночь стоял на страже кто-нибудь из лэтеев.

Выйдя опять на поляну, мы поползли снова. Скоро я различил сторожа. Он сидел под сводом входа, голова его свешивалась на грудь, он тоже спал. Сторожить, видимо, стало для лэтеев простой условностью, формой.

— Мы можем проскользнуть мимо него, он не услышит, — сказал я своим спутникам.

Действительно, я прополз в двух шагах от спящего лэтея, я отчетливо видел его бритое лицо и золотые кольца на его пальцах, но он даже не пошевелился. Ксути последовал за мной.

— Здесь, — сказал мне Ксути, когда на конце короткого прохода открылась зала, похожая на нашу залу Рабов, но меньшая по размерам. — Здесь и акэ [водка], и хлеб, и топоры.

Я вглядывался во мрак, к которому начинали привыкать мои глаза, как вдруг меня поразил тихий смех сзади. Ксути, весь затрепетав, посмотрел на меня. Смех шел от входа. Мы пошли назад. Под сводом лежал не-

подвижно лэтей-сторож, а над его телом сидел на корточках наш Итчуу и, покачиваясь из стороны в сторону, неудержимо смеялся.

— Что с тобой, Итчуу? — спросил я.

— Смотри, учитель, смотри... он мертв! Лэтеи — люди!.. Они умирают.

Итчуу, ползший сзади нас, задушил сторожа.

Ксути был [смертельно] испуган.

— Быть беде, — твердил он, — ты слишком молод, ты не знаешь, что теперь грозит нам! Горе! Горе!

— Да, ты это сделал напрасно, — сказал я. — Завтра его найдут и догадаются, что мы сюда приходили.

— Нет, учитель, я его унесу в лес и закопаю. А он мертв! Мертв!

Юноша готов был плясать. Но нам нельзя было терять много времени. Мы опять пошли в кладовую. Ксути, бывавший уже здесь, провел нас прямо к бочкам с водкой. Оба негра стали жадно наполнять принесенные с собою сосуды и тут же пробовать дорогой напитков.

— Не пейте много, — строго заметил я, — иначе, опьянев, вы заснете и завтра лэтеи убьют вас.

Но мне не хотелось оставаться с ними. Я различал во тьме лестницу, которая вела в верхние этажи, в это таинственное царство таинственных лэтеев. Я не мог преодолеть искушение, я решился проникнуть туда. Я уже сделал несколько шагов вверх, когда у меня мелькнула новая мысль. Я вернулся назад ко входу, где лежал мертвый лэтей, снял с него плащ и завернулся в него. Это могло спасти меня при какой-нибудь нечаянной встрече.

Так в плаще лэтея поднялся я по лестнице. Она вывела во второй этаж в центральную залу. В этой зале горели два факела. Она была пуста. Никакого убранства в ней не было. От нее радиусами исходило пять коридоров, ведущих, вероятно, в жилища лэтеев. Я не решился идти туда, а пошел выше. После трех поворотов я оказался в третьем этаже. На этот раз это была роскошно убранная зала, ярко озаренная факелами и блистающая украшениями из самоцветных камней и блестящих металлов. Потолок ее изображал звездное небо. Созвездия были сделаны из крупных алмазов, а семь планет из рубинов, особенно ослепительным сделан был Марс; вокруг рубина, изображавшего его, шла кайма из мелких бриллиантов. На одной стене было изображено Солнце из золота, а на противоположной — изображение Луны из серебра. Я долго [блуждал?] в этой зале,

а после хотел идти через широкую арку в соседнюю, но там я увидел, что перед желтым балдахинном, закрывавшим вход в следующую комнату, спали на коврах лэтеи, положив около себя мечи. Я догадался, что это была дверь в комнату царя. При звуках моих шагов один из стражей проснулся, поднял голову и открыл сонные глаза, но тотчас же опять опустился на ковер, и опять послышалось его ровное дыхание. Однако я пошел назад и попал в узкий проход. Он вывел меня на террасу. Полная луна светила ярко. Широкая терраса была пустынна. Только на противоположном от меня краю стояла одинокая фигура женщины, облокотившейся на парапет. Я приблизился. То была царица Сеата.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Несколько мгновений я колебался, потом выступил вперед, стал прямо перед царицей. Она вздрогнула, вскрикнула, что-то спросила на языке лэтеев. Я опустился на колени и сказал:

— Царица, я царский сын, у вас я раб, я несчастный, который пришел сюда, чтобы посмотреть на тебя.

Лунный свет падал прямо мне в лицо. Сеата не могла меня не узнать.

— Зачем ты пришел? — медленно проговорила она, как бы колеблясь, не зная, как ей поступить.

— Я видел тебя однажды, царица! Ты показалась мне прекраснее всего, что я видел и на своей Звезде, и на этой. Я пришел еще раз взглянуть на тебя и умереть.

Царица молчала, глядя мне прямо в глаза. Я трепетал.

В ответ на мои пышные речи она сейчас могла позвать стражу, и я бы погиб... Но опять медленно и раздельно царица спросила меня:

— Ты прибыл к нам со Звезды?

— Да, с утренней Звезды, с того мира, который бывает виден здесь, как яркая звездочка перед восходом.

— Зачем покинул ты родину?

— Я предугадывал, что увижу тебя, царица!

Но так как мои льстивые слова прозвучали слишком грубо, я поспешил добавить еще:

— Тягостно жить, царица, в одних изведанных пределах. Душа жаждет иного, нового, хочет проникнуть в области Тайны. Все неведомое влечет к себе.

Лицо царевны странно оживилось, я видел, как тени забились на ее чертах.

— Ты хорошо говоришь, чужестранец, — промолвила она. — Скажи мне, у вас, на вашей Звезде, все то же, что здесь, или иное? Иное небо? Иные люди? И жизнь?

— Там много, царевна, такого, о чем ты не можешь помыслить, о нашей жизни, не знаю, сумела бы ты мечтать. Ты не должна обижаться, царевна. Я жалкий раб в вашей стране, но я говорю правду. Насколько здесь, в стране Звезды, вы стоите выше рабов, настолько мы в нашей стране выше вас. Наши знания для вас тайна, наше могущество — чудо. Подумай, что я мог прибыть к вам через звездные пространства.

Высказывая эти гордые слова, я встал с колен, я говорил властно, и царевна впивалась в каждое мое слово, упиваясь ими.

Вдруг она отшатнулась.

— Скажи мне, кто там? — воскликнула она.

Я обернулся. Через поляну, ярко озаренную луной, явственно переходили две тени. Это возвращались Ксути и Итчуу. Оба они были пьяны, забыли о необходимых предосторожностях и прямо через поле тянули куда-то труп убитого лэтея.

С горечью отвечал я царевне:

— Это два моих сотоварища. Они показали мне путь сюда. Сами же они ходили воровать водку. Вот я раб, царевна! Вы сделали меня рабом! Прощайте же, я должен вернуться во мрак... Впрочем, вероятно, вы прикажете завтра умертвить... Видишь, они несут тело... Это они убили лэтея... [...] Прощай же навсегда, царевна.

Последние слова я договаривал, сбиваясь. Царевна молчала, и это лишало меня уверенности. Я резко повернулся, чтобы уйти.

Вдруг царевна окликнула меня:

— Чужеземец, постой! Я хочу еще говорить с тобой. Ты не должен умереть. Мне еще надо говорить с тобой.

— Может быть, это в твоей власти, — холодно сказал я.

Царевна задумалась.

— Слушай меня, — сказала она после долгого [нового] молчания, — я не могу нарушить законов страны. Вернись осторожно туда... к рабам... где ты всегда... Завтра я позову тебя.

И вдруг, отшатнувшись, она закрыла лицо руками. Я медленно пошел прочь, прошел через Звездную залу во второй этаж, потом в нижний. Никто меня не видал.

Я перешел твердым шагом, не наклоняясь, через поляну и вернулся ко входу в залу Рабов. Сторож-лэтей спал по-прежнему.

Скоро я был снова среди рабов. Толпа дико ликovala вокруг принесенной водки. Увидя на мне плащ лэтея, все пришли в бешеный восторг. Пьяный Итчуу, шатаясь, подошел ко мне.

— Учитель, — сказал он умиленно, — ты прав... ты совсем прав... Лэтеи — люди... Но ведь и ты человек, учитель...

И он начал хохотать бессмысленным смехом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На другой день утром, когда я уже работал в кокосовом лесу, к нашему надсмотрщику подошел посланный раб. Он стал на колени и показал ему красиво сработанный браслет.

— Господин, я от царевны, — сказал он, — она хочет, чтобы ты прислал к ней того раба, который у нас недавно, с белой кожей.

Наш надсмотрщик почтительно поцеловал браслет, поманил меня пальцем и грубо приказал мне идти за посланником. Я повиновался молча. Так странно было мне идти свободно по широкой дороге, среди работающих рабов. По той же лестнице, где я прошел вчера, мы поднялись во второй этаж. Если нам встречались лэтеи, проводник мой падал на колени, я делал то же. Из Круглой залы в третий этаж оказалась еще вторая лестница, узкая и темная, совершенная нора, нарочно сделанная для рабов. Она вывела нас в небольшую комнату, служившую царевне как бы прихожей.

— Подождем, — угрюмо сказал мой вожак.

Я спросил его, кто он, раб ли самой царевны, но он не ответил. Скоро из комнаты царевны выбежали две молоденькие рабыни, увидели меня, закачали головами и снова убежали. Вернулись они с тазом из цельной яшмы с теплой водой и, хохоча, начали меня отмывать. Я тайне был очень рад этому. Потом на меня накинули особый короткий «полурабский» плащ, так как я был совершенно без одежды. Эти две девушки тоже не отвечали на мои вопросы, но были очень смешливы и хохотали без умолку.

Наконец, в последний раз осмотрев меня, они порешили, что я достоин предстать пред светлые очи ца-

ревны. Меня провели через второй покой в опочивальню.

То была небольшая комната, красиво убранная изумрудом и бирюзинками. Факел, [стоявший] в изящной подставке посередине, освещал ее довольно полно. Царевна полулежала на каменном ложе, покрытом подушками из орлиного пуха. Две другие рабыни держали около нее два маленьких благоуханных факела, не для света, а для аромата. Ручной орленок стоял у ног царевны.

Я вошел и поклонился по-европейски. Царевна наклонила в знак приветствия голову.

— Мы слышали, — сказала она мне, — что ты прибыл к нам с другой Звезды. Я тебя позвала, чтобы ты рассказал мне о своей родине.

Я знал, что от моего рассказа зависит мое будущее, что я должен увлечь царевну, пленить ее, что только это даст мне надежду проникнуть в ревниво хранимую Тайну Горы.

Я начал говорить. В ясных, простых, но ярких словах описывал я чудеса европейской цивилизации, многомиллионные города, железные дороги, переносящие через тысячи верст со скоростью ветра, океан и покрывшие его пароходы, телеграф и телефон, переводчики мысли и голоса. Со своей родной Звезды перешел я ко вселенной, стал рассказывать о Солнце, о безмерных пучинах пространства, о звездах, свет которых добегает до нас через тысячи лет, о планетах и законах, которые неуклонно стремят их вдоль по их орбитам. Я прибавлял вымыслы к истине, говорил о двойных солнцах, о зеленой заре, созданной лиловым светом второго светила, о живых растениях, ласкающихся друг к другу, о мире ароматов, о мире вечно блаженных бабочек андрогин. Я по пути сообщал неожиданные тайны науки о воздухе и электричестве, намекал на истины математики, сколько мог приводил в переводах наших поэтов... Я замолчал только после того, как мой голос окончательно перестал служить мне, в полном изнеможении...

Я говорил часа три, может быть, больше. Все это время царевна слушала меня с неослабевающим вниманием. Я видел, что она была захвачена рассказом, я победил. Но лучшим торжеством моего рассказа было то, что то у одной, то у другой рабыни вырывались восклицания:

— Как хорошо! Ах, что за чудеса!

Когда я замолчал окончательно, Сеата встала со своего ложа.

— Да, ты умней всех наших мудрецов,— сказала она восторженно,— не рабом тебе здесь быть, а учителем. А как жаль, что ты не говоришь на нашем языке!

Царевна заметила, что я затрудняюсь в выборе выражений; меня стеснял бедный, неразработанный язык бечуанов.

— Дело нетрудно поправить,— заметил я,— поучи меня, царевна.

— Как? Изучить наш язык? — невольно воскликнула царевна.— Да разве ты сможешь?

Я улыбнулся.

— Царевна! Я знаю языки всех народов, живущих и живших на нашей Звезде, языки, звучные, как хрусталь, и гибкие, как стальные полосы. Посмотрим, однако, каков ваш язык.

И я стал задавать грамматические вопросы, приведшие царевну в совершенное изумление своей точностью и методичностью.

— Нет! Я больше не расстанусь с тобой,— решительно сказала царевна.— Скажи мне, как звали тебя в твоей стране?

— Зачем заходить так далеко, царевна,— возразил я.— Здесь на первых порах меня прозвали Толé, то есть камень. Оставь за мной это имя.

— Хорошо, пусть будет так. Я жалую тебя, Толе, своим учителем и прошу тебя принять эту должность.

Я отвечал, что буду счастлив быть близ царевны.

Сеата ударила в маленький ручной барабан. Вошел тот же раб, который привел меня сюда.

— Ступай отыщи начальника работы,— сказала царевна,— и скажи, что я беру этого чужестранца к себе. После ступай к начальнику зал и прикажи найти свободный покой в третьем этаже. Чужестранец будет жить здесь. Так хочет царевна.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

С того же дня я поселился в маленькой комнатке третьего этажа. В этом третьем этаже жили лишь знатнейшие лэтеи, потомки трех семейств, которым в разное время принадлежала в стране царская власть. Как слугу я взял к себе Мстегу.

В законах страны было определено сказано, что все чужестранцы должны становиться рабами; поэто-

му я считался личным рабом царевны. Такого послабления она добилась не без труда, сама ходила просить отца, и тот наконец уступил. Впрочем, мне приказано было явиться к Болло, чтобы выслушать его предупреждения. Не без неприятного чувства предстал я перед этим вельможей, который видел мои унижения, которого я молил о жизни, хватаясь за край одежды. Болло заставил меня долго прождать себя, наконец появился в сопровождении двух рабов, несших факелы. Я приветствовал его поклоном, и мы несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Он заговорил первый:

— Итак, ты уже не считаешь себя рабом? Не считаешь нужным стать на колени? С каких это пор?

Я отвечал твердо:

— Приходя к вам, я не знал ваших жестоких законов. Гость везде священен, вы же обошлись со мной как со злодеем. Я подчинился силе, мог работать как раб, но сделать рабом меня не может никто. Я по рождению свободный, я царский сын, я оставался им и в рабстве.

Болло смотрел на меня почти с насмешкой.

— Наша царевна,— сказал он с ударением,— хочет, чтобы ты забавлял ее. Мы согласились. Ты можешь жить там, где она тебе укажет. Помни, однако, что такова воля царевны. Если она изменит решение, ты вернешься на свое место к рабам. Ступай.

Я молча повернулся. Но Болло, видимо, не кончил, он опять позвал меня.

— Слушай еще.— Тут лицо его стало мрачным.— Недавно один из наших, стоявших на страже, исчез неизвестно куда. Прежде этого не бывало. Молчи! Не возражай мне! Если еще раз я узнаю, что ты склонял рабов к чему-либо подобному... знай, сумеем найти пытки, о которых ты не слыхивал на своей Звезде. Ступай! Нет, стой еще. Помни, что мы за тобой следим. Царевна может забавляться, мы же обязаны блюсти безопасность страны. Ну, теперь ступай совсем.

Я вышел в бешенстве.

Меня успокаивал, впрочем, истинный восторг царевны. Она упивалась моими уроками. Она готова была учиться с утра до вечера. Я знакомил ее с европейскими методами математики, с физикой, с философией и с историей наших классических народов. Со своей стороны, я жадно учился языку лэтеев и пользовался всяким

случаем, чтобы ближе ознакомиться со страной. Мне помогало то, что царица несколько стыдилась передо мной за свою страну; желая показать мне, что и они стоят не на низкой ступени развития, она показала мне много чудес, скрытых в Горе. Я видел роскошно убранные залы третьего этажа, среди которых, однако, Звездная зала была самой любопытной. Я видел музеи и библиотеки четвертого этажа. У лэтеев была самостоятельная литература; книги писались на тонких листах золота заостренным алмазом.

В музеях были собраны редкие камни, замечательные изделия из металлов и целый ряд прекрасно выполненных статуй. Некоторые были из бронзы, другие из камня, но самые замечательные были те, которые были высечены из самой толщи скалы, образовывали одно целое с полом, на котором стояли.

Но все мои попытки проникнуть выше, в пятый этаж, в Царство Тайны, как его называли, царица отклоняла. Там жили жрецы, туда собирались на молебствия, и для меня вход туда был решительно закрыт.

Вместе с тем, ближе знакомясь с жизнью лэтеев, я яснее чувствовал, что в ней была какая-то тайна. Лэтеи употребляли некоторые слова в каком-то особом смысле: «звезда», «наши», «глубина» — они разумели под ними что-то особое.

Однажды я решился прямо спросить Сеату:

— Скажи мне, царица, ваш народ не пришел сюда тоже с другой Звезды?

Сеата явно вздрогнула и после молчания сказала решительно:

— Об этом нельзя говорить. Ты не знаешь, но здесь есть то, о чем нельзя говорить. Не спрашивай меня никогда о наших тайнах.

Я должен был повиноваться.

Через неделю я уже мог объясняться на языке лэтеев. Скоро я начал свои уроки читать на том же языке. Слушать меня, кроме царицы, собирались другие молодые люди и подростки. Я знакомил их с европейскими методами математики, с зачатками физики, излагал им учения наших величайших философов и пересказывал истории классических народов; именно история больше всего увлекала моих слушателей.

Я не сразу понял, чего искала во мне Селата, каковы были ее истинные чувства ко мне. Это непонимание привело меня к очень тяжелой сцене еще в первые дни моей жизни среди лэтеев.

Только научился я немного говорить на языке лэтеев, как царевна пригласила меня на большую охоту за орлами; то была самая любимая забава лэтеев. Я согласился, хотя и знал, что присутствие мое будет ненавистно многим из обычных спутников царевны, которые тяготились обществом бывшего раба. Действительно, мне пришлось вынести немало презрительных взглядов и колких замечаний. Особенно враждебно относился ко мне Латомати, изящный юноша из третьего этажа, значит, из знатнейших лэтеев; так, он, обращаясь ко мне, упорно пользовался наречием бечуанов, [которым] говорят с рабами, и я не мог ничего возразить, потому что действительно по-бечуански объяснялся лучше, чем по-лэтейски.

Охота была устроена ночью, так как днем сходить в долину считалось неприличным. Месяц был на ущербе, но все же светил довольно ясно. Охотников, кроме меня и царевны, было восемь человек, среди них две девушки. Все шли, оживленно болтая, до края котлована, что составляло верст пять. В нескольких местах снизу были устроены всходы к Проклятой пустыне. По одной из этих тропинок мы начали подниматься.

Надо было при лунном свете разыскивать орлиные гнезда, подкрадываться к ним и бить орлов стрелами. Это было довольно занимательно и не совсем безопасно. Охотники рассеялись. За каждой дамой следовали ее кавалеры. За царевной шел Латомати, потом некто Болалэ и я, как ее раб.

Мы увлеклись охотой. Латомати выследил гнездо, но не сумел подкрасться. Орлица, слыша шаги, взлетела, но, оберегая неоперившихся птенцов, начала носиться над нашими головами; со страшным шумом рассекала она воздух в полете. Латомати выстрелил из лука, но промахнулся. В бешенстве он напал на птицу со своим коротким мечом. Болалэ пытался взять из гнезда орленка. Орлица налетела на него.

Царевна же заметила другое гнездо, повыше, и, сделав мне знак следовать за ней, стала подниматься. Мы подкрались довольно удачно, царевна спустила лук, но тоже промахнулась. Орел взлетел ракетой, покружил-

ся минуту в воздухе, упал и заковылял по камням дорожки. Мы бросились его преследовать.

Так все охотники потеряли один другого из виду. Я случайно поднял в это время голову и был поражен. Громадная черная туча закрывала небо. Надвигалась страшная тропическая гроза, ураган, который бывает однажды в несколько лет, но остается памятным на целые десятилетия.

— Царевна, — окликнул я, — надо бежать!

Но было уже поздно. В две-три минуты туча закрыла все небо, луну и свет звезд. Наступил непроглядный мрак. Затем завыл ветер, внизу под нашими ногами застонали пальмовые деревья.

Уцепившись за кусты, мы едва могли держаться на узкой тропинке, извивавшейся по отвесу. Хлынул африканский ливень, сразу пронзивший нас, ударявший по телу, как тяжелый град. Земля стала скользкой. Беспрестанные молнии разверзали небо, и грохот грома не прекращался вовсе.

Каждое мгновение мы могли скатиться в пропасть. Я уперся твердо в какой-то камень и поддерживал царевну, которая жалко перепугалась. При блеске молний я видел ее совсем побледневшее лицо и пальцы, конвульсивно сжимавшие ветку кустарника. Вдруг при новом потоке дождя камень под моей ногой дрогнул: вода его подмачивала.

«Все равно, — подумал я, — если я разобью сегодня голову, ничего не будет потеряно; если же мы останемся в живых — это послужит мне на пользу...»

И, наклонясь к Сеате, чтобы она могла расслышать мои слова сквозь грохотание грома, рев ветра и шум дождя, я крикнул ей, стараясь придать своему голосу оттенок отчаяния:

— Царевна! Кажется, наша смерть близка! Но я не хочу умереть, не сказав тебе, что люблю тебя. Полюбил тебя с первого взгляда. Моей единственной мечтой было однажды в жизни поцеловать твою руку. Моя царевна! Прощай навсегда!

Камень под моей ногой действительно быстро пополз вниз. Я покачнулся, выпустил царевну, но удержался еще, поймав какую-то новую ветку. Опять вспыхнула молния, и на одно мгновение я опять увидел лицо Сеаты. Но в нем не было страха, в нем не было и того волнения, какого я ждал; ее лицо выражало одно — тоску, мучительную тоску.

— Ах, Толе! Толе! — ответила она мне, и голос ее все-таки достиг до меня, несмотря на гул стихий. — Зачем ты мне сказал это? А я верила в лучшее! Ах, Толе! Неужели и на твоей Звезде, как и здесь, женятся, выходят замуж и мужчины любят девушек? Неужели это везде так?

Не знаю, каким чудом эти томительные слова проникли в мое сердце. Я потерял власть над собой. Я припал поцелуем к краю ее одежды. Я чувствовал, как слезы давят мне горло.

— Прости меня, царевна, — воскликнул я, — прости! Это было безумие. То была подлость. Клянусь, я никогда не повторю этого. Никогда! — Несколько мгновений тому назад я никогда не поверил бы, что скажу такие слова.

Так стояли мы один против другого, опираясь на случайно выступавшие камни, держась за измокшие ветки. Но буря уже проходила. Блеснула полоса ясного неба, быстро становилось светло.

Через полчаса при помощи Латомати, первым заметившего нас, и подоспевшего на помощь Болалэ мы свели [царевну] по размытой тропинке в долину. Там уже ждали носилки, посланные перепуганными вельможами.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Царя видел я еще раз на похоронах одного лэтея. Хоронили лэтеев в подземном этаже горы, в том же, где устроена и темница. Там была особая Зала Смерти, с низкими сводами, узкая, но длинная, саженой сорок в длину. Вдоль стен ее были расставлены человеческие черепа, в самом конце стояло высокое изваяние, вероятно, изображавшее смерть. То была фигура человека, плотно завернутого в плащ или в саван, у которого вместо головы был череп; этот череп был сделан пустым внутри, и туда при совершении похорон вставлялся маленький факел, так что из орбит глаз, из отверстия носа и сквозь зубы вырывался свет.

Похороны происходили ночью. На них собрались все взрослые лэтеи, за исключением только тех, которые были назначены на стражу. Вся зала была полна народом. Царь и вельможи третьего этажа стояли отдельно. Из рабов было только четверо, несших носилки царя, да я, на этот раз державший факел сзади царевны. Увидал я и жрецов. Их пятеро. С каждым при-

шел мальчик, в котором подготавливался будущий приемник жреческого сана. Жрецы были одеты в плащи красного цвета; на головах у них были короны такой же формы, как царская, лишь поменьше. Весь обряд состоял в том, что жрецы однообразно пели какие-то гимны. Я еще недостаточно знал язык лэтеев, чтобы понять их. Слышно было только часто повторяемое обращение к Звезде, которая была Божеством в стране Горы.

После пения гимнов по знаку жрецов все присутствовавшие, не исключая царя, стали на колени. Один из жрецов отчетливо и многозначительно произнес следующие слова:

— Не будем ни завидовать отошедшему, ни страшиться его примера. Смерть есть тайна, поэтому почтим ее безмолвием.

Молчание продолжалось минуты две. Потом жрец опять возгласил:

— Слава Звезде!

Все встали с колен, повторяя это восклицание. Около ног статуи смерти было широкое отверстие в виде глубокого колодца. В этот колодец опять с пением начали опускать тело на веревках. Потом веревки [приподняли], и тело должно было упасть на дно. Мне слышался словно всплеск воды, но тогда я не был в этом уверен. Все начали расходиться. Лэтеи расступились, чтобы дать дорогу царским носилкам. Но вдруг царь остановил рабов и сделал мне знак подойти. Я повиновался с невольным трепетом.

— Это ты человек, прибывший к нам со Звезды? — спросил он меня на наречии бечуанов.

— Да, государь, это так, — отвечал я почтительно.

— Каким же путем прибыл ты к нам?

Я начал свою заученную басню.

— С нашей Звезды эта земля представляется маленькой голубоватой звездочкой. Наши мудрецы давно разведали, что это особый мир, где живут разумные существа. И вот у нас создали особую ладью, годную для летания между светилами. Нашлось пятеро смельчаков, которые из жажды знания рискнули жизнью и поместились в этой ладье; среди них был и я. Особые приспособления бросили нас вверх со скоростью молнии. Я говорю вверх, государь, потому что для нас эта земля была среди звезд. Мы летели осьмнадцать дней и наконец упали на землю. Здесь мы разделились. Все мы пошли в разных направлениях. Что до меня, я дол-

го блуждал среди дикарей, живущих около соляной пустыни, там я достал себе раба. Потом, прослышав о Горе, я пустился ее отыскивать.

Царь слушал внимательно, потом сказал мне:

— Однако, как мне сообщили, твой раб ничего не знает об этом, не знает даже, что ты житель Звезды.

— Государь,— возразил я,— неужели же я стал бы откровенничать с рабом!

Царь посмотрел на меня проницательным взором и спросил еще:

— А что, на твоей Звезде все жители такие же, как и ты, значит, такие же существа, как мы и рабы наши?

— Да, государь,— отвечал я,— там тоже живут люди.— Царь еще раз посмотрел на меня, потом сделал мне знак подойти совсем близко и, нарушая весь этикет, нагнулся к моему лицу и сказал мне тихо, так, чтобы никто не мог его слышать, и притом пол-лэтейски, чтобы не поняли рабы, держащие носилки:

— Слушай меня, чужеземец! Ты очень заблуждаешься. На звездах живут не такие существа, как здесь. Мне это известно, тебе же нет. Помни ж! Я знаю, что ты не со Звезды к нам прибыл.

И прежде чем я успел опомниться, царь уже отдал приказание рабам. Носилки его закачались, двинулись, и я не мог ответить ему ничего.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Жизнь наша текла однообразно. Вставали мы около полудня; утром я читал свои лекции, потом у царевны бывал обед, на который собиралось большое общество. Вечером устраивали обыкновенно прогулку по долине.

Приближался большой праздник Звезды, у рабов называвшийся праздником Очей, потому что он устраивался раз в два года. Накануне этого праздника на обычном обеде у царевны собралось особенно много посетителей. Кроме ее обычных приближенных, было еще два старика мудреца, официально назначенных к тому, чтобы продолжать государственную летопись, а также школьный учитель.

Как и бывало большей частью прежде, завязавшийся спор был направлен против меня. Я должен был защищать европейскую науку. Особенно замечательным казалось мне то, что именно ученые не хотели признавать никакого значения за новыми истинами, которые

я им сообщал. Так, однажды один математик Горы смеялся, когда я ему разъяснял начатки аналитической геометрии. На этот раз шла речь о свойствах звука. Перемены блюд следовали одно за другим, подавали то кукурузу, то фасоль, то сладкий батат, то земляные фисташки (так как лэтеи, безусловно, вегетарианцы и скотоводство у них совершенно неизвестно). Присутствующие деятельно запивали земные плоды обычным акэ (водкой), но с живым любопытством принимали участие в ученом споре.

Науке лэтеев были знакомы свойства эха и законы колебания струны, но никто не хотел принять моих объяснений о колебании воздуха. Я приводил в доказательство различные опыты, которые часто тут же и проделывал, но лэтеи не любили опытного метода, не признавали его. Скоро от отвлеченного вопроса перешли на спор о преимуществах европейской науки и науки лэтеев. Еще более обострился этот спор, когда заговорили уже не вообще о звуке, а о музыке, что было понятнее для большинства.

— В сущности, как я вижу, — говорил мне со сверкающими глазами Латомати, — все ваши музыкальные машины та же наша колта (барабан), лэета (дудка) и лоэми (род гитары). Кроме того, что знаем и мы, вы не придумали ничего!

Я указывал на разнообразие наших инструментов, описывал рояли и органы, рассказывал о концертах и операх.

— Каждый умствует по-своему, — упрямо твердил Латомати. — Ты, Толе, говоришь, что у вас там много народов, которые сносятся друг с другом, заимствуют новое один у другого, мы же одни, нам не у кого учиться, и все же мы нашли все три основных способа создавать музыку.

— Латомати, — холодно возразил я, — блуждая по земным степям, я встречал совершенно дикие племена, но и они знали эти три способа — дудку, струну и удар по натянутой коже.

Латомати весь задрожал.

— А кто докажет нам, — начал он прерывающимся от негодования голосом, — кто поручится нам за точность всего, что ты говоришь? Можно многое порассказать о жизни на чужой Звезде, куда мы никогда не попадем.

— Я прощаю тебе твои слова, — спокойно отве-

чал я.— Жизнь в моей стране настолько выше вашей, что, конечно, тебе трудно поверить моим рассказам.

Глаза Латомати загорелись очень мрачно, но тут на помощь поспешила царица, стараясь успокоить моего противника. Ее серебряный голос еще звучал, когда вдруг послышались тяжелые шаги. Портьера у входа откинулась. В арке между двумя рабами, державшими факелы, стоял Болло.

— Лэтеи! — сказал он властным голосом. — Ваш возлюбленный государь внезапно почувствовал себя очень больным. Разойдитесь, лэтеи: всякие сборища теперь неуместны; пусть каждый у себя молит Звезду о выздоровлении царя.

— Ты говоришь, отец очень болен! — воскликнула царица, порывисто бросаясь к выходу.

— Остановись, царица! — холодно удержал ее Болло. — У меня есть приказ государя не впускать к нему никого, даже Тебя. Повинуйтесь, лэтеи, потому что вот царский меч.

Болло высоко над головой поднял сверкающий клинок, рукоятка которого горела от самоцветных камней. Все, почтительно склоняясь, стали расходиться. Проходя мимо Болло, лэтеи закрывали глаза рукой — честь, которую оказывали только царю во время приемов. Я не смел слушаться и последовал за другими. Болло остался с царицей.

С горьким предчувствием вошел я в свою комнату, где ждал меня Мстега.

— Господин, — сказал он мне, торопясь и оглядываясь, — я был у рабов, там говорят, что царь уже умер, там хотят, чтобы им дали акэ и чтобы был отдых день, два дня, три дня. Они шумят, господин.

Это было что-то новое. Это было исцеление от моего беспокойства. С волнением начал я расспрашивать Мстегу о подробностях.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На другой день был праздник Звезды, но на этот раз никаких торжеств не было. Рабов, правда, освободили от работы, но оставили запертыми в их зале; там они волновались и на все лады перетолковывали события.

Мне принесли обычный завтрак. После него я, как и всегда, пошел к царице. Но у входа в ее покои стояли на страже два лэтея. Я знал их в лицо, мне случа-

лось даже разговаривать с ними, но они сделали вид, что не узнали меня.

— Царевна не приказала впускать,— сказал мне один.

— Но пошлите сказать, что это я.

— Царевна не приказала.

Я ушел, но все же не поверил. Я бродил по залам, по переходам, по террасам Горы. Они были пустынные. Встречавшиеся изредка лэтеи поспешно и молча проходили мимо. Меня как-то особенно чуждались, хотя еще отвечали на приветствия.

Я вернулся к себе. Обыкновенно, если мне не случилось обедать у царевны, мне приносили обед в мою комнату. В этот день я не дождался обеда. Все отправления Горы нарушились. Вечером я опять вышел с решительным настроением выяснить положение. Первым я встретил старика учителя Сеге. Я загородил ему дорогу.

— Привет,— сказал я.— Занятий сегодня нет, вы свободны. Скажите, как здоровье государя?

Старик страшно смешался.

— Простите, не [обижайтесь], я должен спешить...

Повернувшись, он почти побежал прочь от меня.

Я пошел к Латомати. Рабы сказали мне, что он ничего не велел пускать к себе.

Я снова вернулся к себе. Что-то совершалось кругом, а я не знал что. Я послал Мстегу к рабам разузнать, что делается там. Сам я уныло лег на ложе. В моей комнате было узкое окно наружу, и я мог следить, как быстро темнело. Наступала ночь.

Вдруг в проходе, ведущем в мою комнату, показалась черная фигура негритянки, то была рабыня Сеаты.

— К тебе идет царевна,— шепнула она мне и исчезла.

Я вскочил с ложа. Через минуту вошла Сеата, одна, без провожатых.

Я бормотал в смущении какие-то извинения, но царевна прервала меня:

— Нет времени, друг мой, слушай.

Она села на мое ложе и взяла меня за руку.

— Слушай. Отец умер. Это скрывают, но это верно. Последнее время он уклонялся от меня. Теперь я могу сказать, что виною этому ты. Я два раза хотела прийти к нему, он не позволял. С ним все время был Болло. У Болло теперь царский меч. Он будет царем. Его признают.

По законам страны прямой наследницей царского венца была сама Сеата. Я подумал, что именно эта потеря так огорчает ее.

— Полно, царица, — сказал я. — Еще не все потеряно. Да и стоит ли грустить о царском сане. Я убежден, что с ним соединено больше заботы и горестей, чем радостей.

— Ах, ты ничего не понял, — грустно произнесла царица. — Слушай, я объясню подробнее. Ты знаешь, что у нас давно борются за власть две стороны: знатнейших вельмож и простых лэтеев. Ведь ты же читал наши летописи. Мой отец был царь из партии вельмож. Одно время думали примирить обе партии и для того выдали мою старшую сестру замуж за Болло. Он из простых лэтеев. Но сестра умерла, а Болло остался верен своей партии. Теперь торжествует не он один, а весь второй этаж. А нам всем суждено падение.

Для меня еще многое было неясно.

— Я все еще не вижу ничего особенно ужасного, царица.

— Ужасно то, — вскричала царица, вдруг заломив свои мраморные руки, — то ужасно, что как царица я могла остаться свободной... Но я более не царица! Я простая женщина! Я должна повиноваться законам страны. Я уже прожила мою пятнадцатую весну, уже два года как прожила... Мне прикажут... прикажут иметь мужа...

Она произнесла последние слова глухо, глядя в землю. Но вдруг опять ожила, глаза ее вспыхнули, она сжала мою руку.

— Слушай, Толе! Я этого не хочу! Не хочу! Я считаю это позорным. Спасти меня должен ты. Как? Неужели эта серая земля не истомила тебя в те недолгие дни, какие ты томился здесь... А ведь я! И родилась здесь и прожила долгие годы! Ты мудр, мой добрый Толе! Ты найдешь возможность. Уйдем отсюда, умчимся, улетим, улетим хотя бы на твою Звезду! Я тебя умоляю!

Царица опустилась передо мной на колени, порывисто обняла меня руками, смотрела мне в глаза.

— Царица Сеата... — говорил я в безумном замешательстве, — ты знаешь, что жизнь моя принадлежит тебе, но я бессилен. Что могу я сделать один и так скоро... я бессилен, царица.

Она медленно и молча встала, хотела идти, но потом упала на ложе и зарыдала.

— Значит, все кончено! Все! И я как простая женщина...

— Будь благоразумна, — успокаивал я, — не все потеряно.

Преодолев на миг рыдания, она крикнула мне:

— Тогда оставь меня, Толе, и беги сам... Беги, беги!.. Тебя не пощадят. Болло уже решил о твоей смерти... Прощай навсегда.

— Мы не можем унести на другую Звезду, но мы можем бороться с врагами.

Сеата подняла голову.

— Но за Болло весь второй этаж, все лэтеи — их тысяча человек! А моих сторонников, быть может, двадцать человек, да и из них большинство старики или трусы.

— На стороне Болло все лэтеи, — сказал я, — а что, если на нашей стороне будут рабы?

— Рабы? — переспросила царевна и долго смотрела на меня, недоумевая.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Было уже совершенно темно, ярко сверкали звезды, когда я подошел к выходу. Стоявший на страже загородил мне дорогу.

— Выходить воспрещено.

— Кем?

— По приказанию Болло, в чьих руках царский меч. Я высвободил под плащом лэтейский короткий меч, но решил употребить силу лишь в крайности.

— Друг мой, — сказал я мягко, — ты исполняешь повеление Болло, но он пока только временный представитель власти. А вот у меня золотое запястье царевны, признаешь ты власть царской дочери?

Лэтей заколебался.

— Мне приказано не пропускать никого, — повторил он неуверенно.

— Послушай, друг, — сказал я шепотом, — убежден ли ты, что Болло будет царем? А что, если власть законно перейдет к царевне? Как отнесется она к тому, кто не исполнил ее повеления? Ведь я знаю тебя: ты Тобой, сын Боколта.

Зная, что сторож смущен окончательно, я отстранил его от входа и быстро вышел в долину. Не прошел я и двадцати шагов, как Тобой опомнился и стал кричать, чтобы я остановился. Я прибавил шаг, готовясь,

если надо, побежать. Но страж, видя, что я не отвечаю, покинул свой пост и исчез во мраке прохода: пошел доносить о случившемся.

Я, задыхаясь, добежал до Большого входа. Здесь по обычаю тоже ходил страж.

— По воле царевны!.. — сказал я, показывая запястье.

Сторож не возразил ни слова. Я вошел в залу Рабов. Громадная зала озарена была десятками костров. Пламя взвивалось в черный мрак высоты, дым [валил] густыми облаками. Тысячи оголенных тел, освещенных красным пламенем, плясали и дико вертелись вокруг костров. Неумолчный рев голосов сливался в непрерывный гул.

Меня не сразу заметили; потом не сразу узнали. Но я прошел в знакомый мне угол, где обычно собирались старики. Со всех сторон бежали любопытные, изумленные видом лэтейского плаща среди рабов.

Я стал в кругу стариков, испуганно вставших передо мной.

Я подождал, пока наступила некоторая тишина, и потом начал свою речь, говоря громко, явственно, просто:

— Рабы! Вы меня узнаете! Я тоже раб и жил с вами, и работал с вами. После я попал к лэтеям. Но, живя у лэтеев, я все время думал о вас, хотел, чтобы вам жилось лучше. Я склонил к тем же думам возлюбленную нашу царевну. Она хотела, как только получит власть, изменить вашу участь. Если она будет царицей, вы будете работать лишь утром да немного вечером. Вы каждый день будете получать акэ (водку). Надсмотрщикам будет запрещено вас бить. Вы знаете, как милостива царевна. Слушайте, рабы: наш царь умер.

Дикий рев пронесся среди моих слушателей. Меня теснили, я почти задыхался.

— Стойте! Слушайте еще! Другие лэтеи не хотят, чтобы вашу участь облегчили. Другие лэтеи хотят по-прежнему заставить вас работать с утра до ночи, бить вас и морить голодом. Лэтеи не хотят передать власть царевне Сеате, хотя ей эта власть принадлежит по крови. Вместо царевны они выбрали царем Болло. Вы его знаете. Это самый свирепый из всех лэтеев. Бить рабов ему доставляет наслаждение. Рабы! Не допустим, чтобы царевна была убита или заключена в тюрьму. Не допустим! Мы низвергнем Болло, мы убьем его! Мы сами сделаем царицей Сеату. Идите за мной, рабы! Я покажу

вам дорогу к оружию и к запасам — там хватит акэ и маису на всех!

Некоторое время рабы стояли в оцепенении после моей речи. Но вдруг раздались отдельные восклицания. Я различил голос Итчуу. Старики хотели было что-то говорить, но голос их потонул в поднявшемся реве. Женщины вопили, юноши с гиканьем бегали по залу, кто хватал камни как оружие, кто уже устремился в проход к выходу. Я сам не ожидал такого успеха своего призыва. Видимо, волнение подготовлялось давно, и моя речь была только последней искрой.

Толпа ринулась к выходу. В один миг разметали камни, которыми он был закрыт. Лэтей-сторож был убит тут же. Как голодный змей, длинной полосой с воём и гиканьем побежала толпа к лэтейскому входу в Гору. Бежали все — женщины и дети вместе с мужьями и отцами. Очень небольшая кучка, человек сто, осталась в зале, упрямо осуждая все предприятие. Я не поспел за первыми бегущими. Когда я добежал до лэтейского входа, там уже кипел бой. Ряд лэтеев, человек в двадцать, защищал узкую лестницу, отбивая приступы всей тысячной толпы рабов. Другие рабы тем временем грабили запасы, вытаскивали из кладовых оружие, маис, кокосы и бочки с акэ. Около входа на поляне уже начиналась оргия.

Долго я не мог ничего поделать. Я сам был испуган дикой силой толпы, порвавшей цепи. Только после того, как все приступы были отбиты лэтеями, когда трупы рабов заполнили все первые ступени, они отступили.

— Завтра! Завтра мы пройдем к ним, — уговаривал я. — Будет светло, и мы пройдем. Теперь же, пока ночь, отдыхайте, пейте, веселитесь или спите.

Наконец раскинулся под стенами Горы лагерь рабов. Нарубили кокосовых деревьев и сложили костры. Зарыво озарило беснующуюся толпу. Я в смущении слушал их исступленный вой.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Итчуу разложил для меня маленький отдельный костер. Скоро ко мне собрались наиболее влиятельные лица из рабов. Пришло двое стариков, хотя старики вообще не одобряли восстания. Пришел Мстега, который среди рабов пользовался известным

почетом. Пришел еще Гуаро, силач, легко ломавший кокосовую пальму в руку толщиной.

Я постарался заранее им объяснить план завтрашней борьбы. Рабов, способных сражаться, было больше полутора тысяч, лэтеи же не могли выставить против нас больше 300—400 человек. Но лэтеи были страшны своей выдержкой и тем нравственным влиянием, которое они приобрели над рабами многовековым господством.

Мы еще беседовали, сидя у костра, когда к моим ногам с тихим свистом упала стрела, пущенная с одного из балконов. К стреле был привязан кусочек кокосовой ткани, заменявшей у лэтеев бумагу. То было письмо ко мне на языке лэтеев. «Друзья царевны извещают Толе, что царевна заточена в своих покоях, как в темнице. Пусть Толе спешит спасти ее». Письмо служило для меня доказательством, что царевна Сеата покинута не всеми. Но немедленно я не мог сделать ничего. Было опасно нападать на лэтеев ночью, в их норах, все переходы которых они знали так хорошо. Надо было ждать утра. Я поставил стражу и прилег вздремнуть.

Лэтеи не отважились на внезапное нападение. Может быть, и они собирались с силами. При первом проблеске солнца я приказал будить свое войско. По счастью, в нижней кладовой было сравнительно немного водки, и рабам не было чем напиться до бесчувствия. Они поднимались бодрые, по-прежнему решившиеся на все. Сон несколько не ослабил их озлобления: они шли мстить за долгие годы, за целые века.

А лэтеи еще занимали лестницу, которая вела во второй этаж. Нападать на них было безумно. В узком проходе несколько человек могли отражать натиск целой рати. Я распорядился нарубить деревьев и сложить у подножия лестницы костер. Кокосовые стволы вспыхнули с треском, зеленые ветви задымились, и клубы дыма потянулись по крутой лестнице, как в трубу. Конечно, лэтеи отступили.

— О-го-го-го! — весело завывли рабы.

Когда костер стал прогорать, я повел свое войско на приступ. Завернув головы, чтобы защититься от редящего, но еще едкого дыма, мы кинулись на лестницу. Она раздвоилась: одно колено вело в Общую залу второго этажа, другое на террасу. Я направился на террасу. Сопротивления мы не встретили. Один за другим, черные, закоптившиеся, выбирались рабы из черного закопченного отверстия на террасу. Я выпрыгнул

одним из первых. Я видел, что неподалеку от выхода стоял строй лэтеев. Они, видимо, думали, что и мы не пойдём в дыму, и ждали, когда он разойдётся совершенно. Увидя, что уже поздно, что враги на террасе, они смутились и быстро отступили. Терраса опустела, мы овладели ею.

Здесь я опять созвал военный совет. В центре второго этажа была круглая Общая зала, от нее радиусами шли пять проходов, по сторонам которых были двухэтажные помещения для простых лэтеев. В каждом проходе было сто таких помещений. Но, кроме того, со стороны террасы между этими проходами было пять других, не доходивших до общей комнаты и кончавшихся тупиком; в этих меньших проходах было по пятьдесят двухэтажных помещений в каждом. Замечу, кстати, что далеко не все эти помещения были заняты, очень многие пустовали.

Лэтеи загородили вход во все пять сквозных проходов. Я решил начать атаку сразу против всех пяти строёв, ибо большой численный перевес опять-таки не имел значения в узком проходе. Я образовал пять колонн, над одной принял начальство сам, а четыре другие поручил Итчуу, Гуаро, Ксути и Мстеге; все пятеро двинулись одновременно.

Мне пришлось напасть на так называемый Северный проход. Его занимало не больше двадцати человек лэтеев, со мной же было человек сто пятьдесят. Но лэтеи встретили нас искусным строем и уверенно поражали мечами слишком отважных. Рабы далеко не все достали себе мечи, большинство было вооружено дубинами и камнями. Минут пять продолжались наши стремительные натиски, но все они были отбиты. У лэтеев ни один не был даже ранен, а у нас пало человек десятеро. Рабы стали колебаться.

— Мятежники, — закричал тогда один из лэтеев, — неужели вы думаете одолеть лэтеев! Нам помогает Звезда! Ступайте вниз, разойдитесь. Может быть, мы еще помилуем вас.

Слова эти произвели сильнейшее впечатление на рабов. Они совершенно остановились.

— Вперед, друзья! Ударим еще раз! — уговаривал я.

— Назад! — громовым голосом крикнул вдруг Болло, выступая вперед. — Назад, рабы! Вниз! В свою залу! Повинуйтесь и исполняйте.

И вдруг привыкшие повиноваться и с детства подневольные эти жалкие существа, на миг было возгорев-

шиеся животной жаждой мести, дрогнули, отступили, сначала одни из них повернулись, потом другие, и весь отряд мой обратился в бегство перед грозными очами правителя.

— А этого берите! — приказал Болло, указывая на меня.

Со мной оставалось не то двое, не то трое человек, решивших обороняться. Нас притиснули к парапету. Лэтеи окружили нас со всех сторон, их короткие мечи заблестели кругом меня. Рука моя немела, отбивая удары. Я чувствовал, что через мгновение все будет кончено. Но вдруг сзади лэтеев раздался дикий рев. В проходе, из которого они вышли, показались фигуры рабов. Отряд Гуаро прорвал ряды лэтеев, и теперь рабы зашли в тыл к лэтеям. Нападавшие на нас мгновенно были окружены. Болло что-то кричал, но его голос терялся в реве битвы. Вдруг Гуаро громадным прыжком подскочил к правителю, потрясая над головой стволом кокосового дерева.

— Прочь, раб! — прогремел Болло.

Но Гуаро завертел своей булавой так, что она засвистела, и обрушил ее на Болло. Правитель повалился без стога на землю. Рабы завопили с новым исступлением.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На террасе еще оставалось человек пятнадцать лэтеев. Они еще не теряли присутствия духа и, сомкнувшись, еще продолжали отбиваться от двух стен врагов. Снизу продолжали прибывать рабы, среди них были и воины моего отряда, опомнившиеся и снова готовые на борьбу. Я оставил схватку и бросился в Общую залу. Там кипело настоящее сражение. Здесь были сосредоточены главные силы лэтеев — человек двести. Итчуу и Мстега вели на них рабов, которых собралось человек пятьсот. Факелы не горели. Сквозь длинный проход проникали самые скудные обрывки света. Бой шел почти в полном мраке. В каменной зале слышался топот тысячи ног, бешеный рев бойцов, хрип и стоны умирающих, которых топтали живые; эхо десять раз повторяло эти звуки. В этом грохоте сражались почти без сознания, в животном исступлении, никакое руководство ходом битвы не было возможно.

Я стоял около входа в Северный проход и обдумывал позицию врагов. Лэтеи тылом были обращены

к двум проходам, которые вели в третий этаж. Следовательно, мне не было пути дальше. Я был по-прежнему отрезан от Сеаты. Я должен был ждать решения судьбы. Я проклинал себя, что ушел от нее, что оставил ее одну. Кто знает, что посмели сделать с ней враги.

Новые волны рабов прибывали в Залу. Я приказал принести факелы. Их мерцающий свет сделал картину боя еще более ужасной. Враг увидел врага в лицо. Друзья поняли, что они топчут друзей и братьев.

— Отбивайте их от проходов! — кричал я своим, хотя и знал, что мой голос расслышать невозможно.

Вдруг произошло неожиданное. Сзади лэтеев заблестели еще чьи-то факелы. Явно было, что лэтеи дрогнули. С тыла на них напал новый враг. Это друзья царевны ударили на них из проходов третьего этажа. После этого маневра участь их была решена. Лэтеи могли сопротивляться, но не победить. Их рубили с обеих сторон. То была отвратительная бойня. Лэтеи отступили на середину Залы и отбивались от рабов, наступавших со всех сторон. Один за другим падали ряды лэтеев. Но следующий ряд с прежним мужеством продолжал оборону. Исступленные рабы тоже забыли всякую осторожность, шли прямо на мечи, падали, а сзади набегали новые волны. Я не стал смотреть на довершение этого боя, я торопился к Сеате.

У входа в третий этаж стояла кучка приверженцев царевны Сеаты, человек тридцать, не больше. Среди них был и Латомати.

— Где царевна? — спросил я.

Некоторое время мне не отвечали. Наконец Латомати сказал:

— Идемте все! Нам надо переговорить.

Мы все поднялись на третий этаж.

Ужасную картину представляла собой Звездная зала. В ней были собраны старики, женщины и дети. Старики лэтеи, их дочери, жены, их маленькие дети сидели на полу, жались к стенам, ломали руки, рыдали. При нашем появлении послышались негодующие, подавленные крики:

— Изменники! Вы погубили страну.

— Молчите, лэтеи, — повелительно крикнул Латомати, — изменники вы! Вы посягнули на свою царицу! Ваши предводители хотели убить ее. Мы же повиновались законам. Убиты те, которые стали недостойны

имени лэтеев. Нас осталось немного, но мы воссоздадим новое племя.

Кто-то крикнул:

— В союзе с рабами!

Латомати повысил голос:

— Рабов призывали не мы! Будьте спокойны, лэтеи. Когда пройдет первый взрыв, рабы опять покорятся. Знайте, кроме того, что в этой борьбе их убито больше, чем нас. Нам рабы не опасны. Только повинуйтесь, лэтеи!

Латомати держал себя как государь. Около входа в третий этаж он поставил стражу в восемь человек. Вход был очень узкий, и взять его было нелегко. Мы все остальные прошли в царскую комнату. Латомати не смотрел на меня и не говорил со мной. Царская комната была невелика. Стены ее были обложены малахитовыми плитами, изукрашенными алмазами. В углублении стоял трон из кованого золота. Два факела освещали [покой]. Кроме того, сквозь узкое окно в потолке врывались лучи дневного света. На золотом троне сидела царица Сеата в царском венце и с царским мечом в руках. Все мы пали на колени, закрывая лицо руками, и под сводами восторженно прогремело приветственно: «Лэ!»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Царица приветствовала нас наклонением головы. Когда мы встали с колен, Латомати обратился к ней с речью:

— Приказание твое исполнено. Я напал с тылу на лэтеев, не признававших твоей власти. Мятежники получили наказание. Теперь предстоит нам озаботиться, чтобы жизнь приняла обычное течение, чтобы рабы вернулись к работе, а верные получили награду.

— Благодарю тебя, Латомати,— просто сказала царица и, переведя взор на меня, продолжала: — Благодарю и тебя, Толе! Без твоей помощи, без твоей находчивости я была бы теперь среди мертвых и похититель гордился бы моим венцом.

Сеата старалась говорить важно, сообразуясь со своим саном, но после первых же слов не выдержала тона и закончила гневно:

— Я знаю, знаю, что многие из моих приверженцев теперь остались бы в рядах моих врагов, если бы они

не догадались, что победа будет за нами!.. Но довольно. Благодарю тебя, Толе.

Латомати, весь дрожа, сделал шаг к трону.

— Не следовало бы тебе, царица, говорить так, не подобает тебе оскорблять немногих своих приверженцев. Я осмелюсь сказать тебе истину. Царица! Не на благо нам привел рабов в глубь Горы этот неведомый чужеземец. Мы знаем из наших летописей, что в прошлом у нас бывали споры за трон, но все они решались борьбой лэтеев между собой. Никогда, о, никогда подлые рабы, жители нижнего этажа не смели вмешиваться в дела лэтеев. Ты скажешь, что у тебя было мало приверженцев и что чужеземец спас тебя. Это заблуждение, царица. Мало было у тебя приверженцев именно потому, что близ тебя видели этого чужестранца, человека без роду и племени, обманщика и мятежника, белого раба нашего...

— Остановись! — властно прервала его Сеата, вся бледная, привстав на троне. — Научись уважать того, кого ценит государь. Твоя сегодняшняя заслуга спасает тебя от моего гнева, но берегись!

Латомати не хотел молчать: весь дрожа, он готовился возразить царице. Еще мгновение, и в спор вступил бы я, но в дверях показался вестник. Он пал на колени и возвестил:

— Царица! Предводители рабов хотят говорить с тобою.

Латомати пожал плечами.

— Гляди сама, до чего дошло. Рабы будут ставить тебе условия.

— Позволь мне, царица, — попросил я, — пойти и объясниться с ними. Я убежден, что здесь недоразумение и все уладится.

— Нет, — дерзко вскричал Латомати, — не тому вести переговоры, кто, быть может, сам изменник. Я пойду, царица.

— Я пойду сама, — сказала Сеата.

Она медленно спустилась с трона. Мы последовали за ней.

В Звездной зале по-прежнему томились сотни стариков, женщин и детей. Все заволновались, увидя царицу. Одни слабо прокричали «Лэ», другие резко отвернулись, слышны были и угрожающие крики: «Убийца! Ты погубила Гору!»

Сеата ни одним движением не показала, что слышит эти крики. Она прошла к входу в третий этаж,

по-прежнему охранявшемся стражей. Стража по просьбе рабов впустила несколько человек из них, чтобы вести переговоры. Эти парламентарии держались гордо и самоуверенно. Их было четверо. Я узнал среди них Итчуу, другие три мне были мало знакомы.

— Я пришла благодарить вас,— начала Сеата на наречии бечуанов,— благодарить вас, верные слуги. Вы исполнили ваш долг. Теперь возвращайтесь к себе в Залу и ждите моих наград. Повинуйтесь.

Самый вид царицы в пышной одежде, с короной произвел на рабов сильнейшее впечатление. Трое из них во время речи Сеаты медленно опустились на колени и коснулись лбом пола. Но Итчуу остался стоять.

— Мы посланы от имени всего народа,— твердо сказал Итчуу, словно царица не говорила ничего,— сказать вам, что мы победили и что теперь Гора принадлежит нам. Но мы не хотим избивать вас до конца. Поэтому откройте нам проход. Наш царь Гуаро возьмет себе в жены царицу, мы все выберем себе жен среди всех этих женщин, и затем начнется на Горе новая жизнь. Так решил народ.

— Итчуу,— воскликнул я, не удержавшись,— ты забыл, на что мы шли? Наша цель была — добыть престол законной царице! Откуда явились у тебя такие замыслы?

— Ты сам высказал их мне, учитель.

Слова Итчуу звучали насмешкой. Другие трое, пришедшие с ним, приподнялись с колен.

— Слушай, Итчуу,— сказал я тихо и убедительно,— ты звал меня учителем, поучись же у меня теперь. Вы, рабы, неспособны управлять страной. Для этого мало победы. Вы погубите Гору, погубите не только науки и искусства, но и самую жизнь ее. И сами погибнете. Я это предвижу. Послушайте меня, вернитесь к себе, в свою Залу. Теперь начнется для вас новая жизнь. Верьте в милости царицы.

Итчуу язвительно улыбнулся.

— Я сказал тебе однажды, учитель, что ты тоже смертен. Теперь я скажу тебе, что ты тоже ошибаешься, да и лжешь иногда.

— Это позорная игра!— приказал Латомати.— Надо схватить этого шута и сечь его до смерти.

— Нет,— строго сказала царица,— он пришел добровольно, я его отпускаю. Ступай, мой друг. Мы не слушали твоих предложений и не можем их слушать. Если вы вернетесь к себе, мы о них забудем и будем по-

мнить только о заслугах ваших. Если же вы действительно станете мятежниками, вы увидите, что с нами не так легко бороться, как с Болло. Ступай.

Четыре посла рабов при мертвом молчании всей Залы вступили в проход и исчезли во мраке лестницы.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда мы вернулись в Царскую Комнату, Латомати сжимал себе грудь, чтобы не кричать от негодования.

— Царица! — простонал он наконец. — То, что мы слышали, ужасно. Рабы грозят нам, рабы над нами смеются. Нет, полно. Пора покончить с этим. Нас около пятидесяти мужчин, я знаю точно. Мы последние лэтеи, но мы отстоим свое царство. Сегодня мы сойдем вниз к рабам и будем биться с ними, и, я клянусь, мы победим. Не могут свободные люди не одержать верха над рабами. Я клянусь, царица, ставлю жизнь свою как залог. Но чтобы я взял на себя такую ответственность, я должен знать, за кого я борюсь. Я не хочу своей кровью добывать трон для неизвестного бродяги, хвастающегося, будто он прибыл со Звезды.

Он перевел дух и потом воскликнул звенящим голосом, так нежно, как я не ожидал от него:

— Сеата, слушай. Разве же не видишь ты, как мечтаю я о тебе, разве не заметила ты давно-давно, что ты для меня все! И жизнь, и блаженство. Для тебя я сражался заодно с рабами, для тебя я рубил своих братьев лэтеев, для тебя я погубил наше священное царство, Сеата! Мои предки тоже занимали трон. Я предлагаю тебе, Сеата, себя как помощника, как друга. Тебя околдовал этот проклятый чужеземец. Поверь мне, близкому тебе, прогони его, прогони его, позволь мне убить его... И я назову тебя своей женой, мы восторжествуем над рабами! Клянусь, мы восстановим Царство, начнем новый великий род среди Царей Горы.

Глубокое молчание наступило за речью Латомати. Слышен был даже отдаленный шум из других зал. И тихо, но ясно и твердо прозвучал ответ Сеаты:

— То, что ты говоришь, невозможно. Минуту назад другой человек предлагал мне быть его женой. Знай, я согласилась бы скорее на предложения царя рабов, чем на твое, Латомати.

Латомати хрипло крикнул, стиснул зубы и одно

мгновение смотрел на царицу. Потом он обернулся ко мне своим воспаленным взором.

— Слушай же ты, безвестный бродяга! Я сегодня бранил тебя позорнейшими словами. Я сейчас повторяю тебе, что ты лжец и обманщик. Если есть в тебе капля благородства, ты выйдешь против меня на смертельный бой. Я вызываю тебя, я, Латомати, сын Талаэсто, потомок древних царей.

— Принимаю,— сказал я коротко.

— Толе, Толе,— нерешительно произнесла Сеата.

— Так должно,— холодно сказал я.

Лэтеи, бывшие в комнате, расступились. Сеата в трепете сошла с трона и прижалась к стене. Мы с Латомати остались вдвоем посреди Царской Залы. Мы двинулись друг на друга. У обоих у нас было обычное оружие лэтеев, короткий меч, по форме напоминающий эспадрону. В юности я хорошо владел эспадронами, но приемы фехтования на Горе еще далеко не все были мне известны. Латомати считался искуснейшим бойцом, и я принужден был только защищаться. Латомати яростно наступал на меня. Я отступал и наконец остановился у стены. Легкий стон вырвался у Сеаты. Этот стон заставил меня затрепетать в таком волнении, какого я не знавал уже долгие годы. Сильным ударом я отпарировал удар Латомати и перешел в нападение. За недолгое время нашего боя я уже ознакомился со всеми приемами Латомати, они были оригинальны, но однообразны. Теперь я, в свою очередь, поразил Латомати хитростями европейского искусства. Отступить пришлось уже ему, два раза он споткнулся, и я щадил ему жизнь. Опьяненный бешенством, он ринулся на меня, забыв всю осторожность. Я хотел с размаху выбить у него меч из руки, но он почему-то опустил руку, и мой удар пришелся ему прямо в висок. Черная кровь заklubилась, и юноша пал мертвый. Лэтеи закричали. Сеата кинулась ко мне. Наступило смятение. Кто-то нагнулся к Латомати, чтобы удостовериться, что он убит. Я еще не успел прийти в себя, как вдруг лэтеи, словно по уговору, один за другим стали уходить из комнаты... Один из них остановился в дверях и кинул Сеате:

— Царица! Ты не знаешь еще. В этот час жрецы проклинаяют тебя в Области Тайн.

Через мгновение мы были одни, шаги уходящих замирали.

— Идите! Ступайте! — крикнула Сеата не помня себя. — Мне вас не нужно. Прочь, венец! Гибни, Гора! Гибни, народ лэтеев!

Она сорвала с себя царский убор, она задыхалась.

— Мне остался ты, Толе, — простонала она уже со слезами. — Уйдем, убежим. Прочь от всего этого позорного и ненавистного. Я не жалею их тысячетнее царство, оно стоило того, чтобы погибнуть. Не жалею царского сана, ибо царить над таким народом позорно. Я свободна, Толе, уводи меня.

Она не сознавала, что говорила, разум ее мутился. Поддержав ее, потому что она шаталась от утомления, я старался успокоить ее, образумить. Но внимание наше привлечено было странным шумом. Слышалось звяканье мечей и крики рабов. Я бросился туда, но в проходе со мной столкнулся со всего разбега Мстега.

— Господин! — крикнул он. — Беги! Рабы в третьем этаже и идут убить тебя.

Я еще не успел понять, в чем дело, как следом за Мстегой показался великан Гуаро. Он потрясал все той же палицей. Мстега дико взвизгнул и ринулся на него.

— Беги! — крикнул он мне еще раз.

Великан был схвачен Мстегой поперек тела и на мгновение должен был остановиться. Но почти тотчас же он справился. Послышался лязг ломаемых костей. Гуаро поднял Мстегу на воздух и ударил его черепом о гранитный пол.

Этого мгновенного замедления было достаточно, чтобы спасти меня. Я был уже опять около Сеаты. Комната царицы была одна из немногих, у которых вместо дверей служил тяжелый камень, вращающийся на шарнире. Мы задвинули вход в то самое мгновение, когда Гуаро добежал до него. За камнем послышался злобный вой обманувшихся врагов.

— А! Мы опять спасены! — восторженно крикнула мне Сеата.

— Мы в тюрьме, — отвечал я спокойно, — в тюрьме, где нет ни пищи, ни питья.

Я отвел изнемогающую Сеату к трону. Но вдруг с тихим визгом повернулся другой шарнир в стене около трона, где я и не подозревал двери. В открывшемся проходе стоял верховный жрец.

Мы были подавлены сменой впечатлений. Мы не имели сил ни трепетать, ни удивляться. Верховный жрец окинул нас спокойным взглядом. Мы смотрели на него тоже безмолвно. За стеной слышалось рычание толпы.

Наконец голосом суровым и властным жрец сказал Сеате:

— Царица! Великий час пришел.

И вдруг Сеата вся задрожала, словно в припадке, словно былинка под сильным ветром. Она вскрикнула:

— Нет, отец мой, нет!

— Царица! Великий час пришел, — повторил верховный жрец.

Столь же внезапно к Сеате вернулась бодрость.

— Ну что ж, — сказала она, как-то странно устремляя глаза ввысь, не глядя ни на кого. — Не сама ли я желала того. Лучше великий час отчаянья и гибели, чем медленные часы томленья. Я готова, отец мой.

— Иди за мной, — сказал жрец и медленно указал ей на узкую лестницу, по которой сам сошел к нам.

Царица пошла к нему, я сделал несколько шагов за ней.

— Пусть чужеземец останется здесь, — сказал жрец. — То, что нам предстоит видеть, не для взоров непосвященных.

— Нет! — твердо возразила Сеата. — Он пойдет со мной. Я единственная из царского рода. Так я могу выполнить волю Звезды. Вам нельзя выбирать. Если пойду я, и он пойдет со мной.

Жрец не возражал больше. По узкой лестнице прямо из Царской Комнаты мы поднялись в четвертый этаж, в музеи и библиотеки. Сюда еще не проникли рабы. Статуи стояли еще неприкосновенными, как провели они двадцать столетий. Мирно дремали в углублении стен свитки — книги с летописями, величественными поэмами и страстными стихами о любви.

Из Музея камней, где собраны были величайшие в мире богатства, мы стали подниматься в пятый этаж, в Область Тайны, куда я шел впервые. Но во мне не было любопытства. Моя душа была полна одним чувством — тревогой за Сеату. Она уверенно и гордо шла за старцем.

Мы вступили в храм лэтеев. То был круглый покой с куполом. И этот гладкий купол и стены были выло-

жены полированным золотом, в котором сотни раз повторялся свет факелов и где вновь и вновь встречали мы свое отражение. Никаких статуй и украшений в храме не было. Только по всему полу был сделан широкий желоб, по которому медленно катился большой золотой шар, подчиняясь какой-то непонятной мне силе.

В зале на четырех золотых ложах сидели четверо жрецов. Их помощник-мальчик стоял около. Когда верховный жрец вступил в храм, все встали.

— Великий час настал, — сказал он им.

Все пали на колени, закрыли глаза руками и повторили с ужасом:

— Настал великий час! Великий час!

Верховный жрец обратился к Сеате строго и властно:

— Дочь моя, кто были твои предки?

— Я из племени царей, — отвечала Сеата.

— Великий час настал. Знаешь ли ты, что должна делать!

— Знаю, отец мой.

— Иди же. Ты гордыней своей низвергла в бездну Царство Горы; за это сегодня мы произнесли на тебя проклятие. Но ты исполнишь волю Звезды, и я благословлю тебя.

Сеата наклонила голову, закрыв глаза рукой.

— Вступи, царица, в Покой Великой Тайны.

Потайная дверь открыла в стене отверстие, мы вошли. Эта новая [комната] была очень небольшой, шагов в двадцать в длину и ширину. Стены ее были без всякого убранства, серокаменные. Свет падал из широкого окна. У одной стены стояло каменное ложе. Посреди комнаты стоял челнок странной формы. Нигде до сих пор в стране Звезды не видал я лодок, так как здесь не было ни значительных озер, ни рек.

Но что было самым дивным в этой комнате — это левая, восточная стена ее. У этой стены во всю ее высоту стояла мумия. Она не была одета. К выпирающим костям плотно прилегали иссохшие мускулы, обтянутые пожелтевшей кожей. Но это не была человеческая мумия. Я не знаю, что это было за существо. Голова его была небольшая, с двумя совершенно рядом поставленными глазами, [...] они сохраняли свой цвет и свою форму, словно глядели пристально. Костянистое тело было широко, напоминало несколько строением колокол. И кончалось целым рядом конечностей, руки были скорее крыльями, потому что на них я заметил пере-

понки. Наконец, все это кончалось как бы рыбьим хвостом, а может быть, рулем, чтобы забирать воздух во время полета.

Пока я смотрел, окаменев от изумления, жрец, приведший нас, исчез. Потайная дверь замкнулась. Мы были с Сеатой вдвоем.

— Кто это? — хрипло спросил я, указывая на мумию.

— Это он, — тихо ответила царица, — тот, кого мы почитаем. Он первый царь наш и вечный наш владыка. Прости меня, господин мой! Но я верю, ты сам хотел того. — Она поклонилась мумии.

— Сеата, но человек ли это? — опять спросил я.

— Он больше чем человек, — ответила Сеата еще тише. — Да! Есть другие миры, мой Толе! Есть высшие существа.

Она смотрела на меня восторженно...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Тогда невыразимый стыд сдавил мое сердце. Я вдруг отступил от Сеаты. Мне подумалось, что я краду ее милость.

— Царица, — с трудом выговорил я, — отвернись от меня, царица. Я недостойн твоего взора. Я лгал вам всем, и тебе я лгал. Я вовсе не житель Звезды. Я, как ты, родился здесь, на Земле.

Широко открыв глаза, еще не понимая, царица отшатнулась от меня, как от призрака.

— Да, — продолжал я угрюмо, — я не житель Звезды и не сын царя. Я бездомный скиталец, которого дома презирают, который убежал в пустыню от насмешек. Все время я обманывал тебя.

Ответ царицы был скорее угадан, чем услышан мною.

— Ах, Толе! Разбита прекрасная мечта, яркая надежда! Так близок был ко мне иной мир, не мир Земли. [...]. А теперь, теперь я снова приговорена навеки... Бедные крылья сломаны.

Потом, взглянув на меня со слабой улыбкой, Сеата добавила громче:

— Но ты не грусти, мой Толе. Разве я в тебе любила только жителя Звезды? Ты был дорог мне как учитель. Ты дал мне понять, что я только угадывала. Что может быть иная жизнь, что не все кончается на этой Горе, что не вся мудрость у наших мудрецов, не вся прав-

да — то, чему учили нас старики... Я, как прежде, люблю тебя, Толе. Грусть эта только моя.

Но голос ее был надтреснутым. Я попытался ободрить ее:

— Царица! Я позорно лгал, говоря, что прибыл со Звезды. Но я говорил тебе великую правду об иной жизни, о человечестве, которое ждет тебя. Ты увидишь все те чудеса, о которых я говорил, будто они на моей Звезде. Увидишь, если мы спасемся...

— Может быть, мы спасемся, Толе, — грустно молвила Сеата, — но меня не утешат твои чудеса. Что мне в том, что они чудеса, если они здесь, на Земле! Если их создали люди, такие же, как я! Если есть границы моему миру! Нам сказано: до сих пор это твое, а дальше мы не смеем. О! Толе! Толе! В этом-то ужас.

Она ломала руки. Я мог многое возразить ей, но молчал, не смел говорить. Но вот она встала с видом пророчицы.

— Идем! Как бы то ни было, теперь больше чем когда-либо должно исполнить волю Звезды. Идем!

За ложем была еще одна потайная дверь и узкая извивающаяся лестница. Скользя во мраке, мы поднялись на круглую площадку, которой заканчивалась Гора Звезды.

Была безлунная ночь. Во мгле не было видно ни долины, ни террас. Ни звука не доносилось снизу. Мы были словно одни во всем мире. Среди крупных тропических звезд ярко сверкала красная звезда Марса. К ней простерла свои мраморные руки Сеата.

— Звезда! Священная Звезда! Ныне исполняю твою волю. Ты царица на этой Горе. Пришел час истребить твое царство. Свое возьми себе, нам же оставь наши горести.

Потом, обращаясь ко мне, Сеата добавила:

— Я верю, да! Я верю, что у нас есть связь с нашей Звездой. Ты не прибыл к нам со Звезды, но я чувствую, что мольбы и пение могут достигать до Звезды, [...] что оттуда к нам доходят голоса. Я слышу! Я слышу зов! Я иду к тебе, Звезда! Иду! Иду! — Она воскликнула последние слова в самозабвении и как лунатик шла к сверкающей Звезде. Я удержал Сеату на краю обрыва. Она очнулась.

— Ах, Толе, мне послышался зов, будто Звезда меня звала. Могла она звать? Как ты думаешь? Веришь ты этому?

— Я всему верю, чему веришь ты,— отвечал я, плача и целуя ее платье.

Сеата подумала секунду, потом сказала опять твердым голосом:

— Здесь на середине стоит золотой шар. Его должно сбросить вниз.

— Сеата, но это страшная тяжесть, это не под силу одному человеку.

— Толе! Ты умен, поищи, постарайся.

Царица села над обрывом, опустив ноги в пропасть, и задумалась. Я подступил к шару. В нем было с виду пудов... Скоро я ощупью нашел, что ось его составляет металлический стержень, который можно вынуть. Так у меня оказалось в руках орудие. Я старался, действуя им как ломом, приподнять шар. Это мне не удавалось. Потом заметил я, что некоторые камни на площадке легко вынимаются. Я начал делать скат для шара. Работа подвигалась быстро. Наконец я решился упереться в шар. Он неожиданно легко поддался. Я едва устоял на ногах, а страшная тяжесть покатила сначала по площадке, потом подпрыгнула с края, и загрохотал страшный раскат от ее удара о крепкую стену Горы. Удар повторился еще дважды, и долго замирали отзвуки.

— Свершилось,— торжественно сказала Сеата.— Вернемся.

Я повиновался Сеате как существу высшему.

Мы опять спустились в комнату с ладьей. Сеата нашла где-то кружку воды и немного маису, видимо, приготовленного для нас. Я был очень голоден, но Сеата почти не прикоснулась к пище. Порывы бодрости сменялись у нее полным бессилием. Когда я подошел к ней, она что-то шептала. Я взял ее за руку — рука была холодна и дрожала.

— Ты больна, Сеата. Ты должна лечь отдохнуть.

Она повиновалась и поникла на каменное ложе. Почти тотчас глаза ее закрылись: то был свинцовый сон. Я благоговейно прикоснулся губами к ее бледному челу, взял факел и вышел потайной дверью вниз, в другие этажи горы.

Я предчувствовал гибель, я хотел последний раз осмотреть Гору, эту дивную Гору, у вершины которой хранится скелет странного существа. Был ли прав старый помещанный ученый, умерший в степях Африки? Создание ли это дерзких беглецов из другого мира? И, проходя опять по переходам лестницы, я мог только дивиться на это создание. Вся Гора изрезана, изрыта залами, комнатами и проходами сверху донизу. Иные залы были выше сорока саженой, громадные арки поддерживали тяжелые своды, переходы шли уверенно, не сбиваясь с принятого направления; нигде не заметно было никакого промаха; я встречал статуи, высеченные из самой скалы, составлявшие одно с полом, так что для них оставляли глыбу, когда пробивали самую залу. Я готов был верить, что этот лабиринт был создан по единому плану великого зодчего, во власти которого были целые века и миллионы работников. Я прошел по Области Тайны. Все было там нетронуту. Золотой шар с тихим шумом продолжал катиться по золотому желобу, как катился, может быть, много столетий. Пять старцев и пять отроков лежали, простертые на полу. Я нагнулся к ним. Они были мертвы, тепло медленно покидало их тела...

Осторожно стал я спускаться в Царский этаж. Там я мог повстречать рабов. Но все было тихо. Я прошел средней витой лестницей и сразу вступил в Звездную залу. Она была так же изуродована; изображения Солнца и Луны сорваны со стены, и их пустые впадины зияли, как свежие раны. Но потолок был слишком высок, и при свете моего факела засверкало искусственное звездное небо — загорелся Южный Крест, красным светом загорелась священная Звезда. Тихие стоны вспугнули меня, когда я сделал несколько шагов вперед. Я увидел, что пол был устлан телами. То были лэтеи, павшие в последней схватке с рабами. Но еще больше валялось рабов, разрубленных лэтейскими мечами. Где-то были еще живые, только раненные, потому что я слышал зов. Я стал искать, скользя в лужах крови. Скоро я наткнулся на тело Итчуу. Юноша был убит наповал. Голова срублена до половины. Подальше у стены была целая груда женских тел.

Я уже дошел опять до середины залы, когда один из лежавших вдруг узнал меня и окликнул:

— Чужеземец!

Я остановился. Из груды тел привстал старик с седыми, но окровавленными волосами. Он смотрел на меня огненным взором.

— Чужеземец! Зачем вернулся ты сюда? Ты ищешь проклятий, ты хочешь, чтобы все мертвецы кричали тебе голосом бури: проклят, проклят! Нет! Ты этого не услышишь. Я иное скажу тебе. Не ты погубил Гору, ты не был бы в силах сделать это. Сама Звезда решила, что [наступил] ее последний час. Слышишь, сама Звезда. И потому мы тебя прощаем.

Проговорив эти слова, старик опять откинулся навзничь. Я слушал его слова, окаменев от ужаса, дикий бред уже готов был овладеть мной: по слову старика мне уже казалось, что мертвецы кругом действительно приподнимаются, встают, говорят мне... Страшным усилием воли я овладел собой и хотел подойти к старику, чтобы чем-нибудь помочь ему. Но вдруг я ясно почувствовал, что почва под моими ногами заколебалась.

От первого толчка я устоял. Но второй удар землетрясения был так силен, что я упал в лужу крови, и факел мой погас. Затем началось равномерное качание пола. Тела, лежавшие кругом меня, зашевелились как живые. Я был во мраке средидвигающихся мертвецов. Ужас оледенил мое лицо, сердце перестало биться.

Я полз среди груды тел, я ощупью искал дорогу. Я терял сознание. Наконец я нащупал вход наверх. Я бросился бежать по скользким ступеням. Я пробежал в полном мраке через комнаты музеев; я остановился только около трупов жрецов, освещенных стоявшим здесь факелом. Тут я пришел в себя. Но я не мог отдать себе отчета в своих мыслях. То было сострадание к умирающим там, во тьме, одинокими, то был ужас и содрогание перед всем, что я сейчас испытал, то было смятение всех чувств. А пол продолжал качаться под моими ногами.

Я взял факел, освещавший мертвых жрецов, и пошел к Сеате. Она спала.

Я вышел на площадку Горы. Взошла луна в половину четверти. При слабом свете ее смутно увидел я что-то необъяснимое. На том пространстве, которое должна была занимать долина, странно сверкала полоса лунного света, словно под нами была водная гладь. Я долго смотрел на переливы света в волнах, потом я сошел на верхние ступени лестницы и, опустившись на них, тотчас заснул.

Мне снилось, что я еще раб в стране Звезды, что я бежал, проник в подземные проходы Горы и пробираюсь по ним, ища выхода. Переходы кружили, извивались, убегали все дальше, и не было им конца. Присосавшись к стенам, ждали здесь меня какие-то громадные слизняки, которые тянули ко мне липкие руки. Я отбивался от них. Когда наконец я совсем изнемог, подземелье вдруг кончилось. Мне глянул в очи океан. Я упал на гранитный выступ, а передо мной расстилалось безграничное водное пространство; луч луны играл на волнах; вал за валом разбивался о каменный берег, и страшен был гул набегающей пучины.

И в эту минуту подумалось мне, что я ушел из страны Звезды навсегда, что мне больше нет пути назад, что больше я не увижу Сеаты никогда, никогда! Эта мысль сковала меня невыносимым ужасом; я молил небо об одном — умереть, не быть, чтобы только не испытывать этих мучений... Но солнечный луч вдруг ударил прямо мне в лицо, и я проснулся на острых ступеньках лестницы. Первое, что охватило меня, было чувство безмерного счастья, блаженство от сознания, что Сеата близко, что она со мной, что я увижу ее. Но в то же мгновение меня поразило, что рев набегающей пучины не смолк, и после пробуждения я бросился вверх.

Гора медленно, но явственно опускалась. Я ощущал сотрясение площадки. Я видел, что отдаленные края котловины как бы поднимались вверх. Внизу же вместо долины, вместо лесов, полей и всей этой пышной карты расстилалась серая, волнующаяся водная гладь. Пенные волны ходили и качались везде, куда достигал глаз. Какие-то жерла разверзлись за ночь, какие-то потоки хлынули из недр земли, и вот вся котловина была уже затоплена наполовину. Море поглощало Гору. Гора погружалась в море. Седые гребни волн уже плескались о террасу третьего этажа. Пока я стоял в оцепенении со взором, прикованным к невероятному зрелищу, на площадке показалась Сеата, бледная, утомленная, но с горящим взором. В ней ничего не было земного, словно она уже не принадлежала этому миру.

— Это Тайна Горы, — вдохновенным голосом сказала она мне, не ожидая вопроса. — Вода поглотила всю страну; вода, служившая гробом для предков, смывает и все создания веков, поверья прошлого и записи о гря-

душем. Ты вызвал к жизни эту силу, дремавшую в око-
вах. Вода будет на месте моей страны, а мы... У нас есть
возможность пережить ее.

До нас смутно долетали стоны. Рабы так и не нашли
прохода, ведущего в четвертый этаж. Потому никого из
них не было на четвертой террасе, она была пуста. Зато
весь народ рабов теснился, жался на третьей террасе,
уже омываемой волнами. От нас это было на рассто-
янии почти трехсот саженой, и нам трудно было сле-
дить за ними.

Рабы были в паническом страхе. Они почти не двига-
лись. Вся толпа — тысячи в три человек — стояла непод-
вижно, обернувшись к воде, и смотрела, как волны на-
ступали на нее. Изредка у всех у них вырывался нечело-
веческий вопль, доносившийся до нас слабым стоном.
Вот вода перехлестнула через парапет. Рабы стали по-
гружаться в губительную стихию. Я не знал, что сде-
лать, я хотел бежать к ним, указать им путь к нам,
я что-то говорил Сеате. Но она остановила меня, власт-
но положив мне руку на плечо.

— Останься здесь. Если бы ты и привел их сюда, все
равно их гибель была бы неотвратима. Челнок сделан
лишь для двоих, ибо Звезда знала, что нас будет двое.
Не пытайся бороться с велениями Звезды, мы слишком
ничтожны, наша участь — покориться.

Я упал ничком у края площадки и впился взором
в ужасающую трагедию, совершающуюся где-то в глу-
бине. Вода подступила к груди рабов, постепенно по-
глощая их. Матери поднимали грудных детей над голо-
вой, более сильные в животном ужасе взбирались на
плечи других, иные пытались взобраться вверх по глад-
кой стене, но тотчас обрывались, некоторые, обезумев,
бросались сами в пучину. Вода повышалась со стреми-
тельной быстротой. Я видел, как волны стали окаты-
вать головы самых высоких. Я видел мгновение, когда
поднятая рука исчезла в пене прибоя. На поверхности
виднелось несколько тел, борющихся еще со смертью.
Но никто из погибающих не умел плавать. Через не-
сколько минут все было кончено. Ничто постороннее
не нарушало более серой пенистой глади.

Когда я приподнялся, помертвелый от ужаса, Сеата
все еще стояла в прежнем положении со взором,
устрашенным куда-то вдаль, прочь от земли.

— Все кончено, — хрипло сказал я.

Сеата обратилась ко мне.

— Мой милый, — промолвила она, впервые называя
меня так, — надо принести сюда челнок.

Я повиновался.

Гора опускалась медленно. В полдень исчезла под волнами терраса третьего этажа. Солнце уже клонилось к горизонту, когда волны дошли до края котловины. В то же время и вершина Горы уже почти касалась поверхности воды. За этот день мы едва ли обменялись с Сеатой десятком слов. Она сидела на груди камней, выбитых мной вчера из площадки, и загадочным взором смотрела на водную поверхность. Иногда мне казалось, что она наслаждалась этим новым для нее зрелищем. Иногда я начинал понимать, что за безумная тоска давит ей сердце.

Я работал над лодкой, сколько мог приспособивая ее для путешествия. На Сеату смотрел я даже с некоторой робостью. Однажды я сказал ей, утешая ее:

— Мы скоро увидим с тобой новую землю и новое человечество. Думай о будущем.

Она ответила мне:

— Мы с тобой величайшие убийцы на земле.

Я содрогнулся.

В другой раз мне пришла странная мысль в голову, и я опять обратился к ней:

— Сеата, а как ты думаешь, не мог ли кто-нибудь из рабов проникнуть в Царство Тайны? Может быть, они еще и теперь таятся там. Не пойти ли к ним?

Сеата холодно посмотрела на меня и сказала:

— Нет, надо, чтобы они погибли все.

И я содрогнулся снова.

Когда вода подошла к нам на расстояние двух саженей, я спустил лодку в море: я боялся водоворота, который должен был бы возникнуть, когда пик Горы погрузится в пучину. Лодка веревками была привязана к камням, бывшим на середине площадки. По этим веревкам я спустился в лодку и ждал. Когда расстояние между лодкой и площадкой еще уменьшилось, я быстро помог сойти Сеате, перерубил веревки своим лэтейским мечом, оттолкнулся от стены и всей силой налег на весла, спеша уйти от тонущей Горы.

Через несколько минут вершина Горы с каким-то свистом погрузилась в пучину. Некоторое время мне приходилось бороться с волнами водоворота, но наконец мы могли считать себя в безопасности, и я огляделся.

Котловины уже не существовало. Вода перелилась через край и затопляла Проклятую пустыню, не пере-

ставая прибывать, грозя превратить всю Африку в дно морское. Течение несло нас от центра, и весла были не нужны.

Я посмотрел на Сеату, Сеата смотрела на меня.

— Мой милый, — сказала она мне, — нас двое во всем мире. Мы первые люди и последние люди. С нами кончается жизнь Земли. Нам надо умереть.

Я пытался ее успокоить:

— Земля велика еще. Есть много-много людей в мире. Ты найдешь новую родину, ты найдешь то, что искала.

Сеата молчала, устремив взор за нашу корму, туда, где возвышалось недавно Царство Горы. Теперь со всех сторон от нас, куда только хватал взор, были небо и вода. Ярко-красное солнце закатилось в обагрившиеся волны. Настала ночь и прохлада. Я хотел подкрепить силы. С нами было очень немного маису, но совсем не было воды. Со страхом и горестным предчувствием зачерпнул я воду за бортом. Увы! Худшие предчувствия исполнились. Вода была горько-соленая, негодная для питья, поистине морская.

Весь ужас нашего положения ясно представился мне. Предстояло проехать или снова пройти всю ту же Проклятую пустыню, по которой мы шли с Мстегой, почти не имея ни малейшего запаса воды. Я ничего не сказал Сеате, но она все поняла.

— Не пугайся, милый, — сказала она, — для меня теперь ясно, что все создано волей Звезды. Я прежде смеялась над суевериями отцов, но теперь понимаю, как была я безумна. Позволь мне принести мольбу Звезде.

Она стала на колени, обратив свое лицо к Красной Звезде. И я тоже преклонил колени рядом с ней, молился впервые после многих и многих лет. И в молчании пустыни наш утлый челнок уносил нас в неведомую даль...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Ночью я греб, направляясь по звездам. Под утро утомление одолело меня. Проснувшись, я увидел, что Сеата лежит на дне лодки с закрытыми глазами. В испуге я наклонился к ней. Она взглянула на меня и слабо улыбнулась.

— Я очень слаба, мой милый, — сказала она мне, — мне кажется, это смерть.

Я был так потрясен последними днями, что эти слова не ужаснули меня. Только слезы полились из моих глаз. Я прикоснулся губами к ее руке.

Не лишения, не трудности пути губили Сеату. Зной также не был силен, так как воздух был полон водяными парами. В полдень мне удалось поймать орла, спасшегося от потопа, но теперь упавшего в воду. На время мы были спасены от голодной смерти, могли даже утолить жажду его свежей кровью. Но Сеата не хотела ни пить, ни есть. Внутренняя скорбь убивала ее. Днем я продолжал грести, придерживаясь того направления, которое я дал лодке с вечера, но далеко не был убежден, что мы плывем верно. Разве можно было определить направление в этом океане без берегов? Вода перестала прибывать. Волнение утихло. Сквозь прояснившуюся воду мне было видно дно — поверхность каменной пустыни. Глубина нового моря была всего аршина полтора. Я мог достать веслом до солончака. Весь день Сеата лежала как в забытьи. Несколько раз я смачивал ей губы кровью убитой птицы, но, приходя в себя, она не хотела пить. К вечеру она совсем очнулась и позвала меня:

— Мой милый! Мой дорогой! Нам осталось немного говорить с тобой. Я умираю.

— Сеата! Полно! — в тоске сказал я. — Зачем же умирать? Разве ты не хочешь увидеть мою землю, моих братьев?

— Полно, друг! Это несбыточная мечта. Я и не могла бы жить без моей страны, после гибели моего народа. Теперь я сознаюсь тебе во многом, в чем не решалась признаться и себе. Напрасно мечтала я о других мирах, моя душа все же была прикована к этому. Я очень любила свою страну как родину, как родную землю. Я очень любила тебя, Толе, очень, как мужа. Скажи же мне еще раз, что ты меня любишь, что ты не льстил бывшей чужеземной царевне. Скажи, чтобы я умерла счастливой.

Я припал губами к ее рукам, я шептал ей, что, теряя ее, я теряю больше, чем жизнь.

Она улыбнулась своей обычной тихой улыбкой и сказала:

— Нет, ты не виновен в гибели Горы. То Звезда отомстила лэтеям за рабов, а рабам — за лэтеев. Та же Звезда послала мне тебя, Толе, чтобы я поняла себя, а тебе — меня, твою царевну, твою Сеату, чтобы и ты

воскрес к жизни. Помни меня, а я благословляю тебя для жизни.

— Сеата! — с полным отчаянием воскликнул я. — Разве для меня будет жизнь без тебя?! Ради меня, ради души моей, не уходи, будь со мной, останься.

В слезах я целовал ее холодеющие пальцы, она уже не могла говорить, и только тихая улыбка сохранилась на ее побледневших устах. Потом она устремила взор к заведеревшему небу, и душа ее отлетела из мира земли, которым она так тяготилась при жизни.

В тот же час, как Сеата умерла, я вдруг понял всю безмерность своей любви к ней. Мне сразу как в блеске молнии представились два существа — я до этой любви и я, воскрешенный любовью. И я понял, что это два разных человека. Я рыдал, как [осужденный], я хотел бы воскресить ее хоть на время, на одно мгновение, чтобы досказать ей все, что не успел выразить при жизни. В бешенстве я проклинал себя за потерянные дни и часы, в которые можно было передать так много!

Мысль об ужасном будущем пронеслась в моей голове. С дикой решимостью я схватил дорогое мне тело, прикоснулся к нему последним поцелуем и медленно опустил его за борт. Я произнес несколько молитвенных слов над этим местом, не обозначенным никаким памятником. Потом сильным ударом весла я удалился отсюда.

Почти тотчас раскаянье овладело мной, во мне воскресло страстное желание видеть ее, целовать ее хотя бы и безжизненные руки, говорить с ней. Я начал грести назад, среди мрака наступившей ночи я искал ее тело, я без устали работал веслами, плыл взад и вперед, тщетно всматриваясь в почерневшую воду. Но мне не суждено было найти дорогой могилы.

Взошло солнце, и я увидел себя все за теми же безумными поисками. Я не знал, куда уплыл я, долго ли блуждаю. Тогда в порыве нового отчаяния я отбросил весла прочь от себя в эту спокойную безответную воду и распростерся на дне челнока, на том самом месте, где лежала Сеата, целовал те доски, к которым она прикасалась. Неожиданно возникший ветер развевал мои волосы, но я не обращал на него внимания. Мне было все равно, куда влечется моя ладья.

Так прошел день, и настала новая ночь, и краски новой зари проглянули, прогорели и погасли [на востоке]. Я смутно понимал течение времени. Я был снова во власти бреда и диких грез, то отвратительно-мучительных, то несказанно блаженных, потому что в них мне являлась снова моя царевна Сеата. И весь мир был не нужен мне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Грубое морщинистое лицо старухи негритянки и ее иссохшие руки — вот было первое, что я увидел, когда очнулся. Челнок мой прижало ветром к краю озера, образовавшегося на месте Проклятой пустыни, и выбросило на траву. Меня подобрало кочевавшее здесь племя бечуанов. Обо мне заботились и, как умели, лечили. Много дней пролежал я в горячке и, очнувшись, был так слаб, что не мог шевелиться. Добрые бечуаны кормили меня сушеным мясом и поили водой из скорлупки страусовых яиц. Только через две недели встал я на ноги и лишь через месяц мог выйти за пределы деревни.

Первую свою прогулку я совершил по направлению к Горе Звезды. Вновь образовавшееся озеро уже отхлынуло, и на месте прежней каменистой степи простиралась равнина, покрытая илом, кое-где начинавшая прорасти первым мохом и робкой травой. Ясно было, что впоследствии здесь образуется степь и появится жизнь. Пальмы вырастут над могилой Сеаты. Напрягая зрение, я всматривался вдаль, но силуэт конусообразной Горы уже не рисовался на фоне ясного утреннего неба.

С трудом оторвав глаза от дали, повернул я к ближайшему леску. Трава шелестела под моими ногами, попугаи испуганно перескакивали с ветки на ветку. Мне вздумалось испробовать, изменила ли мне рука. Со мной был бечуанский лук, которым прежде я свободно владел. Прицелившись, я спустил тетиву, стрела простонала, и попугай, как бывало, повалился с ветки на берег ручья. С несчастной улыбкой пошел я за бесполезно убитой птицей. Да! Немногое изменилось во мне, только сердце стало живым и страдающим.

Я нагнулся, чтобы поднять попугая, и увидел свое отражение в зеркале ручья. Длинные волосы по-прежнему смело падали мне на лоб, на шею, но они сверкали, как серебро. На меня из ручья смотрело лицо еще молодого человека, но с уже совершенно седой головой.

Еще печальнее улыбнулся я. Прошлая жизнь была погребена под этим снегом, а в новую я не верил. Подняв убитого попугая, я побрел в крааль друзей моих бечуанов. Больше мне некуда было идти.

Алексей ТОЛСТОЙ



Алексей ТОЛСТОЙ



СОЮЗ ПЯТИ

1*

Трехмачтовая яхта «Фламинго», распустив снежно-белые марселя, косые гроты и трепетные треугольники кливеров, медленно прошла вдоль мола, повернулась, полоща парусами, приняла ветер и, скользя, полетела в голубые поля Тихого океана.

В журнале начальника порта отметили: «Яхта «Фламинго», владелец Игнатий Руф, восемнадцать человек команды, вышла в 16.30, в направлении юго-запад».

Несколько зевак равнодушно проводили стройные паруса «Фламинго», утонувшие за горизонтом. Да еще два сероглазых парня-грузчика, сопя трубками за столиком кофейни на набережной, сказали друг другу:

— Билль, если бы «Фламинго» пошла на увеселительную прогулку, то были бы дамы на борту.

— Я тоже так думаю, Джо.

— Билль, а ведь недаром целая шайка репортеров вертелась с утра около яхты.

— Я такого же мнения, — недаром.

— А знаешь, вокруг чего они больше всего вертелись?

— Ну-ка, скажи.

— Вокруг этих длинных ящиков, которые мы грузили на «Фламинго».

— Это было шампанское.

— Я начинаю убеждаться, что ты глуп, как пустой бочонок, Билль.

— Не нужно, чтобы я обижался, Джо. Ну-ка, по-твоему, что же было в длинных ящиках?

* Все астрономические и физические данные в этом рассказе, включая также прохождение кометы Биелы в 1933 году, вполне отвечают действительности. (Прим. автора.)

— Если репортеры не могли разнюхать, что было в ящиках, значит, никто этого не знает. А кроме того, «Фламинго» взяла воды на три недели.

— Тогда, значит, Игнатий Руф что-то задумал. Не такой он человек, чтобы даром болтаться три недели в океане.

Так поговорив, оба парня отхлебнули пива и, опираясь голыми локтями о столик, продолжали насасывать пенковые трубки.

«Фламинго» под всеми парусами, слегка накренясь, летела наискосок сине-зеленым волнам. Матросы в широких холщовых штанах, в белых фуфайках и белых колпачках с кисточками лежали на полированной палубе, поблескивающей медью, поглядывали на поскрипывающие рей, на тугие, как струны, ванты, на прохладные волны, разлетающиеся под узким носом яхты на две плены.

Рулевой, крепколицый швед, сутуло стоял на штурвале. Огненно-рыжую бороду его, растущую из-под воротника, отдувало ветром вбок. Гнались несколько чоек за яхтой и отстали. Солнце клонилось в безоблачную, зеленоватую, золотую пыль заката. Ветер был свеж и ровен.

В кают-компании у прямоугольного стола сидело шесть человек молча, опустив глаза, сдвинув брови. Перед каждым стоял запотевший от ледяного шампанского широкий бокал. Все курили сигары. Синие дымки наверху, в стеклянном колпаке, подхватывало и уносило ветром. Зыбкие отблески солнца сквозь иллюминаторы играли на красном дереве. От качки мягко вдавливались пружины сафьяновых кресел.

Следя за пузырьками, поднимающимися со дна бокалов, пять человек — все уже немолодые (кроме одного, инженера Корвина), все одетые в белую фланель, сосредоточенные, с сильными скулами и упрямыми затылками — слушали то, что вот уже более часа говорил им Игнатий Руф. Никто за это время не прикоснулся к вину.

Игнатий Руф говорил, глядя на свои огромные руки, лежавшие на столе, на их блестящие плоские ногти. Розовое лицо его с огромной нижней частью выразительно двигалось. Грудь была раскрыта, по морскому обычаю. Короткие седые волосы двигались на голове вместе с глубоко вдавленными большими ушами.

— ...В семь дней мы овладеем железными дорогами, водным транспортом, рудниками и приисками, завода-

ми и фабриками Старого и Нового Света. Мы возьмем в руки оба рычага мира: нефть и химическую промышленность. Мы взорвем биржу и подгребем под себя торговый капитал...

Так говорил Игнатий Руф, негромко, но с уверенностью выдавливая сквозь зубы короткие слова. Развивая план действия, он несколько раз возвращался к этой головокружительной картине будущего.

— ...Закон истории — это закон войны. Тот, кто не наступает, нанося смертельные удары, тот погибает. Тот, кто ждет, когда на него нападут, — погибает. Тот, кто не опережает противника в обширности военного замысла, — погибает. Я хочу вас убедить в том, что мой план разумен и неизбежен. Пять человек из сидящих здесь (исключая Корвина) богаты и мужественны. Но вот завтра эскадра германских воздушных крейсеров бросит на Париж тысячу ипритовых бомб, и через сутки весь земной шар окутается смертоносными облаками. Тогда я не поставлю ни одного цента за прочность стальных касс — ни моей, ни ваших. Теперь даже детям известно, что вслед за войной тащится революция.

При этом слове четверо из сидящих за столом вынули сигары и усмехнулись. Инженер Корвин не отрываясь глядел матовыми невидящими глазами в длинное, как в изогнутом зеркале, лицо Игнатия Руфа.

— ...Несмотря на эту опасность, немало находится джентльменов, которые считают войну основным потребителем промышленного рынка. Эти джентльмены — шакалы. Они трусливы. Но есть другие джентльмены: они видят в войне неизбежного разрядителя промышленного кризиса, в своем роде пульсирующее сердце мира, которое периодическими толчками гонит фабрикаты по артериям рынков. Эти джентльмены очень опасны, так как они консервативны, упрямы и политически могущественны. Покуда они стоят; непосредственно или через рабочие правительства, на руле государственного корабля, мы ни одной ночи не можем спать спокойно. Мы всегда на волосок от промышленного кризиса, от войны и революции. Итак, мы должны вырвать инициативу из рук консервативно мыслящей промышленной буржуазии. Эти джентльмены, рассуждающие как лавочники эпохи франко-прусской войны, эти допотопные буржуа, эти собственные гробокопатели должны быть уничтожены. Мы должны овладеть мировым промышленным капиталом. Покуда коммунисты только еще мобилизуют силы, мы неожид-

данным ударом бросимся на буржуазию и овладеем твердынями промышленности и политической власти. А тогда мы легко свернем шею и революции. Если мы так не поступим — в спешном, в молниеносном порядке, — лавочники не позже апреля будущего года завяжут химическую войну. Вот копия секретного циркуляра, написанного в Вашингтоне, — о скупке за океаном всех запасов индиго. Как вам известно, из индиго готовится горчичный газ...

Инженер Корвин вынул из портфеля бумагу. Игнатий Руф положил ее на стол, прикрыл ладонью. На лбу его надулась поперечная жила, углы прямого рта опущены, розовое лицо приняло выражение решительности и свирепости.

— ...Идея нашего наступления такова: мы должны поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом...

Четверо сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнатий Руф сильно потянул воздух ноздрями.

— ...Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности. Мы скупим их за гроши. Когда через семь дней наши враги опомнятся — будет уже поздно. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на Земле.

Игнатий Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала.

— ...Каким же способом мы достигнем нужного эффекта — мирового ужаса? Сэр, — он грузно повернулся к инженеру Корвину, — покажите ваши чертежи...

Покуда в рубке происходил этот странный разговор, солнце опустилось за помрачневший край океана. Рулевой, следуя данному еще на берегу приказанию, повернул к югу.

«Фламинго», выбрав гроты и штурмовые кливера, весело летела под сильным креном, то зарываясь до палубы между черными волнами, то сильно и упруго взлетая и встряхиваясь на их гребнях. Доброе было судно.

Пена в свету иллюминаторов кипела, стремительно уносясь вдоль бортов его. За кормой оставалась волнующаяся голубоватая дорога морского свечения. В темноте вспыхивали гребни волн этим холодноватым светом.

Рулевой, швед, навалился грудью на медный штурвал. Ветром выдуло искры у него из трубки. Ветер крепчал. Пришлось «взять рифы» и убрать марселя. Матросы побежали по вантам и, скручивая паруса, раскачивались на мачтах, как грачи в непогоду.

За океаном поднималась луна — медным огромным шаром выплывала из тусклого сияния. Свет ее посеребрил паруса. Тогда на палубу вышли Игнатий Руф и пятеро его гостей. Они остановились у правого борта, подняли бинокли и глядели, все шестеро, на лунный шар, висящий над измятой пустыней океана.

Рулевой, с изумлением следивший за этим праздным занятием, которому предалились столь почтенные и деловые джентльмены, услышал резкий голос Игнатия Руфа:

— Я отлично различаю это в бинокль. Ошибки быть не может...

.

В третьем часу ночи был разбужен кок: в рубку потребовали холодной еды и горячего грога. Гости все еще продолжали разговаривать. Затем, перед рассветом, шесть человек опять смотрели на лунный шар, плывший уже высоко между бледных звезд.

На следующий день Игнатий Руф и четверо его гостей отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе. Инженер Корвин ходил от носа до кормы и хрустел пальцами. День прошел в молчании.

Наутро из-за края океана, из солнечной чешуи, поднялся островок. Игнатий Руф и гости молча глядели на его скалистые очертания. Корвин стоял в стороне, скромный, молчаливый и бледный.

«Фламинго» вошла в серпообразную бухту, бросила якорь и спустила гостей в шлюпку, полетевшую по зеленоватой, прозрачной, как воздух, воде лагуны. Ленивая волна выбросила ее на песчаный берег.

Здесь между осколков базальта покачивались тонкие стволы кокосовых пальм, за ними весь склон был покрыт вековым буковым лесом, дальше возвышалась отвесная гряда скал. Игнатий Руф указал на них рукой, и он и гости пошли по недавно проложенной просеке в глубь острова.

— Я заарендовал остров на двадцать пять лет с правом экстерриториальности, — сказал Игнатий Руф. — Здесь достаточное количество пресной воды

и строительного материала. Мастерские мы построим в горах. Эти горы образуют правильное кольцо, окружая остатки потухшего вулкана. Его кратер — полтора километра в диаметре — превосходное место для сборки аппаратов. Придется лишь очистить от камней дно — лучшей площадки нельзя придумать. Части аппаратов заказаны на заводах Америки и Старого Света. Пароходы заарендованы и частью уже грузятся. Если сегодня мы подпишем договор — с будущей недели работа пойдет полным ходом.

Просека подвела к плоскому озеру пресной воды. На берегу стояли дощатые новенькие бараки. У одной двери сидел на корточках китаец-рабочий и курил длинную трубку, другой мыл белье в озере. Вдалеке слышался стук о деревья многих топоров. Между скал карабкалась вереница осликов, навьюченных мешками с цементом. Инженер Корвин объяснил, что сейчас идет прокладка дорог и установка фундаментов для мастерских. Он указал тростью на седловины в горах, где можно было различить ползающие человеческие фигурки.

Гости — четверо крупнейших промышленников, друзья Игнатия Руфа, — со сдержанным волнением слушали объяснения инженера. Подбородки их каменели. Вчерашний фантастический план, предложенный Игнатием Руфом, сегодня казался твердым предприятием, рискованным, но дьявольски дерзким. Вид работ в горах, самый массив гор, принадлежащих Игнатию Руфу, его уверенность, точные объяснения инженера, реальность всего этого острова, залитого пылающим солнцем, шумящего волнами прибоя и вершинами пальм, даже китаец, мирно полощущий белье, — все это казалось убедительным. И, кроме того, было ясно, что Игнатий Руф не отступится от дела и пойдет на него даже один.

Промышленники вошли в пустой барак и долго совещались. Игнатий Руф в это время сидел на пне и бросал в озеро камешки. Когда компаньоны вернулись к нему из барака, вытирая платками черепа и затылки, он дико взглянул в их багровые лица, огромная челюсть его отвалилась.

— Мы идем с вами до конца, — сказали они, — мы решили подписать договор.

Люди, которым платят деньги за то, чтобы они совали нос туда, куда их не просят, — репортеры американских газет, — разнюхали о плавании «Фламинго», о контрактованных Игнатием Руфом парходах, о работах на острове и начали запускать сенсации.

Все эти газетные заметки вертелись вокруг любопытнейшей тайны — трех длинных ящиков, погруженных на «Фламинго». «ТАЙНА ТРЕХ ЯЩИКОВ». «ТАИНСТВЕННЫЕ ЯЩИКИ ИГНАТИЯ РУФА». «В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТНИЦУ НАША ГАЗЕТА ОТВЕТИТ НА ВОЛНУЮЩИЙ ВЕСЬ МИР ВОПРОС: ЧТО БЫЛО В ЯЩИКАХ НА «ФЛАМИНГО»?» Собачьи носы журналистов попали на верный след: содержимое ящиков представлялось ключом к разгадке грандиозных и непонятных работ, начатых на острове Руфа.

Матрос из команды «Фламинго» рассказал репортерам, что в день прибытия яхты на остров ящики были выгружены и на ослах увезены в горы, куда направились также Игнатий Руф и его гости. Но вот что было странно: в горах джентльмены оставались всю ночь, днем вернулись на яхту, выспались, а на вторую ночь и на третью снова уезжали на ослах в сторону потухшего кратера.

Захудалая газетка, которой нечего было терять, выпустила экстренный номер:

«Тайна раскрыта. В ящиках Руфа были упакованы три чудовищно обезображенные трупы танцовщиц из нью-йоркского Мюзик-Холл-Хаус».

Ураган статей, телеграмм, заметок пронесся по американской прессе. В редакциях фотографировали местных дактилографисток и печатали их портреты под видом жертв таинственного преступления.

Другая, ничего не теряющая газетка решительно выступила против версии о танцовщицах. Она опубликовала снимок с трупов трех агентов Коминтерна, замученных и убитых членами ку-клукс-клана. Три еврея, потерпевшие аварию на житейском океана, дали себя снять для этой цели в ящиках из-под канадских яиц.

Киносиндикат спешно подремонтировал старую итальянскую ленту из быта кровавой Каморры. Чарли Чаплин, уступая давлению злободневности, выступил в сильно комической картине: «Чарли боится длинных ящиков». В конце «недели о ящиках Руфа» произошли

грандиозные митинги. В Филадельфии линчевали двух негров.

Но Игнатий Руф вернулся на материк и не был арестован. Во всех газетах появились его портреты и краткая биография. Вздор о трупах был решительно опровергнут. В ящиках находились всего-навсего астрономические инструменты. «Игнатий Руф, — сообщалось, — увлечен за последнее время астрономией и строит на острове Небесную лабораторию».

Так чья-то опытная рука привела в порядок газетную суматоху и направила ее по определенному руслу. Возбуждению в стране не давали улечься. Имя Игнатия Руфа снова начало подергиваться тайной. Писали о стодвадцатидюймовом гигантском рефракторе, установленном в горах на острове Руфа. Сообщалось о необычайной силе и чувствительности астрономических приборов.

Все это интересовало только обывателей. Биржа и финансовые круги оставались спокойными. При всей осторожности нельзя было отыскать ни малейшей связи между астрономией и экономикой. Хотя люди, близко знавшие Руфа, недоумевали: каким это чудом человек, интересовавшийся только нефтью и химической промышленностью, начал вдруг шарить глазами по небу, где уж, наверное, не найдешь ни одного цента?

Так прошло около полугода. Игнатий Руф наконец нанес подготовленному общественному мнению первый удар.

3

От скал, острых, как хребет дракона, легли угольно-густые тени — они тянулись вниз до середины кратера. Кое-где между расселинами поблескивали лунным светом стекла в бараках. Вырисовывались ажурные очертания железных мачт канатной дороги. Сухо трещали цикады. Бесшумно летала сова — обительница горных щелей. Сюда едва доходил сонный шум океана.

На краю ровной площадки стоял инженер Корвин и глядел вниз, откуда слышалось тяжелое дыхание и хруст камешков. Это шел Игнатий Руф. Череп его был покрыт фуляром, жилет расстегнут. Он взобрался на площадку, отдышался и поднял голову к лунному диску.

Яркая луна, казалось, притягивала и воды океана, прорезанного сверкающей дорогой, и невероятные замыслы Руфа.

— В порядке? — спросил он и повернулся к приземистому каменному зданию. По шершавым стенам его скользили тени ящериц. Сквозь полукруглый купол высовывалась в небо огромная металлическая труба.

Инженер ответил, что все в порядке: новый рефрактор установлен и, движимый часовым механизмом, ползет вслед за Луной. Увеличение чудовищное: различимы площади до квадратного километра.

— Я хочу это видеть, — сказал Руф.

Они вошли в темную обсерваторию. Руф сел на лешенку перед массивным окуляром. Корвин остановился у второго инструмента, привезенного некогда на «Фламинго». В тишине тикал часовой механизм. Корвин сказал:

— Объектив наведен на Море Дождей. Сядьте удобнее, без напряжения. Снимите колпачок со стекла.

Игнатий Руф приблизил глаз к медной трубке окуляра и сейчас же отдернул голову: ослепительный серебряный свет ударил ему в зрачки. Руф издал одобрителное мычание и опять потянулся к стеклу.

Застилая все поле зрения, лунная поверхность казалась такой близкой, что хотелось коснуться ее. Это была северная часть лунного шара — застывшая, пустынная равнина Моря Дождей. С северо-западной стороны Радужного залива входили в нее последние отроги Лунных Альп. Далеко на юге лежали гигантские, таинственного происхождения, цирки Архимеда и Тимохариса.

— Вы видите, направо от кратера — борозда, с юга на север. Это так называемая Поперечная Альпийская Долина. Ширина ее около четырех километров и длина сто пятьдесят километров, — сказал Корвин. — Эта трещина произошла от удара большого мирового тела о лунную поверхность.

— Да, я вижу эту трещину, — проговорил Игнатий Руф.

— Теперь смотрите южнее. В области цирка Коперника находится система трещин. Они мелкие и извилистые, происхождение их иное. Вторая система трещин, Триснекера, — на запад от Океана Бурь. Третья — в области цирка Тихо. Всего обычно насчитывают триста сорок восемь трещин. Но в наш рефрактор за одну вчерашнюю ночь я насчитал их более трех тысяч.

— Вы уверены, что эти трещины не имеют отношения к горным образованиям?

— Да. Несомненно, они позднейшего происхождения. Кроме того, они увеличиваются в длине, число их умножилось за полустолетие. В течение четырнадцати лунных дней видимая нам поверхность луны накаливается солнцем. Так как теперь там нет атмосферы, то жар достигает огромных температур. Затем солнце закатывается, и лунное полушарие погружается в четырнадцатидневную ночь, в эфирный холод, наступающий мгновенно после заката. Возьмите каменный шар, накалите его добела и бросьте в ледяную воду...

— Он треснет на мелкие куски, черт его возьми! — воскликнул Руф и долго еще затем дышал, у него билось сердце.

— Так же точно трескается лунный шар. В имеющиеся трещины попадает либо влага, еще оставшаяся на Луне, либо углекислота. Затем, застывая, они значительно углубляют трещины.

— Они раздирают ее до самого центра...

— Да. Луна состоит из легких сравнительно материалов, не обладающих большой вязкостью. Рано или поздно планета должна распасться. Если в ней еще имеется раскаленное ядро — тем лучше: в случае слишком быстрого проникновения холода сквозь расширенные трещины оно взорвется, как бомба...

— Дай-то бог, дай-то бог, — прошептал Игнатий Руф. Он с жадностью осматривал изрытые впадинами и будто следами от лопнувших пузырей унылые пространства лунных равнин. Этот труп далекого мира будет брошен в свалку страстей, воль и честолюбий, сыграет решающую роль в задуманной игре!

С перегоревшим вздохом Руф оторвался от окуляра.

— Я нахожу необходимым привести сюда журналистов и показать им трещины, но нужно быть уверенным, что эта сволочь увидит только то, что им нужно увидеть, и не сунет носа в наши работы.

— Мы проведем их в обсерваторию ночью, — ответил Корвин, — собранные аппараты и все, что должно быть скрыто, мы поместим в лунную тень — она ложится до половины кратера.

Руф и Корвин снова вышли на площадку. Действительно, в этот час скалистые горы казались пустынными. Глубоко под ногами виднелся лишь хаос камней. Густая тень покрывала толевые крыши мастерских на

дне кратера, склады материалов и «собранные аппараты».

Работы производились в величайшей тайне. Никто из работающих на острове не имел права отлучиться. Письма просматривались. Пароходы выгружались на открытом рейде, откуда материалы подавались по канатной дороге в горы. С борта ни один человек не спускался на берег.

— Очень хорошо,— сказал Игнатий Руф, раскуривая сигару.— На рассвете я отплываю на континент. Я сам привезу журналистов. Приготовьте нужные материалы для статей и ведите работы полным ходом. Помните, если мы ошибемся в вычислениях,—полный разгром и гибель... На карту поставлены миллиарды долларов. Если провал, то...

Огонек сигары в его руке описал сложную восьмерку.

4

«Страшное открытие в обсерватории Игнатия Руфа» — таков был заголовок статьи, которая 14 мая появилась во всех североамериканских газетах и в тот же день была передана по радио в Европу.

Обстоятельно и научно рассказывалось в этой статье о роковом приближении конца земного спутника. Процесс его растрескивания идет с ужасающей быстротой. За короткое время наблюдения в рефрактор Руфа на поверхности Луны появилось несколько тысяч новых трещин. Распадения лунного шара возможно ожидать каждую минуту. «Мы не поручимся,— говорилось,— что завтра в ночь наши юные мечтательницы увидят вместо древней покровительницы влюбленных раскиданные по ночному небу осколки. Но мы будем все же надеяться, что бог по своему милосердию не допустит гибели нашего прекрасного мира — гибели, так как почти вероятно, что осколки будут притянуты Землей...»

«Согласно нашему взгляду на образование мира,— говорилось далее,— в свое время вблизи земной орбиты должны были обращаться, кроме Луны, и другие массы довольно больших размеров. Часть их была притянута Луной и упала на ее поверхность,— следы этих ужасных столкновений мы видим в виде лунных цирков. Другая часть столкнулась с Землей. Последнее такое столкновение произошло в сравнительно недав-

ние времена. Изменение климатов в геологические эпохи, в особенности существование тропической растительности в тех местах, где ныне область полярной ночи, указывают с несомненностью на то, что существовал второй спутник, упавший на Землю в конце палеозойской эры и отклонивший земную ось. Наблюдаемые колебания полюсов — не что иное, как последние следы, оставшиеся от такого удара в форме постепенно замедляющихся движений земной оси по поверхности конуса. Ныне, быть может, нам придется быть свидетелями окончательного осиротения земного шара среди небесных пространств...»

Статья произвела ожидаемое впечатление. Сердце человечества сделало перебой в этот день. Телеграф перепутал адресатов и содержание депеш, отчего случилось множество житейских неприятностей. Телефон превратился в сумасшедшую кашу номеров, и много телефонных барышень нервно заболело от бешеной ругани абонентов. Трамваи пошли не по тем линиям. Было множество задавленных всеми системами экипажей. Магазины закрылись, так как никто ничего не покупал в этот день, кроме общедоступных книг по астрономии.

Правительственные аппараты застопорились. Из многих тюрем бежали арестанты. Поезда уходили пустыми — и к счастью: за один этот памятный день двадцать процентов паровозов и поездного состава наехало друг на друга, свалилось под откосы. И наконец, из страны проклятых большевиков раздалось (по радио) уже окончательно ни к селу ни к городу злорадное: «Ага... Дождались...»

Одним словом, в день 14 мая на всем земном шаре произошел неопиcуемый переполох. С ужасом, в испуге ждали ночи. Головы всех были задраны к звездному небу. Когда над крышами, над железными мостами, над шпилями колоколен, над гигантскими кранами заводов поднялась мирным и стареньким диском обыкновенная луна — пронесся вздох облегчения и разочарования. Стало даже по-мещански скучно.

Так несколько дней ждали гибели мира. Держали пари. Луна продолжала тихонько плыть по небу. Настроение улучшилось. На улицах стали продавать «карманные телескопы» и закопченные стекла. Огромным успехом пользовались булавки и броши с изображением Луны, подмигивающей глазом. Газеты пестре-

ли адресами хиромантов, точно предсказывающих «день, которого нужно бояться».

Мисс Сесиль Эспер, единственная дочь анилинового короля, появилась на банкете яхт-клуба в лунного цвета платье, в бесцветном ожерелье и в диадеме из лунных камней. Дамы ахнули. Владельцы домов готового платья ахнули. Великие портные и модные ювелиры ахнули. Лунный шелк и лунный камень объявлены были модой.

Писались стихи о Луне. Выгонялись химическими составами голубые цветы. В шикарных ресторанах появилось даже лунное мороженое, чрезвычайно обременяющее желудок. Имя Игнатия Руфа облетело все земные широты. Но биржа, мудрая и осторожная, не ответила на эту суматоху колебанием ни на один цент.

5

Стеклянной равниной лежал бесцветный океан под косматым пылающим солнцем. От гор струилось марево. Поникла листва на деревьях. Высокие метелки пальм, казалось, предали себя зною — распустились в сине-горячем небе. Трехмачтовый «Фламинго», как призрак, висел над прозрачной лагуной. Нестерпимо блестели стальные канаты, по которым в воздухе, по направлению зубчатых скал, ползли вагонетки.

Остров казался пустынным. Но по ту сторону гор, в кратере, шла напряженная работа. Туда по белому шоссе, спугивая ящериц и змей, поднимался автомобиль. Правил Руф. Оборачиваясь к четверем своим компаньонам, задыхавшимся от жары, он говорил:

— Мы работаем теперь в четыре смены, и то рабочие едва выдерживают: вчера упало пятнадцать человек от солнечного удара. Кратер накаляется, как печь. Китайцы целыми толпами требуют расчета. Пришлось на перевалах поставить пулеметы. Еще хуже с американскими мастерами. Они грозят судом. Черт возьми, на острове нет ни женщин, ни развлечений. Я приказал выстроить кабак около ручья — еще хуже; за неделю выпито сто ящиков виски и ликеров. Инженер Корвин ходит на работы с заряженным револьвером. Завтра прибывает наконец пароход с проститутками. Я очень надеюсь, что это оздоровит остров.

Компаньоны посапывали, вытираясь платками. Эти две недели после опубликования знаменитой статьи

вселили в них величайшую надежду и величайшую тревогу. Общественное мнение реагировало сильнее, чем ожидали. Биржа никак не ответила на удар. Работы подвигались успешно, и пробные опыты удались, но все это стоило огромных денег, и, кроме того, Руф пренебрегал, видимо, уголовным законодательством.

На перевале открылся вид работ на дне кратера. Дымила труба электрической станции. Снопы света шли от стеклянных щитов солнцеприемников. Желтые и розовые клубы дыма резкими облаками возносились из-за черепичных крыш химической лаборатории. По узкоколейным путям двигались вагонетки с материалами и подъемные краны, похожие на виселицы. Под косыми навесами трещали пневматические пробойники, и воздух сокрушали металлические удары молотов. Среди свалок, бунтов железа и гор из бочек и мешков бродили голые люди в конусообразных шляпах.

В стороне, там, куда по ночам падала лунная тень, лежали рядами десятиметровой длины металлические яйца с многогранным острым бивнем на одном конце и широким раструбом на другом.

— Шестьдесят аппаратов уже готово, — сказал Игнатий Руф, указывая кивком головы на яйца, — их остается только зарядить. Мы должны довести число их до двухсот, хотя по расчетам хватило бы и половины.

Он пустил автомобиль по извилистой дороге вниз и через несколько минут остановился у приземистого здания из неотесанных камней. На плоской крыше его стояло два пулемета. Инженер Корвин подошел к автомобилю и, как всегда, без улыбки, молча приподнял тропический шлем.

— Джентльмены пожелали ознакомиться с готовыми аппаратами, — сказал Руф, — джентльмены хотят задать вам несколько технических вопросов.

Все вышли из машины и вслед за Корвином направились к аппаратам. Перебежавший дорогу голый китаец обернулся и оскалил желтые зубы. Трое белых рабочих неподалеку начали было рычать, поводя плечами, но Корвин взглянул на них темным взором, и они, ворча, отошли.

Аппараты лежали каждый в конце подъездного рельсового пути, который вел в центр кратера, к бетонной площадке с установленным на ней металлическим наклонным диском. Инженер Корвин, чертя тростью на песке, постукивая ею по заклепкам стальных яиц, говорил:

— Впервые подобный снаряд, приспособленный для двоих пассажиров, был построен в Петрограде в тысяча девятьсот двадцать первом году инженером Лосем. Он покрыл на нем пятьдесят миллионов километров. К сожалению, чертежи его пропали. Второй аппарат, начиненный сильно дымящим веществом, был отправлен три года тому назад из Южной Америки на Луну и достиг ее поверхности. Принцип весьма прост. Это ракета. Внутри яйца — камера с запасом ультралиддита. Здесь, — Корвин указал на цилиндрический хвост яйца, — ряд отверстий, куда устремляются газы взрывающегося постепенно, частями, ультралиддита. В верхней части, там, где инженер Лось устраивал жилую камеру, мы помещаем пять тонн нитронафталина. Ужасающая взрывчатая сила этого вещества вам известна. Затем, — он ударил тростью о литые грани пирамидального бивня на другом конце яйца, — это бронебойная головка. Она из сибирской молибденовой стали. Если предположить, что снаряд подойдет к поверхности Луны со скоростью пятидесяти километров в секунду, то при ударе он должен проникнуть в лунную почву на чрезвычайную глубину.

Промышленники, плотно упираясь ногами в землю, слушали. Один из них, низенький, тучный, с крючковым носом, сказал:

— Все-таки как же, черт его возьми, оно полетит?

— Так же, как ракета: толкающим действием газов, образующихся при длительном взрыве, — ответил Корвин. — При поднятии ракеты воздух не участвует в действии, он лишь тормозит скорость. В безвоздушном пространстве ракета летит по закону свободно движущихся тел, с постоянным ускорением. Теоретически ее скорость должна достичь предела, то есть скорости света. Но при больших скоростях вокруг тела развиваются магнитные поля, которые могут даже остановить тело в пространстве. Этим магнитным влияниям особенно боялся инженер Лось, хотя ему удалось достичь скорости в тысячу километров в секунду.

Тогда второй из промышленников, метис, мрачный и свирепый, сказал:

— Двести снарядов! Но этого мало, чтобы взорвать проклятую Луну! Мы ее только исковыряем.

— Снаряды попадут математически все в одну точку, — ответил Корвин, — каждый, войдя в сферу притяжения Луны, получит направление к ее центру, даже если бы мы отправили их с различных точек земной

поверхности. По моим расчетам, снаряды упадут в область Океана Бурь. Один за другим через промежутки в семьдесят минут они будут вонзаться в глубь лунного шара. Мы будем долбить его как бы чудовищным долотом. И с каждым снарядом — взрыв пяти тонн нитронафталина. Я бы не хотел в это время там курить мою трубку.

Эта тонкая шутка была принята снисходительными улыбками. Третий из промышленников сказал, впившись ногтями в подбородок:

— Очень хорошо. Но мы знаем по опыту европейской войны, что ядра даже самых больших пушек делали ничтожные воронки. А ведь нам нужно разломать шар величиной всего лишь в тридцать с половиной раз меньше земного.

— Живая сила ядра большого морского орудия равна приблизительно десяти миллионам килограммов, — ответил Корвин. — Если принять вес нашего яйца за десять тонн и скорость в пятьдесят километров в секунду, то живая сила, то есть давление при ударе нашего яйца о поверхность Луны, выразится в семьдесят пять триллионов килограммов. Я боюсь одного: что снаряды станут пронизывать Луну, как лист картона.

Промышленники плотно поджали губы. Четвертый, маленький, в очках, похожий на старого сверчка, пристально стал смотреть на Корвина седыми глазами:

— Я хотел задать существенный вопрос, сэр, — прокрипел он высоким голосом, — мы собираемся устроить «неделю ужаса», иными словами — одурачить умнейших и хитрейших людей во всем мире, сэр... Но среди нас возникло сомнение: а что, если мы ошибаемся? А что, если это шутка с Луной превратится в серьезную опасность? Мы заработаем, но Луна шлепнется на Землю, сэр... Вы уверены, что она не шлепнется, сэр?

Инженер Корвин молчал. Под сухой смуглой кожей его на скулах двигались желваки.

— Очень хорошо, — сказал он коротко, — на это я вам отвечу через час.

6

В рубке «Фламинго» в конце обеда, когда подали кофе и ликеры, инженер Корвин отодвинул несколько свой стул, положил на острое колено листок бумаги, исписанный математическими формулами, и начал говорить:

— Луна, так же, как Земля, так же, как все планеты нашей системы, как пояс астероидов, кометы и потоки падающих звезд, образовалась из гигантского кольца, некогда вращавшегося вокруг Солнца. Части кольца распались, уплотнились, образовали пылающие миры — небольшие солнца.

Вокруг каждого из этих миров, в свою очередь, стало вращаться кольцо раскаленной, но хладающей материи, подобно кольцу Сатурна, последнего остатка этого почти закончившегося процесса.

Маленькое светило — Земля — также было охвачено системой колец, вращающихся с различной скоростью. По мере охлаждения кольца разрывались, части их уплотнялись, образуя малые планеты, или небесные тела. Самым крупным из таких тел была Луна: она притягивала близко проносящиеся массы, они падали и поддерживали ее в раскаленно-жидком состоянии.

То же происходило и с Землей. Она втягивала в сферу своего притяжения остатки разорванного кольца и, может быть, не раз уже потухнув, под действием этих чудовищных ударов снова и снова вспыхивала звездой.

Понемногу процесс собирания материи окончился. Близ Земли оставались еще два свободных мира — Луна и второй, упавший во времена палеозойской эры, спутник; Земля овладевала их движениями силой тяготения. Оба тела постепенно падали по спиральной кривой на Землю.

Луна, еще жидкая, вращалась вокруг своей оси. Но при каждом обороте под действием земного притяжения по ней пробежала огромная волна прилива — судорога умирающего, попадающего в плен мира. Вращение Луны тормозилось этими приливами, замедлялось. Луна принимала форму яйца, обращенного толстым концом к Земле.

Наконец ее вращение вокруг оси прекратилось, и она застыла и стала спутником Земли, подойдя к ней на расстояние трехсот восьмидесяти четырех тысяч километров. Так как скорость Луны равна одному километру в секунду — я беру цифры приблизительно, — то, по закону Ньютона, $x = \frac{v^2}{2g}$, *икс*, то есть величина, на которую каждую секунду Луна приближается к Земле, падает на Землю, равна одному и трем десятым миллиметра. Но напряжение силы тяжести на расстоянии Луны также равно одному и трем десятым миллиметра. Таким образом, согласно закону мирового тяготения,

Луна кажется вполне уравновешенным телом. И это было бы, если бы Земля и Луна представляли математические тела в идеальном пространстве.

Но закон Ньютона требует поправок: в формуле $x = \frac{v^2}{2}$ отброшен квадрат одной малой величины, который является роковым для судьбы Земли. Принимая эту поправку, принимая затем влияние лунного притяжения на воды земных океанов — приливы — и вызываемое ими замедление движения самой Земли, Ч. Дарвин показал, что Луна приближается к Земле, стремясь войти с ней в твердую связь, то есть, согласно третьему закону Кеплера, приблизиться настолько, чтобы время ее обращения вокруг Земли было равно земному дню. Только тогда, как бы скрепленные невидимыми связями, оба тела установят между собою полное равновесие.

Но и этот закон чисто математический; влияние тяготения кометы Биелы, увеличение плотности земного ядра, возмущение магнитных полей под влиянием солнечных пятен, затем вторая поправка закона Ньютона приводят нас к выводу, что оба тела должны окончательно сблизиться.

Инженер Корвин оглядел собеседников, затаивших дыхание. Его щеки порозовели, на всегда жестких губах неожиданно легла усмешка.

— Пятьдесят тысяч лет в худшем случае отделяют нас от последнего часа Земли. (Игнатий Руф и четверо его компаньонов свободно выдохнули воздух, вытерли черепа, налили золотые, зеленые, розовые ликеры в рюмочки.) Падение лунного шара на Землю вызовет выделение такого громадного количества тепла, что обе планеты вспыхнут, расплавятся и сольются в новое тело. И быть может, вторичная жизнь, которая возникнет на новой Земле, увеличенной в размерах и обогащенной пожаром, будет лучше нашей. В это я также верю. Вот вам все данные. Что же касается нашего предприятия, то мы действительно несколько приблизим срок падения осколков Луны на Землю...

— То есть мы это именно и желаем от вас услышать: на какой приблизительно срок...

— Я подсчитал: тысяч на десять лет...

— Во всяком случае, сорок тысяч лет в нашем распоряжении! — громогласно крикнул Игнатий Руф и в первый раз за все течение этого рассказа рассмеялся, откидывая преувеличенно большую челюсть.

Руф и его компаньоны остались удовлетворенными объяснениями инженера. В тот же день, 26 мая, были пересмотрены и утверждены списки фабрик, транспортных компаний, нефтяных приисков и химических заводов, которыми решено было овладеть в «неделю ужаса».

Во все стороны света были посланы агенты — вести переговоры с намеченными в списке предприятиями. Переговоры были маской. «Союз пяти», подготавливая ограбление целого мира, осторожно и тщательно исследовал состояние биржи и рынка: открывал онкольные счета, сажал на места своих маклеров, перекупал газеты и основывал новые, раздавал чудовищные авансы ученым-популяризаторам и писателям, обладающим хотя бы каплей фантазии.

На книжный рынок полились потоки астрономических рассказов, утопий, мрачной мистики, апокалиптических поэм. В Швейцарии возродилась теософская община. Члены ее разъезжали по городам, говорили о наступающем дне страшного суда и учреждали ложи борьбы с антихристом.

В конце июля вышла небольшая заминка: по обыкновению в это время года с Балкан потянуло трупным запахом, пошли тревожные слухи, и истерическая стрелка биржевого барометра подвинулась к «буре».

Тогда Игнатий Руф бросился в Европу, как кабан в тростники. Он устроил заем Италии, свалил в Югославии министерство. С чудовищной ловкостью, нажимая тайные пружины, созвал конференцию Малой Антанты. Надавал приятных обещаний Германскому союзу. Опубликовал поддельный документ Московского реввоенсовета, чем вызвал в Польше бешеный взрыв ненависти и отвлек ее внимание от дел на Балканах.

В какие-нибудь пять недель он предотвратил очередную опасность войны и вернулся на воздушном корабле в Нью-Йорк. Тогда появилась во всех газетах вторая статья за подписью астронома Ликской обсерватории:

Возвращение кометы Биелы.

«Как известно, ежегодно 30 ноября Земля проходит через орбиту кометы Биелы. Об этом свидетельствуют потоки падающих звезд — малых небесных тел, разбросанных по всему пути кометы. Каждые двадцать три го-

да Биела проходит близко от Земли, почти в точке пересечения орбит. Тогда звездные потоки, выходя из созвездия Льва, огненной метлой раскидываются по всему небу и представляют восхитительное зрелище.

Известен в истории случай, когда в 1783 году вследствие неточности вычисления ожидали столкновения Земли с Биелой. Людей охватил ужас. В Париже были случаи смерти от страха. Недостойные представители духовенства, предлагая за хорошие деньги полное отпущение грехов, недурно обделывали свои дела. Великий геометр Лаплас писал в то время:

«...Действие подобного столкновения нетрудно себе представить: положение оси и характер вращения Земли должны измениться, море покинуло бы свое теперешнее лоно и устремилось бы к новому экватору, люди и животные погибли бы в этом всемирном потоке, все народы были бы уничтожены, все памятники человеческого ума разрушены...»

Но столкновения не произошло и не могло произойти, так как Земля опаздывает на несколько часов в точку пересечения орбит и настигает только хвост кометы в виде потоков падающих звезд.

Столкновение, однако же, возможно, но лишь тогда, когда прохождение кометы через перигелий, то есть ближайшую к солнцу точку ее орбиты, придется на 28 ноября. Подобный случай бывает только раз в 2500 лет. Нынешний 1933 год как раз является этим годом.

Но опасаться, как это было раньше, нам нет основания. Масса головы кометы слишком ничтожна и разрежена, чтобы наделать нам бед, воздушная оболочка Земли слишком надежная броня. Быть может, пронесутся магнитные бури, и мы будем свидетелями великолепнейшего из мировых фейерверков.

По-другому ожидаемое столкновение может отозваться на нашем спутнике. Луна не защищена атмосферой. Шар ее прорезан трещинами. Бомбардировка Луны метеорами Биелы начнется 29 ноября. На этот раз мы с уверенностью не поручимся за благополучную судьбу нашего спутника».

Статья произвела нужное впечатление. В Вашингтоне был сделан парламентский запрос о «безответственной лунной литературе». Игнатий Руф понял, что биржа на этот раз клюнула. И действительно, биржевые ценности испытали ничем не обоснованное колебание вниз и вверх и повисли в неустойчивом равновесии.

Настушило время решительных действий.

Утром 28 ноября Игнатий Руф прибыл на стопятидесятитонной моторной полуподводной лодке в бухту острова и, не сходя на берег, передал инженеру Корвину приказ от «Союза пяти» начать сегодня же в ночь бомбардировку лунного шара.

Затем лодка стала на внешнем рейде и опустилась так, что над волнами виднелась только овальная коробка капитанского мостика с задраенными люками.

Дул сильный ветер порывами. Низко летели тучи над мрачным морем. Кипели буруны, и океанские волны разбивались о скалы острова. Дождь, не переставая, лил. Вдали в горах пенились водопады.

Игнатий Руф стоял один в рубке, поглядывая сквозь заливаемый зелеными волнами иллюминатор на мотающиеся обципаные пальмы, на тускнеющие облака, которые рвались и крутились среди скал над кратером. Наступал вечер. Снизу, из лодки, погруженной в воду, доносились голоса механиков, не подозревающих дурного.

Руф близко к глазам поднес хронометр. Сейчас же вытер рукавом потеющее стекло иллюминатора. Теперь он слушал, как медленно бьется сердце. Тридцать секунд оставалось до назначенного срока.

От качки ли, от масляно-жаркого воздуха закупоренной лодки, от переутомления последних дней — в тридцать этих последних секунд Игнатий Руф почувствовал такой внезапный разлад с самим собой, что это почти превысило его душевные силы. Горло было схвачено железной спазмой. Тучное тело ослабло, он привалился к железной обшивке. В тридцать секунд — он это понял — он не успеет спуститься в каюту и по радио приказать инженеру Корвину оставить безумное, непомерное, чудовищное предприятие...

И вот наискосок из-за скал — он увидел это только на мгновение сквозь иллюминатор — скользнула в рваные облака овальная тень... Красноватый след от нее погас в небе.

Игнатий Руф налег всею тяжестью на бронзовый анкер люка, отвинтил, откинул его и до пояса высунулся из лодки. В лицо хлестнула волна, и ветер, танцуя по пенным гребням, засвистел у него между крахмальным воротником и ушами. В сумерках слышался только тяжелый грохот прибоя.

Затем ахнуло, раскатилось где-то в горах и затарактакало... Чаще, проворнее... Громовые удары слились в рев чудовищной сирены, и, шипя, из-за зубчатых скал метнулся в небо второй снаряд.

Игнатий Руф потряс над седой головой кулаками и вне себя закричал:

— Гип-гип, ура!

Но голос его потерялся среди шума волн и ветра, как писк комара.

9

Тем временем на дне кратера, где раскачивались на столбах электрические фонари и тени от клубов желтого дыма и отдвигающихся кранов мотались по скалам, инженер Корвин распоряжался отправкой междупланетных снарядов. Лицо его покрывала свиным рылом противогазная маска. Несколько десятков отборных рабочих, также в противогазах, одни зацепляли крючком подъемного крана стальное яйцо, другие подводили похожий на виселицу кран с висющим яйцом к полетной площадке, третьи осторожно опускали снаряд, жерлом вниз, на стальной, слегка наклоненный диск площадки и спешили отойти дальше.

Инженер Корвин приближался к стоящему дыбом яйцу, поворачивал массивные винты диска, ставя его на нужный угол, и ломал взрывной капсюль... Секунду сыпались искры, затем раздавался громopodobный удар, гигантское яйцо подскакивало на несколько метров в воздухе и там, крутясь, как бы начинало бороться, не взлетая и не падая, все учащеннее стреляя и взрываясь,— еще секунда, и, подхваченное ураганом взрывов, оно взвивалось тяжело — шипящий след от него исчезал за тучами...

Так, один за другим, через промежутки в две-три минуты, снаряды уносились в междупланетное пространство.

Густой и едкий дым наполнял кратер. Настала ночь, а было отправлено всего еще только шестьдесят яиц. Люди изнемогали. Один, другой, шатаясь, брели к ручью, чтобы опустить вспухшую голову в воду. Другие брали из разбитых ящиков бутылки и, отшибив горлышко, глотали водку.

Корвин торопил, подбегая к изнемогающим, выхватывал из кармана пачки долларовых бумажек — обещал огромную премию за каждое отправленное яйцо.

В последующий час удалось послать двадцать пять яиц. Но затем несколько человек содрали с себя маски и упали задыхаясь. Одно из яиц, подведенное к диску, сорвалось с крана и откатилось. В ужасе все легли. Но инженер вскочил на клепаную обшивку снаряда и написал на нем мелом: «Отправка — полторы минуты — 1000 долларов».

Бурный дождь, пролившийся над кратером, освежил ненадолго воздух, и число разрушителей Луны перевалило за сотню. Во втором часу ночи дождевые тучи разорвались на мгновение, и появился лунный диск. Он был ослепительно ярк.

В ту ночь население острова — с лишком четыре тысячи рабочих — было удалено от места работ в бараки на побережье. Люди стояли в темноте толпами. Глядели на взрывающиеся из кратера огненные хвосты ракет. Никто не знал, для чего строились эти снаряды и куда улетали они в эту бурную ночь. Чувствовали только, что делается недоброе дело.

Суеверные шептали молитвы. Озлобленные сговаривались опубликовать в газетах — как только получат свободу и вернутся на материк — все беззакония и преступления, совершенные на проклятом острове. Трусливые прятались между приморских скал, затыкали уши, когда нестерпимый вой снаряда заглушал грохот приборя и шум толпы. Немногие из сознательных говорили между собой мрачно и злобно, что снаряды бомбардируют в эту ночь через Атлантический океан города Советских республик.

В середине ночи зажгли кое-где костры и варили еду. Многие радовались концу утомительных работ и хорошим деньгам, которые они привезут домой, на родину.

А в это время на юго-западе, над океаном, из-под низу туч, идущих грядами, начал разливаться кроваво-красный неземной свет. Это хвостом вперед из эфирной ночи над Землей восходила комета Биела.

Игнатий Руф, как это ни странно, крепко заснул в железной капитанской рубке. Разбудил его резкий удар над головой по обшивке. Он прислонил большое лицо к иллюминатору и увидел на странно освещенных волнах танцующую шлюпку; в ней стоял человек и размахивал веслом.

Руф откинул люк. Человек выскочил из шлюпки, проскользнул сквозь люк, сел рядом с Игнатием Руфом и одними губами проговорил:

— Немедленно!.. Полный ход в открытое море!

Это был инженер Корвин. Он взял из ящика сигару и чиркнул спичкой. Платье его было прожжено, руки, шея, лицо, кроме белого кружка — следов маски, — черно, обуглено. Когда лодка, гудя от мощи моторов, двинулась на северо-восток от острова, Руф вполголоса спросил:

— Дело сделано?

— Нет еще, не все сделано. — У инженера так сверкали глаза, что Руф отвернулся.

— Что же еще осталось?

— Успокойтесь, осталось то, чего через десять минут не останется.

— Я не понимаю, Корвин.

— Врете, Руф.

Задрожавшая челюсть у Игнатия Руфа начала отваливаться. В неясном свете кометы лицо его казалось синевато-бледным. Корвин сказал отрывисто, с омерзением:

— Имейте мужество признать, что вы этого хотели, об этом постоянно мне намекали и сейчас этого ждете.

— Остров?

— Да! Со всеми обитателями. Со всеми следами преступления...

Корвин быстро взглянул на часы, кинулся к капитанскому рупору.

— Алло! Полный, самый полный, до отказа! — Он повалился на кожаную банкетку и закрыл глаза.

Руф, сутулясь, глядел в иллюминатор. Мрачен и дик был океан, изрытый бурей, озаренный сиянием кометы, раскинутой петушьим хвостом на полнеба.

— Средства достигнут Луны завтра в полночь, — сказал Корвин, — готовьте бумажник.

Вдруг Руф попятился и сел на пол. На юго-западе, на том месте, где лежал остров, из океана поднялся огромный косматый столб праха. Зеленоватые молнии быстро прорезали его во всех направлениях. Блеснул ослепительный свет.

Через минуту лодку ударило тяжестью воздуха. Раздались громовые раскаты. Большая волна покрыла капитанский мостик.

Третью ночь население большого города собиралось весело встречать восхождение кометы Биелы. Где-нибудь в деревенской глуши или в степях среди остатков кочевников люди трепетали и молились, служили в стареньких церквах милостивые молебны или садились в круг слушать колдунов и шаманов, потрясающих бубном навстречу огневому перьям кометного хвоста. Африканские негры устраивали пляски и били в тамтамы. Желтолицые мудрецы на плоскогорьях Памира вычисляли им одним важные сроки судеб и улыбались улыбкой Будды потокам падающих звезд. Дети и животные были охвачены тоской. Но в больших городах играли всю ночь оркестры. Под открытым небом, среди столиков и осенних цветов, в полутьме потушенных улиц смеялись нарядные женщины, пелись злободневные песенки о комете, о Луне, об Игнатии Руфе, пугающем весь свет.

Едва только закатилось солнце, по небу из точки — из созвездия Андромеды — помчались стремительные линии падающих звезд. Их, как угли, словно швыряла чья-то рука. Они неслись к зениту и исчезали. Иные устремлялись к земле, вспыхивали зеленоватым светом и рассыпались в хлопья. Казалось, в высоте бушует огненная метель. Отсветы ее играли в бокалах с вином, в изумленных, смеющихся, взволнованных глазах, в драгоценностях на непокрытых волосах женщин.

Часов около десяти по улицам побежали газетчики. «Небывалая катастрофа в Тихом океане. Гибель острова Руфа со всеми обитателями».

Это известие придало еще больше остроты дивному и жуткому зрелищу. Многие и многие в первый раз сегодня глядели на седые созвездия. Оркестры играли похоронный марш Шопена. Над головой беззвучно бушевала метель небесных тел. На облетевших аллеях бульваров, в скверах, где пахло вянущими листьями, на чисто подметенных улицах и площадях мужчины в вечерних цилиндрах и женщины в мехах, веющих духами, испытывали острое и небывалое влечение.

С изумлением глаза вглядывались в глаза. Женские руки, плечи, видные сквозь приоткрытый мех, душистые волосы обещали, казалось, неиспытанное и головокружительное наслаждение. И женщины глядели с нежностью и волнением на своих спутников. С пере-

полненным сердцем откидывались в плетеных креслах, улыбались восходящему свету кометы. Легонький озноб неожиданно и всеми желанно-принятого влечения веял в эту ноябрьскую ночь на площади, полуосвещенной разноцветными абажурами лампочек на ресторанных столах.

Потоки звезд все гуще бороздили небо. Началось падение аэролитов. Извиваясь, как змеи, раскаляясь до ослепительно-зеленого цвета, они силились пробить воздушную броню Земли и распадались в пыль. Их встречали криками, как борцов, идущих к финишу. Вот один, другой, третий аэролит устремились со страшной высоты прямо на площадь. Испуганно кое-где вскочили люди. Площадь затихла. Но, не долетев, разорвались воздушные камни, и только издалека громыхнул гром. Между столиками закрутились серпантинные ленты. Негритята-бои разносили корзины с фруктами.

И вот над крышами начал вставать сияющий хвост Биелы. Она возносилась все выше, раскидывалась все шире. Наконец появилась ее голова, похожая на тупую голову птицы. Оркестры заиграли туш. К небу поднялись руки с бокалами шампанского. Через двенадцать часов, по точнейшим вычислениям обсерваторий всего мира, Биела должна была пройти всего в тысяче километров над пустынной южной областью Великого океана. Ожидались бури, большие приливы, усиление деятельности вулканов и даже падение в океан крупных осколков, из которых составлен зыбкий, окутанный раскаленными газами головной шар кометы.

Все это было необычайно, красиво и волновало, в особенности женщин. Множество глупостей было сказано и еще больше наделано в эту ночь.

Неожиданно на площадь, в широкий проход между столиками, вылетел мотоциклет. Бестактно и нагло ослепительный луч его фонаря скользнул по глазам. Мотор стал. Седок в кожаном шлеме что-то хрипло прокричал. Закутался вонючим дымом, затрещал и вихрем унесся в боковую улицу.

Сейчас же засуетилось несколько человек. Что-то, видимо, произошло. Начался ропот. Возвысились тревожные голоса. Оркестры настойчиво замолкали. Всюду вставали на стулья, вскакивали на столики. Зазвенело разбиваемое стекло. Вся площадь поднялась. Еще не понимали, не знали, из-за чего тревога. И вдруг среди глухого говора раздался низкий, дурной женский крик.

В сотне мест ответили ему воплем. Пошли водовороты по толпе. И так же внезапно площадь затихла, перестала дышать.

Вдалеке, из-за безобразной островерхой башни восьмидесятиэтажного дома выплыла Луна. Она была медного и мутного цвета. Она казалась больше обычного размером и вся словно окутана дымом. Самое страшное в ней было то, что диск ее колебался, подобно медузе.

Прошло много минут молчания. Стоявший на столе высокий тучный человек во фраке, в шелковом цилиндре набекрень, зашатался и повалился навзничь. После этого началось бегство, давка, дикие крики. Люди с поднятыми тростями насккивали на кучу мужчин и женщин и били по головам и плечам. Пролетели стулья в воздухе. Захлопали револьверные выстрелы.

Луна, это ясно теперь было видно, развалилась на несколько кусков. Комета Биела действовала на их неравные части, и они отделялись друг от друга. Это зрелище разбитого на осколки мира было так страшно, что в первые часы много людей сошли с ума — бросались с мостов в каналы, накладывали на себя руки, не в силах подавить ужаса.

Улицы осветились. Отряды полиции и войск заняли перекрестки и площади. Кареты «Скорой помощи» подбирали раненых и убитых. В ту же ночь многие города были объявлены на военном положении. Вместо музыки и веселого смеха слышались грузные шаги идущих частей, колючие крики команды, удары прикладов о мостовую.

Игнатий Руф и инженер Корвин лежали в креслах салон-вагона специального поезда, мчавшегося по озаренным кометой прериям западных штатов. Оба курили сигары, глядели из темноты вагона на дымный, зыбкий, разрушенный ими лунный шар. Время от времени Руф брал трубку радиотелефона, слушал, и рот его одним углом лез вверх. Инженер Корвин сказа

— Когда я был ребенком, меня преследовал сон, будто я бросаю камешки в Луну, — она висела совсем низко над поляной — я не знал тогда, что этот сон означает преступление.

— Возьмите себя в руки, — сказал Руф, нахмурившись, — нам предстоит не спать несколько ночей, через неделю я даю вам отпуск на лечение.



THE GENERAL CONFERENCE OF THE UNITED STATES ARMY AND NAVY, 1898

«В ночь на 29-е Луна разбита кометой Биелой», «Пожар Луны», «Возможность падения Луны на Землю», «Выдержит ли земная атмосфера удары лунных осколков?» — таковы были заголовки газет от 30 ноября.

Из Ликской обсерватории сообщалось, что лунный шар распался на семь основных кусков и все они окутаны тучами пепла. Дальнейшая судьба Луны пока еще не определена. Телеграммы о бедах, которые на Земле натворила Биела, никем не читались. Приморские города, затопленные и унесенные в море огромной волной прилива, землетрясения, несколько населенных островов, уничтоженных аэролитами кометы, отклонение теплых течений — эти мелочи никого не интересовали. Луна! Последние доживаемые дни мира! Внезапная гибель человечества или чудо, спасение? Вот о чем говорили, шептали, бормотали в телефоны в течение двенадцати часов 30 ноября. А ночью все окна, балконы и крыши были усажены жалкими, боящимися смерти людьми.

На улицах, куда запрещено было выходить с закатом солнца, разъезжали патрули велосипедистов, перекликались пикеты. Стояла небывалая тишина в городах, лишь кое-где с крыши доносился плач. Облака, закрывавшие Луну, редели, и зрелище осколков, все еще собранных в неправильный, потускневший диск, наводило смертельную тоску.

В ночь на 1 декабря Руф созвал «Союз пяти». Подсчитали разницу, которую за истекший день дала биржевая игра на понижение. Суммы барыша оказались так чудовищно велики, что Руф и его компаньоны испытали чувство едкой радости. Действительно, паника на бирже перешла границы разума. В редакциях газет набирались длинные колонки знаменитейших фамилий, объявленных банкротами.

Под утро стали поступать радио от маклеров из Европы, Азии и Австралии: коротко сообщалось о неопишуемой панике, о черном дне биржи, о гибели капиталистов, крахе банков, о самоубийствах денежных королей. Были и нехорошие известия о массовых помешательствах, о начавшихся пожарах в европейских столицах.

Неуважительное, беспомощное, детски жалкое было в этой человеческой растерянности. Деньги, власть, уверенность в прочности экономического строя, в не-

зыблемости социальных слоев, всемогущество — все то, к чему шел «Союз пяти», — во всем свете вдруг потеряло силу и обаяние. Миллиардер и уличная девка лезли на крышу и оттуда таращили глаза на расколотую Луну. Неужели вид этого разбитого шара, не стоящего одного цента, способен лишить людей разума? Член «Союза пяти», старичок, похожий на старого сверчка, потирая сухие ладошки, повторял:

— Я ожидал борьбы, но не такой капитуляции. При-
скорбно в мои годы стать мизантропом.

Инженер Корвин ответил ему на это:

— Подождите, мы всего еще не знаем. На заседании «Союза пяти» было решено часть добытых миллионов снова бросить на биржу, играя на этот раз на повышение, и начать скупку предприятий, обозначенных в списке 28 мая.

13

Игнатий Руф остановил автомобиль у подъезда многоэтажного универсального магазина и долго глядел на оживленную толпу женщин, мужчин, детей. Многое ему начинало не нравиться — за последнее время в городе появились дурные признаки, — и вот сейчас, всматриваясь в этих девушек, беспечно выбегающих из дверей «Торгового дома Робинсон и Робинсон», Руф захватил всей рукой подбородок, и на большом лице его легли морщины крайней тревоги.

Прошло три месяца со дня, когда лунный шар, многие тысячелетия служивший лишь для бредней поэтов, был наконец использован с деловыми целями. За семь дней ужаса «Союз пяти» овладел двумя третями мирового капитала и двумя третями индустрии.

Победа далась легко, без сопротивления. «Союз пяти» увидел себя распорядителем и властелином полутора миллиардов людей.

Тогда им была передана в газеты крайне жизнерадостная статья «О сорока тысячах лет», в которых Земля может спокойно и беспечно трудиться и развиваться, не боясь столкновений с останками Луны.

Статья как будто произвела благоприятное впечатление. Крыши были покинуты созерцателями, открылись магазины, и понемногу снова заиграла музыка в ресторанах и скверах. Но какая-то едва заметная тень печали или рассеянности легла на человечество.

Напряженная озабоченность, борьба честолюбий, воля, железная хватка, дисциплина, порядок, весь обычный, удобный для управления организм большого города, понемногу начал превращаться во что-то более мягкое, расплывающееся, трудноуловимое.

На улицах все больше можно было видеть без дела гуляющих людей. Тротуары и мостовые стали плохо подметаться, размножились уличные кофейни, иные магазины стояли по целым дням закрытые, к иным нельзя было протолкаться, и в этой сутолоке, среди болтающих чепуху девчонок, встречали директоров банков, парламентских деятелей, солидных джентльменов.

В деловых кварталах города, где раньше не слышалось иной музыки, чем шум мотора, треск пишущей машинки да телефонные звонки, теперь с утра до утра на перекрестках играли маленькие оркестры, и лифтовые мальчишки, клерки, хорошенькие машинистки отплясывали шимми и фокстрот, и из окон деловых учреждений высовывались деловые люди и беспечно перекликались с танцующими.

Полиция — это было уже совсем тревожно — ничего не имела против беспорядка, благодушия и беспечного веселья на улицах. У полисменов торчали цветы в петлице, трубки в зубах; иной, подойдя к перекрестку, где на составленных столах бородатый еврей пиликал на скрипке, и багровый германец трубил в корнет-а-пистон, и плясали растрепанные девушки, поглядев и крякнув, сам пускался в пляс.

В деловых учреждениях, на железных дорогах, на пароходах наблюдались те же беспечность и легкомыслие. Замечания встречались добродушными улыбками, нагоняй или расчет — грустным вздохом: «Ну что ж поделаешь», — и не успеет человек выйти за дверь — слышишь, уже засвистал что-то веселенькое.

«Союз пяти» начинал чувствовать себя как бы окруженным мягкими перинами и подушками. Он усиливал строгости, но они никого не пугали. Он печатал указы, декреты, громовые статьи, но газет никто больше не читал. А в то же время в кофейных и на улицах, собирая толпу, какие-то юноши с открытыми шеями декламировали стихи туманного и тревожного содержания.

На заводах, фабриках, рудниках пока еще все обстояло благополучно, но уже чувствовалось замедление темпа работы, как будто система Тейлора стала размы-

каты стальные кольца... «Союз пяти» решил не медлить: в ближайшие дни произвести политический переворот, стать во главе правительства, объявить диктатуру и пусть даже брызнет кровь — призвать человечество к порядку и дисциплине.

Игнатий Руф, взглядываясь внимательно в посетителей магазина, внезапно понял, что было необычайного в этой толпе веселых покупателей. Он вышел из автомобиля и стал в дверях. Все: мужчины и женщины — выносили свои покупки не завернутыми в бумагу. Перекинув через руку или набив ими карманы, они спокойно проходили мимо полисмена, добродушнейшего великана с цветком за ухом.

Игнатий Руф вместе с толпой продвинулся в магазин. На прилавках лежали горы материй, вещей, предметов роскоши. Мужчины и женщины рылись в них, брали то, что им нравилось, и уходили довольные. Магазин расхищался. У Игнатия Руфа стиснуло горло железной спазмой. Он тяжело шагнул к улыбающейся нежно-сероглазой, в шляпке набок девушке и сказал громогласно, так, что слова его прокатились под гигантским куполом магазина:

— Сударыня, вы занимаетесь воровством.

Девушка сейчас же моргнула, поправила шляпку.

— Разве вы приезжий? — сказала она кротко. — Разве вы не знаете, что мы уже три месяца все берем даром?

Руф обвел кровавыми глазами шумную толпу расхищителей, крупный пот проступил у него на лице.

— Сумасшедшие! Город сошел с ума! Мир сошел с ума! — проговорил он в исступлении.

14

Пять тысяч суданских негров — огромных, зубастых, с гранатами за поясом и скорострельными двадцатифунтовыми ружьями на плече — без сопротивления прошли от вокзала до площади Парламента.

В середине наступающих колонн двигался открытый белый автомобиль. На замшевых подушках сидел Игнатий Руф в закрытом до шеи черном пальто и в черном цилиндре. В петлице мотала увядшей головкой белая роза.

Игнатий Руф оборачивал направо и налево бледное, страшное лицо, как бы ища ввалившимися глазами встревоженных толп народа, чтобы знаком руки в белой перчатке успокоить их. Но прохожие без изумле-

ния, будто видя все это во сне, скользили взглядом по тяжело идущим рядам суданских войск. В городе не было ни страха, ни возбуждения, никто не приветствовал совершающийся политический переворот и не противился ему.

Суданцы окружили парламент и залегли на площади перед ним. Игнатий Руф, стоя в автомобиле, глядел на зеркальные окна большой залы заседаний. Горнист, великан-негр, вышел перед цепями на площади и на рожке печально заиграл сигнал сдачи. Тогда с мраморной лестницы парламента сбежало несколько человек, пытаясь скрыться; их сейчас же арестовали. Игнатий Руф, подняв руку и помахав ею, как тряпкой, продвинул цепи вплотную к зданию. Сквозь окна было видно теперь, как в зале на скамьях амфитеатра сидят члены парламента: кто облокотился, кто подперся сонно, на трибуне оратор бормотал что-то по записке, за председательским столом на возвышении дремал полный седой спикер, положив руку на колокольчик.

Игнатий Руф пришел в ярость. Надвинул цилиндр на глаза и коротко, лая, отдал приказ. Передние цепи суданцев подняли тяжелые ружья, заиграл рожок, и площадь содрогнулась от залпа. Зеркальные стекла покрылись трещинами, посыпались, зазвенели.

Через десять минут парламент был занят, депутаты, как будто с величайшим облегчением воспринявшие эти события, были отведены в тюрьму. Затем Игнатий Руф с небольшим отрядом суданцев окружил Белый дом, вошел в него с револьверами в обеих руках и сам арестовал президента, с вежливой улыбкой сказавшего по этому поводу исторические слова: «Я уступаю силе».

Через час отряды мотоциклов и аэропланы разбросали по городу извещение «Союза пяти» о государственном перевороте. Вся власть в стране переходила к пяти диктаторам. (В тот самый день, в тот самый час они с отрядами выведенных из Африки войск занимали города Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Сан-Франциско.) Новые парламентские выборы назначались через полгода. Страна объявлялась на военном положении. Закрывались все рестораны, театры, кино, запрещалась музыка в общественных местах, а также бесцельное гуляние по улицам. Извещение было подписано председателем «Союза пяти» Игнатием Руфом. Переворот был решительный и суровый.

«Союз пяти» отныне безраздельно, бесконтрольно владел всеми фабриками, заводами, транспортом, торговлей, войсками, полицией, прессой, всем аппаратом власти. «Союз пяти» мог заставить все население Америки стать кверху ногами. Со времен древнеазиатских империй мир не видел такого сосредоточения политической и экономической власти.

Над этим странным миром по ночам поднималась разбитая Луна большим неровным диском, разорванным черными трещинами на семь осколков. Ее ледяной покой был потревожен и обезображен человеческими страстями. Но она все так же кротко продолжала лить на землю серебристый свет. Все так же ночной прохожий поднимал голову и глядел на нее, думая о другом. Все так же вздыхал и приливал к берегам океан. Росла трава, шумели леса, рождались и умирали инфузории, моллюски, рыбы, млекопитающие.

И только пять человек на земле никак не могли понять, что в круговороте жизни они пятеро, диктаторы и властелины, никому ни на что не нужны.

15

В кабинете свергнутого президента спиной к горящему камину, раздвинув фалды, чтобы греть зад, стоял Игнатий Руф. Перед ним сидели диктаторы. Он говорил:

— В первые дни еще можно было заметить подобие страха, но сейчас они ничего не боятся... Вот ваши полумеры... (Они, то есть люди, население.) Они без сопротивления отдали нам свои деньги, они не сопротивлялись, когда мы брали власть, они не желают читать моих декретов, как будто я их пишу тростью на воде... Но, черт возьми, я предпочел бы иметь дело с бешеным слоном, чем с этой сумасшедшей сволочью, которая перестала любить деньги и уважать власть. Что случилось, я спрашиваю? Они пережили несколько часов смертельного страха. Все мы вывернули их карманы, правда, но после этого они должны были еще больше преклоняться перед идеей концентрированного капитала...

Один из диктаторов, похожий на старого сверчка, спросил:

— Уверены ли вы, сэр что мы так богаты, как мы это думаем, сэр?

— Девять десятых мирового золота лежит в подземельях здесь.— Руф ударил ногой по ковру.— Ключ от этого золота здесь,— он хлопнул себя по жилетному карману— в этом никто не сомневается.

— Я удовлетворен вашим объяснением, благодарю вас, сэр,— ответил диктатор, похожий на сверчка.

Руф продолжал:

— Они продолжают существовать как ни в чем не бывало. Заводы работают, фермеры работают, чиновники и служащие работают. Очень хорошо, но при чем же мы, я спрашиваю? Мы— хозяева страны или мы сами себя выдумали? Вчера в парке я схватил за воротник какого-то прохожего. «Понимаете ли вы, сэр,— крикнул я ему,— что вы весь мой, с костями и мясом, с вашей душонкой, которая стоит двадцать семь долларов в неделю?» Негодяй усмехнулся, будто он заценил воротником за сучок, освободился и ушел, по-свистывая. Я спрашиваю: мы намерены зарываться по шее в наше золото или перед этим камином надуваться от гордости в упоении, что мы власть, которой еще не видел мир? Я спрашиваю: каков практический вывод из нашего могущества?

Диктаторы молчали, глядя на кровавые угли камина. Руф отхлебнул минеральной воды.

— Если вы будете бить кулаками в воздух, в конце концов вы упадете и разобьете нос. Нужно создать сопротивление среды, в которой действуешь, иначе действия не произойдет. Мы на краю пропасти, я утверждаю. Человечество сошло с ума. Нужно вернуть ему разум, вернуть его к естественной борьбе за существование со всеми освященными историей формами, где в свободной борьбе личности с личностью вырастает здоровый человеческий экземпляр. Мы должны произвести массовый отбор. Направо и налево.

— Ближе к делу, что вы предлагаете?— спросил другой из диктаторов.

— Кровь,— сказал Руф.— Всех этих с неисправимо сдвинутыми мозгами, всех этих свистунов, мечтателей, без двух минут коммунистов,— в расход. Мы объявим войну Восточноевропейскому союзу— это поднимет настроение, мы объявим запись добровольцев в войска,— вот первый отбор наиболее здоровых личностей... Мы объявим войну против всех, мы будем руководить этой бойней, где погибнет слабый и где сильный приобретет волчьи мускулы... И тогда мы наденем железную узду на возрожденного зверя...

Руф нажал кнопку электрического звонка. За стеной в тишине затрещало. Прошла минута, две, три. Руф поднял брови. Диктаторы переглянулись. Никто не шел. Руф сорвал с камина, с телефонного аппарата, трубку, сказал сквозь зубы номер и слушал. Понемногу лицо его темнело. Он осторожно положил трубку на аппарат, подошел к окну и приподнял тяжелую шелковую портьеру. Затем он вернулся к камину и снова отхлебнул глоток минеральной воды.

— Площадь пуста,— хриповато сказал он,— войск на площади нет.

Диктаторы, глядя на него, ушли глубоко в кресла. Было долгое молчание. Один только спросил:

— Сегодня были какие-нибудь признаки?

— Да, были,— ответил Руф, стукнув зубами,— иначе бы я вас не собрал сюда, иначе бы я не говорил так, как говорил.

Опять у камина долго молчали. Затем в тишине Белого дома издали раздались шаги. Они приближались, звонко, весело стуча по паркету. Диктаторы стали глядеть на дверь. Без стука широко распахнулась дверь, и вошел плечистый молодой человек с веселыми глазами. Он был в шерстяной белой рубашке, широкий бумажный пояс перепоясывал его плисовые коричневые штаны на крепких ногах. Лицо у него было обыкновенное, добродушное, чуть вздернутый нос, пушок на верхней губе, девичий румянец на крепких скулах. Он остановился шагах в трех от камина, слегка кивнул головой, открыл улыбкой зубы.

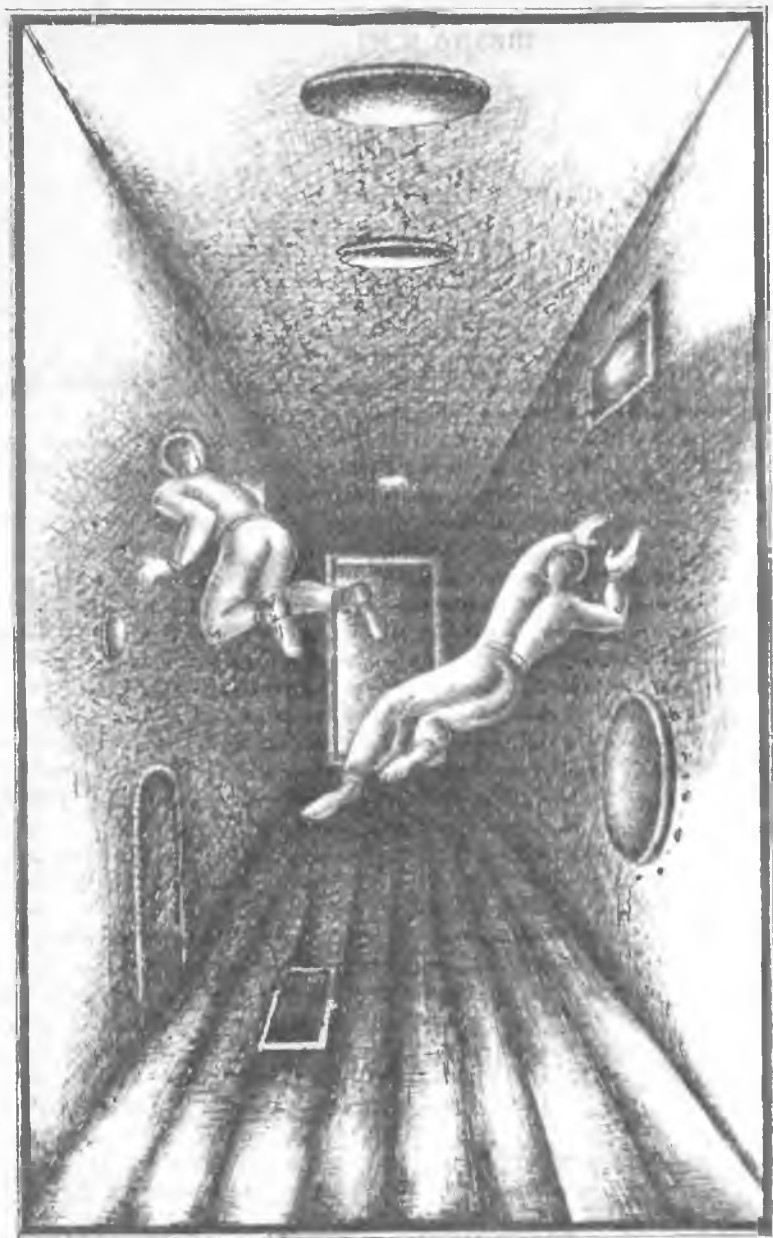
— Добрый день, джентльмены!

— Что тебе нужно здесь, негодяй? — спросил Руф, медленно вытаскивая руки из карманов.

— Помещение нам нужно под клуб, нельзя ли будет очистить?

Александр БЕЛЯЕВ

|



ЗВЕЗДА КЭЦ

*Посвящаю памяти
Константина Эдуардовича
Циолковского*

1. Встреча с чернобородым¹

Кто бы мог подумать, что незначительный случай решит мою судьбу.

В то время я был холост и жил в доме научных работников. В один из весенних ленинградских вечеров я сидел у открытого окна и любовался на деревца сквера, покрытые светло-зеленым молодым пушком. Верхние этажи домов пылали палевыми лучами заката, нижние погружались в синие сумерки. Вдали виднелись зеркало Невы и шпиль Адмиралтейства. Было удивительно хорошо, не хватало только музыки. Мой ламповый радиоприемник испортился. Нежная мелодия, заглушенная стенами, чуть доносилась из соседней квартиры. Я завидовал соседям и в конце концов пришел к мысли, что Антонина Ивановна, моя соседка, без труда могла бы помочь мне наладить радиоприемник. Я не был знаком с этой девушкой, но знал, что она работает ассистентом физико-технического института. При встрече на лестнице мы всегда приветливо раскланивались. Это показалось мне вполне достаточным для того, чтобы обратиться к ней за помощью.

Через минуту я звонил у дверей соседей.

Дверь мне открыла Антонина Ивановна. Это была симпатичная девушка лет двадцати пяти. Ее большие серые глаза, веселые и бодрые, глядели чуть-чуть насмешливо и самоуверенно, а вздернутый нос придавал лицу задорное выражение. На ней было черное суконное платье, очень простое и хорошо облежавшее ее фигуру.

Я почему-то неожиданно смутился и очень торопливо и сбивчиво стал объяснять причину своего прихода.

¹ Печатается с сокращениями.— Прим. ред.

— В наше время стыдно не знать радиотехники,— шутливо перебила она меня.

— Я биолог,— пробовал оправдаться я.

— Но у нас даже школьники знают радиотехнику. Этот укор она смягчила улыбкой, показав свои ровные зубы, и неловкость растаяла.

— Пойдемте в столовую, я допью чай и пойду лечить ваш приемник.

Я охотно последовал за ней.

В просторной столовой за круглым столом сидела мать Антонины Ивановны, полная, седая, розоволицая старушка. Она с суховатой любезностью поздоровалась со мной и пригласила выпить чашку чаю.

Я отказался. Антонина Ивановна допила чай, и мы направились ко мне.

С необычайной быстротой она разобрала мой приемник. Я любовался ее ловкими руками с длинными, подвижными пальцами. Говорили мы немного. Она очень скоро поправила аппарат и ушла к себе.

Несколько дней я думал только о ней, хотел зайти снова, но без повода не решался. И вот, стыдно признаться, но я нарочно испортил свой приемник... И пошел к ней.

Осмотрев повреждение, она насмешливо взглянула на меня и сказала:

— Я не буду чинить ваш приемник.

Я покраснел как вареный рак.

Но на другой день снова пошел — доложить, что приемник мой работает великолепно. И скоро для меня стало жизненной необходимостью видеть Тоню, как я мысленно называл ее.

Она дружески относилась ко мне, хотя, по ее мнению, я, видите ли, был только кабинетный ученый, узкий специалист, радиотехники не знал, характер у меня нерешительный, привычки стариковские — сиднем сидеть в своей лаборатории или в кабинете. При каждой встрече она говорила мне много неприятного и советовала переделать характер.

Мое самолюбие было оскорблено. Я даже решил не ходить к ней, но, конечно, не выдержал. Больше того, незаметно для себя я начал переделывать свой характер: стал чаще гулять, пытался заняться спортом, купил лыжи, велосипед и даже пособия по радиотехнике.

Однажды, совершая добровольно-принудительную прогулку по Ленинграду, я на углу проспекта Двадцать

Пятого Октября и улицы Третьего Июля заметил молодого человека с иссиня-черной бородой.

Он пристально посмотрел на меня и решительно двинулся в мою сторону.

— Простите, вы не Артемьев?

— Да,— ответил я.

— Вы знакомы с Ниной... Антониной Герасимовой? Я видел вас однажды с ней. Я хотел передать ей кое-что о Евгении Палее.

В это время к незнакомцу подъехал автомобиль. Шофер крикнул:

— Скорей, скорей! Опаздываем!

Чернобородый вскочил в машину и, уже отъезжая, крикнул мне:

— Передайте — Памир, Кэц...

Автомобиль быстро скрылся за углом.

Я вернулся домой в смущении. Кто этот человек? Он знает мою фамилию? Где он видел меня с Тоней или Ниной, как он называл ее? Я перебирал в памяти все встречи, всех знакомых... Этот характерный орлиный нос и острая черная борода должны были запомниться. Но нет, я никогда не видал его раньше... А этот Палей, о котором он говорил? Кто это?

Я пошел к Тоне и рассказал о странной встрече. И вдруг эта уравновешенная девушка страшно разволновалась. Она даже вскрикнула, услышав имя Палей. Она заставила меня повторить всю сцену встречи, а потом гневно набросилась на меня за то, что я не догадался сесть с этим человеком в автомобиль и не спросил у него обо всем подробно.

— Увы, у вас характер тюленя! — заключила она.

— Да,— зло ответил я.— Я совсем не похож на героев американских приключенческих фильмов и горжусь этим. Прыгать в машину незнакомца... Слуга покорный.

Она задумалась и, не слушая меня, повторяла, как в бреду:

— Памир... Кэц... Памир... Кэц.

Потом кинулась к книжным полкам, достала карту Памира и начала искать Кэц.

Но, конечно, никакого Кэца на карте не было.

— Кэц... Кэц... Если не город, так что же это: маленький кишлак, аул, учреждение?... Надо узнать, что такое Кэц! — воскликнула она.— Во что бы то ни стало сегодня же или не позже завтрашнего утра...

Я не узнавал Тоню. Сколько неукротимой энергии было скрыто в этой девушке, которая умела так спокойно, методически работать! И все это превращение произвело одно магическое слово — Палей. Я не осмелился спросить у нее, кто он, и постарался поскорее уйти к себе.

Не стану скрывать, я не спал эту ночь, мне было очень тоскливо, а на другой день не пошел к Тоне.

Но поздно вечером она сама явилась ко мне, приветливая и спокойная, как всегда. Сев на стул, она сказала:

— Я узнала, что такое Кэц: это новый город на Памире, еще не нанесенный на карту. Я еду туда завтра, и вы должны ехать со мной. Я этого чернобородого не знаю, вы поможете отыскать его. Ведь это ваша вина, Леонид Васильевич, что вы не узнали фамилию человека, который имеет сведения о Палее.

Я в изумлении вытаращил глаза. Этого еще не доставало. Бросить свою лабораторию, научную работу и ехать на Памир, чтобы искать какого-то Палея!

— Антонина Ивановна, — начал я сухо, — вы, конечно, знаете, что не одно учреждение ждет окончания моих научных опытов. Сейчас я, например, заканчиваю работу по задержке созревания фруктов. Опыты эти давно велись в Америке и ведутся у нас. Но практические результаты пока невелики. Вы, вероятно, слышали, что консервные фабрики на юге, перерабатывающие местные фрукты: абрикосы, мандарины, персики, апельсины, айву, — работают с чрезмерной нагрузкой месяц-полтора, а десять-одиннадцать месяцев в году простаивают. И это потому, что фрукты созревают почти одновременно и переработать их сразу невозможно. Поэтому каждый год гибнет чуть ли не девять десятых урожая...

Увеличить число фабрик, которые десять месяцев в году находятся на простое, тоже невыгодно. Вот мне и поручили текущим летом отправиться в Армению, чтобы на месте поставить чрезвычайно важные опыты искусственной задержки созревания фруктов. Понимаете? Фрукты снимаются немного недозревшими и затем дозревают постепенно, партия за партией, по мере того как заводы справляются со своей работой. Таким образом, заводы будут работать круглый год, а...

Я посмотрел на Тоню и запнулся. Она не перебивала меня, она умела слушать, но лицо ее все больше мрачнело. На лбу, меж бровей, легла складка, длинные рес-

ницы были опущены. Когда она подняла на меня глаза, я увидел в них презрение.

— Какой ученый-общественник! — сказал она ледяным тоном. — Я тоже еду на Памир по делу, а не как искательница приключений. Мне во что бы то ни стало надо разыскать Палея. Путешествие не продлится долго. И вы еще успеете попасть в Армению к сбору урожая...

Гром и молния! Не мог же я сказать ей, в какое нелепое положение она меня ставит! Ехать с любимой девушкой на поиски неведомого Палея, быть может, моего соперника! Правда, она сказала, что она не искательница приключений и едет по делу. Какое же дело связывает ее с Палеем? Спросить не позволяло самолюбие. Нет, довольно с меня. Любовь мешает работе. Да, да! Раньше я засиживался в лаборатории до позднего вечера, а теперь ухожу, как только пробьет четыре. Я уже хотел еще раз отказаться, но Тоня предупредила меня:

— Вижу, мне придется ехать одной, — сказала она поднимаясь. — Это осложняет дело, но, может быть, мне удастся найти чернобородого и без вашей помощи. Прощайте, Артемьев. Желаю вам успешного дозревания.

— Послушайте, Антонина Ивановна!.. Тоня!..

Но она уже вышла из комнаты.

Идти за ней? Вернуть? Сказать, что я согласен?.. Нет, нет! Надо выдержать характер. Теперь или никогда.

И я выдерживал характер весь вечер, всю бессонную ночь, все хмурое утро следующего дня. В лаборатории я не мог смотреть на сливы — предмет моих опытов.

Тоня, конечно, поедет одна. Она не остановится ни перед какими трудностями. Что произойдет на Памире, когда она найдет чернобородого и через него Палея? Если бы я сам присутствовал при встрече, мне многое стало бы ясным. Я не поеду с Тоней — это значит разрыв. Недаром, уходя, она сказала «прощайте». Но все же я должен выдержать характер. Теперь или никогда.

Конечно, я не поеду. Но нельзя же быть невежливым — простая любезность требует помочь Тоне собраться в дорогу.

И вот еще не пробило четырех часов, а я уже прыгал через пять ступенек, сбегая с четвертого этажа. Не хуже старого американского киногероя я вскочил на

ходу в троллейбус и помчался домой. Кажется, я даже без стука ворвался в комнату Тони и крикнул:

— Я еду с вами, Антонина Ивановна!

Не знаю, для кого большей неожиданностью было это восклицание — для нее или для меня самого. Кажется, для меня.

Так я был вовлечен в цепь самых невероятных приключений.

II. Демон неукротимости

Я смутно помню наше путешествие от Ленинграда до таинственного Кэца. Я был слишком взволнован своей неожиданной поездкой, смущен собственным поведением, подавлен Тониной энергией.

Тоня не хотела терять ни одного лишнего дня и составила маршрут путешествия, используя все быстрые современные средства сообщения.

От Ленинграда до Москвы мы летели на аэроплане. Над Валдайской возвышенностью нас здорово потрепало, а так как я не выношу ни морской, ни воздушной качки, мне стало плохо. Тоня заботливо ухаживала за мной. В пути она стала ко мне относиться тепло и ровно — словом, переменилась к лучшему. Я все больше изумлялся: сколько сил, женской ласки, заботливости у этой девушки! Перед путешествием она работала больше меня, но на ней это совершенно не отразилось. Она была весела и часто напевала какие-то песенки.

В Москве мы пересели на полуреактивный стратоплан Циолковского, совершающий прямые рейсы Москва — Ташкент.

Эта машина летела с бешеной скоростью. Три металлических сигары соединены боками, снабжены хвостовым оперением и покрыты одним крылом — таков внешний вид стратоплана. Тоня немедленно ознакомилась с его устройством и объяснила мне, что пассажиры и пилоты помещаются в левом боковом корпусе, в правом — горючее, а в среднем — воздушный винт, сжиматель воздуха, двигатель и холодильник; что самолет движется силой воздушного винта и отдачею продуктов горения. Она говорила еще о каких-то интересных подробностях, но я слушал рассеянно, новизна впечатлений подавляла меня. Помню, мы зашли в герметически закрывающуюся кабину и уселись на очень мягкие кресла. Самолет побежал по рельсам, набрал

скорость — сто метров в секунду — и поднялся на воздух. Мы летели на огромной высоте, — быть может, за пределами тропосферы, — со скоростью тысячи километров в час. И говорят — эта скорость не предельная.

Не успел я как следует усесться, а мы уже оставили позади пределы РСФСР. За облачным покровом земли не было видно. Когда облака начали редеть, я увидел глубоко под нами сероватую поверхность. Она казалась углубленной в центре и приподнятою к горизонту, словно опрокинутый серый купол.

— Киргизские степи, — сказала Тоня.

— Уже? Вот это скорость!

Такой полет мог удовлетворить даже нетерпение Тони.

Впереди блеснуло Аральское море. И в кабине говорили уже не о Москве, которую только что покинули, а о Ташкенте, Андижане, Коканде.

Ташкент я не успел рассмотреть. Мы молниеносно снизились на аэродроме и уже через минуту мчались на автомобиле к вокзалу сверхскорого реактивного поезда — того же Циолковского. Этот первый реактивный поезд Ташкент — Андижан по скорости не уступал стратоплану.

Я увидел длинный, обтекаемой формы вагон без колес. Дно вагона лежало на бетонном полотне, возвышающемся над почвой. С обеих сторон вагона имелись закраины, заходящие за бока полотна. Они придавали устойчивость на закруглениях пути.

Я узнал, что в этом поезде воздух накачивается под днище вагона и по особым щелям прогоняется назад. Таким образом, вагон летит на тончайшем слое воздуха. Трение сведено до минимума. Движение достигается отбрасыванием назад воздушной струи, и вагон развивает такую скорость, что с разгона без мостов перепрыгивает небольшие реки.

Я опасливо поежился, сел в вагон, и мы двинулись в путь.

Скорость «езды-полета» была действительно грандиозна. За окнами ландшафт сливался в желтовато-сероватые полосы. Только голубое небо казалось обычным, но белые облака бежали назад с необыкновенной резвостью. Признаюсь, несмотря на все удобства этого нового способа передвижения, я не мог дождаться конца нашего короткого путешествия. Но вот под нами сверкнула река, и мы мигом перескочили ее без моста.

Я вскрикнул и невольно поднялся. Видя такую отсталость и провинциальность, все пассажиры громко рассмеялись. А Тоня восторженно захлопала в ладоши.

— Вот это мне нравится! Это настоящая езда! — говорила она.

Я тоскливо заглядывал в окно: когда же кончится это мутное мелькание?

В Андижане я запросил пощады. Надо же немного передохнуть после всех этих сверхскоростных передряг. Но Тоня и слушать не хотела. Ее обуял демон неукротимости.

— Вы испортите мне весь график. У меня согласовано все до одной минуты.

И мы вновь как одержимые помчались на аэродром.

Путь от Андижана до Оша мы пролетели на обыкновенном аэроплане. Его совсем немалую скорость — четыреста пятьдесят километров в час — Тоня считала черепашей. На беду, мотор закапризничал, и мы сделали вынужденную посадку. Пока бортмеханик возился с мотором, я вышел из кабины и растянулся на песке. Но песок был невыносимо горячий. Солнце палило немилосердно, и мне пришлось убраться в душную кабину.

Обливаясь потом, я проклинал в душе наше путешествие и мечтал о ленинградском мелком дожде.

Тоня нервничала, боясь опоздать в Оше к отлету дирижабля. На мое несчастье, мы не опоздали и прилетели на аэродром за полчаса до отлета дирижабля. Этот металлический гигант из гофрированной стали должен был нас доставить в город Кэц. Мы добежали до причальной мачты, быстро поднялись на лифте и вошли в гондолу.

Путешествие на дирижабле оставило самое приятное воспоминание. Каюты гондолы охлаждались и хорошо вентилировались. Скорость — всего двести двадцать километров в час. Ни качки, ни тряски и полное отсутствие пыли. Мы хорошо пообедали в уютной кают-компании. За столом слышались новые слова: Алай, Кара-куль, Хорог...

Памир с высоты произвел на меня довольно мрачное впечатление. Недаром эту «крышу мира» называют «подножием смерти». Ледяные реки, горы, ущелья, морены, снежные стены, увенчанные черными каменными зубцами, — траурный наряд гор. И лишь глубоко внизу — зеленые пастбища.

Какой-то пассажир-альпинист, указывая на покрытые зеленоватым льдом горы, объяснял Тоне:

— Вот это гладкий ледник, это игольчатый, вон там бугристый, дальше волнообразный, ступенчатый...

Внезапно сверкнула гладь озера...

— Кара-куль. Высота три тысячи девятьсот девяносто метров над уровнем моря,— сказал альпинист.

— Посмотрите, посмотрите!— окликает меня Тоня. Смотрю. Озеро как озеро. Блестит. А Тоня восхищается:

— Какая красота!

— Да, блестящее озеро,— говорю я, чтоб не обидеть Тоню.

III. Я становлюсь сыщиком

Но вот мы идем на посадку. Я вижу с дирижабля общий вид города. Он расположен в очень длинной, узкой высокогорной долине меж снеговых вершин. Долина имеет почти прямое направление с запада на восток. Возле самого города она расширяется. У южного края ее находится большое горное озеро. Альпинист говорит, что оно очень глубокое.

Сотни две домов сверкают плоскими металлическими крышами. Большинство крыш белые, как алюминий, но есть и темные. На северном склоне горы стоит большое здание с куполом— вероятно, обсерватория. За жилыми домами фабричные корпуса.

Наш аэродром расположен в западной стороне города, в восточной лежит какой-то удивительный железнодорожный путь— с очень широкой колеей. Он идет до самого края долины и там, по-видимому, обрывается.

Наконец-то земля.

Мы едем в гостиницу. Я отказываюсь осматривать город: устал с дороги, и Тоня милостиво отпускает меня на отдых. Сняв ботинки, я ложусь отдохнуть на широкий диван. Какое блаженство! В голове еще шумят моторы всяческих быстроходов, глаза слипаются. Ну, уж теперь-то я отдохну на славу!

Как будто в дверь стучат. Или это еще гремят в голове моторы... Стучат в самом деле. Как некстати.

— Войдите!— сердито кричу я и вскакиваю с дивана.

Появляется Тоня. Она, кажется, задалась целью извести меня.

— Ну, как отдохнули? Идемте, — говорит она.

— Куда идемте? Почему идемте? — громко спрашиваю я.

— Как куда? Зачем же мы приехали сюда?

Ну да. Искать человека с черной бородой. Понятно... Но уже вечер, и лучше заняться поисками с утра. Впрочем, протестовать бесполезно. Я молча натягиваю на плечи легкое ленинградское пальто, но Тоня заботливо предупреждает меня:

— Наденьте шубу. Не забывайте, что мы на высоте нескольких тысяч метров, а солнце уже зашло.

Надеваю шубу, и мы выходим на улицу.

Я вдыхаю морозный воздух и чувствую, что мне дышать трудно. Тоня замечает, как я «зеваю», и говорит:

— Вы не привыкли к разреженному горному воздуху. Ничего, это скоро пройдет.

— Странно, что я в гостинице не чувствовал этого, — удивляюсь я.

— А в гостинице воздух искусственно сгущен компрессором, — говорит Тоня, — не все переносят горный воздух. Некоторые совсем не выходят на улицу, и с ними консультируются на дому.

— Как жаль, что эта льгота не распространяется на специалистов по разыскиванию черных бород! — невесело сострил я.

Мы шли по улицам чистенького, хорошо освещенного города. Здесь была самая гладкая и самая прочная в мире мостовая — из природного выровненного и отшлифованного гранита. Мостовая-монолит.

Нам часто встречались чернобородые: видимо, среди населения было много южан.

Тоня ежеминутно дергала меня за рукав и спрашивала:

— Это не он?

Я сумрачно качал головой. Незаметно мы дошли до берега озера.

Вдруг раздался вой сирены. Эхо отдалось в горах, и разбуженные горы откликнулись унылыми завываниями. Получился леденящий душу концерт.

Берега озера осветились яркими фонарями, и озеро вспыхнуло, как зеркало в алмазной оправе. Вслед за фонарями зажглись десятки мощных прожекторов, устремив свои голубые лучи в синеву безоблачного вечернего неба. Сирена умолкла. Затихло и эхо в горах. Но город встрепенулся.

По озеру вдоль берега забегали быстроходные катера и глиссеры. Толпы народа стекались к озеру.

— Куда же вы смотрите? — услышал я голос Тони.

Этот голос напомнил мне о моей печальной обязанности. Я решительно повернулся спиной к озеру, к огням и начал выискивать в толпе бородатых людей.

Однажды мне показалось, что я увидел чернобородого незнакомца. Только я хотел сказать об этом Тоне, как вдруг она воскликнула:

— Смотрите, смотрите! — и показала на небо.

Мы увидели золотую звездочку, приближавшуюся к земле. Толпа стихла. В наступившей тишине послышался отдаленный гром. Гром с безоблачного неба! Горы подхватили этот рокот и ответили глухой канонадой. Гром нарастал с каждой секундой, и звездочка все увеличивалась. Позади нее ясно обозначилась темная дымка, и скоро звездочка превратилась в сигарообразное тело с плавниками. Это мог быть только межпланетный корабль. В толпе слышались восклицания:

— Кэц-семь!

— Нет, Кэц-пять!

Ракета вдруг описала небольшой круг и перевернулась кормой вниз. Пламя вырвалось из дюз, и она все медленнее стала снижаться к озеру. Длина ее намного превышала длину самого большого паровоза. И весила она, наверное, не меньше.

И вот эта тяжелая громадина, не долетая до поверхности воды нескольких десятков метров, как бы повисла в воздухе: сила взрывающихся газов поддерживала ее в висячем положении. Отбросы газов рябили и волновали поверхность воды. Клубы дыма расстилались по озеру.

Затем стальная сигара стала едва заметно опускаться и скоро кормой коснулась воды. Вода забурлила, заклокотала, зашипела. Пар окутал ракету. Взрывы прекратились. Среди пара и дыма показался верхний острый конец ракеты и опустился вниз. Тяжелый всплеск воды. Большая волна, качая на своем гребне катера и глиссеры, пошла по озеру. Ракеты не было видно. Но вот она блеснула в лучах прожектора и закачалась на поверхности воды.

Толпа дружными криками приветствовала благополучный спуск. Флотилия катеров набросилась на плавающую ракету, как косатки на кита. Маленький черный катер взял ее на буксир и отвел в гавань. Два мощных

трактора вытащили ее по специальному мосту на берег. Наконец открылся люк, и из ракеты вышли межпланетные путешественники.

Первый из них, как только вышел, начал громко чихать. Из толпы послышался смех и восклицания: «Будьте здоровы!»

— Каждый раз такая история, — сказал прилетевший с неба. — Как только попаду на землю — насморк, кашель.

Я с любопытством и уважением смотрел на человека, который побывал в бесконечных просторах неба. Есть же такие смельчаки! Я ни за что не решился бы полететь на ракете.

Прибывших встречали радостно, без конца расспрашивали, пожимали руки. Но вот они сели в автомобиль и уехали. Толпа быстро поредела. Огни погасли. Я вдруг почувствовал, как окоченели мои ноги. Меня знобило и поташнивало.

— Вы совсем посинели, — сжалилась наконец Тоня. — Идемте домой.

В вестибюле гостиницы меня встретил толстенький лысый человек. Покачав головой, он сказал:

— А вы плохо переносите, молодой человек, горы.

— Замерз, — ответил я.

В уютной столовой мы разговорились с толстеньким человеком, который оказался врачом. Прихлебывая горячий чай, я расспрашивал его, почему их город и прилетевшая ракета называются Кэц.

— И Звезда также, — отвечал доктор. — Звезда Кэц. Слыхали? В ней-то, собственно, все дело. Она создала этот город. А почему Кэц? Неужто не догадываетесь? Чьей системы был стратоплан, на котором вы сюда летели?

— Кажется, Циолковского, — ответил я.

— Кажется... — неодобрительно сказал доктор. — Не кажется, а так оно и есть. Ракета, которую вы видели, тоже по его плану сделана, и Звезда тоже. Вот почему и Кэц: Константин Эдуардович Циолковский. Понятно?

— Понятно, — ответил я. — А что это за Звезда Кэц?

— Искусственный спутник Земли. Надземная станция-лаборатория и ракетодром для ракет дальнего межпланетного сообщения.

< >

ХІІІ. К лунной орбите

...Накануне нашего лунного путешествия я проводил Тоню в лабораторию мирового холода. Прощание было краткое, но теплое. Она крепко пожала мне руку и сказала:

— Берегите себя...

Эти простые слова сделали меня счастливым.

На другое утро Тюрин довольно бодро вошел в ракету. Джон, совершенно убитый горем, провожал его. Казалось, он вот-вот заплачет.

— Вы отвечаете за профессора! — крикнул он мне перед тем, как дверь ракеты захлопнулась.

Оказывается, мы летим на Луну не прямым путем, а по спирали, обращенной вокруг Земли. И неизвестно, сколько продлится путешествие. В нашей ракете могут разместиться двадцать человек. А нас всего шестеро: трое членов научной экспедиции, капитан, штурман и механик. Все свободное пространство ракеты занято запасами продовольствия, взрывчатых веществ и жидкого кислорода. А на верху ракеты прикреплен вагон на колесах, предназначенный для путешествия по лунной поверхности. Сопротивления воздуха нет, поэтому «лунный автомобиль» не уменьшит скорости полета ракеты.

Скоро наша ракета покинула гостеприимный ракетодром Звезды Кэц. И сразу же Тюрин почувствовал себя очень плохо. Дело в том, что как только мы развивали скорость и взрывы учащались, вес тела менялся. И я понимал Тюрина: можно привыкнуть к тяжести, можно привыкнуть к невесомости, но привыкнуть к тому, что твое тело то ничего не весит, то вдруг как будто наливается свинцом, невозможно.

Хорошо, что у нас были достаточные запасы продовольствия и горючего, поэтому мы могли не спешить, и взрывы были умеренные. Звук их передавался только по стенкам ракеты. К этим звукам можно было привыкнуть, как к жужжанию мотора или тиканью часов, но усиление тяжести!..

Тюрин вздыхал, охал. Кровь то прилиwała к его лицу, и оно становилось багровым, почти синим, то отлиwała, — лицо бледнело, желтело.

И только наш геолог Соколовский, жизнерадостный, плотный человек с пышными усами, неизменно был весел.

Когда невесомость тела возвращалась, астроном начинал говорить вслух, — привычка, которую он приобрел в своем одиночестве. Говорил он без связи: то сообщал интересные астрономические сведения, неизвестные земным астрономам, то изрекал «философские сентенции».

— Почему так привлекательно кино? Потому, что в нем мы видим движение...

Затем он начинал стонать и корчиться, потом снова говорить.

Я смотрел в окно. По мере того как мы удалялись от Земли, она казалась все меньше. Наш «день» становился все длиннее, ночи все короче. В сущности, это были не ночи, а солнечные затмения.

А вот с Луной происходили забавные вещи.

Если наша ракета находилась в противоположной точке орбиты от Луны, Луна казалась маленькой, гораздо меньше, чем мы видим ее с Земли, а если мы по орбите приближались к Луне, она становилась невиданно огромной.

Наконец наступил момент, когда максимальные размеры Луны сравнялись с размерами Земли. Наш капитан, не раз совершавший путешествие к лунной орбите, сказал нам:

— Поздравляю. Мы одолели четыре пятых расстояния, отделяющего нас от Луны. Сорок восемь земных радиусов позади. При наших межпланетных путешествиях в пределах солнечной системы земной радиус — 6378,4 километра — служит единицей измерения. Это своего рода миля межпланетных навигаторов, — пояснил он.

Теперь размер Луны колебался в течение суток — время обращения ракеты вокруг Земли. Половину суток Луна «пухла», увеличивалась в размерах, половину «худела». Но эти сутки уже стали гораздо больше земных.

Безоблачный, сияющий день все рос.

Капитан говорит, что притяжение Луны с каждым часом сказывается все сильнее и искажает путь ракеты. Движение ракеты то ускоряется, то замедляется в результате цепких объятий нашего земного спутника. Луна не хочет отпускать нас от себя. Если бы не сила противодействия, заключающаяся в наших взрывных приборах, мы были бы вечными пленниками Луны. На-

сколько же опаснее притяжение огромных планет солнечной системы!..

В первые часы полета капитан надолго покинул управление, предоставив ракете автоматически лететь по намеченному пути. Это не было опасным. Но чем дальше, тем все реже капитан отходил от пультов управления, хотя они и механизированы.

Мы неслись вокруг Земли уже примерно по той же орбите, что и Луна, поэтому путешествие вокруг Земли совершали в одинаковое с Луной время — около тридцати земных суток. Наша ночь — солнечные затмения стали так же редки, как лунные на Земле. Ракета все реже нагоняла Луну, и, наконец, их движения уравнились. Ракета достигла такого же расстояния от Земли, как и Луна. Расстояние между ракетой и Луной сделалось неизменным.

Казалось, что Луна, Земля и ракета неподвижны, и только звездный свод непрерывно движется.

— Скоро здесь небесные колонии будем строить, — нарушил молчание Соколовский.

— Ну нет, батенька мой, не так скоро, — отозвался Тюрин. — Надо сперва достать тут материалы. Нельзя все притащить с Земли. Наоборот, мы еще Земле должны посылать кое-какие «небесные» подарки. Вот коллекцию метеоритов мы уже послали. Хорошая коллекция. Весь рой леонидов.

И Тюрин довольно рассмеялся.

— Это верно, — сказал Соколовский. — Нам надо много железа, никеля, стали, кварца для сооружения наших жилищ.

— И где же вы достанете эти ископаемые? — спросил я. Слово «ископаемые» вызвало взрыв смеха Соколовского.

— Не ископаемые, а излетаемые, — сказал он. — Метеориты — вот «ископаемые». Недаром я гонялся за ними.

— Метеоритный промысел организовал я. Это моя идея! — внес поправку Тюрин.

— Я не оспариваю этого, профессор, — сказал Соколовский. — Идея ваша — осуществление мое. Вот и сейчас я послал Евгеньева в новую разведку.

Фамилия «Евгеньев» заставила меня вспомнить весь путь, приведший меня в небо. И подумать только, как быстро все эти личные дела отошли на задний план перед необычайными здешними впечатлениями!

— Вы знаете, товарищ Артемьев, что мы нашли целый рой мелких метеоритов совсем недалеко от Звезды Кэц? — обратился Соколовский ко мне. — Повыше попадались и более крупные. При их исследовании нашли железо, никель, кремнезем, глинозем, окись кальция, полевой шпат, хромовое железо, железные окислы, графит и другие простые и сложные вещества. Словом, все необходимое для построек плюс кислород для растений и воду. Обладая энергией Солнца, мы можем обработать эти материалы и получить все, что нам надо, вплоть до карандашей. Кислород и вода, конечно, находятся здесь не в готовом, а в «связанном» виде, но химиков это не затрудняет.

— А я изучил по вашим данным движение этих остатков погибших небесных тел, — вмешался Тюрин, — и пришел к интересным выводам. Часть метеоритов прилетела издалека, но большинство носилось вокруг Земли по той же орбите, что и Звезда Кэц...

— На это, профессор, обратил ваше внимание я, — сказал Соколовский.

— Ну да! Но выводы-то сделал я.

— Не будем спорить, — примирительно заметил Соколовский.

— Я не спорю. Я только люблю точность. На то я и ученый, — возразил Тюрин и даже приподнялся в кресле, но тотчас же опустился и заохал.

— Меллер права, — сказал он. — Совсем я ослабел за годы неподвижного лежания в мире невесомости. Надо будет изменить режим.

— Вот Луна вас проманежит, — рассмеялся геолог.

— Да. Так я хотел сказать о моей гипотезе, — продолжал Тюрин. — Метеоритов, вращающихся вокруг Земли, так много, что, надо думать, они являются остатком разорвавшегося маленького земного спутника — второй Луны. Это была совсем крошечная Луна. Когда мы точно подсчитаем количество и массу этих метеоров, то сможем реставрировать бывшие размеры этого спутника, как палеонтологи реставрируют кости вымерших животных. Маленькая вторая Луна! Но она могла светить не слабее нашей Луны, так как находилась ближе к Земле.

— Простите, профессор, — неожиданно вмешался молодой механик, цветом кожи и худощавым сложением похожий на индуса. — Мне кажется, на таком

близком расстоянии Земля притянула бы к себе маленькую Луну.

— Что? Что? — грозно вскричал Тюрин. — А крошечная Звезда Кэц почему не падает на Землю? А? Все дело в быстроте движения... Но маленькая Луна все же погибла, — примирительно сказал он. — Борющиеся силы — инерция и земное притяжение — разорвали ее в клочья... Увы, увy, это грозит и нашей Луне! Она распадется на осколки. И Земля получит прекрасное кольцо, как у Сатурна. Я полагаю, что это лунное кольцо даст не меньше света, чем Луна. Оно будет украшать ночи земных жителей. Но все же это будет потеря, — со вздохом закончил он.

— Невознаградимая потеря, — вставил я.

— Гм... гм... А может быть, и вознаградимая. У меня есть кое-какой проект, но о нем я пока помолчу.

— А как вы охотились за метеорами? — спросил я у Соколовского.

— Это забавная охота, — ответил геолог. — Мне приходилось охотиться за ними не только на орбите Звезды Кэц и...

— В поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, — перебил Тюрин. — Земными астрономами найдено немногим более тысячи этих астероидов. А мой каталог перевалил за четыре тысячи. Эти астероиды — тоже остатки планеты, более значительной, чем погибшая вторая Луна. По моим расчетам, эта планета была больше, чем Меркурий. Марс и Юпитер взаимным притяжением разорвали ее на куски. Не поделили! Кольцо Сатурна — тоже погибший его спутник, раздробленный на куски. Видите, сколько уже покойников в нашей солнечной системе. За кем очередь? Ой-ой... опять эти толчки!

Я снова заглянул в окно, придерживаясь руками за обитые кожей мягкие подлокотники кресла. За окном все то же черное небо, сплошь усеянное звездною пылью. Так можно лететь годы, столетия, и картина будет все та же...

И вдруг мне вспомнилась моя давнишняя поездка в вагоне самого обыкновенного поезда со старичком паровозом. Лето. Вечер. Солнце спускается за лес, золотя облака. В открытое окно вагона тянет лесной сыростью, запахом аконита, сладким запахом липы. В небе за поездом бежит молодой месяц. Лес сменяется озером, озеро — холмами, по холмам разбросаны дома,

утопающие в садах. А потом пошли поля, повеяло запахом гречихи. Сколько разнообразия впечатлений, сколько «движения» для глаза, уха, носа, выражаясь словами Тюринга. А здесь — ни ветра, ни дождей, ни смены погод, ни ночи, ни лета, ни зимы. Вечно однообразный траурный свод неба, страшное синеватое солнце, неизменный климат в ракете...

Нет, как ни интересно побывать в небе, на Луне, других планетах, но эту «небесную жизнь» я не променяю на земную...

— Ну так вот!.. Охота за астероидами — самый увлекательный вид охоты, — вдруг услышал я басок геолога Соколовского.

Мне нравится слушать его. Он говорит как-то просто, по-домашнему, «по-земному», словно беседует в своем кабинете где-нибудь на седьмой линии Васильевского острова. На него, по-видимому, необычайная обстановка не производит никакого действия.

— Подлетая к поясу астероидов, надо держать ухо востро, — говорит Соколовский. — Иначе того и гляди какой-нибудь осколок величиной с московский Дворец Советов, а то и больше обрушится на ракету — и поминай ее как звали! Поэтому летишь по касательной, все более приближаясь к направлению астероидов... Замечательная картина! Вы подлетаете к поясу астероидов. Вид неба изменяется... Взгляните-ка на небо. По существу, его нельзя назвать совершенно черным. Фон черный, но на нем сплошная россыпь звезд. И вот на этой светящейся россыпи вы замечаете темные полосы. Это пролетают не освещенные солнцем астероиды. Иные чертят на небе яркие, как серебро, следы. Другие оставляют полосы медно-красного света. Все небо становится полосатым. По мере того как ракета поворачивает в сторону движения астероидов, набирает скорость, летит и уже почти наравне с ними, они перестают казаться полосами. Вы попадаете в необычайный мир и летите среди многочисленных «лун» различной величины. Все они летят в одном направлении, но еще опережают ракету.

Когда какая-нибудь из «лун» пролетает близко от ракеты, вы видите, что она совсем не круглая. Эти «луны» имеют самые разнообразные формы. Один астероид, скажем, похож на пирамиду, другой приближается к форме шара, третий похож на неотесанный куб, большинство же — просто бесформенные обломки скал. Не-

которые летят группами, иные под влиянием взаимного притяжения сливаются в «виноградную гроздь»... Поверхность их то матовая, то блестящая, как горный хрусталь.

«Луны» справа, «луны» слева, вверху, внизу... Когда ракета замедляет полет, кажется, будто «луны» стремительно двинулись вперед, но вот ракета снова набирает скорость, и они начинают как бы замедлять полет. Наконец ракета их обгоняет — «луны» отстают.

Опасно лететь медленнее астероидов. Они могут нагнать и разбить ракету. Совершенно безопасно лететь в одном с ними направлении и с одинаковой скоростью. Но тогда видишь только окружающие астероиды. При этом кажется, что все стоит неподвижно — и ракета, и «луны» слева, справа, сверху, сзади. Только звездный свод медленно течет, потому что и астероиды и ракета все-таки летят и меняют свое положение на небе.

Наш капитан предпочитал летать немного скорее астероидов. Тогда небесные глыбы не налетят сзади. И вместе с тем двигаешься в рое «лун», рассматриваешь их, выбираешь. Словом, выступаешь в роли гоголевского черта, который собирается похитить с неба луну. Только маленькую. У нас еще не хватает сил сорвать большой астероид с его орбиты и прибуксировать к Звезде Кэп. Мы боимся израсходовать все горючее и оказаться пленниками астероида, который увлечет нас за собой... Вначале мы выбирали самые маленькие астероиды. Требовалось большое умение и ловкость, чтобы приблизиться к астероиду без толчка и взять его «на бордаж». Капитан так направлял ракету, что она, летя наравне с астероидом, как можно ближе подходила к нему. Затем боковые взрывы прекращались. Мы пускали в ход электромагнит: ведь почти все астероиды, кроме кристаллических, состоят главным образом из железа. Наконец, когда расстояние уменьшалось до ничтожной величины, мы выключали электромагнит, предоставляя остальное силе притяжения. Через некоторое время мы ощущали едва заметный толчок. И дальше летели уже вплотную с нашим спутником. В первое время, однако, причал не всегда сходил гладко. Иногда мы довольно-таки сильно сталкивались. Астероид — для нас незаметно — отклонялся от своей орбиты, зато ракета, как более легкая, отлетала в сторону, и приходилось снова маневрировать. Потом мы

наловчились «причаливать» очень чисто. Оставалось только прикрепить астероид к ракете. Мы пробовали привязывать его запасными цепями, пробовали удерживать электромагнитом, но все это было плохо. Впоследствии мы научились даже припаивать метеоры к оболочке ракеты, благо солнечной энергии у нас достаточно, а аппараты гелиогенной сварки мы всегда брали с собой.

— Но для этого надо было выходить из ракеты? — сказал я.

— Само собой. Мы и выходили. Даже путешествовали по астероидам. Помню один случай, — продолжал Соколовский, смеясь. — Мы подлетали к большому астероиду, имевшему вид плохо обточенной каменной бомбы несколько сплюснутой формы. Я вылетел из ракеты, уцепился за острые углы астероида и пошел в «кругосветное» путешествие. И что же вы думаете? На сплюснутых «полюсах» я поднимался и стоял на ногах «вверх головой», а на выпуклом «экваторе» центр тяжести переместился, и мне пришлось становиться на голову «вверх ногами». Так я и шел, цепляясь руками.

— То была, очевидно, вращающаяся планетка, и изменялся не центр тяжести, а относительная тяжесть, — поправил Тюрин. — У поверхности полюсов вращения тяжесть имеет наибольшую величину и нормальное направление к центру. Но чем дальше от полюса, тем тяжесть слабее. Так что человек, идущий от полюса к экватору, как бы спускается с горы, причем крутизна спуска все растет. Между полюсами и экватором направление тяжести совпадало с горизонтом, и вам казалось, что вы спускаетесь с совсем отвесной горы. А дальше почва представлялась уже наклонным потолком, и вам надо было хвататься за что придется, чтобы слететь с планетки... С Земли в лучшие телескопы, — продолжал Тюрин, — видны планеты с диаметром не менее шести километров. А астероиды бывают величиною и с пылинку.

— На каких только мне не приходилось бывать, — сказал Соколовский. — На иных тяжесть так ничтожна, что достаточно было легкого прыжка, чтобы улететь с поверхности. Я был на одном таком с окружностью в семнадцать с половиной километров. Подпрыгнув на метр, я опускался двадцать две секунды. Сделав движение не больше, чем то, которое необходимо, чтобы перешагнуть порог на Земле, я мог бы тут

подняться на высоту двухсот десяти метров — немного ниже башни Эйфеля. Я бросал камни, и они уже не возвращались.

— Вернуться, но не скоро, — вставил астроном.

— Побывал я и на относительно большой планетке с диаметром только в шесть раз меньше лунного. Я поднимал там одной рукой двадцать два человека — моих спутников. Там можно было бы качаться на качелях, подвешенных на суровых нитках, построить башню в шесть с половиной километров высотой. Я пробовал там выстрелить из револьвера. Что получилось, можете себе представить! Если бы я сам не был сброшен с планетки выстрелом, моя пуля могла бы убить меня сзади, облетев вокруг астероида. Она, вероятно, и сейчас носится где-нибудь вокруг планеты, как ее спутник.

— Поезда на такой планете двигались бы со скоростью тысяча двухсот восьмидесяти километров в час, — сказал Тюрин. — Кстати, несколько таких планет можно приблизить к Земле. Почему бы не устроить добавочное освещение? А затем и заселить эти планетки. Покрыть стеклянной оранжереей. Насадить растения. Развести животных. Это будет великолепное жилище. Со временем так можно будет заселить Луну.

— На Луне то слишком холодно, то слишком жарко, — сказал я.

— Искусственная атмосфера под стеклянным колпаком и шторы умерят жар Солнца. Что же касается холода почвы во время лунных ночей, то у меня на этот счет свои взгляды, — многозначительно заметил Тюрин. — Разве мы не отказались от теории раскаленного ядра Земли с чрезвычайно высокой температурой? И тем не менее наша Земля тепла...

— Солнце и атмосферная шуба... — начал геолог, но Тюрин перебил его:

— Да, да, но не только это. В земной коре развивается тепло от радиоактивного распада в ее недрах. Почему не может быть этого на Луне? И даже в более сильной степени? Радиоактивный распад сможет подогреть почву Луны. Да и не остывшая под лунной корой магма... Луна не так холодна, как кажется. И если там есть остатки атмосферы... Вот почему вы, биолог, включены в эту экспедицию, — обратился он ко мне.

Соколовский с сомнением покачал головой.

— На астероидах я что-то не встречал подогревания почвы радиоактивным распадом элементов.

— Астероиды меньше Луны,— пискливо ответил астроном.

Он ненадолго замолчал и вдруг опять ударился в философствование, словно две мыслительные линии в его мозгу шли параллельно.

Мертвые немигающие звезды заглядывают в окно нашей ракеты. Звездный дождь, пересекая небосклон, мчится куда-то вбок и вверх,— ракета поворачивает.

— Мы набрали уже немало астероидов,— тихо говорит мне Соколовский, не обращая внимания на Тюрина, который, как пифия, изрекает свои фразы.— Прежде всего мы «подвели фундамент» под наш ракетодром. Чем больше его масса, тем он устойчивее. Случайные удары причаливающих ракет не будут смещать его в пространстве. Затем мы поставляем астероиды на наши фабрики и заводы,— вы еще с этим познакомитесь. Недавно нам удалось поймать интереснейшую планетку. Правда, это совсем небольшой осколок — по-земному, тонны на полторы. Представьте себе, почти сплошной кусок золота... недурная находка! Золотые россыпи в небе...

Очевидно, услышав эти слова, Тюрин заметил:

— В больших планетах элементы располагаются от поверхности к центру по их восходящему удельному весу: наверху силиций, алюминий-«сиал», ниже силиций, магний -«сима», еще ниже никель, железо-«нифе», железо и еще более тяжелые металлы — платина, золото, ртуть, свинец. Ваш золотой астероид — обломок центрального ядра погибшей планеты. Редкий случай. На золотые россыпи неба много не рассчитывайте.

Меня клонило ко сну. Мой организм еще не отвык от земного распорядка дня и ночи, смены бодрствования и сна.

— Засыпаете? — спросил меня Тюрин.— Спокойной ночи. А со мною, знаете, творятся любопытные вещи. На обсерватории я совсем отвык от регулярного сна. И теперь похожу на тех животных, которые спят короткими промежутками. Вроде кота стал.

Он еще говорил что-то, но я уже уснул. Взрывов не было. Тихо, спокойно... Мне снилась моя ленинградская лаборатория...

Когда через сутки я взглянул на небо, то был поражен видом Луны. Она занимала седьмую часть неба

и прямо устрашала своей величиной. Он нее нас отделило всего две тысячи километров. Горы, долины, безводные «моря» были видны как на ладони. Резко выделялись контуры отдельных горных цепей, конусы в кратерах вулканов, давно погасших, безжизненных, как всё на Луне. Видны были даже зияющие трещины...

Астроном смотрел на Луну, не отрывая глаз. Он уже давно знал «каждый камень ее поверхности», как он выразился.

— Вон, смотрите, у края. Это Клавиус, ниже — Тихо, еще ниже — Альфонс, Птолемея, правее — Коперник, а дальше идут Апеннины, Кавказ, Альпы...

— Не хватает Памира, Гималаев, Кордильеров, — сказал я.

— А мы назовем так горные вершины на другой стороне Луны, — смеясь, сказал геолог. — Там они еще никем не именованы.

— Вот это Луна! — восхищался Тюрин. — В сто раз больше «земной». О, ах!.. — застонал он. — Опять тяжесть.

— Капитан тормозит, — сказал геолог. — Луна все сильнее притягивает нас к себе. Через полчаса будем на месте.

Я обрадовался и немного испугался. Пусть назовет меня трусом тот, кто уже совершил путешествие на Луну и не был взволнован перед первой посадкой.

Луна под нами. Она занимает уже полнеба. Ее горы растут на глазах.

Но странно: Луна, как и Земля, с высоты кажется уже не выпуклой поверхностью шара, а вогнутой, словно пестрый опрокинутый зонтик.

Тюрин стонал: контрвзрывание все усиливалось. Тем не менее он не отрывал взгляда от Луны. Но она вдруг стала сдвигаться куда-то вбок. И только потому, что мое тело отяжелело с одной стороны, я понял, что ракета вновь переменила направление полета. Направление тяжести переместилось настолько, что Луна «ощущалась» уже высоко над нами. Трудно было представить, как можно будет ходить «по потолку».

— Терпите, профессор, — обратился геолог к Тюрину. — Осталось всего два-три километра. Ракета летит совсем медленно: не больше сотни метров в секунду. Давление газов ракеты равно лунному притяжению, и ракета спокойно идет по инерции.

Снова стало легко. Тяжесть исчезла.

— А куда мы спускаемся? — спросил оживший через двадцать секунд Тюрин.

— Кажется, близко к нашему собрату Тихо Браге. Осталось всего пятьсот метров, — сказал Соколовский.

— Ой-ой! Опять контрвзрывы! — застонал Тюрин. Ну вот, все в порядке. Теперь Луна внизу, под нами.

— Сейчас спустимся... — сказал Соколовский с волнением в голосе. — Только бы не повредить наш «лунный автомобиль» при посадке.

Прошло еще десять секунд, и я почувствовал легкий толчок. Взрывы прекратились. Мы довольно мягко упали на бок.

XIV. На Луне

— С приездом! — сказал Соколовский. — Все благополучно.

— Мы даже не закрыли при посадке ставню, — заметил Тюрин. — Это неосторожность. Ракета могла удариться стеклом окна об острый обломок скалы.

— Ну, наш капитан не первый раз садится на Луну, — возразил Соколовский. — Итак, дорогие товарищи, надевайте межпланетные костюмы и пересаживайтесь на наш лунный автомобиль.

Мы быстро оделись и вышли из ракеты.

Я глубоко вздохнул. И хотя я дышал кислородом моего аппарата, мне показалось, будто газ приобрел здесь иной «вкус». Это, конечно, игра воображения. Вторым моим ощущением, уже вполне реальным, было чувство легкости. Я и раньше, во время полетов на ракете и на Звезде Кэц, где была почти полная невесомость, испытывал эту легкость, но здесь, на Луне, тяжесть ощущалась как «постоянная величина», только значительно меньшая, чем на Земле. Шутка сказать, я весил теперь в шесть раз меньше своего земного веса!

Я осмотрелся. Над нами было все то же траурное небо с немигающими звездами. Солнца не видно, не видно и Земли. Полная темнота, прорезываемая лишь лучами света из бокового окна нашей ракеты. Все это как-то не вязалось с обычным представлением о сияющем земном спутнике. Потом я догадался: ракета снизилась несколько южнее Клавиуса, на той стороне Луны, которая с Земли никогда не видна. А здесь в это время была ночь.

Кругом мертвая пустыня. Холода я не чувствовал в своем электрифицированном костюме. Но вид этой черной пустыни леденил душу.

Из ракеты вышли капитан и механик, чтобы помочь снять наш ракетный автомобиль. Геолог жестом приглашает меня принять участие в общей работе. Я гляжу на ракету-авто. Она имеет вид вагона-яйца. Как она ни мала, вес ее должен быть порядочный. Между тем я не вижу ни канатов, ни лебедок, — словом, никаких приспособлений для спуска. Механик работает наверху, отвинчивая гайки. Капитан, Соколовский, Тюрин и я стоим внизу, готовые принять ракету. Но ведь она раздавит нас... Впрочем, мы на Луне. К этому не сразу привыкнешь. Вот уже кормовая часть «яйца» отвинчена. Ракета опустилась кормой. Соколовский ухватился за край отверстия дюзы. Капитан стоит посередине, я — у носовой части. Сейчас ракета соскользнет вниз... Я уже держу руки наготове и вместе с тем думаю о том, куда и как отскочить, если тяжесть окажется не по моим силам. Однако мои опасения напрасны. Шесть рук, подхватив соскользнувшую ракетку, без особого напряжения ставят ее на колеса.

Капитан и механик, помахав руками на прощание, ушли в большую ракету. Тюрин пригласил меня и Соколовского войти в наш автомобиль.

В нем было довольно-таки тесно. Но зато мы могли освободиться от наших костюмов и разговаривать.

Распоряжался Соколовский, уже знакомый с устройством маленькой ракетки. Он зажег свет, наполнил ракету кислородом, включил электрическую печь.

Внутренность ракеты напоминала закрытый четырехместный автомобиль. Эти четыре сиденья занимали только переднюю часть ракеты. Две трети кабины были заняты горючим, продовольствием, механизмами. В эту часть ракеты вела узкая дверь, в которую с трудом можно было протиснуться.

Раздевшись, мы почувствовали холод, хотя электрическая печь уже работала. Я ежился. Тюрин набросил на себя меховую курточку.

— Сильно остыла наша ракетка. Потерпите, скоро нагреется, — сказал Соколовский.

— Уже заря занимается, — пропищал Тюрин, взглянув в небольшое окно нашего экипажа.

— Заря? — с удивлением спросил я. — Какая же на Луне может быть заря: ведь здесь нет атмосферы?

— Оказывается, может быть, — ответил Тюрин. Он никогда не был на Луне, но, как астроном, знал лунные условия не хуже земных.

Я посмотрел в окно и увидел вдали несколько точек, светящихся, как раскаленные добела куски металла.

Это были освещенные восходящим солнцем вершины гор. Их яркий отсвет отражался на других вершинах. Передаваясь дальше и дальше и постепенно ослабевая, он создавал своеобразный эффект лунной зари. При ее свете я начинал различать находящиеся в полутени горные цепи, впадины «морей», конусообразные пики. Невидимые горы на фоне звездного неба зияли черными провалами с причудливыми зубчатыми краями.

— Скоро взойдет солнце, — сказал я.

— Не так-то скоро, — возразил Тюрин. — На экваторе Земли оно восходит в две минуты, а здесь придется ждать целый час, пока весь солнечный диск поднимется над горизонтом. Ведь сутки на Луне в тридцать раз длиннее, чем на Земле.

Я, не отрываясь, смотрел в окно. Зрелище было изумительное! Горные вершины ослепительно вспыхивали одна за другой, словно кто зажигал на них факелы. А сколько этих горных вершин на Луне! Лучи еще невидимого Солнца «срезали» все вершины на одинаковом расстоянии от поверхности. И казалось, будто в «воздухе» внезапно появлялись горы причудливых очертаний, но с одинаково плоским основанием. Этих пылающих гор становилось все больше и больше, и вот, наконец, обозначилась их «проекция», и они перестали казаться висящими на черном фоне.

В своей нижней части они были пепельно-серебристого цвета, а выше — ослепительно белого. Постепенно освещались отраженным светом и подножия гор. «Лунная заря» разгоралась все ярче.

Буквально ослепленный этим зрелищем, я все же не мог оторвать глаз от окна. Мне хотелось разглядеть особенности в очертании лунных гор. Но горы были почти такие же, как и на Земле. Кое-где скалы нависали над пропастью, как огромные карнизы, и тем не менее не падали. Здесь они весили легче, притяжение было слабее.

На лунных равнинах, словно на поле сражения, были воронки разной величины. Одни маленькие, не больше тех, которые оставляет после разрыва снаряд трехдюймовки, другие приближались к размерам кратера. Неужто это следы от упавших на Луну метеоритов? Это возможно. Атмосферы на Луне нет, следовательно, нет защитного покрова, который предохранял бы Луну, как Землю, от небесных бомб. Но ведь тогда здесь очень небезопасно. Что, если такая бомба-метеор в несколько сотен тонн упадет на голову!

Я высказал свои опасения Тюрину. Он посмотрел на меня с улыбкой.

— Часть воронок вулканического происхождения, но часть, безусловно, сделана падающими метеорами, — сказал он. — Вы опасаетесь, что один из них может свалиться на вашу голову? Такая возможность, конечно, существует, но теория вероятности говорит, что риск здесь немногим больше, чем на Земле.

— Немногим больше! — воскликнул я. — Много ли падает больших метеоров на Землю? За ними охотятся, как за редкостью. А здесь, посмотрите, вся поверхность изрыта ими.

— Это правда, — спокойно ответил Тюрин. — Но вы забываете об одном: Луна уже давно лишена атмосферы. Существует она миллионы лет, причем так как здесь нет ни ветров, ни дождей, следы от падения метеоров остаются неизменными. И эти воронки — летопись многих миллионов лет жизни. Если один большой метеор упадет на поверхность Луны раз в столетие, это уже много. Неужто мы будем такими счастливыми, что именно теперь, при нас, упадет этот метеор? Я бы ничего не имел против, конечно, если только метеор упадет не прямо на голову, а поблизости от меня.

— Давайте потолкуем о плане наших действий, — сказал Соколовский.

Тюрин предложил начать с общего осмотра лунной поверхности.

— Сколько раз я любовался в телескоп на цирк Клавиуса, на кратер Коперника! — говорил он. — Я хочу быть первым астрономом, нога которого ступит на эти места.

— Предлагаю начать с геологического исследования почвы, — предложил Соколовский. — Тем более что видимая с Земли часть Луны еще не освещена солнцем, а здесь наступило «утро».

— Вы ошибаетесь, — возразил Тюрин. — То есть вы не совсем точны. На Земле сейчас видят месяц в его первой четверти. Мы можем объехать этот «месяц» — восточный край Луны — за сорок пять часов, если пустим нашу ракету со скоростью километров двести в час. Остановимся мы только на Клавиусе и Копернике. Да кто тут начальник экспедиции: я или вы? — закончил он, уже горячась.

Прогулка по «месяцу» заинтересовала меня.

— Почему бы нам в самом деле не посмотреть величайший цирк и кратер Луны? — сказал я. — Их геологическое строение также представляет большой интерес.

Геолог пожал плечами. На лунной поверхности, видимой с Земли, Соколовский уже был однажды. Но если большинство за это путешествие...

— А вы не всходили на кратер? — с опаской спросил Тюрин.

— Нет, нет, — засмеялся Соколовский. — Человеческая нога еще не ступала на него. Ваша будет первая. Я был «на дне» моря Изобилия. И могу подтвердить, что это название оправдывает себя, если говорить о геологических материалах. Я собрал там чудесную коллекцию... Ну, нечего терять время. Ехать так ехать! Но только позвольте мне развить бóльшую скорость. На нашем авто мы можем делать тысячу и больше километров в час. Так и быть, доставлю вас на Клавиус.

— И на Коперник, — сказал Тюрин. — Попутно мы осмотрим Карпаты. Они лежат немного севернее Коперника.

— Есть! — ответил Соколовский и нажал рычаг.

Наша ракета дрогнула, пробежала некоторое расстояние на колесах и, отделившись от поверхности, стала набирать высоту. Я увидел нашу большую ракету, лежавшую в долине, затем яркий луч света ослепил меня: Солнце!

Оно стояло еще совсем низко над горизонтом. Это было утреннее Солнце, но как оно не походило на то Солнце, которое мы видим с Земли. Атмосфера не румянила его. Оно было синеватое, как всегда на этом черном небе. Но свет его был ослепителен. Сквозь стекла окна я сразу почувствовал его тепло.

Ракета уже поднялась высоко и летела над горными вершинами. Тюрин внимательно всматривался в очертания гор. Он забыл о толчках, сопровождающих пере-

мену скоростей, и о своей философии. Сейчас он был только астрономом.

— Клавиус! Это он! Я уже вижу внутри него три больших кратера.

— Доставить прямо в цирк? — улыбаясь, спросил Соколовский.

— Да, в цирк. Поближе к кратеру! — воскликнул Тюрин. И вдруг запел от радости.

Для меня это было так неожиданно, словно я услышал пение паука. Я уже говорил, что у Тюрина был чрезвычайно тонкий голос, что, к сожалению, нельзя сказать о его слухе. В пении Тюрина не было ни ритма, ни мелодии. Соколовский лукаво посмотрел на меня и улыбнулся.

— Что? О чем вы? — вдруг спросил его Тюрин.

— Выискиваю место для посадки, — ответил геолог.

— Место для посадки! — воскликнул Тюрин. — Я думаю, здесь его достаточно. Поперечник Клавиуса имеет двести километров. Треть расстояния между Ленинградом и Москвой!

Цирк Клавиуса представлял собой долину, окруженную высоким валом. Тюрин говорил, что высота этого вала семь километров. Это выше Альп, высота Кордильеров. Судя по зубчатой тени, вал имеет неровные края. Три тени от небольших кратеров протянулись почти через весь цирк.

— Самое подходящее время для путешествия по цирку, — сказал Тюрин. — Когда Солнце над головой, на Луне невыносимо жарко. Почва накалена. Теперь же она только нагревается.

— Ничего, выдержим и лунный день. Наши костюмы хорошо предохраняют и от жары и от холода, — отозвался Соколовский. — Спускаемся. Держитесь крепче, профессор!

Я тоже ухватился за кресло. Но ракета почти без толчка стала на колеса, подпрыгнула, пролетела метров двадцать, снова упала, снова подпрыгнула и, наконец, побежала по довольно ровной поверхности.

Тюрин просил подъехать к центру треугольника, образуемого тремя кратерами.

Мы быстро направились к кратерам. Почва становилась все более неровной, нас начало бросать из стороны в сторону, подкидывать на сиденьях.

— Пожалуй, лучше одним прыжком перенестись до

места, — сказал геолог. — Того и гляди колеса поломаешь.

В этот момент мы почувствовали сильный толчок. Что-то под нами кракнуло, и машина, осев набок, медленно потащила по кочкам.

— Ну вот, я говорил! — воскликнул с досадой Соколовский. — Авария. Придется выходить наружу и исправлять повреждение.

— У нас есть запасные колеса. Починим, — сказал Тюрин. — В крайнем случае пешком пойдём. До кратеров осталось всего с десяток километров. Надо одеваться!

Он поспешно вынул трубку и закурил.

— А я предлагаю закусить, — сказал Соколовский. — Уже пора завтракать.

Как ни торопился Тюрин, ему пришлось подчиниться. Мы наскоро позавтракали и вышли наружу. Соколовский покачал головой: колесо было совсем испорчено. Пришлось ставить новое.

— Ну, вы возитесь, а я побегу, — сказал Тюрин.

И он действительно побежал. Этаким-то кисель! Вот что значит научная любознательность! Соколовский в удивлении развел руками. Тюрин легко перепрыгивал через трещины в два метра шириной и только более широкие обегал кругом. Половина его костюма, обращенная к солнцу, ярко блестела, а другая почти пропадала в тени. Казалось, по лунной поверхности движется необычайный урод, прыгая на правой ноге и размахивая правой рукой. Левая рука и нога периодически сверкали узкой световой ленточкой — «месяцем» освещенной части. Фигура Тюрина быстро удалялась.

Мы провозились с колесом несколько минут. Когда все было исправлено, Соколовский предложил мне подняться на верхнюю открытую площадку ракеты, где имелся второй аппарат управления. Мы тронулись в путь по следам Тюрина. Сидеть на вершине ракеты было интереснее, чем внутри. Я мог обозревать все окрестности. Справа от нас — четыре тени гор исполосовали ярко освещенную Солнцем долину. Направо — «горели» только вершины гор, а подножия их тонули в лунных сумерках. С Земли эта часть Луны кажется пепельного цвета. Горные цепи были более пологими, чем я ожидал. Мы ехали по самому краю «месяца», то есть по линии «терминатора», как говорил Тюрин, — границы света и тени.

Вдруг Соколовский легонько толкнул меня локтем в бок и кивнул головой вперед. Перед нами была огромная трещина. Мы уже не раз с разбегу перескакивали такие трещины, а если трещина оказывалась слишком широкой, перелетали через нее. Вероятно, Соколовский предупредил меня перед прыжком, чтобы я не свалился. Я вопросительно посмотрел на него. Геолог прислонил свой скафандр к моему и сказал:

— Смотрите, наш профессор...

Я взглянул и увидел Тюрина, только что выскочившего из теневой полосы. Он бежал, размахивая руками, вдоль длинной трещины навстречу нам. Перепрыгнуть через трещину он не мог.

— Боится, что мы опередим его и первыми станем в центре цирка,— сказал геолог.— Придется остановиться.

Едва ракета стала, Тюрин с разбегу вскочил на верхнюю площадку. Луна решительно омолодила его.

Впрочем, я несколько преувеличиваю. Тюрин привалился ко мне всем телом, и видно было, как его одежда судорожно приподнималась на груди. Старик устал чрезвычайно.

Соколовский перед трещиной «нажал на педали». Произошел взрыв — ракета рванулась вперед и вверх. В то же время у меня перед глазами мелькнули ноги Тюрина. Утомление сказалось: он не успел крепко ухватиться за поручни и был сброшен. Я увидел, как его тело, описав дугу, начало падать. Он падал медленно, но со значительной высоты. У меня замерло сердце. Убился профессор!..

А мы уже летели над широкой трещиной. Вдруг Соколовский круто повернул ракету назад, отчего я сам едва не сорвался, и мы быстро спустились на поверхность Луны недалеко от Тюрина. Тюрин лежал неподвижно. Соколовский, как человек опытный, прежде всего осмотрел его одежду — нет ли разрывов. Малейшая дыра могла быть смертельна: мировой холод моментально превратил бы тело профессора в кусок льда. К счастью, одежда была цела, только испачкана черной пылью и немного поцарапана. Тюрин поднял руку, шевельнул ногой... Жив! Неожиданно он поднялся на ноги и самостоятельно направился к ракете. Я был поражен. Только на Луне можно падать так благополучно. Взобравшись на свое место, Тюрин молча пока-

зал рукою вперед. Я заглянул в стекло его скафандра. Он улыбался!

Через несколько минут мы были на месте. Профессор первым торжественно сошел с ракеты. Он совершал обряд. Он священнодействовал. Эта картина навсегда врезалась в мою память. Черное небо, испещренное звездами. Синеватое Солнце. С одной стороны ослепительно яркие горы, с другой — «висящие в пустоте» раскаленные добела горные вершины. Широкая долина цирка, почти до половины покрытая тенью с зубчатым краем; на усыпанной пеплом и пылью каменистой почве — уходящие вдаль следы колес нашей машины. Эти следы на лунной поверхности производили особенно сильное впечатление. У самого края тени мерно шагает фигура, похожая на водолаза, оставляя за собой следы — следы ног человека! Но вот эта фигура останавливается. Смотрит на кратеры, на нас, на небо. Собирает камни и складывает небольшую пирамиду. Затем наклоняется и чертит пальцем на пепле:

Т Ю Р И Н

Эта надпись, сделанная на легком пепле пальцем руки, крепче рунических надписей на земных скалах: дожди не смоют ее, ветры не занесут пылью. Надпись сохранится на миллионы лет, если только случайный метеорит не упадет на это место.

Тюрин удовлетворен. Мы вновь усаживаемся в наш экипаж и летим на север. Солнце понемногу поднимается над горизонтом и освещает отдельные утесы гор, лежащих на востоке. Однако как медленно катится оно по небу!

Снова прыжок над трещиной. На этот раз Тюрин предупрежден. Он цепляется руками за железные поручни. Я гляжу вниз. Ужасная трещина! Едва ли такие существуют на Земле. Дна не видно — черно. А в ширину она несколько километров. Бедная старушка Луна! Какие глубокие морщины на твоем лице!..

— Альфонс... Птолемея... Мы уже видали их, подлетая к Луне, — говорит Тюрин.

Вдали я вижу вершину кратера.

Тюрин прижимает свой скафандр к моему — иначе мы не можем разговаривать — и сообщает:

— Вот он!.. Коперник! Один из самых больших кратеров Луны. Его диаметр больше восьмидесяти пяти километров. Самый же большой кратер на Земле — на

острове Цейлоне — имеет менее семидесяти километров ширины.

— В кратер. В самый кратер! — командует Тюрин.

Соколовский ставит ракету «на дыбы». Она круто взвивается вверх, чтобы перелететь край кратера. С высоты я вижу правильный круг, в центре которого возвышается конус. Ракета опускается у подножия конуса. Тюрин соскакивает на поверхность и прыжками бежит к конусу. Неужели он хочет взобраться на вершину? Так и есть. Он уже карабкается по крутым, почти отвесным скалам и с такой быстротой, что самый лучший альпинист на Земле не угнался бы за ним. На Луне лазить гораздо легче. Здесь Тюрин весит десять — двенадцать килограммов. Это небольшой вес даже для его ослабленных мышц.

Вокруг конуса, на некотором расстоянии от него, — каменный вал. Мне не совсем понятно его происхождение. Если это камни, выброшенные некогда извержением вулкана, тогда они были бы разбросаны по всему пространству и не образовали бы такого правильного кольца.

Объяснение пришло совершенно неожиданно. Я вдруг почувствовал сотрясение почвы. Неужто на Луне бывают «лунотрясения»? Я в недоумении оглянулся на Соколовского. Тот молча протянул руку по направлению к пику: с его вершины летели огромные скалы, дробясь по пути. С разгона эти скалы докатились до вала.

Так вот в чем дело! На Луне нет ни ветров, ни дождей — разрушителей земных гор. Но зато есть более опасный разрушитель — огромная разница температур между лунной ночью и лунным днем. Две недели на Луне держится около двухсот градусов холода, а две недели — около двухсот тепла. Разница в четыреста градусов. Скалы не выдерживают и трескаются, как настывшие стаканы, в которые налили кипятку. Тюрин должен это знать лучше меня. Как же он неосторожен, предпринимая свою экскурсию на гору... Видимо, профессор и сам понял это: прыгая с утеса на утес, он быстро спускается вниз. Слева от него происходит новый обвал, справа — тоже. Но Тюрин уже около него.

— Нет, нет! Я не отказываюсь от своей мысли, — говорит он, — но я выбрал неудачное время. Восходить на лунные горы нужно или в конце лунного дня или ночью. Пока довольно. Летим в океан Бурь, а отту-

да — прямо на восток, на другую сторону Луны, которую еще не видел ни один человек.

— Хотел бы я знать, кто выдумал эти странные названия, — сказал я, когда мы двинулись в путь. Коперник, Платон, Аристотель — это я еще понимаю. Но что за океан Бурь на Луне, где никаких бурь не бывает? Море Изобилия, где ничего нет, кроме мертвых камней, море Кризисов... каких кризисов? И что это за моря, в которых нет ни капли воды?

— Да, названия не совсем удачны, — согласился Тюрин. — Впадины на поверхности Луны, конечно, лежат бывших здесь когда-то океанов и морей. Но их названия... Надо же было как-нибудь назвать! Вот когда открывали маленькие планеты, то сначала называли их по установившейся традиции именами древнегреческих богов. Скоро все имена были исчерпаны, а новых планеток прибывало все больше и больше. Тогда прибегли к прославленным именам людей: Фламариона, Гаусса, Пикеринга и даже известных филантропов вроде американца Эдуарда Тука. Так капиталист Тук приобрел в небе земельные участки. По-моему, для мелких планет лучше всего номерная система... А Карпаты, Альпы, Апеннины на Луне — это от скудости фантазии. Вот я, например, придумал совершенно новые названия гор, вулканов, морей и цирков, которые мы откроем на другой стороне Луны...

— Вы не забудете, конечно, и кратера Тюринна? — спросил, улыбаясь, Соколовский.

— На всех хватит, — ответил Тюрин. — И кратер Тюринна, и море Соколовского, и цирк Артемьева, если пожелаете.

Не прошло получаса, как Соколовский, «поддавший пару» нашей ракете, доставил нас в океан Бурь. Ракетка опустилась на «дно» океана. Дно было очень неровное. Кое-где поднимались высокие горы. Их вершины, возможно, когда-то выдавались островами. Иногда мы опускались в глубокие долины, и нас покрывала тень. Но совсем темно не становилось: отраженный свет падал от вершин освещенных гор.

Я внимательно смотрел по сторонам. Камни отбрасывали от себя сплошные длинные тени. Вдруг в одном месте я увидел странную решетчатую тень — как от полуразвалившейся корзины. Я указал на нее Соколовскому. Он тотчас же остановил ракетку, и я побежал к тени. По виду это был камень, но камень необычай-

ной формы: он напоминал часть позвоночного столба с ребрами. Неужели мы нашли останки вымершего чудовища? Значит, на Луне существовали даже позвоночные животные? Следовательно, она не так уж скоро лишилась своей атмосферы. «Позвонки» и «ребра» были слишком тонки для своих размеров. Но ведь на Луне тяжесть в шесть раз меньше, чем на Земле, и животные могли иметь здесь более тонкие скелеты. Притом это, наверное, было морское животное.

Геолог взял одно «ребро», валявшееся возле скелета, и разломил его. Снаружи черное, внутри оно имело сероватый пористый вид. Соколовский покачал головой и сказал:

— Я думаю, это не кости, а скорее кораллы.

— Но общий вид, очертания... — возразил я.

Научный спор готов был разгореться, но тут вмешался Тюрин. Ссылаясь на свои полномочия, он потребовал немедленного отправления. Он спешил осмотреть обратную сторону Луны, пока она была почти вся освещена Солнцем. Пришлось покориться. Я захватил несколько «костей», чтобы сделать анализ по возвращении на Кэц, и мы полетели дальше. Эта находка сильно взволновала меня. Если бы покопаться в почве морского дна, можно было бы сделать много неожиданных открытий. Восстановить картину кратковременной жизни на Луне. Кратковременной, разумеется, по астрономическим масштабам...

Наша ракетка мчалась на восток. Я смотрел на Солнце и удивлялся: оно довольно быстро поднималось к зениту. Вдруг Тюрин схватил себя за бока:

— Я, кажется, потерял свою лейку... Футляр цел, а аппарата нет... Назад! Я не могу остаться без фотографического аппарата! Я, вероятно, оборонил его, когда вкладывал в футляр после съемки этого злосчастного скелета! Здесь вещи так мало весят, что немудрено обронить их и не заметить...

Геолог с неудовольствием дернул головой, но повернул ракету обратно. И тут я заметил необычайное явление: Солнце пошло вспять к востоку, постепенно скатываясь к горизонту. Мне показалось, что я брежу. Не слишком ли накалили мне голову солнечные лучи? Солнце, движущееся на небе то в одну, то в другую сторону! Я не решался даже сказать об этом своим спутникам и продолжал молча наблюдать. Когда мы, подъезжая к месту, убавили скорость и шли не более

пятнадцати километров в час,— Солнце остановилось. Ничего не могу понять!

Тюрин, вероятно, заметил, что я слишком часто поглядываю на небо. Он усмехнулся и, прислонив свой скафандр к моему, сказал:

— Я вижу, вас беспокоит поведение Солнца. А между тем причина простая. Луна — небольшое небесное тело, движение ее экваториальных точек очень медленное: они проходят менее четырех метров в секунду. Поэтому, если ехать по экватору со скоростью около пятнадцати километров в час на запад, Солнце будет стоять на небе, а если ускорить наше движение, Солнце начнет «заходить на восток». И наоборот: когда мы ехали на восток, навстречу Солнцу, то мы, быстро перемещаясь по лунной поверхности, заставили Солнце ускорить свое восхождение. Словом, мы здесь можем управлять движением Солнца. Пятнадцать километров в час на Луне легко и пешком пройти. И тогда над пешеходом, движущимся с такой скоростью по экватору на запад, Солнце будет стоять неподвижно... Это очень удобно. Например, очень удобно идти следом за Солнцем, когда оно близко к заходу. Почва еще теплая, света достаточно, но нет изнуряющего зноя. Хотя наши костюмы хорошо предохраняют нас от смены температур, однако разница между светом и тенью чувствуется довольно ощутительно.

Мы приехали на старое место. Тюрин начал поиски аппарата, а я, воспользовавшись случаем, стал вновь осматривать дно океана Бурь. Может быть, некогда на поверхности этого океана действительно бушевали ужаснейшие бури. Волны в пять-шесть раз превышали волны земных океанов. Целые водяные горы ходили тогда по этому морю. Сверкала молния, шипела вода, грохотал гром... Море кишело чудовищами гигантского роста, гораздо большего, чем самые большие животные, когда-либо существовавшие на Земле...

Я подошел к краю трещины. Она была шириною не менее километра. Почему бы не заглянуть, что делается на глубине? Я засветил электрический фонарь и начал спускаться по пологим бокам трещины. Спускаться было совсем легко. Сначала осторожно, потом все смелее прыгал я, опускаясь глубже и глубже. Надо мною сверкали звезды. Кругом непроглядная темнота. Мне показалось, что с глубиной температура поднимается. Впрочем, может быть, я разогревался от быстрого дви-

жения. Жаль, что я не взял у геолога термометр. Можно было бы проверить гипотезу Тюринга о том, что почва Луны теплее, чем предполагали ученые.

На пути начали попадаться странные обломки каменной цилиндрической формы. Неужто это окаменевшие стволы деревьев? Но как они могли очутиться на дне моря, в глубокой расщелине?

Я зацепился за что-то острое, едва не разорвал костюма и похолодел от ужаса: это было бы смертельно. Быстро наклонившись, я ощупал рукою предмет: какие-то зубья. Повернул фонарь. Из скалы торчала длинная черная двусторонняя пила — точь-в-точь как у нашей «пилы-рыбы». Нет, «это» не могло быть кораллом. Я направлял свет в разные стороны и всюду видел пилы, прямые винтообразные бивни, как у нарвалов, хрящевые пластины, ребра... Целое кладбище вымерших животных... Ходить среди этих окаменевших орудий нападения и защиты было очень опасно. И все же я бродил как зачарованный. Необычайное открытие! Ради одного этого стоило совершить межпланетное путешествие. Я уже воображал, как в расщелину опустится специальная экспедиция, и кости животных, погибших миллионы миллионов лет тому назад, будут собраны, доставлены на Кэц, на Землю, в музей Академии наук, и ученые реставрируют лунных животных...

А вот это кораллы! Они не в шесть, а в десять раз больше самых крупных земных. Целый лес «ветвистых рогов». Некоторые кораллы сохранили даже окраску. Одни были цвета слоновой кости, другие — розовые, но больше всего красных.

Да, значит, на Луне существовала жизнь. Быть может, Тюринг прав, и нам удастся обнаружить остатки этой жизни. Не мертвые останки, а остатки последних представителей животного и растительного царства. Небольшой камешек, пролетев мимо меня, опустился в коралловый куст.

Это вернуло меня к действительности. Я поднял голову вверх и увидел на краю расщелины мигающие огоньки. Мои спутники, вероятно, уже давно сигнализировали мне. Надо было возвращаться. Я помигал им в ответ своим фонарем, затем поспешно собрал наиболее интересные образцы и нагрузил ими походную сумку. На земле эта кладь весила бы, вероятно, более шестидесяти килограммов. Значит, здесь весит не более

десяти. Эта добавочная тяжесть не слишком обременяла меня, и я быстро поднялся на поверхность.

Мне пришлось выслушать от астронома выговор за самовольную отлучку, но когда я рассказал ему о своей находке, он смягчился.

— Вы сделали великое открытие. Поздравляю! — сказал он. — Мы, конечно, организуем экспедицию. Но сейчас не будем задерживаться. Вперед, и уже без всяких задержек!

Но одна задержка все же произошла. Мы были уже у края океана. Перед нами поднимались «береговые» скалы, освещенные Солнцем. Чудесное зрелище! Соколовский невольно задержал машину.

Внизу скалы были из красноватых порфиров и базальтов самых разнообразных красок и оттенков: изумрудно-зеленый, розовый, серый, синий, палевый, желтый цвета... Это напоминало волшебный восточный ковер, переливающий всеми цветами радуги. Кое-где виднелись белоснежные отроги, розовые обелиски. Выходы огромных горных хрусталей сверкали ослепительным светом. Кровавыми каплями висели рубины. Словно прозрачные цветы красовались оранжевые гиацинты, кроваво-красные пионы, темные меланиты, фиолетовые алмандины. Целые гнезда сапфиров, изумрудов, аметистов... Откуда-то сбоку, с острого края скалы, брызнул целый сноп ярких радужных лучей. Так сверкать могли только алмазы. Это, вероятно, были свежие разломы скал, поэтому блеск и разнообразие цветов не затянуло еще космической пылью.

Геолог резко затормозил. Тюрин едва не выпал. Машина стала. Соколовский, вынимая на ходу из мешка геологический молоток, уже прыгал по сверкающим скалам. За ним я, за нами Тюрин. Соколовского охватило «геологическое» безумие. Это не была жадность стяжателя при виде драгоценностей. Это была жадность ученого, встретившего гнездо редких ископаемых.

Соколовский бил молотком по алмазным глыбам с остервенением рудокопа, заваленного обвалом и пробивающего себе путь спасения. Под градом ударов алмазы разлетались во все стороны радужными брызгами. Безумие заразительно. Я и Тюрин подбирали алмазные куски и тут же бросали, чтоб схватить лучшие. Мы набивали ими сумки, вертели в руках, поворачивая

к лучам Солнца, подбрасывали вверх. Все искрилось и сверкало вокруг нас.

Луна! Луна! С Земли ты кажешься однообразно-серебристого цвета. Но сколько разнообразных, ослепительных красок открываешь ты для того, кто ступил на твою поверхность!..

Впоследствии мы не раз встречали такие сокровища. Драгоценные камни, как разноцветная роса, выступали на скалах гор, пиков. Алмазы, изумруды — самые дорогие на Земле камни — не редкость на Луне... Мы почти привыкли к этому зрелищу. Но я никогда не забуду «алмазной горячки», охватившей нас на берегу океана Бурь...

Мы снова летим на восток, перепрыгивая через горы и трещины. Геолог нагоняет потерянное время.

Тюрин, придерживаясь одной рукой за подлокотник сиденья, торжественно приподнимает другую руку и даже привстает. Этим он знаменует наш перевал через границу видимой с Земли лунной поверхности. Мы вступили в область неизвестного. Ни один человеческий глаз еще не видал того, что увидим сейчас мы. Мое внимание напрягается до крайних пределов.

Но первые километры принесли разочарование. Такое чувство бывает при первом посещении заграницы. Всегда кажется, что стоит тебе только переехать пограничную черту, и все станет иным. Однако вначале видишь те же наши березки, те же сосны... Только архитектура домов да костюмы людей меняются. И лишь постепенно раскрывается своеобразие новой страны. Здесь разница была еще менее заметна. Те же горы, цирки, кратеры, долины, впадины былых морей...

Тюрин волновался чрезвычайно. Он не знал, как поступить: наверху вагона-ракеты лучше видно, в самой же ракете удобнее вести записи. Выиграешь одно, проиграешь другое. В конце концов он решил пожертвовать записями: все равно поверхность «задней» стороны Луны будет тщательно измерена и со временем занесена на карту. Сейчас нужно получить лишь общее представление об этой неведомой людям части лунного рельефа. Мы решили проехать вдоль экватора. Тюрин отмечал только самые крупные цирки, самые высокие кратеры и давал им названия. Это право первого исследователя давало ему большое наслаждение. Вместе с тем он был настолько скромнен, что не спешил называть кратер или море своим именем. Он, вероятно, за-

ранее заготовил целый каталог и теперь так и сыпал именами героев социалистических революций, знаменитых ученых, писателей, путешественников.

— Как вам нравится это море? — спросил он меня с видом короля, который собирается наградить земельной собственностью своего вассала. — Не назвать ли его «море Артемьева»?

Я посмотрел на глубокую впадину, тянущуюся до горизонта и испещренную трещинами. Это море ничем не отличалось от других лунных морей.

— Если позволите, — сказал я после некоторого колебания, — назовем его «морем Антонины».

— Антония? Марка Антония, ближайшего помощника Юлия Цезаря? — спросил, не расслышав, Тюрин. Его голова была набита именами великих людей и богов древности. — Что же, это хорошо. Марк Антоний! Это звучит неплохо и еще не использовано астрономами. Так и будет. Запишем: «Море Марка Антония».

Мне неловко было поправлять профессора. Так ближайший сотрудник Юлия Цезаря получил посмертные владения на Луне. Ну, ничего. На меня и на Тоню еще хватит морей.

Тюрин попросил сделать остановку. Мы находились в котловине, куда еще не достигали лучи Солнца.

Высадившись, астроном вынул термометр и воткнул его в почву. Геолог спустился вслед за Тюриным. Через некоторое время Тюрин вытащил термометр и, взглянув на него, передал Соколовскому. Они сдвинули свои скафандры и, видимо, поделились соображениями. Затем быстро поднялись на площадку ракеты. Здесь снова заговорили. Я вопросительно посмотрел на Соколовского.

— Температура почвы около двухсот пятидесяти градусов холода по Цельсию, — сказал мне Соколовский. — По этому поводу Тюрин не в духе. Он объясняет это тем, что в данном месте мало радиоактивных веществ, распад которых подогревал бы почву. Он говорит, что и на Земле океаны образовались именно там, где почва была наиболее холодна. На дне тропических морей температура действительно бывает холоднее, чем даже в морях северных широт. Он уверяет, что мы еще найдем отепленные радиоактивным распадом зоны. Хотя, между нами говоря, в общем тепловом режиме Земли тепло радиоактивного распада составляет

очень незначительную величину. Я думаю, и на Луне дело обстоит так же.

Соколовский предложил подняться повыше, чтобы лучше обозреть общий вид лунной поверхности.

— Перед нами развернется вся карта. Ее можно будет заснять, — сказал он Тюрину.

Астроном согласился. Мы крепко ухватились за подлокотники сидений, и Соколовский усилил взрывы. Ракета начала набирать высоту. Тюрин непрерывно щелкал фотоаппаратом. В одном месте, на небольшой возвышенности, я увидел скопление камней или скал в виде правильного прямого угла.

«Уж не постройки ли это лунных жителей, которые существовали, пока Луна не превратилась в мертвую планету, лишенную атмосферы?» — подумал я и сразу же отбросил эту нелепую мысль. Но правильная геометрическая форма все же запомнилась мне, как одна из еще не разгаданных загадок.

Тюрин ерзал на своем кресле. Видимо, неудача с термометром сильно огорчила профессора. Когда мы пролетали над очередным «морем», Тюрин потребовал, чтобы Соколовский снизился в затененную его часть, и снова измерил температуру. На этот раз термометр показал минус сто восемьдесят градусов. Разница огромная, если только она не была вызвана значительным нагревом почвы от Солнца. Однако Тюрин окинул Соколовского взглядом победителя и безапелляционно заявил:

— «Море Зноя» — так будет оно называться.

Зной в сто восемьдесят градусов ниже нуля! Впрочем, чем это хуже «моря Дождей» или «моря Изобилия»? Шутники эти астрономы!

Тюрин предложил проехать сотни две километров на колесах, чтобы еще в двух-трех местах измерить температуру почвы.

Мы ехали по дну уже другого моря, которому я охотно дал бы название «море Тряски». Все дно было покрыто буграми, некоторые из них имели маслянистую поверхность. Не были ли это нефтяные пласты? Трясло нас немилосердно, но мы продолжали ехать. Тюрин довольно часто проверял температуру. Когда в одном месте Цельсий показал двести градусов холода, астроном торжественно поднес термометр к глазам Соколовского. В чем дело? А в том, что если температура вновь понизилась, несмотря на то, что мы едем на-

встречу лунному дню, то, значит, дело не только в нагреве почвы Солнцем. Пожалуй, профессор в этом прав.

Тюрин повеселел. Мы выбрались из котловины, объехали трещину, перевалили через каменную гряду цирка и, пробежав по гладкой равнине, поднялись над горами.

Перелетев через них, мы увидели грандиозную стену гор километров в пятнадцать высоты. Эта стена закрывала от нас Солнце, хотя оно уже довольно высоко стояло над горизонтом. Мы едва не налетели на эту неожиданно высокую преграду. Соколовский сделал крутой поворот и набрал высоту.

— Вот это находка! — восхищался Тюрин. — Эту горную цепь не назовешь ни Альпами, ни Кордильерами. Это... Это...

— Тюриньеры! — подсказал Соколовский. — Да, Тюриньеры. Вполне звучное и достойное вас название. Гор выше этих мы, наверное, не найдем.

— Тюриньеры, — ошеломленно повторил Тюрин. — Гм... гм... немножко нескромно... Но звучит отлично: Тюриньеры! Пусть будет по-вашему, — согласился он. Через стекла скафандра я увидел его сияющее лицо.

Нам пришлось сделать большой полукруг, набирая высоту. Эти горы уходили в самое небо... Наконец мы вновь увидели Солнце. Ослепительное синее Солнце! Я невольно зажмурил глаза. А когда открыл их, мне показалось, что мы оставили Луну и несемся в просторах неба... Я обернулся и увидел позади сияющую отвесную стену Тюриньеров, их основания уходили куда-то в черную бездну. А впереди — ничего. Внизу — ничего. Черная пустота... Отраженный свет постепенно гаснет, и дальше — полная тьма.

Вот так приключение! Луна с ее обратной стороны, оказывается, имеет форму не полушария, а какого-то обрубка шара. Вижу, мои соседи волнуются не меньше меня. Я смотрю вправо, влево. Пустота. Мне вспомнились гипотезы о том, какою может быть невидимая часть Луны. Большинство астрономов утверждало, что эта часть такая же, как и видимая, только с другими морями, горами. Кто-то высказал мысль, что Луна имеет грушевидную форму. Со стороны Земли она шаровидна, а с другой стороны вытянута почти как груша. И оттого будто бы Луна всегда обращена одной, наиболее тяжелой, стороной к Земле. Но мы нашли нечто

еще более невероятное: Луна — половина шара. Куда же девалась вторая половина?

Полет продолжался несколько минут, а мы все еще летели над черной бездной. Тюрин сидел словно оглушенный. Соколовский молча правил, все усиливая взрывы: ему не терпелось узнать, чем все это кончится.

Не знаю, как долго летели мы среди черноты звездного неба, но вот на востоке показалась светящаяся полоска лунной поверхности. Мы обрадовались ей, как путешественники, переплывшие неведомый океан, при виде желанного берега. Так, значит, мы не свалились с Луны? Что же тогда было под нами?

Тюрин догадался первый.

— Трещина! — воскликнул он, стукнувшись о мой скафандр. — Трещина необычайной глубины и ширины! Так оно и оказалось.

Скоро мы достигли другого края трещины.

Когда я оглянулся назад, Тюриньеров не было. Они исчезли за горизонтом. А позади нас зияло черное пространство.

Мы все трое были слишком потрясены нашим открытием. Соколовский, выбрав посадочную площадку, снизился, посадив ракету недалеко от края.

Мы молча переглянулись. Тюрин почесал рукою скафандр, — он хотел почесать затылок, как это делают люди, вконец озадаченные. Мы сдвинули наши скафандры: всем хотелось поделиться впечатлениями.

— Так вот какое дело выходит, — сказал наконец Тюрин. — Это уже не обычная трещина, каких немало на Луне. Эта трещина идет почти от края до края на поверхности задней стороны Луны. И глубина ее едва ли не больше десятой части всего диаметра планеты. Наш милый спутник болен и серьезно болен, а мы и не знали этого. Увы, Луна — наполовину треснувший шар.

Мне вспомнились разные гипотезы о гибели Луны. Одни утверждали, что Луна, вращаясь вокруг Земли, все больше удаляется от нее. И поэтому будущим земным жителям Луна будет казаться все меньше и меньше. Сначала сравняется с Венерой, затем будет видна как простая маленькая звездочка, и, наконец, наш верный спутник навсегда уйдет в мировое пространство. Иные, наоборот, пугают тем, что Луна в конце концов будет притянута Землей и упадет на нее. Нечто подобное будто бы было уже однажды на Земле: Земля имела второго спутника — небольшую Луну, которая в не-

запамятные времена упала на Землю. При этом падении образовалась впадина Тихого океана.

— Что же будет с Луной? — тревожно спросил я. — Упадет ли она на Землю или уйдет в мировое пространство, когда распадется на части?

— Ни то, ни другое. Скорее всего она будет носиться вокруг Земли бесконечно долго, но в ином виде, — ответил Тюрин. — Если она расколется только на две части, то у Земли окажется два спутника вместо одного. Две «полулунны». Но вернее всего — Луна разлетится на мелкие части, и тогда вокруг Земли образуется светящийся пояс, как у Сатурна. Кольцо из мелких кусков. Я предсказывал это, но, признаться, угроза потерять Луну стоит ближе, чем я думал... Да, жалко нашей старушки Луны, — продолжал он, глядя во мрак трещины. — Гм... гм... А может быть, и не ждать неизбежного конца, а ускорить его? Если в эту трещину заложить тонну нашего потентала, то этого, вероятно, будет достаточно, чтобы разорвать Луну на части. Уж если суждено ей погибнуть, то, по крайней мере, пусть это произойдет по нашей воле и в назначенный час.

— Интересно, как глубоко уходит трещина в лунную кору? — сказал Соколовский. Его, как геолога, интересовала не судьба Луны, а возможность проникнуть почти до центра планеты.

Тюрин быстро согласился совершить это путешествие.

Мы начали обсуждать план действий. Тюрин предлагал медленно спускаться в ракете-вагоне по отвесному склону трещины, тормозя спуск взрывами.

— Можно делать остановки и измерять температуру, — сказал он.

Но Соколовский считал такой спуск трудным и даже рискованным. Притом на медленный спуск уйдет слишком много горючего.

— Лучше мы опустимся прямо на дно. На обратном пути можно сделать две-три остановки, если найдем подходящие для ракеты площадки.

Соколовский был нашим капитаном, и Тюрину на этот раз пришлось согласиться. Он только просил опускаться не очень быстро и держаться ближе к краю трещины, чтобы осмотреть геологический состав склона, насколько это возможно при полете.

И вот мы начали спуск.

Ракета поднялась над черной бездной расщелины и, описав полукруг, пошла на снижение. Солнце, стоявшее уже довольно высоко, освещало часть склона на значительную глубину. Но противоположный склон трещины еще не был виден. Ракета все наклонялась, словно сани, летящие с горы. Нам приходилось откидываться назад, упираться ногами. Тюрин защелкал фотоаппаратом.

Мы видели черные, почти гладкие скалы. Иногда они словно наливались синевой. Затем появились красноватые, желтоватые, зеленые оттенки. Я объяснял это тем, что здесь дольше сохранялась атмосфера и металлы, в особенности железо, подверглись большому действию кислорода, окисляясь, как на Земле. Впоследствии Тюрин и Соколовский подтвердили мое предположение.

Внезапно мы погрузились в глубокую тьму. Ракета вошла в полосу тени. Переход был так резок, что в первое мгновение мы точно ослепли. Ракета повернулась вправо. В темноте было рискованно лететь вблизи скал. Вспыхнули лучи прожекторов. Два огненных щупальца шарили во мраке, ничего не встречая. Спуск замедлился. Проходила минута за минутой, а мы все еще летели в пустоте. Если бы не отсутствие звезд по сторонам, можно было подумать, что мы несемся в межпланетном пространстве. Но вот лучи света скользнули по острому утесу. Соколовский еще более замедлил полет. Прожекторы освещали угловатые пласты отслоившихся горных пород. Справа показалась стена. Мы повернули влево. Но и слева виднелась такая же стена. Теперь мы летели в узком каньоне. Целые горы остроконечных обломков громоздились со всех сторон. Сесть было невозможно. Мы пролетали километр за километром, но ущелье не расширялось.

— Кажется, нам придется ограничиться этим осмотром и подняться, — сказал Соколовский.

На нем лежала ответственность за наши жизни и за целостность ракеты, — он не хотел рисковать. Но Тюрин положил свою руку на руку Соколовского, как бы запрещающая этим жестом поворачивать руль высоты.

Полет продолжался час, два, три, — я уж не могу сказать точно.

Наконец мы увидели площадку, лежащую довольно косо, но все же на нее можно было спуститься. Ракета остановилась в пространстве, потом очень медленно

снизилась. Стоп! Ракета стояла под углом в тридцать градусов.

— Ну вот, — сказал Соколовский. — Доставить вас сюда я доставил, но как мы поднимемся отсюда, не знаю.

— Главное — мы достигли цели, — ответил Тюрин.

Сейчас он ни о чем больше не хотел думать и занялся измерением температуры почвы. К его величайшему удовольствию, термометр показывал сто пятьдесят градусов холода. Не слишком-то высокая температура, но все же гипотеза как будто оправдывалась.

А геолог уже бил молотком. Из-под его молотка сыпались искры, но ни один кусок породы не отлетал в сторону. Наконец, утомленный работой Соколовский выпрямился и, прислонившись ко мне скафандром, сказал:

— Чистейший железняк. Чего и можно было ожидать. Придется ограничиться готовыми обломками. — И он зашагал по площадке в поисках образцов.

Я посмотрел вверх и увидел звезды, полосы Млечного Пути и ярко расцветенные разноцветными искрами сияющие края нашей третины. Потом я взглянул в направлении луча прожектора. И вдруг мне показалось, что возле небольшой боковой расщелины луч как будто колеблется. Я подошел к расщелине. В самом деле: еле заметная струя пара или газа выходила из ее глубин. Чтобы проверить себя, я взял горсть легкого пепла и бросил туда. Пепел отлетел в сторону. Это становилось интересным. Я нашел обломок скалы, нависший над краем, и сбросил его, чтобы сотрясением почвы привлечь внимание моих спутников и позвать их к себе. Камень полетел вниз. Прошло не менее десяти секунд, прежде чем я почувствовал легкое сотрясение почвы. Затем последовало второе, третье, четвертое — все более сильные. Я не мог понять, в чем дело. Некоторые удары были так значительны, что вибрация почвы передавалась всему телу. И вдруг я увидел, как огромная глыба пролетела мимо меня. Попав в полосу света, она сверкнула, как метеорит, и исчезла в темной бездне. Скалы дрожали. Я понял, что совершил страшную ошибку. Произошло то, что бывает в горах, когда падение небольшого камешка вызывает грандиозные горные обвалы. И вот теперь отовсюду неслись камни, обломки скал, мелкие камешки. Они ударились о скалы, отскакивали, сталкивались между собой, выбивая искры... Если бы мы находились на Земле,

мы слышали бы громовые раскаты, гул, похожий на канонаду, бесконечно отраженную горным эхом; но здесь не было воздуха, и поэтому царила абсолютная тишина. Звук, вернее — вибрация почвы, передавался только через ноги. Невозможно было угадать, куда бежать, откуда ждать опасности... Застыв в смертельном испуге, я, вероятно, так и погиб бы в столбняке, если бы не увидел Соколовского, который, стоя на площадке ракеты, неистово махал мне руками. Да, конечно, только ракета могла спасти нас!

В несколько прыжков я был возле ракеты, вспрыгнул с разбегу на площадку, и в тот же момент Соколовский рванул рычаг. Мы резко откинулись назад и несколько минут летели вверх ногами — так круто поставил Соколовский нашу ракету. Сильные взрывы ракетных дюз следовали один за другим.

Соколовский направлял ракету вверх и вправо, подальше от склона расщелины. Удивляюсь, как он мог править в таком неудобном положении! Судя по его выдержке, он был человеком бывалым, никогда не терявшим присутствия духа. А ведь с виду совсем «домашний» балагур и весельчак.

Только когда наша ракета вошла в освещенное Солнцем пространство и значительно удалилась от краев ущелья, Соколовский замедлил полет и выпрямил ракету.

Тюрин вполз на сиденье и потер скафандр. По-видимому, профессор немного ушиб затылок.

Как это часто бывает с людьми, благополучно избежавшими большой опасности, нас вдруг охватило нервное веселье. Мы заглядывали друг другу в стекла скафандров и смеялись, смеялись...

Тюрин указал на освещенный склон лунной трещины. Случай приготовил нам площадку для посадки. И какую площадку! Перед нами был огромный уступ, на нем без труда мог бы поместиться целый ракетодром для десятков ракетных кораблей. Соколовский повернул ракету, и вскоре мы катились на колесах, словно по асфальту. Подкатив почти к самой стене, остановились. Каменная или железная стена имела продольные трещины. В каждую из этих трещин могли бы въехать рядом несколько поездов.

Мы сошли на площадку «ракетодома». Наше возбуждение еще не улеглось. Мы чувствовали потреб-

ность двигаться, работать, чтобы скорее привести в порядок свои нервы.

Я рассказал Тюрину и Соколовскому о находке лунного «гейзера» и признался, что вызвал горные обвалы, едва не погубившие нас. Но Тюрин, заинтересованный гейзером, даже не упомянул о моем проступке.

— Ведь это же величайшее открытие! — воскликнул он. — Я всегда говорил, что Луна не такая уж мертвая планета. Хотя бы ничтожные остатки газов, атмосферы — какого бы то ни было состава — на ней должны сохраниться. Это, вероятно, выходы серных паров. Где-нибудь в толще Луны еще осталась горячая магма. Последние догорающие угли великого пожара. В глубине этой трещины, которая, наверное, проникает внутрь не менее чем на четверть лунного радиуса, пары нашли себе выход. И мы не взяли их на пробу. Необходимо сделать это во что бы то ни стало. Ведь это же произведет мировую сенсацию среди ученых. Гейзер Артемьева! Не возражайте! Вы имеете на это все права. Летим сейчас же.

И он уже прыгнул к ракете, но Соколовский отрицательно покачал головой.

— На сегодня с нас довольно, — сказал он. — Надо отдохнуть.

— Что значит «на сегодня»? — возразил Тюрин. — День на Луне продолжается тридцать земных дней. Так вы тридцать дней не сдвинетесь с места?

— Сдвинусь, — примирительно ответил Соколовский. — Но только если бы вы сидели у руля, когда мы вылетали из этой чертовой щели, то поняли бы меня и рассуждали бы иначе.

Тюрин посмотрел на утомленное лицо Соколовского и замолчал.

Мы решили обновить запас кислорода в скафандрах и разбрестись в разные стороны, не отходя слишком далеко друг от друга.

Первым делом я отправился к ближайшему ущелью, которое заинтересовало меня своей окраской. Скалы там были красноватых и розовых тонов. На этом фоне ярко выделялись густо-зеленые пятна неправильной формы, очевидно, прослойки другой породы. Получалось очень красивое сочетание красок. Я постепенно углублялся в каньон. Одна стена его была ярко освещена Солнцем, по другой косо скользили солнеч-

ные лучи, оставляя внизу острый угол тени. Я был в прекрасном настроении. Кислород вливался в легкие чуть пьянящими струями. Во всех членах я ощущал необычайную легкость. Мне иногда казалось, что все это я вижу во сне. Увлекательный, чудесный сон!

В одном из боковых каньонов сверкал «водопад» навеки застывших самоцветов. Они привлекли мое внимание, и я свернул вправо. Потом свернул еще и еще раз. И, наконец, увидел целый лабиринт каньонов. В нем было легко заблудиться, но я старался запомнить дорогу. И всюду эти пятна. Ярко-зеленые на полном свете, они в полосе тени были темно-рыжего оттенка, а в полутени — светло-бурого. Странное изменение окраски: ведь на Луне нет атмосферы, которая может изменять оттенки цветов. Я подошел к одному из таких пятен и присмотрелся. Нет, это не выход горной породы. Пятно было выпуклым и казалось мягким, как войлок. Я уселся на камень и принялся разглядывать пятно.

И вдруг мне показалось, что оно немного сдвинулось с места от теневой полосы к свету. Обман зрения! Я слишком напряженно смотрел на пятно. Сделав мысленную отметку на складке горной породы, я продолжал следить за ним. Через несколько минут я уже не мог сомневаться: пятно сдвинулось с места. Его край перешел за теневую черту и стал зеленеть на моих глазах.

Я вскочил и подбежал к стене. Ухватившись за острый угол скалы, я дотянулся до ближайшего пятна и оторвал мягкий войлокообразный кусок. Он состоял из мелких нитей елкообразной формы. Растения! Ну, конечно, это растения! Лунные мхи. Вот так открытие! Я оторвал второй клочок от бурого пятна. Этот клочок был совершенно сух. Повернув его обратной стороной, я увидел беловатые «орешки», оканчивающиеся подушечками-присосами.

Биологическая загадка. По виду это растение можно скорее отнести к мхам. Но эти присосы? «Корненожки»! Растение, которое может передвигаться, чтобы следовать за двигающимися по скалам солнечными лучами. Его зеленый цвет зависит, конечно, от хлорофилла. А дыхание? Влага? Откуда оно ее берет?.. Мне вспомнились разговоры о Кэце, о небесных камнях, из которых можно извлекать и кислород и воду. Разуме-

ется, и в лунных камнях находятся в связанном виде кислород и водород — элементы, входящие в состав воздуха и воды. Почему бы и нет?.. Разве земные растения не являются чудесными «фабриками» со сложнейшим химическим производством? И разве наши земные растения, вроде «Иерихонской розы», не обладают способностью замирать от зноя и засухи, а потом вновь оживать, когда их поставишь в воду? В лунную холодную ночь здешние растения спят, при свете Солнца начинает действовать «Химическая фабрика», вырабатывая все, что нужно для жизни. Движение? Но и земные растения не лишены его совершенно. А приспособляемость организмов беспредельна.

Я набил полную сумку мхами и в приподнятом настроении отправился назад, чтобы скорее похвалиться своей находкой.

Прошел до конца бокового каньона, свернул направо, еще раз направо. Здесь я должен был увидеть сверкающие россыпи рубинов и алмазов, но не увидел их... Пошел назад, повернул в другой каньон... Совершенно незнакомое место!

Я ускорил ход. Уже не шагал, а прыгал. И вдруг на краю обрыва остановился в изумлении. Совершенно новый лунный ландшафт открылся передо мною. По ту сторону пропасти возвышались горные цепи. Среди них выделялись три вершины одинаковой высоты. Они сверкали, как головы сахара. Я еще никогда не видал таких белых вершин. Ясно, что это не снег. На Луне не может быть снега. Возможно, эти горы меловые или гипсовые. Но дело не в горах. Мне стало ясно, что я заблудился, и заблудился основательно.

Тревога охватила меня. Словно весь этот необычайный лунный мир вдруг повернулся ко мне другой стороной. Как он был враждебен человеку! Здесь нет ни наших земных лесов, ни полей, ни лугов с их цветами, травами, птицами и животными, где «под каждым листом» уготован «стол и дом».

Здесь нет речек и озер, изобилующих рыбой. Луна — скупой Кашей, который не накормит и не напоит человека. Заблудившиеся на Земле могут целыми днями поддерживать свое существование хотя бы корнями растений. А здесь? Кроме голых скал — ничего. Разве только этот мох. Но он, вероятно, так же не съедобен, как песок. Но если бы даже кругом меня были молоч-

ные реки с кисельными берегами, я все равно погиб бы от голода и жажды, испытывая муки Танталос: ведь я не могу снять своего скафандра.

Скафандр! Я вспомнил о нем и вздрогнул, будто ледяной холод мировых пространств проник в мое тело. Вся «атмосфера», которая дает мне возможность дышать и жить, заключена в небольшом баллоне за моей спиной. Его хватит на шесть часов; нет, меньше: уже прошло часа два, как я возобновил запас кислорода. А дальше? Смерть от удушья... Скорее выбраться к большому каньону, пока не истощился запас кислорода и физических сил!

Я вновь повернул назад и запрыгал, как кузнечик. Хорошо еще, что здесь прыжки не утомляют так, как на Земле...

Вот и конец каньона. Передо мной новый каньон, ярко освещенный Солнцем и покрытый сплошным зеленым ковром. Видимо, все мхи приползли сюда из теневых мест. Отвратительные мхи! Я больше не хотел смотреть на них, но всюду мои глаза встречали зеленый цвет, от которого рябило в глазах...

А может быть, это и есть тот каньон, по которому я шел сюда, но его сейчас трудно узнать, потому что он стал зеленым?

Новый поворот — узкое ущелье, погруженное в глубокую тьму. Сквозь прогретый Солнцем костюм на меня пахнуло холодом. Или это нервы шалят?..

Куда же теперь идти? Позади, за двумя поворотами, обрыв. Впереди — темный, узкий, неведомый каньон.

Я почувствовал страшную слабость и в изнеможении опустился на бугристый камень. Вдруг камень под мной зашевелился и пополз... Я вскочил как ужаленный. Мои нервы были слишком напряжены. Живой камень! Новое животное! Новое сенсационное открытие! Но в эту минуту мне было не до открытий. Я позволил уползти неведомому животному, даже не взглянув на него. И, как автомат, побрел дальше.

Я даже не размышлял о том, куда иду. Иногда мне казалось, что кислород в баллоне иссякает. Наступало удушье. Тогда я приостанавливался и хватался за грудь. Потом это проходило. Нервы, нервы! Если бы на Луне была атмосфера, упругая среда, хотя бы и негодная для дыхания! Можно было бы стучать камень о камень, призывая на помощь. Атмосфера могла бы пере-

дать отсветы — «заревое» прожекторов ракеты. Впрочем, сейчас это не помогло бы: с неба лился ослепительный солнечный свет, от которого можно было бы ослепнуть, если бы не дымчатые стекла скафандра.

В тот момент, когда я был полон отчаяния и готовился к близкому концу, я неожиданно увидел большой каньон. Я обрадовался так, словно вышел на Большой проспект Васильевского острова.

Вот удача! Не инстинкт ли вывел меня, когда я перестал мудрить и высчитывать?

Однако моя радость скоро опять сменилась тревогой. В какую сторону идти? Вправо или влево? Совершенно потерял ориентировку! Попробовал испытать свой «инстинкт», но на этот раз он безмолвствовал. Шаг направо — инстинкт не возражает, шаг налево — то же самое.

Пришлось вновь обратиться к помощи «верхней коры головного мозга» — размышлять. Когда я вышел из ракеты, то повернул направо. Значит, теперь надо свернуть налево. Пойдем налево.

Так я шел, вероятно, не меньше часа. Голод давал себя чувствовать. А конца каньона все еще не было видно. Странно. Ведь первый раз я шел до поворота менее получаса. Значит, иду не в ту сторону. Повернуть назад? Сколько потерянного времени! Я продолжал упорно идти вперед. Вдруг каньон сузился. Ясное дело — иду не в ту сторону. Назад скорее!

Солнце уже парило немилосердно. Пришлось накрыться белым плащом. Голод все больше мучил меня, начала сказываться и усталость, но я прыгал и прыгал, словно за мной гнались неведомые чудовища. Внезапно мне путь преградила трещина. Она невелика, через нее можно перескочить. Но этой трещины я не встречал, когда шел сюда! Или, замечтавшись, я перепрыгнул, ее не заметив? Меня прошиб холодный пот. Сердце лихорадочно забилося. Гибну! Я принужден был лечь, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. С черного неба на меня смотрело синее мертвое Солнце. Вот так же безучастно оно будет освещать мой труп... Нет, нет! Я еще не умер! У меня есть запас кислорода и энергии... Вскочив, одним махом я перелетел через трещину и побежал... Куда? Вперед, назад — все равно, только бы двигаться!

Каньон расширился. Я прыгал безостановочно не менее часа, пока не упал, вконец изнеможенный. И тут впервые по-настоящему почувствовал недостаток воздуха. Это уже не было самообманом. В движении я слишком много тратил кислорода, и запас его истощился раньше времени.

Конец, конец... Прощай, Тоня!.. Армения...

В голове начало мутиться...

И вдруг я увидел над собой ярко освещенный Солнцем бок нашей яйцевидной ракетки. Меня ищут! Спасен! Собрав последние силы, вскакиваю, машу руками, кричу, совершенно забывая о том, что мой крик не уйдет дальше скафандра... Увы! Радость угасла так же быстро, как и вспыхнула: меня не заметили. Ракетка пролетела над каньоном и скрылась за вершиной горы...

Это была последняя вспышка энергии. Затем мною овладело безразличие. Недостаток кислорода сказывался. Тысячи синих солнц замелькали перед глазами. В ушах зашумело, и я потерял сознание.

Не знаю, сколько времени пролежал я без чувств.

Потом, еще не открывая глаз, я глубоко вздохнул. Живительный кислород вливался в мои легкие. Я открыл глаза и увидел над собой склоненное лицо Соколовского. Он озабоченно смотрел в стекло моего скафандра. Я лежал на полу внутри нашей ракеты, куда, очевидно, меня принесли. Но почему же они не снимают с меня скафандра?

— Пить... — произнес я, не соображая, что меня не слышат. Но Соколовский, вероятно, по движению губ понял мою просьбу. Он усадил меня в кресло и, подвинув свой скафандр к моему, сказал:

— Вы хотите пить и есть, конечно?

— Да.

— К сожалению, придется потерпеть. У нас авария. Горный обвал в ущелье причинил некоторые повреждения ракетке. Камнями разбиты оконные стекла.

Я вспомнил «сторонние» удары, которые почувствовал, когда мы вылетали из «ущелья Смерти». Тогда я не обратил на них внимания.

— У нас есть запасные стекла, — продолжал Соколовский, — но чтобы вставить их и запаять, нужно немало времени. Словом, мы скорее доберемся до нашей большой ракеты. Лунное путешествие придется закончить.

— А зачем вы меня перенесли внутрь ракеты?

— Затем, — отвечал Соколовский, — что мне придется развить очень большую космическую скорость, чтобы за два-три часа доставить вас на место. Взрывы будут сильные, увеличение тяжести тела многократное. Вы же слишком слабы и не удержитесь на верхней площадке. Да и профессор Тюрин тоже будет вместе с вами в кабине.

— Как я рад, дорогой мой, что вы живы! — услышал я голос Тюринна. — Мы уже потеряли надежду найти вас...

В этом голосе была неожиданная теплота.

— Теперь лягте лучше на пол. Я тоже лягу с вами, а товарищ Соколовский сядет у руля.

Через минуту наша ракета с разбитыми стеклами уже взвилась над горными вершинами. Крутой поворот на запад. На мгновение ракетка почти легла на бок. Под собою я увидел бездну лунной трещины, которая едва не погубила нас, и посадочную площадку с каньоном. Ракетка дрожала от взрывов. Тело словно наливалось свинцом. Кровь прилиwała то к голове, то к ногам. У меня опять начали мутиться мысли... Я впал в легкий обморок, который на этот раз преодолел сам. Кислород — великолепное живительное средство. Чувствовалось, что Соколовский позаботился о том, чтобы в мой скафандр поступали усиленные дозы кислорода. Но давление не должно было превышать одной атмосферы, иначе не выдержал бы костюм. Он и так раздулся, как раздувается водолазный, когда «заедает» золотник, выпускающий излишек воздуха.

К концу этого путешествия я оправился настолько, что мог самостоятельно выйти из ракетки и перебраться в наш большой межпланетный корабль.

С каким удовольствием я сбросил костюм «водолаза»! А пил и ел за пятерых!

К нам быстро вернулось хорошее расположение духа. И я уже со смехом рассказывал о своих злоключениях, о научных открытиях и никак не мог простить себе того, что упустил «лунную черепаху», которую принял за камень. Впрочем, я уже сомневался в ее существовании. Быть может, это была только игра моего расстроенного воображения. Но мхи, «ползучие мхи», лежали в моей сумке, как трофей, принесенный из «страны Снов».

Наша экспедиция на Луну, при всей ее кратковременности, дала богатые научные результаты. У нас было много сенсаций для земных ученых.

Обратный путь прошел хорошо. Не было той подавленности, которая невольно овладевает человеком перед неизвестным. На Звезду Кэц мы летели как «домой». Но где она? Я посмотрел на небо. Где-то вверху над нами висел серп «новоземли». Внизу половину небосклона занимала Луна. Несмотря на то, что я едва не погиб на ней, ее вид не возбуждал страха.

Я ходил по этой Луне, следы наших ног остались на ее поверхности, «кусочки Луны» мы везли с собой на Кэц, на Землю. Это по-новому сближало, почти роднило нас с Луной...

XV. Звездные будни

— Ну-ка, покажитесь, покажитесь! — говорила Меллер, поворачивая Тюрина во все стороны. — Загорел, помолодел «паук». Прямо женихом стал! А мышцы? Да не прыгайте, не форсите. Дайте пощупать ваши мышцы. Бицепсы слабоваты. А ноги хорошо окрепли. На сколько лет опять в своей паутине завязнете?

— Не-ет, уж теперь не завязну, Анна Игнатьевна! — отвечал Тюрин. — Скоро снова на Луну полечу. Там много работы. На Марс, на Венеру полечу.

— Ишь, расхрабрился! — шутила Меллер. — Дайте-ка я вам анализ крови сделаю. Сколько кровяных шариков прибавило вам лунное Солнце... Лунные жители — редкие пациенты.

Покончив с врачебным осмотром, я поспешил к Тоне. Мне казалось, что она уже вернулась на Звезду. Только теперь я почувствовал, как соскучился по ней.

Я мчался по широкому коридору. Тяжесть на Кэце была меньшая, чем на Луне, и я, как балерина, едва касаясь носками пола, порхал наподобие летучей рыбы. Кэцовцы поминутно останавливали меня и расспрашивали о Луне.

— Потом, потом, товарищи, — отвечал я и летел дальше.

Вот и ее дверь. Я постучал. Из-за двери выглянула незнакомая девушка. Каштановые волосы обрамляли ее лицо с большими серыми глазами.

— Здравствуйте,— растерявшись, произнес я.— Мне хотелось видеть товарища Герасимову. Разве она переселилась из этой комнаты?

— Товарищ Артемьев? — спросила меня девушка и улыбнулась, как старому знакомому.— Герасимова еще не вернулась из командировки и вернется не скоро. Я пока занимаю ее комнату. Сейчас она работает в физико-технической лаборатории.

Вероятно, заметив мое огорченное лицо, она прибавила:

— Но вы можете поговорить с ней по телефону. Зайдите в радиорубку.

Наскоро поблагодарив девушку, я помчался на радиотелефонную станцию. Пулей влетел в комнату радиста и крикнул:

— Физико-техническую лабораторию!

— Сейчас! — сказал он и завертел ручки аппарата.— Товарища Герасимову? Сию минуту... Алло! Алло! Пожалуйста.

— Я Герасимова. Кто со мной говорит? Артемьев? Если эфир не лжет, в ее голосе слышится радость.

— Здравствуйте, я так рада вас слышать! Вы чуть не погибли? Я узнала об этом еще до вашего прилета. Нам сообщили из лунной ракеты... Но все хорошо, что хорошо кончается. А я здесь веду очень интересные работы в лаборатории абсолютного холода. Она устроена на балконе теневой стороны нашей ракеты. Приходится работать в межпланетных костюмах. Это несколько неудобно. Но зато абсолютный холод, что называется, под рукой. Я уже сделала несколько интересных открытий в области сопротивления полупроводников при низких температурах...

И она начала говорить о своих открытиях. Когда же она скажет о чернобородом и Палее? Самому как-то неудобно спрашивать. Она собиралась побывать на Кэце, но не ранее как через «земной» месяц.

— А как ваши поиски? — не утерпел я.

Но увы, в этот самый момент радист сказал:

— Срочный вызов ракеты Кэц-восемь. Простите, я должен прервать ваш разговор.

Я вышел из радиостанции расстроенный. Тоня обрадовалась мне, это очевидно. Значит, она все-таки неравнодушна ко мне. Но говорила она больше о своих на-

учных работах. И ни слова о Палее. И я не скоро увижу ее...

В коридоре меня остановил молодой человек.

— Товарищ Артемьев, я вас ищу. Директор вас просит к себе.

Пришлось отправиться к Пархоменко. Он очень подробно расспрашивал меня о нашем путешествии на Луну. А я рассказывал довольно бестолково.

— Вижу, вы утомлены сегодня,— сказал директор.— Отдыхайте, а завтра принимайтесь за работу. Наш биолог товарищ Шлыков уже давно поджидает вас.

Мне хотелось скорее остаться одному. Но я был голоден и отправился в столовую. Там мне пришлось рассказать кэцовцам о путешествии. Я прямо стал знаменитостью — один из первых людей, побывавших на Луне! Меня слушали с огромным вниманием, мне завидовали. В другое время все это заняло бы меня, но сейчас я был огорчен тем, что не повидался с Тоней. Скомкав свой рассказ и отговорившись усталостью, я, наконец, добрался до своей комнаты. В мое отсутствие к стене привесили откидную кровать из тончайшей сетки. В матрацах не было нужды. Я улегся на кровать и отдался своим думам... Так и уснул, перелетая мыслью с Луны на Васильевский остров, в свою лабораторию, от Тони к неведомому Палею...

* * *

— Товарищ Артемьев! Товарищ Артемьев!..

Я проснулся и вскочил. У дверей комнаты стоял молодой человек с бритой головой.

— Простите, что я разбудил вас. Но, кажется, вам все равно пора вставать. Мы с вами немного знакомы. Помните, в столовой? Аэролог Кистенко. Я вас расспрашивал о лунных мхах. Весть об этом уже дошла до города Кэца. Земные кэцовцы просят прислать образец. А я как раз посылаю в город Кэц аэрологическую ракету.

— Пожалуйста,— ответил я, вынимая из сумки кусочек «войлока».

— Отлично. Этот мох, кажется, тяжелее земного, но в общем весит немного. Вы удивляетесь, что я говорю о весе? Но ведь моя ракета полетит на Землю. Каждый

день я отправляю в город Кэц по одной ракете. По пути на Землю она автоматически производит все аэрологические записи — состав атмосферы, интенсивность космических излучений, температуру, влажность и прочее на разных расстояниях от Земли. Примерно три четверти пути ракета управляется радиолучом Звезды Кэц, а затем ее перехватывает радиолуч города Кэц. И она падает на автоматически раскрывающемся парашюте в строго определенной точке, на площадке в один квадратный метр. Недурно? В этой же ракете отправляется и почта... Вес ракеты рассчитан точно. Поэтому важен вес мха. Еще раз благодарю вас.

Он ушел. Я посмотрел на часы. По «земному», ленинградскому, времени было уже утро. Я позавтракал и отправился на работу.

Открыв дверь в кабинет биолога Андрея Павловича Шлыкова, я на минуту остановился. Уж очень этот кабинет не был похож на земные кабинеты «завов». Если Тюрина можно было сравнить с пауком, притаившимся со своей паутиной в темной узкой щели, то Шлыков походил на гусеницу в зеленом саду. Весь кабинет его был наполнен вьющимися растениями с очень мелкой листвой. Это была как бы зеленая пещера, освещенная яркими лучами солнца. В глубине ее на плетеной кушетке полулежал Шлыков, полный, бронзово-загорелый мужчина средних лет. Он показался мне несколько вялым и как будто полусонным. У него были тяжелые, словно набрякшие, веки. Когда я появился, сонные веки поднялись, и я увидел серые, очень живые умные глаза. Их живость не гармонировала с его медлительными движениями.

Мы поздоровались. Шлыков стал расспрашивать меня о Луне. Образчик мха уже лежал возле него на длинном алюминиевом столике.

— Я не вижу ничего удивительного в том, что вы нашли на Луне этот мох, — сказал он отдельно и тихо. — Споры бактерий, споры плесневых грибков, известных на Земле, могут переносить очень низкую температуру, до двухсот пятидесяти градусов ниже нуля, сохраняя жизнеспособность. Дыхание? Оно может быть и интрамолекулярным, причем даже кислород не обязателен, хотя бы и в связанном виде. Вспомните наших азотобактерий. Питание? Вспомните наших амёб. Они не имеют даже рта. Если они находят «съедобный» ку-

сочек, то обволакивают его всем телом и ассимилируют. Вот с вашей «черепашкой» дело несколько сложнее. Но я не отрицаю возможности существования и более сложных животных на Луне. Приспособляемость организмов почти беспредельна... Ну что же, начало положено. И скоро мы будем знать о прошлом органической жизни Луны не меньше, чем о прошлом нашей Земли.

Шлыкков остановился, записал что-то в книжке и продолжал:

— Теперь о нашей работе. Наша первейшая задача на Звезде Кэц, — я говорю о нас, биологах, — состоит в том, чтобы максимально использовать растения для наших нужд. Что могут давать нам растения? Прежде всего пищу. Затем очищение воздуха и воды и, наконец, материал отбросов, который мы должны утилизировать до последней молекулы.

Мы должны переселять, изменять, усовершенствовать растения так, как нам нужно. Можем ли мы сделать это? Вполне. И гораздо легче, чем на Земле. Здесь нет ни заморозков, ни засухи, ни ожогов солнечными лучами, ни суховеев. Мы искусственно создаем любой климат для любого растения. Температура, влажность, состав почвы и воздуха, сила солнечного излучения — все в наших руках. На Земле в оранжереях можно создать лишь относительное подобие того, что мы не имеем на Звезде Кэц. У нас здесь есть короткие ультрафиолетовые лучи, которые никогда не достигают поверхности Земли, рассеиваясь в ее атмосфере. Я говорю о космическом излучении. Наконец отсутствие тяжести. Вы, конечно, знаете, как действует земное притяжение на рост и развитие растений, как они реагируют на это притяжение...

— Геотропизм, — сказал я.

— Да, геотропизм. Корни чувствуют направление силы земного притяжения так же, как стрелка компаса север. И если корень отклоняется в сторону от этого направления, то лишь в «поисках» влаги, пищи. А как происходит деление клеток, рост, формирование растений при отсутствии силы тяжести? Здесь мы имеем лаборатории, в которых сила тяжести отсутствует совершенно. Поэтому мы ставим опыты, которые на Земле невозможны. Разрешив неясные еще вопросы жизни растений, мы переносим наш опыт в условия земной ве-

сомости. Я хотел бы, чтобы вы начали свою работу с изучения геотропизма. В Большой оранжерее работает ассистент Крамер, в лаборатории вам будет помогать новая сотрудница Зорина.

Шлыков замолчал. Я было повернулся к двери, но он жестом руки остановил меня.

— Растения — это еще не все. У нас удивительно интересные работы над животными. Там работает Фалеев. Я им не очень доволен. Вначале он работал хорошо, а в последнее время словно его подменили. Если бы вы заинтересовались этим делом, я перевел бы вас туда. Побывайте, во всяком случае, в этой лаборатории, посмотрите, что там делается. А сейчас отправляйтесь в Большую оранжерею. Крамер познакомит вас с нею.

Тяжелые веки опустились. Кивнув мне на прощанье головой, Шлыков углубился в свои записи.

XVI. У Крамера портится характер

Я вылетел в коридор.

— Товарищ Артемьев! Вам письмо! — услышал я за собою голос. Молодая девушка-«почтальон» протянула мне конверт. Я схватил его с жадностью. Это было первое письмо, полученное мною на Звезде Кэп. Почтовая марка. Штемпель — Ленинград. У меня от волнения забилося сердце.

— Письмо из Ленинграда, — сказала девушка. — Я никогда не была в этом городе. Скажите, хороший город?

— Замечательный город! — с горячностью ответил я. — Это самый лучший город после Москвы. Но мне он нравится даже больше, чем Москва.

И я с увлечением начал рассказывать ей о чудесных новых кварталах Ленинграда, подступивших к Стрельне и Пулковским высотам, о его изумительных парках, о живописных каналах, придающих ему вид Венеции, о метрополитене, о ленинградском воздухе, совершенно очищенном от копоти фабричных труб и пыли, о стеклянных перекрытиях, защищающих пешехода от ветра на многочисленных мостах, о зимних садах для детей, о первоклассных музеях, о театрах, о библиотеках...

— Даже климат его стал лучше, — говорил я. — Торфяные болота на сотни километров вокруг осушены,

заболоченные реки и озера приведены в культурный вид, кое-какие каналы в черте города засыпаны и превращены в аллеи или покрыты сплошными мостами-автострадами. Влажность воздуха значительно уменьшилась, а чистота его дала ленинградцам добавочный солнечный паек. Теперь у нас всякому автомобилю и грузовику, въезжающим в черту города, колеса окатывают водой, чтобы они не заносили в город грязи и ныли. Да что говорить! Ленинград — это Ленинград!

— Непременно побываю в Ленинграде, — сказала девушка и, кивнув головой, «упорхнула».

Я распечатал письмо. Мой лаборант сообщал мне, что в лаборатории заканчивается ремонт. Устанавливается новое оборудование. Покончив с установкой новейшей аппаратуры, лаборант отправляется в Армению вместе с профессором Габелем, так как на мое скорое возвращение они потеряли надежду.

Я был взволнован. Может быть, бросить все и полететь на Землю?..

Появление Крамера изменило направление моих мыслей. А когда я увидел оранжерею, то сразу забыл обо всем. Сильное впечатление произвела она на меня.

Но попал я туда не сразу. Крамер предложил мне надеть «водолазный» костюм, хотя и более облегченного типа, чем для вылазок в межпланетное пространство. Костюм был снабжен радиотелефоном.

— В оранжерее давление значительно ниже, чем здесь, — объяснил Крамер. — И в ее атмосфере гораздо больше углекислоты. На Земле углекислота составляет всего одну трехтысячную часть атмосферы, в оранжерее — три сотых, а в некоторых отделениях — еще выше. Это уже вредно для человека. Но зато для растений!.. Растут, как в каменноугольном периоде!

Крамер вдруг залился беспричинным продолжительным смехом, даже слишком продолжительным, как мне показалось.

— В этих скафандрах, — сказал он, когда приступ смеха прошел, — имеется радиотелефон, так что нам не надо будет прислонять головы друг к другу, чтобы разговаривать. Скоро таким радиотелефоном будут снабжены и межпланетные скафандры. Это очень удобно, не правда ли? Его сконструировала, кажется, ваша знакомая, которую вы привезли с Земли.

Крамер подмигнул мне и снова захохотал.

«Неизвестно, кто кого привез,— подумал я.— И почему Крамер сегодня так дико хохочет?..»

Мы пошли сквозь атмосферную камеру и не спеша направились по длинному коридору, соединяющему ракету с оранжереей.

— У нас несколько оранжерей,— болтал Крамер без умолку.— Одна длинная, которую вы видели подлетая. Ха-ха-ха! Помните, как вы едва не улетели и я привязал вас, как собачку. Сейчас мы идем к новой, конической оранжерее. На ней, как и на ракете, существует вес, но очень незначительный. Всего тысячная доля земного. Лист, сорвавшийся с дерева на высоте метра от пола, падает целых двадцать секунд. Но этой силы тяжести вполне достаточно, чтобы все отбросы и пыль осаждались вниз и чтобы созревшие плоды падали на почву, а не витали в пространстве... Вы еще не купались в «невесомой ванне»? Замечательно! «Пошел купаться Веверлей...» — вдруг запел он и вновь разразился диким смехом.— У нас ведь есть еще несколько опытных лабораторий, где сила тяжести совершенно отсутствует. Там и ванна... Ну вот мы и пришли. «Завеса сброшена...» — продекламировал он, открывая дверь.

Сначала меня ослепил свет. Потом, приглядевшись, я увидел колоссальной величины тоннель, расширяющийся воронкой. Входная дверь находилась в узком основании воронки. На противоположном конце воронка замыкалась огромной стеклянной полусферой выпуклостью наружу.

Сквозь стекла лились потоки света. Сила его была необычайна. Словно тысячи прожекторов при кино съемках слепили глаза. Стены тоннеля утопали в зелени всевозможных оттенков от ярко-изумрудного до почти черного. Этот зеленый ковер пронизывали узкие мостки с легкими перилами из алюминия. Зрелище было изумительное. Но еще больше удивился я, когда ближе познакомился с отдельными растениями. Я, биолог, ботаник, специально изучающий физиологию растений, оказывается, не имел ни малейшего представления о том, до какой степени растения могут быть податливым, «пластическим» материалом, как может измениться их внешний вид и внутренняя структура.

Мне хотелось все обстоятельно и спокойно осмотреть. Но над ухом назойливо жужжал Крамер:

— Это все Шлыкков! Он гений. Скоро у него растения будут танцевать на задних ножках, как собачки, и петь по-соловьиному. Выдрессирует! «Зерновые хлеба,— говорит он,— используют одну шестидесятую долю солнечной энергии, а банан в сто раз больше. И дело не только в климате. Можно заставить все растения повысить использование энергии в сотни раз».

— Он уже мне говорил об этом,— попробовал я прекратить словоизлияния Крамера, но тот не унимался.

— И Шлыкков достиг этого. А результаты? Не угодно ли посмотреть на этот экземпляр? Что вы о нем скажете? Ха-ха-ха!

Я стоял в молчаливом удивлении. Передо мною был куст ростом с человека; листья в ладонь, а красные сочные плоды величиною с большой арбуз напоминали землянику. Это и была чудовищная земляника. Кустик не стлался по земле, а тянулся вверх. На тонком стебле висели эти огромные ягоды. (Вот что значит отсутствие тяжести). Одни из них были совершенно красные, другие еще не созрели.

— Каждый день мы снимаем десяток таких «ягодок» с одного этого куста,— тараторил Крамер.— Одни снимаем, другие созревают. Лезут непрерывно. Наши растения не знают даже того двухнедельного отдыха, который имеют на Земле тропические растения. Гони и гони! Вбирай лучи Солнца, отбросы и воду из почвы и превращай их в эти вкусные плоды. А Солнце здесь не заходит. Атмосфера оранжереи всегда прозрачна. Это одно. Второе — в здешней атмосфере уйма углекислоты, как во время каменноугольного периода.

— Вы уже говорили мне про углекислоту.

— Взгляните-ка на эти листья,— продолжал Крамер, несколько не смутившись.— Они почти черные и поэтому поглощают чуть ли не целиком солнечную энергию, но перегревания растений не происходит. Только уменьшается испарение воды. Вы знаете, сколько энергии тратит растение на испарение? В тридцать пять — сорок раз больше, чем на полезную работу. А здесь эта энергия идет в «мясо». Видите, листья толстые, мясистые. Некоторые из них совсем лишены устьиц. А плоды какие огромные! Зато вот этот экземпляр только и делает, что выделяет воду,— сказал он, указывая на растение, с конца листьев которого капала вода.— Не растение, а Бахчисарайский фонтан. Видали



«фонтан Слез»? Капает и капает! Это наш естественный фильтр.

А вот тоже интересное растение,— продолжал он, двигаясь по узкому мостику.— «Киоск фруктовой воды», так сказать, сокоточащая рана. Видите: разрез на стволе, трубочка, и из нее тоже капает. Попробуйте на язык. Вкусно? Сладко? Лимонад! Обратите внимание на почву — измельчение частиц идеальное. И полезных бактерий на каждую тысячу твердых частиц приходится не одна, а несколько десятков. Зато посмотрите на горох, бобы, фасоль. Как яблоки!

А вот эти стеклянные отделения существуют для того, чтобы создать для некоторых растений особые условия: самый подходящий состав газовой среды, наилучшую температуру. Вредители отсутствуют. Сорняки отсутствуют. Светофильтры дают благоприятный состав лучей... Ира! Ира! Что ты делаешь, сумасшедшая? — вдруг испуганно закричал он, подпрыгнул и полетел по оранжерее.— Ира! Ира! — кричал он где-то за кустами, словно его резали на части.

Что случилось с этим человеком? Еще недавно он был спокойный, добродушный малый. А теперь у него страшно повышенная возбудимость. Я не мог понять, что так взбесило его. Я слышал шум, шипенье и видел, как опавшие листья летели от широкого конца воронки к узкому.

— Зачем ты пустила вентилятор с такой силой? Ураган хочешь устроить? — орал Крамер.— Поломать растения?.. Убавь силу, не то я тебя на Землю сброшу!

Шум и движение листьев уменьшились. Откуда-то послышался пискливый голос:

— Вчера ведь сам распорядился ставить вентилятор на двадцать шесть...

— Это тебе приснилось!

Я медленно продвигался к стеклянной полусфере, поминутно задерживаясь у особо интересных растений. На тончайших стволах ярким пламенем горели цветы мака. «Коробочки» его были величиною с голову грудного ребенка.

— Вот видишь? Вот видишь, как шатается и роняет семена мак! — кричал он.

Семена эти были с горошину.

Многометровый горох тянулся к середине «воронки». Корзинка подсолнуха в полметра диаметром по-

чти не поднималась над почвой. Огурцы, морковь, картофель, земляника, малина, виноград, смородина, крыжовник, слива, рожь, пшеница, овес, гречиха, свекловица, конопля... Я едва узнавал их: так были изменены их размеры и формы.

Не раз я останавливался в полном недоумении: что же это такое?..

Земные карлики превращались в гигантов, и, наоборот, земные древесные великаны превращались в карликов. В особых, несколько затемненных местах росли грибы — чудовищные шампиньоны...

А вот субтропики и тропики. Карликовые фиговые деревья с гигантскими плодами, чайные, кофейные, какаовые деревья, кокосовые пальмы величиною с зонтик, но с плодами, вдвойне превышающими земные размеры.

В одном стеклянном ящике я увидел настоящий тропический лес карликовых размеров. Пальмы, бананы, папоротники, лианы... Не хватало только слонов величиною с крысу, чтобы вообразить себя Гулливером в стране лилипутов...

Какими ничтожными казались мне все мои «земные» достижения!

Как легко разрешаются здесь проблемы, над которыми я так много лет ломал себе голову. Здесь в продолжение всего года свежие фрукты и овощи, и заводы, которые их перерабатывают, могут работать круглый год без перебоя...

А разве опыт Звезды Кэц нельзя перенести на Землю? Взять хотя бы Памир. На высоте Памира ультрафиолетовых лучей меньше, чем на Звезде Кэц, но гораздо больше, чем в местностях, лежащих на уровне моря. Плоскогорье Памира можно превратить в сплошную оранжерею. Все расходы окупятся. В оранжерее можно создать любую атмосферу, увеличить количество углекислоты...

А безоблачное небо тропиков с их жарким климатом и избытком солнечных лучей?.. Когда мы окончательно победим джунгли, миллионы людей найдут там кров и пищу.

А земные пустыни? Мы уже успешно ведем там борьбу с песками, с безводьем. Но сколько еще пустынь на Земле! И мы призовем на помощь Солнце, используя опыт Кэца. Солнце, выпившее воду, убившее своим зно-

ем растения, возродит пустыни. Они станут сплошным зеленым садом...

Нет, земному шару никогда не будет угрожать перенаселение! Человечество может смело смотреть в будущее!..

— Или у вас столбняк, Артемьев? — услышал я резкое восклицание Крамера.

— Простите, замечтался, — ответил я, вздрогнув от неожиданности.

Я оглянулся — оранжерея-конус ожила. По узким дорожкам летали молодые девушки с корзинками. Их яркие, разноцветные костюмы выделялись на зеленом фоне, как цветы. Девушки собирали плоды. Невидимая музыка сопровождала их работу.

— Мифологическая картина, — расхохотался Крамер. — Звездные девушки! Сказка наших дней! Скоро их заменят автоматами... Однако нам пора идти.. Я еще не показал вам лабораторию. Она находится вне Звезды Кэц. Там полная невесомость. Придется переодеваться в межпланетные костюмы и перелетать довольно большое пространство. Вам пора научиться управлять портативной ракетой. Так и знайте: если вы улетите на этот раз, я не буду гоняться за вами!

Но на этот раз я «стрелял» более умело и не отставал от Крамера. И все же этот небесный перелет доставил мне некоторое волнение. У меня начала стынуть правая нога. Я забеспокоился, нет ли повреждения в костюме, не просачивается ли мировой холод. Но оказалось, что нога находилась в тени. Я повернул ногу к свету, и она согрелась.

Вот и лаборатория. Она имеет вид цилиндра. Внутри цилиндр разделен стеклянными перегородками. Из отсека в отсек приходится переходить через «изоляционные» камеры, потому что давление и состав воздуха в каждом отсеке различны. В одной стороне цилиндра во всю его длину — окна, на противоположной — растения. Некоторые из них посажены в стеклянные сосуды, чтобы можно было видеть развитие корней. Это меня удивляет: корни не любят света. Часть растений на грядках, другая — в горшках, которые расставлены рядами в воздухе. И растут они необычайно: ветви и листья расходятся в виде лучей от горшка к окну. У одних корни развиваются «вверху», у других — «внизу». Но у большинства корни на затемненной стороне.

Отсутствие силы тяжести как бы уничтожило силу геотропизма, и здесь, по-видимому, «направление» роста дает только гелиотропизм — сила, которая направляет растения к источнику света.

— Оставь! Уйди! Говорю тебе, уйди! — слышу я чей-то женский голос и смех Крамера.

Гляжу в конец лаборатории и вижу сквозь стекла перегородок молодую девушку в лиловом костюме. Она витает где-то под «потолком», а Крамер, махая крыльями, подлетает к ней и толкает ее. Девушка, отлетев в сторону, ударяется о «потолок» и летит к противоположной стороне, стараясь при помощи таких же крыльев-вееров принять неподвижное положение. Ей, видимо, нужно стать лицом к темно-зеленому кусту. Но в мире невесомости не так-то легко принять нужное положение. Оставив весра, девушка снимает привязанный к поясу мсгаллический диск и устанавливает его в пространстве ребром к себе, как тарелку, которую несут в руках. Потом она поворачивает диск, и он вертится в одну сторону, девушка — в обратную. Чтобы повернуться по вертикальной оси, девушке приходится ставить диск боком, ребром вверх. Теперь диск поворачивает ее тело как на трапеции.

Я приближаюсь к Крамеру и девушке. Мне кажется, я где-то видел ее. Да, так и есть, она живет в комнате Тони! Значит, мне с ней придется работать. Я смотрю на нее сбоку и вверх, она и Крамер смеются, видя мои нелепые движения. Я чувствую себя рыбой, вытянутой из воды. Но девушка управляет с диском и крыльями не лучше меня. Один Крамер плавает, именно плавает, как рыба в воде. Он продолжает вертеться вокруг девушки, ставя ее то вверх, то вниз головой по отношению к себе. Она и сердится и смеется. Потом Крамер, взглянув на меня, говорит:

— Знакомьтесь, Зорина!

— Мы уже встречались, — отвечает Зорина и кивает мне головой.

— Ага, знакомы? Тем лучше, — почему-то сердито говорит Крамер. — Ну, идемте, Артемьев. Ванна рядом. Перед работой и после работы мы здесь принимаем ванну.

Узкими переходами мы пробираемся в новый цилиндр — «предбанник» — диаметром около четырех метров и почти такой же длины. Там мы раздеваемся,

пролезаем в круглое отверстие и попадаем в «ванну». Это цилиндр такого же диаметра, но значительно длиннее. Гладкие алюминиевые стенки, боковое освещение — и ни капли воды. Я останавливаюсь на самой середине цилиндра и никак без диска и крыльев не могу добраться до стенок. Вишу в пустоте. Крамер возится у входа. Но вот он повернул ручку, что-то зашумело, и из крана, находящегося в круглой плоской стенке, замыкающей цилиндр, показалась вода. Струя под напором ударила меня и разбилась на капли и шары. Я отлетел в сторону. Водяные шары, летая вокруг меня, сталкивались, все увеличиваясь в размерах.

В тот же самый момент цилиндр начал вращаться на продольной оси все быстрее и быстрее. Получилась центробежная сила. Капли и шары начали оседать на стенках. И скоро стенки цилиндра были покрыты метровым слоем воды. Вода была всюду — справа, слева, стояла сводом над головой. Только центральная часть цилиндра по его большой оси оставалась пустой. Я почувствовал, как меня начинает «притягивать» ближайшая стенка. Через несколько минут я погрузился в воду. А еще через несколько секунд стоял на «дне». Крамер оказался на противоположной стенке цилиндра головой ко мне. Но оба мы чувствовали себя вполне устойчиво: ходили по дну, плавали, ныряли. Эта необычная ванна мне очень понравилась. Тяжесть тела была небольшая, и держаться на воде было очень легко.

Крамер подплыл к входному отверстию и повернул медную ручку. Вода начала быстро убежать в небольшие дырочки, движение цилиндра замедлилось. Когда он остановился совершенно, в ванне уже не было воды, а наши тела вновь стали невесомыми.

В раздевальне я неловким движением выпустил из рук костюм и долго не мог поймать его. В этом мире невесомости вещи ведут себя очень коварно. Маленький толчок — и они убегают, начинают метаться из угла в угол, от стенки к стенке — поймай их! Крамер из этого сделал игру: он бросал вещи «дуплетом в угол» и ловил их после того, как они прилетали обратно, иногда рикошетируя по нескольку раз.

— Как вам нравится Зорина? Право, хороша? — неожиданно спросил он меня. При этом лицо его стало

злым и мрачным.— Вы смотрите! — угрожающе произнес он.

Уж не приревновал ли он Зорину ко мне? Вот чудак!

— Ну, теперь я вас провожу в зоологическую лабораторию,— сказал Крамер, подозрительно посмотрев на меня.— Мы можем пройти туда «тоннелем». Я доведу вас и оставлю.

Действительно, он покинул меня у самой двери лаборатории и на прощание многозначительно повторил:

— Так смотрите же!

— На что смотреть? — не утерпел я.

Лицо его вдруг перекошилось.

— Вы не будете, так я буду смотреть в оба! — процедил он сквозь зубы и удалился.

Что за дикий, нелепый человек!

Я уже взялся за ручку двери, как Крамер вернулся. Держась кончиком ноги за ремешок в стене, «стоя» передо мной под углом в шестьдесят градусов, он сказал:

— И вот еще что. Я вам не верю! Зачем вы прилетели сюда? Уж не за тем ли, чтобы познакомиться с работами Шлыкова и, улетев обратно на Землю, выдать там эти работы за свои? Шлыков — гений! И я не позволю никому...

— Послушайте, Крамер! — возмутился я. — Или вы больны, или должны отвечать за свои поступки. Вы оскорбляете меня без всякого основания. Подумайте сами, какую чепуху вы несете! Кто из нас теперь способен выдавать чужие труды за свои? И к чему? В какое время и где мы живем?

— Так помните же! — прервал он меня, и, сделав огромный прыжок, скрылся в тоннеле.

Я был озадачен. В чем дело? Машинально открыв дверь, я вошел в лабораторию.

XVII. Зоолаборатория

В ту же секунду я увидел перевернутое вниз лицо человека с широко открытыми, недоуменными глазами и выдающейся челюстью.

— Ну что вы прикажете делать? — воскликнул человек, словно читая мои мысли.

Я был совершенно сбит с толку. Час от часу не легче! До сих пор я встречал на Кэце нормальных, здоро-

вых, жизнерадостных людей, а тут сразу два каких-то психопата!

— В чем дело, товарищ? — спросил я.

— Я не знаю, как мне поступить с козликом, собственно — с его ножками. Два раза уже переделывали стойло, а ноги у козлика все растут. Не вмещаются, гнутся ножки, крючатся. Прямо хоть отрезай их!.. Вы Артемьев? А я Фалеев. Хорошо, что вы тоже биолог. Подумаем вместе. Зоологическая лаборатория самая беспокойная. Всякие рогатые, четвероногие проблемы одолели. Шлыкков дает все новые и новые задания. А как их выполнить, когда результаты опытов бывают совершенно неожиданные? Отсутствие силы тяжести — это раз, действие космических лучей — два. Благодаря действию этих лучей получаются такие мутационные скачки, что руками разводишь! Да вы взгляните сами.

Фалеев довольно ловко перевернулся в воздухе и, подгребая воздух широкими ладонями, поплыл по лаборатории. Я, как умел, полетел за ним.

Животными здесь совсем не пахло: видимо, уборка и вентиляция помещения поставлены идеально. Стойла представляли собой простые перегородки из сеток. Возле одного стойла я увидел огромную свинью, которая напоминала шар, вернее — гигантское яйцо. Вместе с тем ноги у свиньи были длиннейшие и тонкие, как макаронины. Мягкие копытца походили на два пальца, сложенные клешней. Если бы такую свинью внезапно перенести на Землю, она расплющилась бы там в блин, раздавленная собственной тяжестью, как выброшенный из воды кит.

Козлик еще больше поразил меня. Морда его была чрезвычайно вытянута, рога — длинные и кривые, как турецкие ятаганы, ноги тонкие, полутораметровой длины и оканчивались двумя хилыми придатками, расставленными под углом в тридцать градусов, как птичьи пальцы. Ростом этот «козлик» был с большого барана, но на нем совершенно не было шерсти.

— Как голая африканская собака, — сказал Фалеев. — Это «мясной» козлик. А дальше вы увидите козла — производителя шерсти. Он совсем мал ростом, но зато его шерсть отросла на метр. И какая волна! Живая фабрика шерсти!

— Но ваш шерстяной козлик помещается, конечно, не в такой температуре? — спросил я.

— Само собой разумеется. Его мы держим в холоде, но хорошо питаем. С шерстью — это еще простое дело. Шлыкков задает задачи посложнее. Вот нам нужны струны для музыкальных инструментов и лаун-теннисных ракеток. Извольте вывести породу баранов с длиннейшими кишками. Шлыкков не признает трудностей. Он говорит, что нет ничего невозможного. А указания дает самые краткие. «Если, — говорит, — надо удлинить кишки, пробуйте разную пищу, меняйте корм». Корм кормом, а у барана вместо удлинения кишок вдруг разрастается желудок. Здесь действуют какие-то новые факторы... Вот с ногами козлика не знаю, что делать. Неужто опять перестраивать хлев? Тут прямо сказка про горох получается: прорубили пол, прорубили потолок, прорубили крышу, а он все растет. Только крыши прорубать мы не можем.

— А вы и крыши не рубите и ничего не перестраивайте, — сказал я. — Есть предположение, что космические лучи играли огромную роль в эволюции животных на Земле. Необычайно быстрые мутации, о которых вы говорите, подтверждают эту гипотезу. По-видимому, здесь происходит «скачкообразное» приспособление организмов к изменившимся условиям среды. Силы тяжести нет — тела не стоят, не имеют твердой опоры. Животные витают в воздухе. Они стремятся выйти из этого положения. Им становятся необходимы длинные конечности...

— Ну да! — перебил меня Фалеев. — Первые собаки здесь скулили неимоверно. Они часами махали лапами, как белка в колесе, чтобы дотянуться до стенки или до кусочка мяса в прищепке. И, конечно, не сдвигались с места.

— Вот-вот, поэтому ноги и растут. А вы не увеличивайте размеров помещения. Если ноги станут такими длинными, что будут доставать до любой стены, я думаю, их рост приостановится. Или же сделайте такую решетку, за которую животные могли бы хвататься. Замените эту мелкую сетку другою, с более крупными ячейками, или же сделайте загородку из прутьев. Тогда у животных будут развиваться хватательные органы. Бараны, козлы и бараны станут «четверорукими», как обезьяны, приспособятся к хватательным движениям. Будут лазить по клетке. Одной-двумя конечностями держаться, а свободными доставать, что им надо.

— А ведь верно! — воскликнул Фалеев. — С вами у нас дело скорее пойдет. А то я как-то в последнее время совсем растерялся, прямо отупел... Знаете, — сказал он испуганно-приглушенным голосом, — тут недолго и с ума сойти, когда на твоих глазах кошмарные чудовища рождаются... А только куда нам лучше направить приспособляемость? Может быть, прямо на то, чтобы сразу делать животных летучими? По здешним условиям это практичнее всего. Козлы летучие! Горюшко! — Он плаксиво рассмеялся. — Но про четвероруких вы тоже неплохо придумали. У одной моей кошки отрос такой хвост, что она им, как обезьянка, орудует. Где лапами не достанет, там хвост в дело пускает. Ухватится кончиком, а лапами подтягивается, как на канате. Опять же, во время прыжков она рулит хвостом, как белка-летяга. И у нее как будто между лапами перепонки образовались. Совсем летягой скоро станет. А собака Джипси? Жутко, право... Да вот я сейчас... Джипси! Джипси!..

Откуда-то донесся собачий лай. И вдруг я увидел летящее к нам чудовище. Оно махало ногами, как собака во время самого быстрого бега, но приближалось медленно. Между тонкими его пальцами были видны небольшие перепонки. Эти перепонки помогали толкать тело вперед, отбрасывая воздух. Собака была немного крупнее бульдога, тело ее покрывала редкая шерсть каштанового цвета, хвост был длинный и пушистый, морда совершенно безволосая, короткая, почти плоская нижняя челюсть была недоразвита. Это было что-то среднее между собачьей мордой, обезьяньей и лицом человека. Действительно, жуткий вид! Собака подлетела совсем близко и посмотрела мне прямо в глаза. Я невольно вздрогнул: у Джипси были большие, совсем человечески грустные карие глаза, полные мысли... Джипси махнул хвостом, повернул свое тело и ухватился концами пальцев без когтей за край перегородки. Потом перевел глаза с меня на Фалеева. В глазах был вопрос.

Фалеев вдруг смутился, словно имел дело не с собакой, а с человеком, который ему мало знаком. Эти человеческие глаза на собачьем «лице» были страшны. Я сам почувствовал смущение.

— Вот познакомься, Джипси, — сказал Фалеев, смо-

тря куда-то мимо внимательных глаз собаки.— Наш новый товарищ — Артемьев.

Я полагал, что Фалеев обращается к собаке с такой речью в шутку, как многие любители собак. И я уже сделал движение рукою, чтобы погладить Джипси по его лысой голове. Каково же было мое изумление, когда собака кивнула мне головой и протянула лапу! Я был так поражен, что моя протянутая рука застыла на мгновение в воздухе. И вместо того чтобы погладить Джипси, как простую собаку, я, пересилив себя, вежливо пожал ее теплую безволосую лапу, хотя рукопожатия на Кэце и были отменены.

— Щенята Дианы накормлены? — спросил Фалеев. Собака отрицательно покачала головой.

— Почему? Соски с молоком не принесены? Джипси утвердительно кивнул.

— Ну, тогда лети, Джипси, нажми седьмую кнопку. Вызови Олю и поторопи ее.

Собака, окинув меня испытующим взором, полетела в обратный путь. Я почувствовал, что мое сердце учащенно забилося.

— Видели? — тихо спросил Фалеев.— Все понимает. Только отвечать не может. Речевого аппарата не приобрела. Приходится по вопросно-ответной системе изъясняться. Зато в развитии мозга произошел колоссальный скачок. Право, жутко с такой собакой! Я стараюсь с нею ладить. Меня она как будто любит, а Крамера почему-то невлюбила. Увидит — сердито посмотрит и улетает от него. Она сама, видно, страдает от того, что говорить не может. Тут уж мне приходится ее собачий язык изучать.

В глубине лаборатории послышался отрывистый лай.

— Вот видите, этак она призывает меня. Что-то там не ладится! Летим к ней!

К лаю Джипси присоединился визг щенка. Мы быстро понеслись по лаборатории.

Щенок с перепончатыми лапами просунул один палец в сетку и не мог его вытащить. Он отчаянно визжал, смотря на нас взглядом ребенка. Джипси суетился возле, безуспешно пытаясь своими длинными пальцами вынуть застрявшую лапу щенка. Мы пришли на помощь и общими усилиями освободили палец.

Я решил «поговорить» с Джипси.

— Джипси! — Как трудно выдержать взгляд этих глаз! — Ты не умеешь говорить? Хочешь, я буду учить тебя?

Джипси быстро закивал головою, и мне показалось, что в глазах его сверкнула радость. Собака подлетела ко мне и лизнула мою руку.

— Это значит, что он очень доволен. Я вижу, вы будете с ним друзьями, — сказал Фалеев. — Ну, так как же, товарищ Артемьев, где вы намерены работать? В лаборатории физиологии растений или здесь?

— Пусть решит Шлыков, — сказал я. — А пока мне придется поработать в оранжерее. До свиданья, товарищ Фалеев! До свиданья, Джипси!..

Остаток дня я провел в оранжерее. Крамер находился в мрачном настроении и со мною не разговаривал. Он молча возился возле кустов клубники. Когда Зорина подлетала ко мне с каким-нибудь вопросом, Крамер угрюмо следил за нею и за каждым моим движением. Тяжело работать в такой обстановке! Я решил просить Шлыкова перевести меня в лабораторию физиологии животных.

Когда я сообщил свою просьбу Шлыкову, он очень обрадовался.

— Я решил значительно увеличить штат зоолаборатории, — сказал он. — В оранжерею я направлю новых работников, которые сегодня прибывают с Земли. А вы отправляйтесь к Фалееву. Не понимаю, что с ним стало? С каждым днем он становится все более бестолковым и рассеянным. С ним происходит что-то неладное.

— На мой взгляд, не только с ним одним, — заметил я.

— А с кем еще? — спросил Шлыков, приподнимаясь на своей кушетке.

— С Крамером. Это был первый человек, с которым я познакомился на Кэце. Тогда он был совершенно иным. Теперь же я не узнаю его. Он стал раздражителен, подозрителен, неуравновешен. Мне кажется, его психика не в порядке, — сказал я.

— Не знаю... Я редко вижу его. Но если вы это находите, надо будет показать его Меллер. К Фалееву я перевожу и новую сотрудницу — Зорину.

— Зорину? — воскликнул я.

— А почему бы и нет? Вы имеете что-нибудь против нее?

— Против нее нет, ничего не имею,— ответил я.— Но, мне кажется, Крамер почувствовал недоброжелательство ко мне именно из-за этой девушки. И если она будет работать в одной лаборатории со мной...

— Ах, вот в чем дело!— рассмеялся Шлыков.— На Звезде Кэц родилась ревность. Тогда понятно, почему Крамер вдруг стал неуравновешенным. Но на это не стоит обращать внимания.

Что мне оставалось делать? И я рассказал Шлыкову, что дело здесь не только в Зориной, что Крамер подозревает меня в намерении похитить и присвоить открытия самого Шлыкова, и при этом он беспричинно хохочет... Но Шлыков сказал, что все это проистекает из одного — ревности Крамера. Я решил подождать и посмотреть, как будет вести себя Крамер дальше.

XVIII. Новый друг

Началась трудовая жизнь.

Я с увлечением работал в лаборатории.

Вечерами и в выходные дни мы развлекались в клубе, в общественном саду, в кинотеатре, в гимнастическом зале. Молодежь устраивала «шарады». Делали «верблюда» из трех человек, покрытых скатертью. Зорина вскакивала на верблюда и, погоняя, неслась по коридору. Словом, забавлялись, как дети. «Старики» не отставали от «молодежи».

Один Крамер вел себя по-прежнему странно. Он то хохотал как сумасшедший, то вдруг погружался в глубокую задумчивость. Нет, это не только ревность. Меня он оставил в покое, но продолжал следить за каждым моим шагом.

Я познакомился со многими кэцовцами и даже приобрел друзей. Все больше входил во вкус «небесного» житья-бытья и тосковал только о Тоне.

Изредка я говорил с нею по телефону. Она сообщала мне, что чернобородый все еще витает где-то между Марсом и Юпитером, в кольце астероидов, но скоро прилетит на Кэц и что она сделала какое-то очередное «поразительное открытие».

Мои новые друзья познакомили меня с небесной колонией. Молодой инженер Карибаев приглашал посетить завод, на котором он работал.

— Замечательное сооружение,— говорил он с небольшим акцентом.— Целая планетка. Шар. Большой шар! Только мы живем не на поверхности, а внутри шара. В диаметре он в два километра. Шар медленно вращается. От вращения получается сила тяжести — одна сотая земной. Слабая тяжесть помогла нам поставить самые сложные производства. У нас законы рычага, жидких тел и газов не осложняются весом. Звуки и вообще разные колебания распространяются, как на Земле. Барометр, правда, не работает, но он нам и не нужен. Часы, весы — пружинные. Массу можно определить и на центробежной машине. Магнитные, электрические и другие силы действуют яснее, чем на Земле. Для процессов штамповочных машин сила тяжести не нужна. Топок с жидким и твердым горючим мы избегаем. Для выработки электрической энергии мы используем Солнце при помощи самых разнообразных машин.

Представьте себе два цилиндра. Один цилиндр в тени, другой освещен Солнцем. Солнечная теплота превращает заключенную в цилиндре жидкость в пар. Пар бежит по трубе и вращает турбину. Затем пар попадает в холодный цилиндр, который стоит в тени, и охлаждается. Когда вся жидкость из горячего цилиндра переходит в виде пара в холодный, цилиндры автоматически меняются местами. Тот, который служил холодильником, становится паровым котлом, и наоборот. Разница температур между освещенной Солнцем стороной и теневой огромная. Машина работает автоматически и безотказно. Это почти «вечный двигатель», если не считать износа трущихся частей.

Другая солнечная установка имеет вид большого шара с маленьким отверстием. Шар внутри черный. Сквозь маленькое отверстие в шар попадает собранный зеркалом луч Солнца и нагревает внутреннюю поверхность шара. Это тепло мы можем применять и для двигателя и для своих металлургических работ. Мы легко получаем шесть тысяч градусов тепла, то есть столько же, как на поверхности Солнца. Вы видели, когда летали на Луну, наш шар-завод?

— Видел,— ответил я.— Он похож на маленькую планетку.

— А позади шара заметили огромный квадрат, который закрывает часть звездного неба?

— Не обратил внимания.

— Возможно, что вы пролетели с другой стороны и «квадрат» стоял ребром к вам. Когда он освещен Солнцем, то далеко виден, как необычайная «квадратная луна». Это фотоэлемент. Тончайший медный лист в десять тысяч квадратных метров, покрытый окисью меди. От него идут невидимые издали тонкие провода. Над ним помещается еще более грандиозное сооружение, похожее на радиатор парового отопления. Термоэлектрическая установка. Металлические трубки из разного металла, спаянные посередине. При нагревании Солнцем места спая получается электрический ток.

Словом, мы имеем энергию в неограниченном количестве. Специальные металлообрабатывающие машины нетрудно было создать. Ковка, конечно, не может быть у нас применена. Молотки ничего не весят. Но ковку прекрасно можно заменить штамповкой, прессами. И поэтому на наших фабриках и заводах полное отсутствие дыма, копоти, грязи. Чистота, тишина, отличный воздух. Передвижение огромных тяжестей дается легко. Наши ловцы метеоров собрали тысячи тонн железа, меди, свинца, олова, иридия, платины, хрома, вольфрама, которые «висят» за шаром «на дворе». Нужную нам глыбу мы притягиваем на завод тончайшими проволоками. Так просто устроен наш «внутризаводской транспорт». Иногда мы пользуемся и небольшими ракетами, «безвоздушными ракетокарами», заменяющими электрокары. Преимущественно мы применяем электросварку, но и иногда непосредственную «солнцесварку». Если вы хоть немного интересуетесь техникой, непременно побывайте на нашем заводе... Кстати, где вы были сегодня в двенадцать часов утра по нашему счету времени?

— Кажется, в оранжерее или в лаборатории.

— Тревогу слышали?

— Нет.

— Ну, значит, в это время вы были в лаборатории, отдаленной от Кэца. Иначе не могли бы не слышать. Сирена гудела и завывала как бешеная. Я в это время был у Пархоменко. Посмотрели бы вы, какая суeta поднялась на Звезде!

— Чем же была вызвана тревога?

— Редчайшим случаем, первым в летописи Звезды. Маленький метеор, быть может, величиною немного

более песчинки, пронизал насквозь нашу Звезду, пробив по пути листья растений и плечо одной нашей сотрудницы. Метеор был ничтожно мал. Об этом можно судить по тому, что образованная им в оболочке Кэц скважина сама собой запаялась, вначале расплавившись от удара. Но Горева, сквозь комбинезон и плечо которой прошел небесный гость, говорила, что видела вспышку и слышала треск, как от молнии. Сейчас же была объявлена тревога. Ведь метеор мог пробить большое отверстие в оболочке. Газ начал бы выходить, и мировой холод проник бы в ракету. Вот поэтому наша ракета разделена на глухие отсеки. Двери моментально герметически закрываются, и утечки атмосферы из других отделений ракеты не происходит. В отделение, где случается авария, направляются рабочие в скафандрах. Горева успела выскочить из своей комнаты прежде, чем двери автоматически захлопнулись. На всякий случай у нас, впрочем, имеются ключи. Они дают возможность открыть дверь и выбежать, если она автоматически уже закрылась. Несмотря на переполох, все шло в общем очень дисциплинированно и четко. Меллер осмотрела ранку Горевой и заявила, что никогда не приходилось ей видеть столь «стерильной» раны. Впрочем, едва ли можно назвать раной отверстие немногим больше булавочного укола. Эта «сквозная рана» не потребовала даже перевязки. Однако я заболтался, — сказал инженер, взглянув на ручные часы. — Так я вас жду!

Я обещал, что побываю на заводе непременно. Но обещанию этому не суждено было осуществиться. Иные события отвлекли меня.

* * *

Я почти переселился в зоолабораторию, часто даже не являлся обедать в Кэц: переодевания в «водолазный» костюм, атмосферные камеры — все это отнимало немало времени, а я дорожил каждой минутой. Ведь одна минута в этой лаборатории давала больше, чем многие часы на Земле: так быстро протекали здесь при опытах различные биологические процессы. Мутация мух-дрозофил происходила буквально на моих глазах. Я поражался разнообразию все новых и новых разновидностей. Я весь был поглощен исследованием зако-

нов, которые управляют всеми этими изменениями. Понять их — значит найти новое могучее орудие произвольного управления развитием и ростом животных. Я изучал ядра клеток и находящиеся в них хромосомы — носители наследственных признаков, — изучал хромосомные наборы или комплекты. Я уже мог безошибочно получать у дрозофил потомство «заказанного» пола и роста.

Какие перспективы развития земного животноводства! Правда, там нет космических лучей такой интенсивности, какая существует здесь. Но на Земле уже открыли способы искусственного получения космических лучей. Там это еще слишком дорогое удовольствие, но опыты можно производить здесь, а результаты сообщать на Землю. И на Земле в особых камерах станут подвергать искусственному космическому облучению животных, для того чтобы наверняка получать желаемый результат. В стаде мы сможем получать столько коров и столько быков, сколько нам нужно, а не сколько желает природа. Мы по заказу сможем получать животных-гигантов. Слоноподобная корова каждый день дает десятки ведер молока. Разве это не заманчивая задача?

За работой я не забывал Джипси. Он решительно привязался ко мне и не отлетал ни на шаг. С ним было не скучно. Правда, не легко было привыкнуть к его внешности и небывалой натуре. Но я привык, и впечатление его уродства сгладилось. Даже глаза самого Джипси повеселели.

Ведь люди не всегда вежливы со своими четвероногими друзьями. Особенно этот Крамер. «Ну ты, лысый баран! — грубо приветствовал он Джипси, встречаясь с ним. — Не подходи!» — и грозил кулаком. Понятно, что Джипси терпеть его не мог.

Обучение Джипси «говорить» сводилось к созданию «условного языка». Мне приходилось запоминать те звуки, которые издавал Джипси по тому или иному поводу. Звуки эти мало походили на членораздельную речь, но все же они отличались друг от друга. Джипси сам стал помогать мне, обращая внимание на интонацию, силу тона, паузы. Так, постепенно мы начали довольно свободно изъясняться друг с другом. Неудобство было только в том, что Джипси все же оставался «иностранцем», которого мог понять один я. Тем боль-

ше он ценил и любил меня. Он часто лизал мне руки — это собачье выражение ласки у него осталось. Да и как иначе он мог проявить свои нежные чувства?

Забавно было смотреть на Джипси, когда он с величайшей заботливостью и терпением обучал молодых щенят двигаться, «летать» в невесомом пространстве. Жаль, что эти картины не были засняты на киноплёнку!

Глядя на него, я думал: как плохо мы еще используем животных для служения человеку! Джипси с его перепончатыми лапами мало приспособлен для движения по Земле. Его мышцы и скелет, вероятно, ослаблены. Но ничего нет проще создать здесь тип высокоразвитой собаки, годной для земных условий. Нужно только выращивать этих собак при искусственной тяжести. Развитие же их мозга при влиянии интенсивнейших космических лучей идет здесь гораздо быстрее, чем на Земле. Я заметил у Джипси необычайно тонкий нюх и слух. Он мог бы быть не только прекрасным сторожем, который при случае может зажечь сигнальные огни, позвонить в звонок, вызвать лаем по телефону, но и своего рода живым реактивом на производстве. Он чувствует малейшие изменения запаха, температуры, звука, цвета и тотчас может подать сигнал. Это, конечно, идеально делают и наши автоматы. Но Джипси не автомат, и он может больше: не только «отмечать», но и изменять направление работы при помощи тех же автоматов.

Он очень любил, когда я посылал его с разными поручениями, и исполнял их почти всегда безошибочно. Если он не понимал меня, то мотал головой. «Да» и «нет» он уже передавал звуками «вва», «ввэ».

Его преданность была безгранична. Однажды в нашу лабораторию прилетел служащий, недавно прибывший с Земли, и неумело замахал предо мною веерами. Джипси вообразил, что новый человек хотел ударить меня, он буквально налетел на него и отбросил далеко в сторону. Несчастный едва не умер от страха, увидев такое кошмарное чудовище.

Мне будет нелегко расстаться с Джипси, а взять его на Землю невозможно. Там он чувствовал бы себя отвратительно

Словом, я был очень доволен Джипси. Зато Фалеев приводил меня все в большее недоумение. Этот чело-

век поразительно изменялся у меня на глазах. Он становился все бестолковее. Иногда, не понимая простых вещей, он долго «висел» передо мною. Работа у него совсем не ладилась. Он все забывал, делал массу ошибок. Даже внешне он как-то опустился, оброс бородой, редко менял костюм, в ванну мне приходилось тащить его чуть не насильно. Самое же удивительное — он начал изменяться физически. Я долго не верил своим глазам, но в конце концов убедился, что он становится все выше, длиннее... Лицо его тоже удлинялось. Нижняя челюсть выдавалась все больше. Пальцы на ногах и руках вытягивались, хрящи и кости утолщались. Словом, с ним происходило то, что происходит с человеком, заболевшим акромегалией. Однажды я подвел его к зеркалу, в которое он, вероятно, не заглядывал уже месяц, и сказал:

— Посмотрите, на кого вы стали похожи!

Он долго смотрел в зеркало, потом спросил:

— Кто это?

Совсем не в себе человек!

— Разумеется, вы.

— Не узнаю,— сказал Фаллеев.— Неужели это я? Страшнее Джипси.— Он сказал это совершенно равнодушным тоном и, отойдя от зеркала, тотчас заговорил о другом.

Нет, этого человека надо лечить, и лечить немедленно.

Я решил в тот же день слетать на Кэц и обо всем сообщить Меллер.

Но в этот день произошло еще одно событие, которое заставило меня сделать доклад Меллер уже не об одном больном, а о двух.

ХІХ. Странное заболевание

Наши пружинные часы (часы с маятником не работают в мире невесомости) показывали уже около шести вечера. Фаллеев улетел на Звезду Кэц, Зорина еще оставалась в зоолаборатории. Эта девушка увлекалась работой не меньше меня и часто засиживалась здесь до ужина. Всегда веселая, жизнерадостная, радушная, она была не только прекрасным работником, но и отличным товарищем.

Она часто обращалась ко мне с различными научными вопросами, и я охотно давал разъяснения.

Так было и на этот раз.

Вера Зорина изучала влияние холода на рост шерсти. Подопытное животное находилось в особой камере с довольно низкой температурой, и работать там приходилось в теплом костюме. Эта камера помещалась в конце нашей трубообразной лаборатории.

Я сидел один у стеклянного ящика, рассматривая чудовищную дрозифилу величиною с голубя. Несмотря на такой рост, крылья у мухи были не больше пчелиных. Так как эти крылья почти не помогали ей во время полета, то она предпочитала быстро лазить по стенкам своего стеклянного домика. Но эта гигантская муха уже не была бесполом существом. Дрозофила была самка — по моему заказу. Размышляя о последствиях своего успеха, я не сразу заметил, как ко мне подлетел Джипси и начал изъясняться на своем собачьем языке. Потом я понял: меня просит к себе Зорина.

Я поднялся. Джипси полетел вперед, махая своими перепончатыми лапами, я за ним. Долетев до конца лаборатории, я надел теплый костюм и «вошел» в камеру. Под потолком «парил» баран. У него была такая длинная шерсть, что ног совершенно не было видно. Я пощупал мягкое шелковистое руно. Поистине золотое руно! Шерсть окружала барана, как облако.

— Недурно! — сказал я. — Вы делаете успехи.

— И представьте, — обрадовалась Зорина, — совсем недавно я стригла барана. Вот шерсть опять отросла и даже длиннее прежнего. Но она стала несколько жестче. Это озаботило меня.

— Что вы, шелк не может быть мягче, — возразил я.

— Но паутина тоньше шелка, — в свою очередь, возразила Зорина. — Вот попробуйте снятое руно. — И она подала мне клок белоснежной шерсти, легкой, как газ.

Зорина права: снятая шерсть была тоньше.

— Неужели после стрижки шерсть становится грубее? — спросила меня девушка.

Я не мог ответить сразу.

— Холодно здесь, — заметил я. — Выйдемте отсюда и побеседуем.

Мы перешли из камеры в лабораторию, сняли шубы и, «повесив их на воздух» рядом с собой, начали разговор. В окно заглядывало синее Солнце. Где-то внизу ви-

сел гигантский месяц Земли. Брильянтовой россыпью светился Млечный Путь. Белели пятнышки туманности. Знакомая, уже привычная картина... Зорина слушала меня, зацепившись пальцем ноги за ремешок в «потолке». Я, обняв Джипси за голову, примостился возле самого окна.

Вдруг Джипси тревожно проворчал: «Кгмррр...» В этот же момент я услышал голос Крамера:

— Небесная идиллия! Дуэт на Звезде!

Я переглянулся с Зориной. Ее брови нахмурились. Джипси снова заворчал, но я успокоил его. Крамер, махая веером правой руки, делал медленные круги в воздухе, приближаясь к нам.

— Мне надо поговорить с Верой! — сказал он, остановившись и глядя на меня в упор.

— Я вам мешаю? — спросил я.

— Надо самому быть догадливым, — злобно ответил Крамер. — С вами у меня будет разговор попозже.

Я резко оттолкнулся ногой от стенки и полетел в противоположный конец лаборатории.

— Куда же вы, Артемьев? — услышал я за собой голос Зориной.

Оглянувшись на полдороге, я увидел, что Джипси колеблется — лететь ли за мной, или оставаться с девушкой, которую он любил не меньше меня.

— Идем, Джипси! — крикнул я.

Но Джипси, в первый раз за все время, не исполнил моего приказа. Он ответил мне, что останется с Зориной и будет охранять ее. Этот ответ Крамер, конечно, не понял. Для него «слова» Джипси были набором ворчанья, лая и чавканья челюстями. Тем лучше!

Я подлетел к камере дрозифил и остановился, прислушиваясь к тому, что делается в другом конце лаборатории. Станный вид Крамера и поведение собаки, почувствовавшей опасность, настроили меня тревожно.

Но все было тихо. Джипси не ворчал, не лаял. И голоса Крамера не было слышно. Наверно, он говорил очень тихо. Атмосфера в нашей лаборатории не так плотна, как на Земле, и потому звуки приглушены. Прошло минуты две в напряженном ожидании. И вдруг до меня долетел неистовый призывный лай Джипси. Потом он умолк, и только слышалось глухое ворчанье.

Я рванулся и полетел обратно, хватаясь на лету за выступы перегородок и этим нагоняя скорость.

Ужасная картина представилась моим глазам.

Крамер душил Зорину. Вера старалась разжать его руки, но ей это не удавалось. Джипси вцепился зубами Крамеру в плечо. И тот, пытаясь освободиться от собаки, делал резкие движения всем телом. Джипси отчаянно махал лапами. И все трое вертелись посреди лаборатории, как клубок.

Я с налету врезался в группу сплетенных тел и схватил Крамера за горло. Больше мне ничего не оставалось делать.

— Джипси! Вызывай на помощь! Звонок! Телефон! — крикнул я.

Крамер хрипел, но не выпускал шеи Зориной. Его руки словно окостенели. Лицо было искажено, глаза безумны.

Джипси помчался к звонковому номератору и нажал кнопку «тревоги». Затем вновь вернулся ко мне и вцепился Крамеру в нос. Крамер закричал и отпустил руки. Джипси тотчас же разжал челюсти.

Но нам еще рано было праздновать победу. Правда, мне удалось оттолкнуть Веру подальше от Крамера. Но в следующий момент он сильно ударил Джипси в его курносое «лицо» и набросился на меня. Началась необычайная борьба. Я отчаянно махал крыльями, чтобы увернуться от Крамера. Однако мой противник, более привычный к движениям в невесомом пространстве, быстро изменял положение и неожиданно оказывался возле моей головы. Тогда Джипси бросался между нами, угрожая снова вцепиться в лицо Крамера.

Крамер неистово наносил мне удары кулаком и ногами. Но, на мое счастье, кулаки врага не имели ни малейшего веса. И я чувствовал удар только тогда, когда Крамер налетал на меня, оттолкнувшись от стены.

Наконец ему удалось схватить меня сзади, и его руки стали подбираться к моей шее. Тут Джипси повис на кисти его правой руки. Крамеру пришлось освободить левую, чтобы отбросить собаку, но в это время к нашей свалке присоединилась Вера. Она ухватила Крамера за ноги.

— Оставьте, Крамер! Вам не справиться одному с троими! — уговаривал я его.

Но он был как бешеный.

В лаборатории слышались голоса людей, и вскоре пять юношей растащили нас. Крамер продолжал драться, вырываться и неистово кричать. Пришлось четверым держать его, а одному слетать за веревкой на наш небольшой склад. Крамера связали.

— Сбросьте меня в безвоздушное пространство! — прохрипел он.

— Какой позор! — сказал один из прибывших. — Никогда еще подобного не было на Кэце!

— Наш директор, товарищ Пархоменко, имеет и судебные полномочия. Я думаю, этот первый хулиганский поступок будет и последним, — сказал другой.

— Не судите его раньше времени, товарищи, — примирительно сказал я. — Мне кажется, что Крамера надо не судить, а лечить. Он болен.

Крамер стиснул зубы и замолчал.

Опасаясь, что он снова начнет драться, его так и одели в «водолазный» костюм связанным по рукам и ногам и доставили на Кэц как груз. Мы с Зориной также последовали туда. В лаборатории оставили только одного дежурного и Джипси.

Когда мы прибыли на Кэц, я настоял на том, чтобы Крамера немедленно показали Меллер. Я рассказал ей о его поведении с начала моего знакомства с ним вплоть до последнего его поступка. И помянул также о том, что и Фалеев, по моему мнению, заболел и телесно и психически и что, быть может, причина их болезни одна и та же.

Меллер внимательно выслушала меня и сказала:

— Да, это весьма вероятно. Условия на Звезде слишком необычны. У нас уже были случаи острого помешательства. Один из первых «небесных переселенцев» вообразил, что он «на том свете». Можете представить себе, какие пережитки еще существуют в нашей психике!

Она потребовала, чтобы к ней привели Крамера, а затем Фалеева.

Крамер не отвечал на вопросы, был угрюм и только один раз повторил свою фразу:

— Сбросьте меня в безвоздушное пространство.

Фалеев проявлял «тихое недоумение», как в шутку выразилась Меллер. Из ответов Фалеева она все же, видимо, сделала кое-какие заключения. И когда обоих увели, она сказала:

— Вы совершенно правы. Они оба больны, и серьезно больны. О суде над Крамером не может быть и речи. Его нужно только пожалеть. Это жертва научного долга. Но как же вы, биолог, не догадались о причине?

— Я здесь недавний гость, и я не медик... — смущенно ответил я.

— А между тем вы легко могли бы догадаться. Впрочем, и я, старая кочерыжка, не лучше вас. Тоже прозевала... Все дело в космических лучах! Вы подумайте. Уже на высоте каких-нибудь двадцати трех километров от поверхности Земли сила космического излучения в триста раз больше, чем на Земле. Через земную атмосферу под поверхности Земли проникает только ничтожное количество этих лучей. Мы же находимся за границей атмосферы и подвергаемся длительному действию космических лучей, в тысячу раз большему, чем на Земле...

— Позвольте, — перебил я. — Но ведь тогда все жители Кэц должны были бы перебеситься или выродиться в уродов. Однако этого не происходит.

Меллер укоризненно покачала головой.

— И вы все еще не понимаете! Этим мы обязаны строителям Кэц. Хотя и существовало мнение, что космические лучи опасности не представляют, но строители Кэц все же создали в оболочках наших небесных жилищ изоляционные слои, которые предохраняют от действия самых сильных космических излучений. Понятно?

— Я не знал этого...

— А вот часть лабораторий — физиологии растений и зоолаборатория — были созданы так, чтобы пропускать максимальное количество космических лучей. Мы должны были определить, как воздействуют они на организм животных и растений. Ведь все ваши опыты с дрозофилами и более крупными животными на чем основаны? Все эти мутации откуда происходят? От действия космических лучей. Вы это знаете?

— Я это знаю. И теперь понял...

— Наконец-то. Дрозофилы изменяются; из собак, козлов, баранов невесть какие чудища получаются. А вы сами что — из другого теста? На них действует, на вас не действует? И ведь я же знала это! Знала и предупреждала. А меня вот такие биологи, как вы, уговаривали: ничего опасного! Ну и довели одного до сума-

сшествия, другого до уродства. Космические лучи оказывали действие на железы, железы влияли на физиологические и психические функции. Это ясно... У Фалева акромегалия. С этой болезнью мы скоро справимся. А с Крамером придется повозиться. Да если и вы, друг мой, проработали бы в такой лаборатории года два, то, наверно, и с вами случилась бы такая же неприятная история.

— Но что же теперь делать? Я не могу оставить работу.

— Вы и не оставляйте. Придумаем что-нибудь. Работают же рентгенологи, радиологи с опасными лучами, надо только умело изолировать себя. Изоляционные шлемы с козырьком, изоляционная одежда. Подопытные животные могут находиться под непосредственным действием лучей, научные же сотрудники — под «крышей», не пропускающей космический «дождь». И выходить под такой «ливень» в опытную камеру можно только с «зонтиком». Я сделаю распоряжение, и наши инженеры устроят все нужное.

XX. Чернобородый Евгеньев-Палей

Прошло восемь месяцев с тех пор, как я оставил Землю.

Звезда Кэц готовилась к празднику. Здесь каждый год с большой торжественностью празднуется день основания Звезды. Старожилы рассказывали мне, что к этому дню на Звезду Кэц слетаются все небесные колонисты, где бы они ни были. Делают доклады, выслушивают отчеты о годовой работе, сообщают о своих достижениях, делятся опытом, строят планы на будущее. В этом году готовился особенно торжественный праздник. Я ожидал его с большим нетерпением: я знал, что увижу, наконец, не только Тоню, но и неуловимого чернобородого.

На Звезде уже начались подготовительные работы. Из оранжереи приносили вьющиеся растения, цветы и декорировали главный зал. Художники рисовали плакаты, портреты, диаграммы, музыканты разучивали новые песни и кантаты, артисты репетировали пьесу, руководители научной работы составляли доклады.

Весело было летать по «вечерам» вдоль озелененного «тоннеля», украшенного разноцветными лампами.

Всюду была предпраздничная суэта, слышались пение, музыка, молодые голоса. Каждый день появлялись новые лица. Преобладала молодежь. Знакомые встречали друг друга шумными приветствиями и оживленно делились впечатлениями.

— Ты откуда?

— С пояса астероидов.

— На кольце Сатурна был?

— Как же!

— Расскажи! Расскажи! — слышались голоса.

Вокруг рассказчика немедленно образовывалась плотная группа, вернее рой: тяжесть была ничтожна, и многие слушатели летали над головой рассказчика.

— Кольцо Сатурна, как вы знаете, представляет собой мириады летящих в одном направлении осколков. Это, вероятно, остатки разорвавшейся на части планетки — спутника Сатурна. Есть совсем небольшие камешки, есть огромные глыбы и целые горы.

— А можно ходить по кольцу, перескакивая с камня на камень? — спросил кто-то.

— Конечно, можно, — смеясь ответил рассказчик, и нельзя было понять, говорит ли он правду или шутит. — Я так и делал. Некоторые осколки действительно летят так близко, что можно перешагнуть с одного на другой. Но, вообще говоря, расстояния между ними не так уж малы. Однако при помощи наших портативных ракет мы легко перелетали с осколка на осколок. Вот где богатство, товарищи! Некоторые куски состояли из сплошного золота, некоторые — из серебра, но большинство было из железняка.

— И ты, конечно, привез золото?

— Образцы привезли. Кольца Сатурн хватит нам на сотни лет. Мы будем извлекать камень за камнем из этого чудесного ожерелья. Сначала мелкие камни, а затем возьмемся и за большие.

— И Сатурн лишится своего прекрасного украшения. Это все-таки жалко, — сказал кто-то.

— Да, признаюсь, зрелище эффектное. Подлетая к кольцу в одной плоскости с ним, видишь только его ребро — тонкую светящуюся линию, которая прорезает также светящуюся планету. Если смотришь сверху, видишь сияющее кольцо необычайной красоты. Сбоку — золотую дугу, опоясывающую полнеба, то правильную, то вытянутую эллипсисом или даже парабо-

лой. Прибавьте к этому десять лун-спутников, и вы представите себе, какое поразительное зрелище ожидает путешественника.

— А на Сатурн не спускались?

— Нет, это мы тебе оставили,— сказал рассказчик. Все рассмеялись.— Вот на Фебе были, на Япете были. Маленькие луны, лишённые атмосферы, и больше ничего. Но вид неба отовсюду изумительный.

— Словом, мы изучили стратосферу, как атмосферу собственной комнаты. Для нас больше нет тайн...— послышался голос аэролога, пролетавшего мимо рука об руку с моим знакомым Соколовским.

Я помахал рукой геологу и вдруг увидел Тюрина. Он осторожно ступал по полу рядом с директором Пархоменко и что-то говорил о движении. Уж не собирается ли он сделать доклад о своей философии движения?..

Пархоменко подошел к Зориной. Не первый раз я встречаю директора вместе с этой девушкой. Хорошо, что Крамер не видит. Он, бедняга, все еще сидит в изоляторе. Тюрин, с классической рассеянностью ученого, даже не заметил, что потерял своего спутника, и медленно пошел дальше разглагольствуя:

— Движение — благо, неподвижность — зло. Движение — добро, неподвижность...

Звуки оркестра заглушили речь проповедника новой философии.

Я облетел весь главный коридор, заглянул в огромный зал, в столовую, на «стадион», в бассейн. Всюду порхающие, скачущие, лазящие люди. Всюду звонкие голоса и смех. Но среди них нет Тони... Мне стало то скливо, и я отправился в зоолабораторию побеседовать со своим четвероногим другом...

Наконец настал день праздника. Для того чтобы многочисленные колонисты могли расположиться удобнее, силу тяжести на Звезде почти совершенно уничтожили. И собравшиеся разместились равномерно по всему пространству. Они облепили стены, наполняя зал, как мухи-дрозофилы стеклянную коробку.

В конце коридора была сооружена «эстрада». За нею помещался художественно исполненный светящийся транспарант. На нем была изображена наша Земля, над нею — Звезда Кэц, еще выше — Луна. В большом овальном отверстии транспаранта виднелась пла-

тиновая статуя Константина Эдуардовича Циолковского. Он был изображен в своей любимой рабочей позе: положив дощечку с бумагой на колени. В правой руке его был карандаш. Великий изобретатель, указавший людям путь к звездам, как будто прервал свою работу, прислушиваясь к тому, что будут говорить ораторы. Художник-скульптор передал с необыкновенной выразительностью напряжение лица глуховатого старца и радостную улыбку человека, «не прожившего даром» свою долгую жизнь. Эта серебристо-матовая статуя, эффектно освещенная, оставляла незабываемое впечатление.

Стол президиума заменяло висящее в воздухе золотое кольцо. Оно напоминало «новоземие». Вокруг этого кольца, придерживаясь за него руками, расположились члены президиума. В центре появился директор Пархоменко. Зал приветствовал его возгласами и аплодисментами.

Я почувствовал, что кто-то прикоснулся к моей руке. Я обернулся — Тоня!

— Ты!.. — только и мог воскликнуть я. Так, неожиданно для себя, я стал называть Тоню на «ты».

Вопреки правилам Кэц, мы крепко пожали друг другу руки.

— Работа задержала! — сказала Тоня. — Я сделала еще одно открытие. Очень полезное здесь, но, к сожалению, очень мало применимое на Земле.. Помнишь тот случай, когда маленький астероид едва не вызвал катастрофу, пронизав наше жилище? Это убедило меня в том, что как ни маловероятны такие случаи с точки зрения вероятности, но они все же случаются. И вот я изобрела...

— Значит, не открытие, а изобретение

— Да, изобретение. Я изобрела аппарат, который реагирует на приближение даже малейших астероидов и автоматически заблаговременно отодвигает Звезду с их пути.

— Вроде радиоаппаратов, предупреждающих о появлении на пути корабля айсбергов?

— Да, с тою только разницей, что мой аппарат не только предупреждает, но и отодвигает наш «корабль» в сторону. Я после расскажу тебе подробнее... Пархоменко уже начинает свой доклад.

Все стихло.

Директор поздравил собравшихся с «успешным окончанием звездного года». Взрыв аплодисментов, и снова тишина.

Потом он, подводя итоги, говорил, что Звезда Кэц, детище Земли, «начинает возвращать долг своей матери». Он говорил, что у кэцовцев есть огромные достижения, что они своими трудами в области астрономии, аэрологии, геологии, физики, биологии обогатили все человечество. Сколько сделано крупнейших научных открытий, сколько разрешено неразрешимых на Земле задач! Необычайно ценные открытия сделал, например, Тюрин. Его «Строение Космоса» войдет в историю науки как классический труд, создающий эпоху. Его имя становится в ряд имен таких титанов науки, как Ньютон и Галилей.

Высокую оценку получили и работы аэролога Кистенко, геолога Соколовского, «выдающегося изобретателя и экспериментатора товарища Герасимовой», упомянуты были мои скромные труды, как мне кажется, не в меру оцененные.

— Истинным героем — завоевателем небесных пространств проявил себя товарищ Евгеньев, — сказал Пархоменко и начал аплодировать кому-то позади себя.

Евгеньев! Чернобородый! Я вытягиваю шею, чтобы разглядеть его, но герой скрывается. Он не вышел даже на аплодисменты.

— Он, товарищи, скромничает, — говорит Пархоменко. — Но мы заставим его сделать доклад о своих необычайных приключениях в поясе астероидов. Начальник экспедиции должен отчитаться перед нами.

Евгеньев, наконец, показался в кольце. Я сразу узнал его.

— А ты бы узнала? — спросил я Тоню.

Тоня улыбнулась.

— Среди безбородых — да, но среди таких же бородатых, как он, едва ли. Я ведь его только мельком видела, когда он ехал на аэродром.

Евгеньев заговорил. При первых же его словах Тоня вдруг сильно побледнела.

— Что с тобой? — испуганно воскликнул я.

— Да ведь это же Палей! Его голос... Но как он изменился! Палей-Евгеньев... ничего не понимаю!

Я, вероятно, побледнел не меньше Тони: так взволновала меня эта новость.

— Как только он кончит речь, пойдём к нему! — сказала Тоня решительным тоном.

— Может быть, тебе удобнее одной? Вам много о чем надо поговорить.

— У нас нет тайн, — ответила Тоня. — Так лучше. Идем!

И как только овации умолкли и чернобородый отошел от «стола», Тоня и я направились к нему.

Торжественная часть заседания оканчивалась. «Рой мух» пришел в движение. Играл оркестр. Все пели хором «Звездный гимн». Начинался карнавал цветов.

С трудом пробираясь через толпу, мы, наконец, приблизились к Палею. Увидев Тоню, он заулыбался и крикнул:

— Нина! Товарищ Артемьев! Здравствуйте!

— Идем куда-нибудь в тихий уголок. Мне нужно поговорить с тобой, — сказала Тоня Палею и схватила плававший в воздухе букет душистых фиалок.

— И мне тоже, — ответил Палей.

Мы отправились в отдаленный угол зала, но и там было слишком шумно. Тоня предложила перейти в библиотеку.

Палей-Евгеньев был в отличном настроении. Он предложил нам «усесться» на стулья, хотя они ни сколько не поддерживали нас. Сам он с необычайной скоростью и ловкостью подставил под себя стул, вставший в воздухе, и, придерживая его ногами, «уселся». Мы последовали его примеру далеко не с такой ловкостью. Тоня оказалась повернутой на бок — Палей поставил ее стул рядом с собою. Я висел вниз головой по отношению к ним, но не хотел менять своего положения, чтобы не вызвать смеха Палея неумелыми движениями.

— Так оригинальнее, — сказал я.

Некоторое время мы молчали. Несмотря на всю внешнюю веселость, Палей волновался. Тоня тоже не скрывала волнения. Что же касается меня, то мое положение было совсем неловким. Право, я охотно улетел бы, как ни хотелось мне послушать, о чем они будут говорить. Я почувствовал себя еще более неловко, когда Палей, кивнув на меня головой, спросил Тоню:

— Товарищ Артемьев твой жених?

Мне показалось, что я падаю. Но, к счастью, здесь

люди не падают, если даже упадут в обморок. Что ответит Тоня? Я пристально посмотрел на нее.

— Да,— ответила она без колебания.

Я вздохнул свободнее и почувствовал себя тверже на «воздушном» стуле.

— Так я не ошибся,— тихо сказал Палей, и в его голосе мне почудилась грусть.

Значит, и я не ошибся, предполагая, что у них было что-то, кроме научного интереса.

— Я очень виноват перед тобой, Нина...— произнес Палей, помолчав.

Тоня утвердительно кивнула головой.

Палей взглянул на меня.

— Мы — товарищи,— сказал он,— а с товарищами можно говорить вполне откровенно. Я любил тебя, Нина... Ты это знала?

Тоня немного опустила голову.

— Нет.

— Верю. Я хорошо умел скрывать свои чувства. А ты как ко мне относилась?

— Для меня ты был другом и товарищем по работе. Палей кивнул головой.

— И в этом я не ошибся. Ты увлекалась нашей работой. А я страдал, сильно страдал! Помнишь, с какой радостью принял я предложение ехать на Дальний Восток? Мне казалось, что когда меня не будет возле тебя...

— Я была очень огорчена, когда наша работа прервалась на самом интересном месте. Все записи ведь вел ты. У тебя остались формулы. Без них я не могла двигаться дальше.

— И только из-за этих формул ты искала меня по земле и по небу?

— Да,— ответила Тоня.

На этот раз Палей искренне рассмеялся.

— Все, что делается, делается к лучшему. Ты не раз упрекала меня, Нина, что я человек увлекающийся. Увы! Это мой недостаток, но и мое достоинство... Без этого увлечения я не совершил бы «двенадцати подвигов Геркулеса», о которых сегодня говорил Пархоменко. Кстати, нас всех представляют к награде. Это награда за мой увлекающийся характер... Так вот,— продолжал он.— Уехал я на Дальний Восток и там... влюбился в Соню и женился на ней и уже имею прекрасную дочурку. Жена и дочь на Земле, но скоро приедут сюда.

У меня еще больше отлегло от сердца.

— Почему же ты стал Евгеньевым? Евгений Евгеньев? — спросила Тоня.

— Евгений Евгеньев — это случайность. Фамилия Со-ни — Евгеньева. А она у меня оригиналка. «Почему бы тебе не носить мою фамилию», — сказала она мне перед тем, как идти в загс. «Твоя так твоя», — согласился я. Палея мне было не жалко: он человек увлекающийся. Бросает работу на самом интересном месте... Быть может, Евгеньев будет лучшим работником.

— Но почему ты не переслал мне своих записок?

— Во-первых, я был так счастлив, что забыл обо всем на свете. Во-вторых, я чувствовал себя виноватым перед тобой. После своего неожиданного отъезда я два раза был в Ленинграде. И один раз видел тебя с товарищем Артемьевым. Я слышал, как ты назвала его по фамилии. Но я сразу понял ваши отношения. В то время я работал уже в системе Кэца, новая работа совершенно захватила меня. Я весь жил «небесными интересами». К нашей с тобой работе, признаться, потерял всякое влечение. Я помнил, что наши общие записки я должен вернуть тебе... И вот я встречаю товарища Артемьева. А надо сказать, что это случилось в очень горячее время. За час до отлета на аэродром из Ленинграда мы вдруг получили телеграмму о том, что нам необходимо закупить некоторые физические приборы, только что выпущенные ленинградскими заводами. Мы с товарищем распределили покупки, условившись встретиться на углу улицы Третьего Июля и проспекта Двадцать пятого Октября. Поэтому-то я и уехал так быстро, что не успел сообщить своего адреса. Успел только крикнуть: «Памир, Кэц!» А приехал на Памир и завертелся. Потом улетел на Звезду Кэц, отсюда — в межпланетное путешествие... Вот и весь сказ. Виноват, кругом виноват!

— Но где же, наконец, эти записки? — воскликнула Тоня.

— Только не сбрось меня, пожалуйста, со стула, а не то упаду и разобьюсь на куски, — засмеялся Палея. — Увы, увy! Тебе совсем не надо было летать на небо, чтобы получить их. Они остались в Ленинграде, в доме почти рядом с твоим, у моей сестры.

— И ты не мог даже написать об этом! — с упреком сказала Тоня.

— Повинную голову и меч не сечет,— сказал Палей-Евгеньев, подставляя Тоне свою черноволосую голову.

Тоня запустила пальцы в его густую шевелюру и, улыбаясь, потрепала его. Оба они от этого движения закружились.

— Высечь тебя надо, негодника, а не к награде представлять!

— За что высечь, а за что и наградить,— шутливо возразил Палей.

Тоня вдруг обернулась ко мне и сказала:

— Ну, что же, летим на Землю, Леня?

«Летим на Землю! Леня!» Как обрадовали бы меня эти слова несколько месяцев тому назад! Теперь же обрадовало только слово «Леня». Что же касается полета на Землю, то...

— Об этом мы еще поговорим. Нельзя же так скоро. И у тебя и у меня есть незаконченные работы,— ответил я.

— Как? — удивилась она.— Теперь ты не хочешь лететь со мной на Землю?

— Хочу, Тоня. Но я накануне величайшего открытия в биологии. И закончить эту работу можно только здесь. А дело прежде всего.

Тоня посмотрела на меня так, словно видела в первый раз.

— Ты, кажется, успешно дозрел на Кэце,— сказала она не то насмешливо, не то одобрительно.— Этой твердости характера я в тебе еще не замечала. Что же, таким ты мне больше нравишься. Поступай, как хочешь. Но я здесь больше оставаться не могу. Свои работы я окончила даже с превышением плана, как говорится, а новые начинать не собираюсь. Мне необходимо окончить ту, которую я начала когда-то с Палеем.

— Да, Нина,— поддержал ее Палей.— Впрочем, кажется ты стала Тоней, как я Евгеньевым. Все меняется! Ты должна окончить эту работу. Осталось немного. Нельзя такую проблему бросать на половине...

— А кто бросил? — спросила Тоня.— Ну, хватит счетов! Пойдем веселиться. Это моя последняя ночь на Звезде!

XXI. Наконец я выдерживаю характер

На другой день я сидел в своей зоолаборатории и работал вместе с Зориной. Мы уже были в особых изоляционных костюмах, предохраняющих от действия космических лучей. Над нами были воздвигнуты изоляционные крыши. Только на подопытных животных космические лучи лились, как дождь.

Зорина сообщила мне, что Фалеев поправляется. Его тело и лицо принимают прежний вид. Улучшается и психическое состояние. Но с Крамером все еще плохо, хотя Меллер надеется на его поправку.

Дверь лаборатории открылась. Неожиданно появилась Тоня.

— Я улетаю, Леня! — сказала она. — Перед дорогой зашла проститься и поговорить.

Зорина, чтобы не мешать нам, удалилась в другой конец лаборатории. Тоня посмотрела ей вслед и сказала мне тихо:

— Жаль, что ты не едешь.

— Ничего, наша разлука ненадолго, — сказал я.

В это время к нам подлетел Джипси.

— Тоня, помнишь, я тебе рассказывал о действии космических лучей? Так вот посмотри, что они сделали с Джипси.

— Какой фантастический урод!.. — воскликнула Тоня.

Урод улыбнулся и завилял хвостом.

— Вот теперь мне кажется, что тебе опасно здесь оставаться, — сказала Тоня. — Явишься ко мне вот таким чудовищем.

— Не беспокойся. Я защищен этой одеждой и «зонтиками». Они сохраняют мое тело, мой мозг и... мою любовь к тебе!

Тоня недоверчиво посмотрела на меня.

— Поступай как знаешь! — сказала она и, сердечно со мной простившись, ушла.

— Эх, Джипси, остались мы с тобой бобылями! — сказал я.

Джипси лизнул мою руку.

XXII. Земля и звезды

Весна. Окна открыты. Вечерний ветер приносит запах молодых берез. Я дописал страницу рукописи и взглянул в окно. Словно зацепившись за шпиль Адмиралтейства, на небе стоит полная луна. Из репродуктора льются звуки скрипки. Все, как тогда, много лет тому назад... Но теперь я смотрю на Луну иными глазами. Это уже не далекий, недоступный спутник Земли. На лунной поверхности остались следы моих ног. Они и сейчас такие свежие, как будто я только что прошел по усыпанной пеплом и космической пылью почве.

Иногда все это кажется мне сном...

Рядом с моим кабинетом кабинет Тони. Она, как и я, уже профессор.

Из столовой доносится пение сына-школьника.

На ковре возле моего кресла лежит моя любимая собака — черный пудель Джипси. Я назвал его так, вспоминая о другом Джипси, которого я оставил на Звезде. Какое трогательное было расставание!

Я не прерываю связи со своими кэцовскими друзьями. Все они живы и здоровы. Зорина вышла замуж за директора Пархоменко. Выздоровевший Крамер принял это как и полагается нормальному человеку: не слишком радостно, но не делая из этого драмы. Палей-Евгеньев работает главным инженером — конструктором и «облетчиком» ракет. Тюрин подготавливает путешествие за пределы солнечной системы. Он решительно не хочет стариться.

Месяц тому назад я окончил большую книгу «Биологические опыты на Звезде Кэц». Материалом послужили работы Шлыкова, Крамера и мои собственные. Получилась чрезвычайно интересная книга. Она уже сдана в печать. Окончив ее, мне захотелось еще раз пережить все приключения, связанные с моей не совсем обычной женитьбой. И вот я заканчиваю и эту книгу.

...Мой сын поет «Марш Звезды Кэц». Сколько раз я рассказывал ему о своем путешествии! Теперь он только и мечтает о том, как полетит на Звезду, когда вырастет большой. И он, наверное, будет жителем звезд.

Иван ЕФРЕМОВ

ЗВЕЗДНЫЕ КОРАБЛИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У порога открытия

— Когда вы приехали, Алексей Петрович? Тут много людей вас спрашивали.

— Сегодня. Но для всех меня еще нет. И закройте, пожалуйста, окно в первой комнате.

Вошедший снял старый военный плащ, вытер платком лицо, пригладил свои легкие светлые волосы, сильно поредевшие на темени, сел в кресло, закурил, опять встал и начал ходить по комнате, загроможденной шкафами и столами.

— Неужели возможно?! — подумал он вслух.

Подошел к одному из шкафов, с усилием распахнул высокую дубовую дверцу. Белые поперечины лотков выглянули неожиданно светло из темной глубины шкафа. На одном лотке стояла кубическая коробка из желтого, блестящего, твердого, как кость, картона. Поперек обращенной к дверце грани куба проходила наклейка серой бумаги, покрытая жирными черными китайскими иероглифами. Кружки почтовых штемпелей были разбросаны там и сям по поверхности коробки.

Длинные бледные пальцы человека слабо коснулись картона.

— Тао-Ли, неизвестный друг! Пришло время действовать.

Тихо закрыв дверцы шкафа, профессор Шатров взял потертый портфель, извлек из него поврежденную сыростью тетрадь в сером гранитолевом переплете. Осторожно разделяя слипшиеся листы, профессор просматривал через увеличительное стекло ряды цифр и время от времени делал какие-то вычисления в большом блокноте.

Груда окурков и горелых спичек росла в пепельнице; воздух в кабинете посинел от табачного дыма.

Необычайно ясные глаза Шатрова блестели под густыми бровями. Высокий лоб мыслителя, квадратные челюсти и резко очерченные ноздри усиливали общее впечатление незаурядной умственной силы, придавая профессору черты фанатика.

Наконец ученый отодвинул тетрадь.

— Да, семьдесят миллионов лет! Семьдесят миллионов! Ок! — Шатров сделал рукой резкий жест, как бы протыкая что-то перед собой, оглянулся, хитро прищурился и снова громко сказал: — Семьдесят миллионов!.. Только не бояться!

Профессор неторопливо и методично убрал свой письменный стол, оделся и пошел домой.

Шатров быстро вошел в свою комнату, окинул взглядом размещенные во всех углах «бронзюшки», как он называл свою коллекцию художественной бронзы, уселся за покрытый блестящей черной клеенкой стол, где бронзовый краб нес на своей спине огромную чернильницу, и раскрыл альбом.

Прекрасный художник-самоучка, он всегда находил успокоение в рисовании. Но сейчас даже хитро задуманная композиция не помогла ему справиться с нервным возбуждением. Шатров захлопнул альбом, вышел из-за стола и достал пачку истрепанных нот. Скоро старенькая фисгармония заполнила комнату певучими звуками брамсовского интермеццо. Играл Шатров плохо и редко, но всегда смело брался за трудные для исполнения вещи, не смущаясь своей неумелостью, так как играл только наедине с самим собой. Близоруко щурясь на нотные строчки, профессор вспомнил все подробности своей необычайной для него, кабинетного схимника, недавней поездки.

Бывший ученик Шатрова, перешедший на астрономическое отделение, разрабатывал оригинальную теорию движения солнечной системы в пространстве. Между профессором и Виктором (так звали бывшего ученика) установились прочные дружеские отношения. В самом начале войны Виктор ушел добровольцем на фронт, был отправлен в танковое училище, где проходил длительную подготовку. В это время он занимался

и своей теорией. В начале 1943 года Шатров получил от Виктора письмо. Ученик сообщал, что ему удалось закончить свою работу. Тетрадь с подробным изложением теории Виктор обещал выслать Шатрову немедленно, как только перепишет все начисто. Это было последнее письмо, полученное Шатровым. Вскоре его ученик погиб в грандиозной танковой битве.

Шатров так и не получил обещанной тетради. Он предпринял энергичные розыски, не давшие результатов, и, наконец, решил, что танковую часть Виктора ввели в бой так стремительно, что ученик его попросту не успел послать ему свои вычисления. Неожиданно, уже после окончания войны, Шатрову удалось разыскать майора, начальника покойного Виктора. Майор участвовал в том самом бою, где был убит Виктор, и теперь лечился в Ленинграде, где работал сам Шатров. Новый знакомый уверил профессора, что танк Виктора, сильно разбитый прямым попаданием, не горел и поэтому есть надежда разыскать бумаги покойного, если только они находились в танке. Танк, как думал майор, должен был и теперь стоять на месте сражения, так как оно было вскоре сильно заминировано. Профессор и майор совершили совместную поездку на место гибели Виктора.

И сейчас перед Шатровым из-за строчек потрепанных нот вставали картины только что пережитого.

— Стойте, профессор! Дальше ни шагу! — закричал отставший майор.

Шатров послушно остановился, горбясь и склоняя вперед голову, сухой и быстрый.

Впереди, на залитом солнцем поле, неподвижно стояла высокая сочная трава. Жемчужные капли росы искрились на листьях, на пушистых шапочках сладко пахнущих белых цветов, на конических лиловых соцветиях иван-чая. Насекомые, согревшиеся под утренним солнцем, деловито жужжали над высокой и яркой травой. Дальше лес, иссеченный снарядами три года назад, раскидывал тень своей зелени, прорванной неровными и частыми просветами, напоминавшими о медленно закрывающихся ранах войны. Поле было полно буйной растительной жизни. Но там, в гуще некошеной травы, скрывалась смерть, настороженная рукою врага, еще

не уничтоженная, не побежденная временем и природой.

Быстро растущая трава скрыла израненную землю, изрытую снарядами, минами и бомбами, вспаханную гусеницами танков, усеянную осколками и политую кровью...

Шатров увидел разбитые танки. Полускрытые бурьяном, они мрачно горбились среди цветущего поля, с потоками красной ржавчины на развороченной броне, с приподнятыми или опущенными пушками. Направо, в маленькой впадине, чернели три скучившиеся машины, обгоревшие и неподвижные. Немецкие пушки смотрели прямо на Шатрова, будто мертвая злоба и теперь еще заставляла их яростно устремляться к белым и свежим березкам опушки.

Дальше, на небольшом холме, один танк вздыбился вверх, надвинувшись на другую, повалившуюся набок машину. За зарослями иван-чая была видна лишь часть ее башни с грязно-белым крестом. Налево широкая пятнистая серо-рыжая масса «фердинанда» склоняла вниз длинный ствол орудия, утопавший концом в гуще травы.

Цветущее поле не пересекалось ни одной тропинкой, ни одного следа человека или зверя не было видно в плотной заросли бурьяна, ни звука не доносилось оттуда. Только встревоженная сойка резко трещала где-то вверху да издали доносился шум трактора.

Майор взобрался на поваленный ствол дерева и долго стоял неподвижно. Молчали и двое провожатых и шофер майора, отдавая дань уважения сражавшемуся здесь советскому человеку...

Шатрову невольно вспомнилась полная торжественной печали латинская надпись, обычно помещавшаяся в старину над входами в анатомические театры: «*Nic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitam*», в переводе означавшая: «Это — место, где смерть ликует, помогая жизни».

К майору подошел маленького роста сержант — начальник группы саперов. Веселость его показалась Шатрову неуместной.

— Можно начинать, товарищ гвардии майор? — звонко спросил сержант. — Откуда поведем?

— Отсюда. — Майор ткнул палкой в куст боярышника. — Направление — точно на ту березку...

Сержант и приехавшие с ним четыре бойца приступили к разминированию.

— Где же тот танк... Виктора? — тихо спросил Шатров. — Я вижу только немецкие.

— Сюда посмотрите, — повел рукой майор налево, — вот вдоль этой группы осин. Видите — там маленькая березка на холме? Да? А правее ее — танк.

Шатров старательно присмотрелся. Небольшая береза, чудом уцелевшая на поле сражения, едва трепетала своими свежими нежными листочками. И среди бурьяна в двух метрах от нее выступала груда исковерканного металла, издавека казавшаяся лишь красным пятном с черными провалами.

— Видите? — спросил майор и на утвердительный жест профессора добавил: — А еще левее, туда, вперед, — там мой танк. Вот тот, черно-красный, горелый. В тот день я...

Майор неожиданно замолчал, и Шатров так и не дождался окончания начатой фразы.

— Готово! — К ним подошел кончивший работу сержант.

Профессор и майор направились к желанной цели. Танк показался Шатрову похожим на огромный исковерканный череп, зияющий черными дырами больших проломов. Броня, погнутая, закругленная и оплавленная, багровела кровоподтеками ржавчины.

Майор с помощью своего шофера взобрался на разбитую машину, долго рассматривал что-то внутри, засунув голову в открытый люк. Шатров вскарабкался следом и стал на расколотой лобовой броне против майора. Тот высвободил голову, сощурился на свету и угрюмо сказал:

— Самому вам лезть незачем. Подождите, мы с сержантом все осмотрим. Если уж не найдем, тогда, чтобы убедиться, пожалуйте.

Ловкий сержант быстро нырнул в машину и помог влезть майору. Внутри танка воздух был душный, пропитанный прелью и слабо отдавал запахом машинного масла. Майор для верности зажег фонарик, хотя внутрь машины проникал свет через пробоины. Он стоял согнувшись, стараясь в хаосе изорванного металла сообразить, что было полностью уничтожено. Майор пробовал поставить себя на место командира танка, вынужденного спрятать в нем ценную для себя вещь, и

принялся последовательно осматривать все карманы, гнезда и закоулки. Сержант проник в моторное отделение, долго ворочался и кряхтел там.

Шатров переминался снаружи. На броне танка под его подошвами скрипел песок.

Майор уже устал от бесплодных поисков, как вдруг заметил на уцелевшем сиденье планшетку, засунутую позади подушки, у перекладины спинки. Он быстро вытащил ее. Кожа, побелевшая и вздувшаяся, оказалась неповрежденной; сквозь мутную сетку целлулоида проглядывала испорченная плесенью карта. Майор нахмурился, предчувствуя разочарование, с усилием отстегнул заржавевшие кнопки. Под картой, сложенной в несколько раз, была серая тетрадь в твердом гранитовом переплете.

— Так, так! — не удержался майор.

— Нашли? — озабоченно склонился над люком Шатров.

— Нашли что-то, смотрите, — и майор подал в люк планшетку.

Шатров поспешно вытащил тетрадь, осторожно раскрыл слипшиеся листы на середине, увидел ряды цифр, написанные почерком Виктора, и вскрикнул от радости.

Майор вылез наружу.

Поднявшийся легкий ветер принес медовый запах цветов. Тонкая береза шелестела и склонялась над танком, словно в неутешной печали. В вышине медленно плыли белые плотные облака, и вдали, сонный и мерный, слышался крик кукушки...

Шатров не заметил, как тихо раскрылась дверь и вошла жена. Она с тревогой взглянула добрыми голубыми глазами на мужа, застывшего в раздумье, опустив руки на клавиши.

— Будем обедать, Алеша?

Шатров закрыл фисгармонию.

— Ты что-то задумал опять, не так ли? — тихо спросила жена, доставая тарелки из буфета.

— Я еду послезавтра в обсерваторию, к Бельскому, на два-три дня.

— Не узнаю тебя, Алеша. Ты такой домосед, я месяцами вижу только твою спину, согнутую над столом,

и вдруг... Что с тобой случилось? Я в этом вижу влияние...

— Конечно, Давыдова? — рассмеялся Шатров.. — Ей-ей, нет, Олюшка, он ничего не знает. Ведь мы с ним не виделись с сорок первого года.

— Но переписываетесь-то вы каждую неделю!

— Преувеличение, Олюшка. Давыдов сейчас в Америке, на конгрессе геологов... Да, кстати напомнила — он на днях возвращается. Сегодня же напишу ему.

— Устал я, должно быть.... И старею... Голова седеет, лысеет и... дуреет,— бормотал Шатров про себя, ежедневно пересматривая бумаги на столе или начиная писать.

Он давно уже чувствовал вялость. Паутина однообразных ежедневных занятий плелась годами, цепко окутывая мозг. Мысль не взлетала более, далеко простирая свои могучие крылья. Подобно лошади под тяжким грузом, она переступала уверенно, медленно и понуро. Шатров понимал, что его состояние вызвано накопившейся усталостью. Друзья и коллеги давно уже советовали ему развлечься, отдохнуть. Но профессор не умел ни отдыхать, ни интересоваться чем-то посторонним.

— Оставьте! В театре не был двадцать лет, на даче отродясь не жил,— угрюмо твердил он своим друзьям.

И в то же время ученый понимал, что расплачивается за свое длительное самоограничение, за нарочитое сужение круга интересов, расплачивается отсутствием силы и смелости мысли. Самоограничение, давая возможность большой концентрации мысли, в то же время как бы запирало его наглухо в темную комнату, отделяя от многообразного и широкого мира. Нужно было разорвать этот плен рутины.

Шатров отправился в Пулковскую обсерваторию, только что отстроенную после варварского разрушения ее немцами.

Прием, оказанный Шатрову в обсерватории, был сердечным и любезным. Профессора приютил сам директор, академик Бельский, в одной из комнат своего небольшого дома. Шатров присматривался к непривычному для него распорядку жизни сотрудников,

поздно начинавших работу после ночных наблюдений. На третий день приезда Шатрова оказалось, что один из наиболее мощных телескопов свободен и ночь благоприятствует наблюдениям. Бельский вызвался быть проводником Шатрова по тем областям неба, которые упоминались в рукописи Виктора.

Помещение большого телескопа скорее походило на цех крупного завода, чем на научную лабораторию. Сложные металлические конструкции были непонятны далекому от техники Шатрову, и он подумал, что его друг профессор Давыдов, любитель всяких машин, гораздо лучше оценил бы виденное. В этой круглой башне было множество пультов с электрическими приборами. Помощник Бельского уверенно и ловко управлял различными рубильниками и кнопками. Глухо заревели где-то вдали большие электромоторы, башня повернулась, массивный телескоп, подобный орудию с ажурными стенками, наклонился ниже к горизонту. Гул моторов смолк и сменился тонким завыванием — это заработали какие-то меньшие и близкие к Шатрову двигатели. Движение телескопа сделалось почти незаметным. Бельский пригласил Шатрова подняться по легкой лесенке из дюрала. Шатров удивился, найдя на площадке удобное кресло, привинченное к настилу и достаточно широкое, чтобы вместить обоих ученых. Рядом был столик с какими-то приборами. Бельский выдвинул назад, к себе, металлическую штангу, снабженную на концах двумя биноклями, похожими на те, которыми постоянно пользовался в своей лаборатории Шатров.

— Прибор для одновременного двойного наблюдения, — пояснил Бельский. — Мы будем смотреть оба на одно и то же изображение, получающееся в телескопе.

— Я знаю, такие же приборы применяются и у нас, биологов, — отвечал Шатров.

Но в глубине души профессор недоумевал. Он представлял себе астрономическую обсерваторию в виде темной башни, где астроном, скорчившись под телескопом, в ночной тишине глядит одним глазом на звезды. Здесь же башня была хотя и слабо, но освещена, только площадка, на которой они находились, затенялась большими экранами. Он сидел не внизу, а вверху, в удобном кресле, за столиком, и перед ним находился прибор, который он привык видеть на лабораторных

столах. Право же, можно подумать, что он в кабинете, а не у телескопа в астрономической башне...

Как бы угадывая его мысли, Бельский сказал:

— Мы теперь мало пользуемся визуальными наблюдениями: глаз скоро утомляется, малочувствителен и не сохраняет виденного. Современная астрономическая работа вся идет на фотоснимках, особенно звездная астрономия, которой вы интересуетесь. Глаз требуется для выбора объекта съемки, и то не всегда... Ну, вы хотели посмотреть для начала на какую-нибудь звезду. Вот вам красивая двойная звезда — голубая и желтая — в созвездии Геркулеса. Регулируйте по своим глазам так же, как и обычно. Впрочем, подождите. Я лучше совсем выключу свет, пусть ваши глаза привыкнут...

Шатров прильнул к объективам бинокля, умело и быстро отрегулировал винты. В центре черного круга поля зрения ярко сияли две очень близкие друг к другу звезды. Шатров сразу понял, что телескоп вовсе не увеличивает звезды, как планеты или Луну. Он не в силах увеличить их, настолько велики расстояния, отделяющие их от Земли. Телескоп делает их яркими, более отчетливо видимыми, собирая и концентрируя лучи. Поэтому в телескоп видны миллионы слабых звезд, вовсе недоступных невооруженному глазу.

Перед Шатровым, окруженные глубокой чернотой, горели два маленьких ярких огонька красивого голубого и желтого цвета, несравненно ярче самых лучших драгоценных камней. Эти крошечные светящиеся точки давали ни с чем не сравнимое ощущение одновременно чистейшего света и безмерной удаленности; они были погружены в глубочайшую пучину темноты, пронзенную их лучами. Шатров долго не мог оторваться от этих огней далеких миров, но Бельский, лениво откинувшись в кресле, поторопил его:

— Продолжим наш обзор. Не скоро выдастся такая прекрасная ночь, да и телескоп будет занят. Вы хотели посмотреть центр нашей вселенной, ту ось, вокруг которой вращается «звездное колесо» нашей галактики?

Снова завывали моторы. Шатров ощутил движение площадки. В стеклах бинокля возник рой тусклых огоньков. Бельский не совсем остановил движение телескопа. Огромная машина двигалась незаметно и беззвучно, а перед глазами Шатрова медленно проплыва-

ли участки Млечного Пути в области созвездий Стрельца и Змееносца.

Короткие пояснения Бельского помогали Шатрову быстро ориентироваться и понимать видимое.

Тускло светящийся звездный туман Млечного Пути рассыпался неисчислимым роем огоньков. Этот рой сгущался в большое облако, удлиненное и пересеченное двумя темными полосами. Вокруг ярко горели, как бы выходя из глубин пространства, отдельные редкие звезды, более близкие к Земле.

Бельский остановил телескоп и повисил увеличение. Теперь в поле зрения было почти целиком звездное облако — плотная светящаяся масса, в которой отдельные звезды были неразличимы. Вокруг нее роились, сгущаясь и разрежаясь, миллионы звезд. При виде этого обилия миров, не уступавших нашему Солнцу в размерах и яркости, Шатров ощутил смутное угнетение.

— В этом направлении — центр галактики, — пояснил Бельский, — на расстоянии в тридцать пять тысяч световых лет. Самый центр для нас невидим. Вот здесь, направо, черное пятно чудовищных размеров: это масса темной материи, закрывающей центр галактики. Но вокруг него обращаются все звезды нашей вселенной, вокруг него летит и Солнце со скоростью почти трехсот километров в секунду. Если бы не было темной завесы, Млечный Путь здесь был бы несравненно ярче и наше ночное небо казалось бы не черным, а пепельным... Поехали дальше....

Телескоп снова двинулся.

Шатров увидел черные прогалины в звездных роях протяжением в миллионы километров.

— Это облако темной пыли и мелкой обломочной материи, — пояснил Бельский. — Отдельные звезды просвечивают сквозь них ультрафиолетовым и инфракрасными лучами, как это установлено фотографией на специальных пластинках...

Шатрова поразила одна большая туманность. Похожая на клуб светящегося дыма, испещренная глубочайшими черными провалами, она висела в пространстве, подобная разметанному вихрем облаку. Сверху и справа от нее клубились очень тусклые, серые клочья, уходившие туда, в бездонные межзвездные пропасти. Жутко было представить себе огромные размеры этого об-

лака пылевой материи, отражавшего свет дальних звезд. В любом из черных провалов утонула бы незаметно вся наша солнечная система.

— Заглянем теперь за пределы нашей галактики,— сказал Бельский.

В поле зрения перед Шатровым возникла глубокая тьма. Едва уловимые светлые точки, такие слабые, что их свет умирал в глазу; почти не вызывая зрительного ощущения, редко-редко встречались в неизмеримой глубине.

— Это то, что отделяет нашу галактику от других, подобных ей, звездных островов. То, что вы видите,— не звезды, а туманности, целые звездные миры, чрезвычайно удаленные от нас. Здесь, в направлении на созвездие Пегаса, открываются перед нами самые глубокие известные нам части пространства. Сейчас мы посмотрим на одну из наиболее близких к нам галактик, размерами и формой похожую на нашу исполинскую звездную систему. Она состоит из миллиардов отдельных звезд различной величины и яркости, имеет такие же облака темной материи, такую же полосу этой материи, стелющуюся в экваториальной плоскости, и так же окружена шаровыми звездными скоплениями. Это так называемая туманность в созвездии Андромеды. Она косо наклонена к нам, так что мы видим ее отчасти с ребра, отчасти с плоскости...

Шатров увидел бледно светящееся облако в форме удлиненного овала. Приглядываясь, он смог различить светящиеся полосы, расположенные спирально и разделенные черными промежутками.

В центре туманности видна была плотная светящаяся масса, очевидно, более густых звездных скоплений, слившихся в одно целое на колоссальном расстоянии. От нее отходили едва уловимые, спирально загибавшиеся выросты. Вокруг этой плотной массы, отделенные темными кольцами, шли полосы более разреженные и тусклые, а на самом краю, в особенности у нижнего края поля зрения, кольцевые полосы разрывались на ряд округлых пятнышек.

— Смотрите, смотрите! Вам как палеонтологу это должно быть особенно интересно. Ведь свет, который сейчас попадает к вам в глаза, ушел от этой галактики миллион лет тому назад. Еще человека-то на Земле не было!

— И это одна из близких к нам галактик! — ужаснулся Шатров.

— Ну конечно! Мы знаем уже такие, которые расположены в расстояниях порядка пятисот миллионов световых лет. Почти пятьсот миллионов лет бежит свет со скоростью в десять триллионов километров в год. Вы видели такие галактики в созвездии Пегаса...

— Непостижимо! Можете не говорить — все равно нельзя представить себе подобные расстояния. Бесконечные, неизмеримые глубины...

Бельский слегка щелкнул пальцами.

— Мы, астрономы, теперь увереннее ориентируемся в пространстве, хотя многого еще не понимаем. Но вот смотрите... Наш телескоп направлен на туманность Андромеды. Неподалеку лежит созвездие Треугольника — сюда, левее и ниже к горизонту. В нем красивая, ясно видимая туманность «М-33» — самая близкая к нам галактика. Если мы повернем телескоп точно в противоположную сторону, туда, к Большой Медведице и Гончим Псам, то увидим две очень слабые и далекие галактики, в точности соответствующие расположению галактик Андромеды и «М-33».

Бельский еще долго показывал Шатрову звездное небо. Наконец Шатров горячо поблагодарил своего звездного Вергилия, вернулся к себе и улегся в постель, но долго не мог заснуть.

В закрытых глазах роились тысячи светил, плыли колоссальные облака звездных скоплений, черные завесы холодной материи, гигантские хлопья светящегося газа.

И все это — простирающееся на биллионы и триллионы километров, рассеянное в чудовищной холодной пустоте, разделенное невообразимыми пространствами, в безоглядном мраке которых мчатся лишь потоки смертоносных излучений.

Звезды — огромное стяжение материи, материи, сдавливаемой силой тяготения и под действием непомерного давления развивающей высокую температуру. От высокой температуры действуют цепные атомные реакции, усиливающие выделение энергии. Чтобы звезды могли существовать, не взрываясь, в равновесии, энергия должна в колоссальных количествах выбрасываться в пространство в виде тепла, света, космических лучей... И вокруг этих звезд, словно вокруг силовых стан-

ций, работающих на атомной энергии, вращаются согреваемые ими планеты.

В чудовищных глубинах пространства несутся эти планетные системы, вместе с миллиардами одиночных звезд и темной, остывшей материей составляющие огромную, похожую на колесо систему — галактику. Иногда звезды сближаются и снова расходятся на миллиарды лет, точно корабли галактики. И в еще более огромном пространстве отдельные галактики также подобны еще бóльшим кораблям, светящим друг другу своими огнями в неизмеримом океане тьмы и невообразимого холода.

Чувство, похожее на ужас, овладело Шатровым, когда он живо и ярко представил себе вселенную с ее безнадежным смертельным холодом пустоты, с редко рассеянными в ней не менее смертоносными массами материи, раскаленной до невообразимых температур. Представил себе не доступные никаким силам расстояния, неимоверную длительность совершающихся процессов, в которых пылинки, подобные Земле, имеют совершенно ничтожное значение.

И в то же время гордое восхищение перед умом человека прогоняло страшный облик звездной вселенной. Жизнь — скоротечная, настолько хрупкая, что может существовать только на планетах, подобных Земле, — горит крохотными огоньками где-то в черных и мертвых глубинах пространства.

Вся стойкость и сила жизни — в ее сложнейшей организации, которую мы едва начали понимать, — организации, приобретенной миллионами лет исторического развития, борьбы внутренних противоречий, бесконечной смены устаревших форм новыми, более совершенными.

В этом сила жизни, ее преимущество перед неживой материей, косно участвующей в космических процессах, не претерпевающей великого — усложнения и усовершенствования. И, несмотря на грозную враждебность космических сил, жизнь продолжается, развивается и, наконец, рождает мысль, овладевающую силами природы, анализирующую ее законы и с их же помощью побеждающую природу.

У нас на Земле и там, в глубинах пространства, расцветает жизнь — могучий источник мысли и воли, который впоследствии превратится в поток, широко раз-

лившийся по вселенной. Поток, который соединит отдельные ручейки в могучий океан мысли. Тому залогом открытие, заключенное в коробке Тао-Ли...

И Шатров понял, что впечатления, пережитые им ночью, вновь разбудили застывшую было силу его творческой мысли.

Он будет действовать дальше, не боясь нового, как бы невероятно они ни были.

Старший помощник капитана парохода «Витим» небрежно облокотился на сверкавшие в солнечных лучах поручни. Большой пароход словно уснул на мерно колымавшейся зеленой воде, окруженный медленно перебегавшими большими бликами света. Рядом густо дымил длинный, высоконосый английский пароход, лениво кивая двумя белыми крестами массивных мачт.

Южный край бухты, почти прямой и черный от глубокой тени, обрывался стеной красно-фиолетовых гор, изборожденных лиловыми тенями.

Офицер услышал внизу твердые шаги и увидел на трапе мостика массивную голову и широкие плечи профессора Давыдова.

— Что так рано, Илья Андреевич? — приветствовал он ученого.

Давыдов прищурился, молча осмотрел солнечную даль, а потом взглянул на улыбавшегося старшего помощника.

— Хочу попрощаться с Гавайями. Хорошее место, приятное место... Скоро отходим?

— Хозяина нет — оформляет дела на берегу. А так все готово. Вернется капитан, сейчас же пойдём. Прямо домой!

Профессор кивнул головой и полез в карман за папиросами. Он наслаждался отдыхом, днями вынужденного безделья, редкими в жизни настоящего ученого. Давыдов возвращался из Сан-Франциско, куда ездил делегатом на съезд геологов и палеонтологов — исследователей прошлого Земли.

Ученому хотелось проделать обратный путь на своем, советском пароходе, и «Витим» подвернулся очень кстати. Еще более приятным был заход на Гавайские острова. Давыдову за время стоянки удалось познакомиться с природой этой страны, окруженной необъят-

ными водными просторами Тихого океана. И сейчас, оглядываясь кругом, он ощущал еще большее удовольствие от сознания скорого возвращения на Родину. Много интересных мыслей накопилось за дни неторопливого, тихого раздумья. Новые соображения теснились в голове ученого, властно требуя выхода — проверки, сопоставлений, дальнейшего развития. Но этого нельзя было сделать здесь, в каюте парохода: не было под рукой нужных записей, книг, коллекций...

Давыдов погладил пальцами висок, что означало у профессора затруднение или досаду...

Правее выдававшегося угла бетонного пирса как-то внезапно начиналась широкая аллея пальм; густые перистые кроны их отливали светлой бронзой, прикрывая красивые белые дома с пестрыми цветниками. Дальше, на выступе берега, прямо к воде подступала зелень низких деревьев. Там едва покачивалась голубая, с черными полосами лодка. Несколько юношей и девушек в лодке подставляли утреннему солнцу свои загорелые стройные тела, громко пересмеиваясь перед купанием.

В прозрачном воздухе дальнзоркие глаза профессора различали все подробности близкого берега. Давыдов обратил внимание на круглую клумбу, в центре которой возвышалось странное растение. Внизу густой щеткой торчали ножевидные серебряные листья. Над листьями почти на высоту человеческого роста поднималось красное соцветие в форме веретена.

— Вы не знаете, что это за растение? — спросил заинтересованный профессор у старшего помощника.

— Не знаю, — беспечно ответил молодой моряк. — Видел его, слышал, что это какая-то редкость у них считается... А скажите, Илья Андреевич, верно, что вы были моряком в молодости?

Недовольный переменной разговором, профессор нахмурился.

— Был. Какое это сейчас имеет значение? — буркнул он. — Вы лучше...

Где-то за строениями слева завыл гудок, гулко раскатившийся по тихой воде.

Старший помощник сразу насторожился. Давыдов недоуменно огляделся.

Тот же покой раннего утра реял над маленьким городом и бухтой, широко раскрытой в голубую даль

океана. Профессор перевел взгляд на лодку с купальщиками.

Смуглая девушка, очевидно туземка, выпрямилась на корме, приветливо помахав русским морякам высоко поднятой рукой, и прыгнула. Красные цветы ее купального костюма разбили изумрудную стеклянистую воду и скрылись. Легкая моторка быстро промчалась в гавань. Минуту спустя на пристани показался автомобиль, из него выскочил капитан «Витима» и бегом устремился на свой корабль. Вереница флагов поднялась и затрепетала на сигнальной мачте. Капитан, задыхаясь, влетел на мостик, стирая лившийся по лицу пот прямо рукавом белоснежного кителя.

— Что случилось? — начал старший помощник. — Я не разбираю этого сиг...

— Аврал! — рявкнул капитан. — Аврал! — и схватился за ручку машинного телеграфа. — Готова машина?

Капитан склонился к переговорной трубе и бросил туда ряд отрывистых приказаний:

— Всех наверх! Задраить люки! Очистить палубу! Отдать швартовы!

— Russians, what shall you do?!¹ — вдруг тревожно проревел рупор с соседнего корабля.

— Go ahead!² — немедленно ответил капитан «Витима».

— Well! At full spread!³ — с большой уверенностью откликнулся англичанин.

Глухо зажурчала вода под кормой, корпус «Витима» дрогнул, пристань медленно поплыла вправо. Тревожная беготня на палубе смущала Давыдова. Он несколько раз бросал вопросительные взгляды на капитана, но тот, поглощенный маневрированием корабля, казалось, не замечал ничего кругом.

А море по-прежнему плескалось спокойно и мерно, ни одного облака не было видно в знойном и чистом небе.

«Витим» развернулся и, набирая ход, двинулся навстречу простору океана.

Капитан перевел дух, достал из кармана платок. Окинув зорким взглядом палубу, он понял, что все тревожно ждут его разъяснений.

¹ Русские, что вы собираетесь делать?! (англ.)

² Идти навстречу! (англ.)

³ Правильно! На полной скорости (англ.)

— Идет гигантская приливная волна от норд-оста. Я полагаю, единственное спасение судна — встретить ее в море, на полном ходу машин... Подальше от берега!

Капитан повернулся к отдалявшейся пристани, как бы оценивая расстояние.

Старший помощник, моментально исчезнувший с мостика для работы на палубе, теперь снова поднялся сюда, красный от возбуждения.

Давыдов посмотрел вперед и увидел несколько рядов больших волн, бешено мчавшихся к земле. А за ними, как главные силы за передовыми отрядами, стирая голубое сияние далекого моря, тяжело неся плоский серый холм гигантского вала.

— Команде укрыться внизу! — приказал капитан, резко двинув ручку телеграфа.

Передние волны по мере приближения к земле вырастали и заострялись. «Витим» резко дернулся носом, взлетел вверх и нырнул прямо под гребень следующей волны. Мягкий тяжелый шлепок отдался в поручнях мостика, крепко зажатых в руках Давыдова. Палуба ушла под волну, облако сверкающих водяных брызг туманом встало перед мостиком. Через секунду «Витим» вынырнул, нос его опять понесся вверх. Мощные машины содрогались глубоко внизу, отчаянно сопротивляясь силе волн, задерживавших корабль, гнавших его к берегу, стремившихся разбить «Витим» о твердую грудь земли.

Ни одного пятна пены не белело на обрыве исполинского вала, который поднимался со зловещим криком и становился все круче. Тусклый блеск водяной стены, стремительно надвигавшейся, массивной и непроницаемой, напомнил Давыдову кручи базальтовых скал в горах Приморья. Тяжкая, как базальт, волна вздымалась все выше, заслоняя небо и солнце; ее заостряющаяся вершина всплыла над передней мачтой «Витима». Зловещий сумрак сгущался у подножия водяной горы, в черной глубокой яме, куда соскальзывало судно, как будто покорно склонявшееся под смертельный удар.

Люди на мостике невольно опустили головы перед лицом стихии, готовой обрушиться на них. Корабль судорожно дернулся, грубо задержанный в своем стремлении вперед, к океану. Шесть тысяч лошадиных сил,

вращавших винты под кормой, были смяты чудовищно превосходившей их мощью.

Первый толчок придавил людей к поручням, и сейчас же ревущая вода обрушилась на мостик откуда-то сверху, оглушая и ослепляя.

Цепляясь изо всех сил за поручни, полузадохшийся профессор всем телом ощутил, как заскрежетал корпус корабля, как накренился «Витим» на левый борт, выпрямился, перевалился на правый и снова стал выпрямляться, в то же время вставая из поглотившей его пучины. Медленно-медленно корабль поднимался вверх и вдруг быстро взлетел из клубящегося серого хаоса к яркому безмятежному небу.

Оглушительный рев прекратился с потрясающей внезапностью. С гребня исполинской волны широко раскинулось море, и корабль плавно понесся носом вниз по спине ушедшего к берегу вала. Новые гряды волн шли навстречу с моря, но по сравнению с побежденным чудовищем они казались уже нестрашными. Капитан шумно отфыркнулся и удовлетворенно чихнул. Давыдов, мокрый до нитки, протер глаза, увидел справа быстро нырявший в волнах английский пароход и, словно что-то вспомнив, устремился к концу мостика, преодолевая стеснявшую движения липкость мокрой одежды. Оттуда хорошо были видны только что покинутые пристань и город. С ужасом смотрел ученый, как гигантский вал еще больше вырос у самого берега, как стена движущейся воды заслонила от моря и зелень садов, и белые домики города, и прямые, четкие линии пристаней...

— Вторая! Вторая! — завопил старший помощник прямо над ухом Давыдова.

Действительно, второй гигантский вал несся на судно. Его приближение не было замечено, словно громадная волна тайно подкралась, внезапно вспучившись со дна океана.

С хрипящим ревом поднимался этот закругленный сверху водяной хребет, как будто рыча от накипевшего в нем бешенства. И опять остановленное судно судорожно заметалось под тяжестью чудовищной волны, отчаянно борясь за свое существование. Вал скользнул за корму, череда его меньших спутников предстала перед «Витимом». Две-три минуты отдыха — и третья исполинская волна вздыбилась над морем. На этот раз

машины, послушные телеграфу в руке капитана, своевременно сработали назад, толчок был мягче, и корабль легче поднялся на гребень волны.

Эта борьба с таинственными волнами при странном отсутствии ветра и ясном солнечном дне продолжалась около часа. «Витим», начисто обмытый, отделавшийся небольшими повреждениями, еще долго покачивался на ровной зыби, пока капитан не убедился, что опасность миновала, и не повернул корабль обратно в порт.

Всего два часа назад Давыдов любовался красивым городком с мостика «Витима». Теперь берег был неузнаваем. Исчезли пестрые цветники, правильные аллеи. Вместо них груды поваленных балок, куски изуродованных крыш и обломки вперемешку с корявыми безлистными сучьями обозначали место, где были прибрежные дома. Густая роща у края бухты, там, где купалась веселая молодежь, превратилась в болото с редкими расщепленными пнями. Несколько больших каменных домов, стоявших вдоль пристани, угрюмо смотрели черными провалами вырванных окон. А у подножия их громоздились наваленные как попало разбитые береговые домики и лавки. Налево по асфальту улицы широкой грядой валялись самые различные вещи человеческого обихода.

Большой моторный катер, повалившийся набок, увенчивал все это скопище обломков, словно памятник победы грозного моря.

Извиваясь по слоям свеженанесенного песка, повсюду текли ручьи соленой воды, поблескивая на солнце. Жалкие фигурки людей копошились среди развалин, отыскивая погибших или спасая остатки своего имущества.

Потрясенные советские моряки молчаливо столпились на палубе и хмуро смотрели на берег, не в силах радоваться собственному спасению. Едва только «Витим» снова пришвартовался к уцелевшей бетонной пристани и капитан обратился к команде с призывом помочь жителям, как на корабле, кроме вахтенных, не осталось ни одного человека.

Давыдов вернулся на корабль вместе с командой только к ночи, угрюмо умылся, перевязал пораненную руку и долго ходил по палубе, дымя папиросой.

В назначенное время профессор направился в носовую часть судна, где должна была состояться его лекция. Не успел еще пострадавший от страшных волн остров скрыться за горизонтом, как к Давыдову явился второй механик, председатель судкома, и упросил его «рассказать ребятам, что это такое было». Никогда еще профессор не выступал в такой своеобразной обстановке. Беседу решили провести прямо на палубе. Слушатели собрались толпой, сидя, стоя и лежа у первого трюма, а Давыдов опирался на закрытую чехлом лебедку, служившую ему кафедрой. Безмятежно спокойный океан не задерживал хода стремившегося к Родине корабля.

Профессор рассказал морякам о Тихом океане — гигантском углублении на поверхности Земли, занятом величайшей водной массой планеты. Вокруг этого углубления, недалеко от материков, кольцом проходят цепи исполинских складок земной коры, медленно выпучивающихся со дна глубочайших впадин. Все цепи островов — Алеутских, Японских, Зондских — именно и представляют собою образующиеся в настоящий момент складки. Смятие складок неуклонно продолжается, каждая складка, вершина которой и есть тот или другой из перечисленных островов, поднимается все выше, иногда со скоростью до двух метров в год и в то же время все более наклоняется в сторону океана.

— Представьте себе, — продолжал профессор, — что вода океана отхлынула куда-нибудь на миг. Тогда вы увидите на месте островов гряды высоких гор, наклоненных к центру океана и грозно нависающих над впадинами, подобно застывшим волнам. Противоположный, обращенный к материку скат менее крут, но также образует довольно глубокую впадину, заполненную морем. Таково, например, Японское море. Вдоль обращенных к материку скатов располагаются цепи вулканов. Давление внутри складок настолько велико, что расплавляет породы их внутреннего ядра, прорывающиеся сквозь трещины в виде расплавленных лав. Впадины с океанской стороны проседают все глубже под давлением подножия складок, и вдоль них располагаются центры крупных землетрясений.

Одно из таких землетрясений и было причиной вчерашнего бедствия. Где-то на севере, наверное в алеутской пучине, у подножия алеутских складок, под да-

влением их просел участок дна океана, вызвав сильное землетрясение под водой. Толчок, один или несколько, вызвал образование исполинской волны, покотившейся по океану на юг за тысячи миль от места своего возникновения и через несколько часов достигнувшей Гавайских островов. В открытом океане эта волна для нашего «Витима» прошла бы незамеченной — ее поперечник настолько велик (около ста пятидесяти километров), что подъем судна на всю ее высоту никак бы не почувствовался. Другое дело — около суши. Когда эта масса воды, катящаяся по океану, встречает препятствие, она подымается, растет и обрушивается на берег с невероятной силой. Да что говорить — все вы видели, что наделала волна! Поэтому вид и характер волны определяются подводной отмелью берега.

Подобные волны вовсе не так редки на Тихом океане именно потому, что здесь идут процессы формирования современных складок в земной коре... За последние сто двадцать лет Гавайские острова подвергались нашествию волн двадцать шесть раз. Волны шли с разных сторон — и от Алеутских островов, как наша, и от Японских, и от Камчатки, от Филиппин, от Соломоновых, от Южной Америки и даже со стороны Мексики. Последняя по времени волна была в ноябре тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Средняя скорость хода волн исчисляется примерно от трехсот до пятисот узлов...

Заинтересованные моряки задали Давыдову много вопросов, и беседа затянулась бы на несколько часов, если бы смена вахт не разогнала собрание. Профессор еще долго расхаживал под навесом тента, хмурясь и кривя губы в напряженном раздумье.

Мгновенное разрушение прекрасного острова оставило глубокий след в душе ученого. И почти все вопросы, заданные ему моряками, как-то совпадали с направлением его собственных мыслей. Нужно знать не только, как идет это тихоокеанское складкообразование, но и почему развивается этот процесс. Какие причины там, в глубине Земли, вызывают эти медленные могучие движения, сжимающие огромные толщи пород в складки, выпячивающие их все выше на поверхность Земли? Какими ничтожными сведениями располагаем мы о глубинах нашей планеты, о состоянии вещества там, о физических или химических процессах, соверша-

ющихся под давлением в миллионы атмосфер, под тысячекиллометровыми толщами неизвестного состава!

Достаточно незначительных молекулярных перегруппировок, ничтожного увеличения объема этих невообразимых масс, чтобы на тонкой пленке известной нам земной коры произошли громадные сдвиги, чтобы кора, разломанная на куски, была поднята на десятки километров в высоту. Однако мы знаем, что этого не бывает, значит, вещество внутри планеты находится в спокойном уравновешенном состоянии.

Только время от времени, с промежутками в миллионы лет, какими-то полосами, поясами горные породы размягчаются, сминаются в складки, частично расплавляясь и изливаясь в вулканических извержениях. И потом все это, смятое и раздавленное, выпирает на поверхность огромным валом.

Действие воды и атмосферы расчленяет вал на системы долин и горных хребтов, образуя то, что мы называем горными странами.

Самое удивительное, что вулканические очаги и эти зоны смятия пород залегают сравнительно неглубоко — на несколько десятков километров от земной поверхности, в то время как центральные части планеты скрыты под слоем вещества в три тысячи километров толщины, по-видимому, находящегося в длительном покое.

Давыдов подошел к борту, как бы стараясь мысленно пронизать толщу воды океана и его дно, чтобы разгадать происходящее на глубине шестидесяти километров...

Твердое, остывшее вещество нашей планеты облачено в форму устойчивых, нераспадающихся химических элементов — тех девяноста двух кирпичей, из которых состоит вся вселенная. Эти элементы здесь, на Земле, устойчивы и неизменны в противоположность звездам, где идут процессы перехода элементов из неустойчивой формы в устойчивую, цепные атомные реакции с выделением колоссальных количеств энергии — тепла, света и других не менее мощных излучений. А что, если в массе остывшего вещества Земли остались еще неустойчивые элементы, огарки когда-то бывших процессов атомных превращений той эпохи, когда наша планета сама была сгустком раскаленной звездной материи? Элементы эти рассеяны и потому бездействуют до того времени, пока в бесконечных перемещениях и перегруппировках вещества не создадут-

ся достаточно крупные скопления элементов очень большого атомного веса, как уран или торий, или еще другие, пока неизвестные нам неустойчивые, легко распадающиеся элементы.

Тогда могут, как мы знаем теперь, развиваться мощные цепные реакции распада, выделяющие массу энергии и тем самым смещающие участки земной коры.

Значит, неизвестные нам силы движений земной коры являются отголоском бесконечно давно затухших атомных превращений звездного вещества. Но если это так, если горообразование на Земле обязано глубинным атомным реакциям, то у нас есть надежда в будущем овладеть этими очагами атомных реакций. Искать их возле поднимающихся складчатых гор и вулканических областей, вот как здесь, на Тихом океане... Возможно, что в моменты наибольшего развития глубинных цепных реакций на поверхности прорываются мощные излучения, по которым можно нащупать область атомного распада.

Но в таком случае в прошлые геологические эпохи эти излучения могли оказывать большое воздействие на живое население планет в местах, где происходило образование складок и гор.

Давыдов вспомнил про гигантские скопления костей вымерших ящеров, изучением которых занимался в Средней Азии, тщетно пытаясь дать удовлетворительное объяснение накоплению остатков миллионов ящеров в одних и тех же местах.

Инстинктом ученого он чувствовал важность своих догадок.

Весь уйдя в мысли, он забыл о времени и, только случайно взглянув на часы, понял, что пропустил обед, и крепко выругался.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Звездные пришельцы

Шатров остановился перед дверью со стеклянной дощечкой: «Заведующий отделом проф. И. А. Давыдов», переложил в другую руку большую коробку, хитро усмехнулся и резко постучал. Низкий и сильный голос недовольно рявкнул: «Да!» Шатров вошел в кабинет по обыкновению быстро, слегка согнувшись и блестя глазами исподлобья.

— Вот это да! — взревел, вскакивая, сидевший за рукописью хозяин кабинета. — Никак не ждал! Сколько лет, дорогой друже!

Шатров поставил коробку на стол, друзья крепко обнялись и расцеловались.

Сухой, среднего роста, Шатров казался совсем небольшим рядом с громоздкой фигурой Давыдова. Друзья во многом были противоположны. Огромного роста и атлетического сложения, Давыдов казался более медлительным и добродушным в отличие от нервного, быстрого и угрюмоватого приятеля. Лицо Давыдова, с резким, неправильным носом, с покатым лбом, под шапкой густых волос, ничем не походило на лицо Шатрова. И только глаза обоих друзей, светлые, ясные и пронизательные, были сходны в чем-то, не сразу уловимом, скорее всего — в одинаковом выражении напряженной мысли и воли, исходившем из них.

Давыдов усадил Шатрова, оба закурили и стали оживленно обмениваться накопившимися за ряд лет впечатлениями, невысказанными в письмах. Наконец Давыдов погладил пальцами за ухом, встал и извлек из кармана легкого пальто порядочных размеров сверток. Он развернул его и положил перед Шатровым.

— Слушайте-ка, Алексей Петров, извольте съесть... Не возражать! — вдруг зыкнул он на протестующий жест Шатрова, и оба рассмеялись.

— Совсем как в сороковом, — развеселился Шатров, — опять забыли съесть! Попадет?

Давыдов закатился хохотом.

— Попадет, если домой принесу. Будьте добры, уважьте, «как в сороковом».

— Сейчас мы его, — резко двинул рукой Шатров, — ок!

— Ну конечно, и «ок» этот по-прежнему! Как приятно слышать!.. Слушайте, Алексей Петрович, пойдём в музей, покажу интересные новости... Есть для вас работа...

— Нет, Илья Андреевич, у меня ведь очень важное дело. Нужно крепко потолковать с вами, нужна ваша голова. Она работает хорошо, без промаха...

— Интересно! — Давыдов провел пальцем по последней строчке рукописи и сложил исписанные листы. — Кстати, письмо ваше получил неделю назад и еще не собрался ответить. Не одобряю...

— Не одобряете моих жалоб? Минута жизни трудная, — слегка смутившись, виновато произнес Шатров. — Я позаимствовал у вас одну философскую идею, которая часто мне помогает. Но для ее применения надо иметь некоторую силу духа. А бывает, что ослабеешь...

— Какую такую идею? — недоуменно спросил Давыдов.

— Она выражается только одним магическим словом «ништо». Мне так часто не хватало вашего «ништо» в военные годы...

Давыдов без удержу хохотал и, отдышавшись, еле выговорил:

— Именно ништо. Будем работать дальше. Оно, конечно, бывает трудно. Наука наша очень хлопотна — тут и раскопки, и огромные коллекции, и сложная обработка, а работников мало, совсем мало. Приходится непродуктивно тратить время, смотреть за пустяковыми вещами... Но у вас ведь был важный разговор. А я отклонился в сторону.

— Разговор будет необыкновенный. У меня в руках — невероятное, настолько невероятное, что я никому, кроме вас, не решился бы сказать о нем.

Наступила очередь Давыдова выказать нетерпение. Шатров хитро улыбнулся, как при входе в кабинет, и, развернув свой пакет, извлек из него большую кубическую коробку из желтого картона, украшенную китайскими иероглифами и почтовыми штемпелями.

— Вы помните Тао-Ли, Илья Андреевич?

— Как же! Это молодой китайский палеонтолог, очень способный. Убит в тысяча девятьсот сороковом году фашистскими бандитами при возвращении из экспедиции. Погиб за свободный Китай!

— Совершенно верно. Я описывал некоторые его материалы, состоял с ним в переписке. Он собирался приехать к нам... Так мы и не встретились! — вздохнул Шатров. — Короче говоря, из своей последней экспедиции он прислал мне посылку с необычайно любопытной вещью. Посылка эта вот, на столе. При ней короткая записка с обещанием подробного письма, написать которое ему не удалось. Его убили в Сычуани, на пути в Чунцин.

— А где он был в экспедиции? — спросил Давыдов.

— В провинции Сикан.

— Ну и ну! Однако забрался. Погодите — это горный узел на восточном конце Гималайской дуги, между нею и Сычуаньскими горами... Да ведь знаменитый Кам, куда стремился Пржевальский, это тоже там!

Шатров одобрительно посмотрел на друга.

— Ей-ей, в географии с вами не потягаешься! Я с картой в руках насилу разобрался. Кам — это северо-западная часть Сикана, и, между прочим, Тао-Ли вел исследования именно в Каме, на востоке его, в районе Энь-Да.

— Ясно, ясно. Показывайте, что у вас за штука. Оттуда можно ждать чего угодно!

Шатров извлек из коробки нечто завернутое в несколько слоев тонкой бумаги, развернул шелестящую бумагу и, наконец, подал Давыдову обломок твердой ископаемой кости, на первый взгляд бесформенной.

Давыдов повернул раза два тяжелый светло-серый кусок и сказал:

— Кусок затылочной части черепа крупного хищного динозавра. Что же тут особенно удивительного?

Шатров молчал. Давыдов еще раз осмотрел кость и внезапно издал глухое восклицание. Положив обломок на стол, он поспешно вытащил из желтого полированного ящичка биноккулярную лупу, выдвинул плечо штатива, прикрепил тубус. Широкая спина профессора согнулась над прибором, он прильнул глазами к двойному окуляру, сунув под лупу свои большие руки с зажатой в них костью динозавра. Некоторое время в кабинете царило молчание. Шатров чиркнул спичкой. Тогда Давыдов поднял от бинокюляра расширившиеся от изумления глаза.

— Невероятно! Не могу подыскать объяснение. Череп пробит насквозь в самой толще кости. Отверстие настолько узко, что не могло быть сделано рогом или зубом какого-нибудь животного. Если бы это была болезнь — некроз, костоеда, — тогда края несли бы следы болезненных изменений. Нет, это отверстие было пробито! Пробито в живой кости! Несомненно. Обе стенки черепа. Насквозь, точно пулей. Да, если бы это не было бредом, я сказал бы, что пулей... Впрочем, нет, отверстие не круглое — это овальная узенькая щель, точно вырезанная и потом уже, в процессе окаменения кости, заполнившаяся рыхлой породой.

Давыдов резко оттолкнул штатив бинокюляра.

— Поскольку я не склонен был до сих пор к бредовым видениям и явно трезв, то могу лишь сказать — странный случай. Необъяснимый случай!

Он холодно посмотрел на Шатрова. Тот вытащил из коробки второй пакет, снова зашелестел бумагой.

— Я не могу спорить с вами, — медленно сказал Шатров, — это действительно случай, и если хорошенько посообразать, то можно найти ему даже не одно объяснение. Но второй такой же случай заставит вас отказаться от сомнений. Вот он, второй случай, — ок!

На стол перед Давыдовым легла вторая кость — плоская, с изломанными краями.

Давыдов затаился, должно быть, очень глубоко папиросой, побагровел и закашлялся.

— Обломок левой лопатки хищного динозавра,— говорил Шатров, склоняясь через плечо приятеля,— но не того животного, чей череп. Это более старый и крупный индивид...

Давыдов согласно кивнул головой, не отрывая глаз от маленького овального отверстия в костяной пластине — остатке лопатки могучего ящера.

— То же самое, то же самое! — взволнованно шептал он, водя пальцем по краю загадочного отверстия.

— Теперь записка Тао-Ли,— методически продолжал Шатров, скрывая радостное торжество.

Ему, уже пережившему потрясающее значение открытия, было легче сохранять хладнокровие.

Вместо плавной русской речи в кабинете зазвучали отрывистые английские слова. Шатров медленно прочитал короткое сообщение погибшего ученого:

— «...В сорока милях к югу от Энь-Да, в системе левых притоков Меконга, я наткнулся на обширную котловину, ныне занятую долиной речки Чжу-Чже-Чу. Это межгорная впадина, грабен, залитая покровом третичной лавы.

Там, где ущелье реки прорезает насквозь лавовый покров, видно, что он всего в тридцать футов мощности. Под ним лежат рыхлые песчаники, содержащие множество костей динозавров, среди которых я открыл образцы со странными повреждениями. Два из них я посылаю вам, пораженный своей находкой настолько, что мне необходима уверенность в том, что ошибки нет. Не все повреждения одного типа. Есть образцы, в которых часть кости как бы срезана огромным ножом, но также, несомненно, по живой кости, до гибели животного, вернее в момент ее. Я везу в Чунцин более тридцати таких образцов, собранных в разных местах долины, где обнаружено большое количество динозавров, причем их полных скелетов. Этикетки с точными данными места — при образцах.

Я настолько спешу отправить вам эту посылку, что не успел написать подробное письмо. Его я пошлю, когда вернусь в более комфортабельную обстановку в Сычуани».

Шатров замолчал.

— Все? — нетерпеливо спросил Давыдов.

— Все. Коротко настолько, насколько велико значение его находки!

— Погодите, Алексей Петрович, дайте прийти в себя! Это сон какой-то. Сядем спокойно и обсудим. А то у меня все в голове завертелось, одурел.

— Очень хорошо вас понимаю, Илья Андреевич. Надо признаться, что ученому для выводов из этого факта требуется большая смелость. Ломка всех установившихся представлений... Я не так смел в своих работах, как вы, но тут и вы спасовали...

— Хорошо, давайте рассуждать смело, благо мы наедине и никто не подумает, что два палеонтологических кита, мягко выражаясь, рехнулись. Начинаю! Итак, эти хищные динозавры были убиты каким-то могучим оружием. Его пробивная способность, видимо, превосходила мощные современные ружья. Такое оружие могло создать только мыслящее существо, вдобавок стоящее на высокой ступени культуры. Верно?

— Безусловно. Ergo — человек! — вставил Шатров.

— Так. Но эти динозавры жили в меловом периоде, скажем семьдесят миллионов лет назад. Все факты нашей науки неопровержимо, несомненно говорят, что человек появился на Земле как одно из последних звеньев великой цепи развития животного мира шестьдесят девять миллионов лет спустя, да еще много сотен тысяч лет пребывал в животном состоянии, пока его последний вид не научился мыслить и трудиться. Раньше человек возникнуть не мог, а человек, вооруженный техникой, — тем более. Это абсолютно исключено. Следовательно, вывод может быть только один: те, кто убил динозавров, не родились на Земле. Они пришли из другого мира...

— Да, из другого, — твердо сказал Шатров. — И я...

— Одну минуту. Пока еще все вразумительно. Но дальше уже становится невероятным. Последние достижения астрономии и астрофизики изменили старые представления. Много романов было написано на тему о пришельцах из других миров. Правда, еще недавние утверждения большинства ученых, что наша солнечная система планет есть исключительное явление, ныне отвергнуты. Теперь мы имеем основание предполагать, что многие звезды имеют планетные системы. И так как число звезд во вселенной бесконечно велико, то и число планетных систем чудовищно. Следовательно, считать дальше, что жизнь на нашей планете есть исключительная прерогатива Земли, не приходится. Смело можно сказать, что в пространстве вселенной есть много жизни. Можно утверждать не менее смело, что повсюду жизнь проделывает путь эволюционного развития и, следовательно, вполне возможно появление мыслящих существ. Все это так. Но в то же самое время мы знаем теперь, что расстояния до ближайших звезд с планетными системами чрезвычайно велики. Настоль-

ко, что требуются сотни и тысячи лет полета со скоростью светового луча, то есть трехсот тысяч километров в секунду. Такой скорости живое существо — хрупкая, крайне хрупкая организация материи — выдержать не может. А в нашей планетной системе, кроме нашей Земли, только Марс и Венера подают надежды. Но надежды слабые. На Венере слишком горячо, вращается она медленно, атмосфера ее густа и без свободного кислорода. Вряд ли жизнь смогла развиваться на Венере, и совершенно исключено там присутствие мыслящих существ с высокой культурой. Также и Марс. Его атмосфера слишком тонка и разрежена, тепла там мало, и если жизнь существует, то в каких-то бедных, угнетенных формах. Я не сомневаюсь, что там нет буйной энергии развития жизни, которая на нашей Земле смогла выработать человека. О далеких больших планетах я и не говорю: Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун — это страшные миры, холодные, темные, как нижние круги Дантова ада. Возьмите, например, Сатурн — в центре планеты скалистое ядро, на котором лежит огромной толщины слой льда. Радиус планеты около шестидесяти тысяч километров. И все это окутано густой атмосферой в двадцать пять тысяч километров толщины, непроницаемой для солнечных лучей и богатой ядовитыми газами — аммиаком и метаном. Значит, под такой атмосферой — вечный мрак при морозе в сто пятьдесят градусов и давлении в миллион атмосфер... Жутко представить себе...

— Я не знал кое-чего из того, что вы сказали, — перебил Шатров, — но также решил, что в нашей планетной системе нет собратьев нам по мысли. И я...

— Вот видите. На наших планетах, следовательно, нет, а с далеких звездных систем прилетать невозможно. Тогда откуда же могли взяться эти пришельцы? Вот в чем невероятность!

— Вы меня не дослушали, Илья Андреевич! Я хоть не обладаю вашей эрудицией в самых различных областях, но сообразил в общем то же самое. Звезды ведь не неподвижны. Внутри нашей галактики они перемещаются, сама галактика вращается да еще вся целиком куда-то движется, как и все великое множество других галактик. За миллионы лет могли происходить существенные сближения и расхождения звезд...

— Ну, это вряд ли нам поможет. Ведь пространство галактики настолько велико, что сближение именно нашей солнечной системы с другими имеет вероятность практически нулевую. Да и как разгадать эти звездные пути?

— И это верно, но верно лишь в том случае, если движения звезд не закономерны, не подчинены каким-то определенным путям. А если они закономерны? И если эту закономерность можно вычислить?

— Мм!.. — скептически промычал Давыдов.

— Ладно, я открываю свои карты. Один мой бывший ученик, сбежавший с третьего курса на математические науки, в астрономию, занялся вопросом движения нашей солнечной системы в пределах галактики и создал интересную, хорошо обоснованную теорию. Буду краток. Наша солнечная система описывает внутри галактики огромную эллиптическую орбиту с периодом обращения в двести двадцать миллионов лет. Эта орбита несколько наклонена относительно горизонтальной плоскости звездного «колеса» нашей галактики. Поэтому Солнце с планетами в определенный период прорезает завесу черного вещества — пылевой и обломочной застывшей материи, — стелющуюся в экваториальной плоскости «колеса» галактики. Тогда оно приближается к сгущенным звездным системам центральных областей, вроде, скажем, созвездия Стрельца. А в этом случае возможно сближение нашей солнечной системы с другими неведомыми системами, сближение настолько значительное, что перелет становится реальным.

Давыдов, не шевелясь, слушал друга, рука его застыла на штанге бинокюляра.

— Такова теория, — продолжал Шатров. — Я только что вернулся с места гибели своего бывшего ученика, где разыскал его рукопись. Он погиб в сорок третьем году... — Шатров остановился, зажег папиросу. — Так, теория показывает нам только возможность, — подчеркнул он последнее слово, — но еще не дает права считать невероятное за реальный факт. Но когда мы видим сцепление двух совершенно независимых наблюдений, это показывает, что мы на верном пути. — Шатров картинно выпрямился и задрал вверх подбородок. — В теории моего ученика прямо сказано, что приближение солнечной системы к центральным сгущениям галактики произошло примерно семьдесят миллионов лет назад!

— Ехидная сила! — употребил Давыдов свое излюбленное ругательство.

Шатров торжественно продолжал:

— Одно невероятное, сцепившись с другим, превращается в реальное событие. Я полагаю, что вправе утверждать: в меловом периоде произошло сближение нашей планетной системы с другой, населенной мыслящими существами — людьми в смысле интеллекта,

и они переправились со своей системы на нашу, как с корабля на корабль в океане. А затем в громадном протяжении протекшего времени эти корабли разошлись на невероятное расстояние. Они — те, с другой звезды — были на нашей Земле недолго и не оставили поэтому заметных следов. Но они были, и они были способны преодолевать межзвездное пространство за семьдесят миллионов лет до того, как мы также подошли к этому... Имеете возражения?

Давыдов встал, молча поглядел на друга и протянул руку:

— Вы меня убедили, Алексей Петрович. Не все еще ясно -- ну, например, зачем им было попадать сюда, именно на нашу Землю, эту маленькую козявку среди звезд и планет? Есть и еще вопросы, но основное, по-моему, достаточно убедительно. Неслыханно, невероятно, но реально. Однако как вы думаете: можно ли опубликовать?

Шатров замотал головой:

— Ни в коем случае! Поспешность убьет все. Для такого открытия она недопустима.

— Верно, верно, друже. Всегда умнее выждать, чем забегать вперед. Но выждать подготовленными ко всему! Необходимо добыть аргументы настолько веские, как наш «аргумент» в Ленинграде!

Шатров вспомнил «аргумент», который хранился в углу кабинета Давыдова во время их совместной работы.

Это была массивная железная стойка от каркаса скелета, которой Давыдов грозился вразумлять упрямого и увлекающегося друга при их постоянных спорах. Шатров невольно улыбнулся:

— Как же, помню! Вот именно. Отсюда и начинается вторая часть моего дела к вам. Я не геолог, не полевой работник — кабинетный схимник. А это предприятие под силу только вам и никому другому. Ваш авторитет...

— Ха-ха! Словом, надо раскапывать место побоища звездных пришельцев с динозаврами... Ну и ну!

Давыдов задумался, потом медленно заговорил:

— Интересное место этот Сикан. А для нас, палеонтологов, там ведь черт знает что! Вы знаете, конечно, Алексей Петрович, что там одновременно существовали в конце третичного периода древние и новые формы вымерших млекопитающих. Дикая смесь того, что в других местах Земли вымерло уже десятки миллионов лет, с тем, что недавно появилось. А само то место! — воодушевился Давыдов. — Высокие снеговые го-

ры, холодные плоскогорья, сухие и пустынные, а между ними — глубочайшие долины с роскошной тропической растительностью. Непроходимые пропасти, разобщающие селения. От одной деревеньки до другой, скажем, два километра, но между ними лежит чудовищно глубокая долина, и жители этих двух селений никогда не встречаются друг с другом, хотя и могут видеть соседей издалека. Странные, неизвестные еще науке звери живут в густых лесах, на дне долин, а наверху воют холодные бури. Там начинаются величайшие реки Индии, Китая, Сиама — Брамапутра, Янцзы, Меконг. Изумительное место! Но представляете себе этот стык Тибета, Индии, Сиама, Бирмы и Китая? Хо-хо! Разве наши «друзья» пустят туда ученых-большевиков? Где уж пытаться науке проникнуть туда, где владычествуют враждебная дипломатия, политиканские пройдохи! — Давыдов вытащил огромные старые часы. — Еще нет двух! Что значит большое переживание: кажется, будто весь день прошел! — Он встал и подал Шатрову кольцо с ключами. — Коробку спрячете в этот шкаф, слева... Что бы там ни было, но мы обязаны сделать все, что возможно. Пойдем узнаем, не примет ли нас Тушилов. Вы надолго в Москву, Алексей Петрович? До выяснения? Значит, с неделю пробудете, раньше вряд ли что-нибудь решится. Останьтесь у меня, конечно? Я сейчас позвоню секретарю и потом домой, что задержимся.

В просторной, скромно меблированной квартире Давыдова было тихо. Сквозь огромные окна проникал синеватый полусвет летних сумерек. Шатров долго ходил взад и вперед, сгорбившись и молча. Давыдов угрюмо откинулся в кресле перед своим большим письменным столом.

Друзья размышляли, каждый по-своему. Не хотелось зажигать света, как будто медленно наступавшая в комнате темнота умеряла их огорчение.

— Завтра я уеду, — наконец проговорил Шатров, — больше мне нельзя задерживаться, да и не к чему. Отказ бесповоротный. Впрочем, вряд ли могло быть иначе. Наши потомки разберут это дело, когда исчезнут проклятые эти границы и все прочее неиздохшее старье!

Давыдов, не отвечая, смотрел в окно, где над крышей соседнего дома робко загорались мелкие и тусклые звезды городского неба.

— Горько стоять, как нищему, у порога великого открытия и не иметь возможности войти! — опять заго-

ворил Шатров.— Не будет мне теперь покоя до конца дней и не утешат никакие другие достижения!

Давыдов вдруг потряс над головой сжатыми кулаками.

— Мы не можем поступиться этим! И нам помогут! Черт с ним, с Камом! В конце-то концов — какая уверенность, что там, где сохранились остатки убитых «ими» динозавров, мы найдем следы «их» самих? Никакой. Раз «они» явились к нам зачем-то, то вовсе не обязательно «им» было сидеть на одном месте. Почему бы не поискать в меловых отложениях у нас? И заранее могу сказать: если подобные остатки есть, то их можно найти только в системах высоких и молодых горных хребтов. В Каме находка не случайна. Почему? Да потому, что там, где земная кора расколота на бесчисленные небольшие участки, из которых одни поднимаются, другие опускаются, — только там разные маленькие и случайные отложения могут сохраниться от неминуемых перемываний и размываний. Если какая-нибудь маленькая впадина начала опускаться еще в мелу и потом так и осталась впадиной среди гор, там, под слоями все нарастающих наносов, может уцелеть то, что в других местах, на равнине, будет перемыто, переотложено и разрушено. У нас есть подходящие для этого места в горах Казахстана, Киргизии, Узбекистана, вообще Средней Азии. Эти горы как раз относятся к великой эпохе альпийского горообразования, начавшегося в конце мелового периода. У нас есть где искать, но надо знать, что искать, иначе...

— Ей-ей, не понимаю вас, Илья Андреевич! — перебил Шатров.— Разве не ясно, что, вернее — кого искать?

— Вот и неверно. Нам надо решить, каков облик этих пришельцев, что они такое — может быть, протоплазма какая-нибудь, не могущая сохраниться? Это раз. И что они делали здесь — два. Первое поможет понять, с какими остатками мы можем столкнуться при раскопках, второе — где легче можно натолкнуться на их остатки, если они есть вообще. По каким местам нашей планеты должны они были бродить? Ох, если вдуматься, наше предприятие пахнет безнадежностью... Но это, конечно, не значит отказаться! Так вот, разделим-те задачу, как в добрые старые времена, когда писали совместные работы. Вы берете биологическую сторону — первый вопрос. Я возьму второй и вообще всю геологию, направление и развитие поисков. Кое-какие мыслишки у меня есть — ведь я исследовал все наши

громадные среднеазиатские местонахождения динозавров.

— Вы задали мне нелегкую задачу! — воскликнул Шатров. — Мало ли какие формы жизни могли существовать в иных мирах! Тут, пожалуй, никому не под силу решить что-либо определенное, ей-ей.

— Гниль, гнусь и жалкая интеллигентщина! — внезапно разъярился Давыдов. — Конечно, задача трудна, потому что нет фактов, надо идти только умозрительно. Вся надежда на мощь ума. Проломить закрытую стену. Но если ваша голова не сообразит ничего путного, то кто же еще из нашего наличного состава одолеет это? А потом, о разных формах жизни — всяких там каменных или металлических существах — это вы оставьте писателям. Нам не к лицу. Помните об энергетике жизни — она сложилась не случайно, а вполне закономерно. Основные положения, по-моему, следующие, и из них нам и надо исходить, чтобы оставаться учеными до конца. Строение живых существ не случайно. Во-первых, единство материи вселенной доказано — всюду и везде девяносто два элемента, как и на нашей Земле. Доказана общность химических и физических законов во всех глубинах мирового пространства. А если так, то, — Давыдов грохнул кулаком по столу, — живое вещество, состоящее из наиболее сложных молекул, в основе своей должно иметь углерод — элемент, способный образовывать сложные соединения. Во-вторых, основа жизни есть использование энергии излучения Солнца, использование наиболее распространенных и эффективных химических кислородных реакций. Так?

— Все равно, — кивнул Шатров, — но пока...

— Одну минуту. Чем сложнее строение молекул, тем легче они распадаются при повышении температуры. В веществе раскаленных звезд вообще нет химических соединений. В менее сильно нагретых мирах, как, например, в спектрах холодных красных звезд, в солнечных пятнах, мы обнаруживаем лишь простейшие химические соединения. Поэтому можно утверждать, что появление жизни в любой самой необычайной ее форме может быть только при сравнительно низкой температуре. Но не очень низкой, иначе движение молекул замедлится чересчур сильно, химические реакции перестанут происходить и энергия, нужная для жизни, не будет производиться. Следовательно, заранее, без всяких особых допущений, можно говорить об узких температурных пределах существования живых организмов. Не буду утруждать вас длительными рас-

суждениями, вы и так легко поймете, когда я скажу, что эти температурные пределы определяются еще точнее: это те пределы, в которых существует жидкая вода. Вода — носитель основных растворов, посредством которых осуществляется жизнедеятельность организма.

Жизнь для своего появления и постепенно нарастающего усложнения требует длительного исторического, эволюционного развития. Следовательно, условия, необходимые для ее существования, должны быть устойчивыми, длительными во времени, в узких пределах температуры, давления, излучения и всего того, что мы понимаем под физическими условиями на поверхности Земли.

А что касается мысли, она может появиться только у весьма сложного организма, с высокой энергетикой, — организма, в известной мере независимого от окружающей среды. Значит, для появления мыслящих существ пределы уже — это как бы узкий коридор, проходящий через время и пространство.

Возьмите, например, растения с их синтезом углерода при помощи света. Это энергетика более низкого порядка, чем у животных с их кислородным горением. Поэтому растения хотя и достигают колоссальных размеров, но при условии неподвижности. Движения могучего и быстрого, как у животного, у больших растений быть не может. Не та машина, грубо говоря.

Итак, жизнь в той же общей форме и тех же условиях, как на Земле, не случайна, а закономерна. Только такая жизнь может проходить длительный путь исторического усовершенствования, эволюции. Следовательно, вопрос сводится к оценке возможных эволюционных путей от простейших существ до мыслящего животного. Все другие решения — бред, беспочвенное фантазирование невежд!

— Строго, Илья Андреевич! Я вовсе не отказываюсь думать над этим вопросом. И все, что придет в голову, буду сообщать вам...

— Илья Андреевич, вас к телефону. Уже который раз звонят, но вы отсутствовали несколько дней...

Давыдов яростно крикнул, оторвавшись от корректуры. Большая кипа гранок топорщилась на столе с приколотым сверху листом: «Проф. Давыдову, срочно! Просьба не задерживать!» Под гранками лежали две статьи, присланные на отзыв и уже задержанные профессором. За несколько дней, потраченных на попытку

добиться разрешения экспедиции в Кам, накопилось много срочной работы. Той работы, которая облепляет каждого крупного ученого и не имеет прямого отношения к его исследованиям. На квартире Давыдова лежала толстая диссертация, рецензии ожидал диссертант в срочном порядке. Через три часа должно было состояться длинное заседание. Явился препаратор с просьбой осмотреть работу и дать указания для ее продолжения. И в то же время нужно было написать несколько писем для осуществления необычайного шатровского дела.

Профессор, вернувшись к столу после разговора по телефону, схватился за корректуру. Перо чиркало сердито и резко, отрывистые ругательства сыпались на корректоров. Наконец у Давыдова строчки стали сливаться в глазах, он пропустил две поправки и понял, что нужно сделать перерыв. Давыдов потер глаза, потянулся и вдруг запел громко и неимоверно фальшиво однообразный, унылый мотив:

— «Ой ты, Волга-матушка, русская река, пожалей, кормилица, силу бурлака!»

В приоткрытую дверь стукнули. Вошел профессор Кольцов, заместитель директора института, в котором работал Давыдов. На лице Кольцова, обрамленном короткой бородкой, блуждала язвительная усмешка, а темные глаза печально смотрели из-под длинных, загнутых, как у женщины, ресниц.

— Жалобно поете, сэр! — усмехнулся Кольцов.

— Еще бы! Невпроворот работы, мелких делишек, к настоящему делу не подойти. Чем старше становишься, тем больше наматывается разной чепухи, а силы уже не те, ночами трудно сидеть. Мышиная возня! — проревел Давыдов.

— Пфф, сколько шуму! — поморщился Кольцов. — Вы тащить можете, сэр, у вас фигура могучая — статуя командора. Ха-ха-ха! Вот вам письмо от Корпаченко из Алма-Аты. Оно вас, думаю, заинтересует.

Небо над крышами посветлело, наступивший рано летний день боролся с желтым светом настольной лампы у раскрытого настежь окна. Давыдов закурил. Папироса уже потеряла всякий вкус, табак тяжело оседал на утомленное сердце. Но намеченная программа была выполнена — одиннадцать писем к геологам, работавшим в области меловых отложений Средней Азии, лежали на загроможденном бумагами и книгами столе. Оставалось запечатать конверты, и тогда письма уйдут с утренней почтой. Давыдов принялся надписывать

адреса и не заметил, как в комнату вошла жена, по-детски протирая кулачками заспанные глаза.

— Как тебе не стыдно! — негодуяюще воскликнула она. — Рассветает! А где же обещание не сидеть ночами? Ведь сам жаловался на усталость, на потерю работоспособности... Фу, как нехорошо!

— Я уже кончил, вот видишь — пять конвертов напишу, и все, — виновато оправдывался Давыдов. — И больше я не буду сидеть. Это надо было во что бы то ни стало сделать... Иди спи, маленькая, я сейчас лягу.

Давыдов написал последний конверт и погасил лампу. Бледный свет и прохладный воздух утра заполнили комнату бесстрастной ясностью.

Давыдов посмотрел на небо, потер лоб. Внезапно поставленная им задача поисков звездных пришельцев в горных котловинах Средней Азии предстала во всей своей необъятной величине.

В самом деле, если сравнительно часто находятся остатки ископаемых животных, то ведь потому, что миллиарды их жили на поверхности Земли и многие остатки неизбежно попадали в условия, способствующие их сохранению и окаменению. Но пришельцев из чужого мира не могло быть много. Даже если следы их сохранились где-то, то найти эти следы в огромных массах осадочных отложений, в тысячах кубических километров горных пород можно только при раскопках колоссального объема. Тысячи людей должны просматривать тысячи кубометров пород, сотни мощных экскаваторов — снимать верхние пласты. Химера! Ни одна страна в мире, как бы богата она ни была, не может тратить миллиарды рублей на раскопки такого масштаба. А обычные палеонтологические раскопки, даже самые крупные, с вскрытием площадок в триста — четыреста квадратных метров, — капля в море, пустяк при поставленной задаче. Вероятность, равная нулю. Истина, обнаженная и беспощадная, заставила опуститься усталую голову Давыдова. Его попытки показались ему смехотворными, планы — безнадежными.

Шатров был прав, более прав, оценивая своим ясным умом всю негодность средств, имевшихся в их распоряжении.

«Ехидная сила! — мысленно выругался Давыдов. — Не уснешь теперь вовсе: одолеют проклятые сомнения. Что бы еще сделать, отвлечься? Да, вот письмо, переданное Кольцовым, еще не просмотрел».

Профессор извлек из портфеля письмо известного геолога, работавшего в Казахской академии наук. Тот писал в институт о том, что в текущем году начинают-

ся грандиозные работы в ряде больших межгорных котловин Тянь-Шаня — народная стройка целой сети крупных каналов и гидроэлектростанций. Два из этих строителей — кстати, наиболее крупные: номер два — в низовьях реки Чу и номер пять — в области каркаринской котловины — вскроют частично верхнемеловые отложения, в которых известны большие скопления костей динозавров. Поэтому необходимо организовать постоянное наблюдение палеонтологов во время производства земляных работ. Необходимо связаться с Госпланом и после этого координировать действия непосредственно с начальниками строителей...

По мере чтения письма отступала безнадежность, заполнившая душу Давыдова. Он понял, что ему на помощь приходит редкостная удача. Интересы его науки совпали с производственными интересами страны, и теперь огромная мощь труда осуществит такие раскопки, какие даже не снились ни одному ученому! Пожалуй, есть надежда проверить невероятную находку Тао-Ли и, если опять повезет, подарить человечеству ясное доказательство того, что оно не одиноко во вселенной!

Солнце, свежее и яркое, вставало над городом, облака казались полосами лиловой пены на прозрачной золотой воде. Шум просыпающегося города несся в комнату.

Давыдов встал, жадно вдохнул несколько раз свежий воздух, задернул портьеру и стал раздеваться.

Шатров смял и бросил в корзину только что законченный рисунок черепа. Потом извлек из груды книг на столе брошюру и задумался не раскрывая книги.

Тяжелая дорога — путь новых исканий! Редкие взлеты мысли — как сказочно легкие прыжки над пропастью грубых ошибок. И все время тащишься по крутым склонам медленного восхождения под тяжким бременем фактов, задерживающих, влекущих назад, вниз... Ничего! Поставленная задача велика и важна! А те, кто был здесь семьдесят миллионов лет назад? Бесстрашная воля и ум человека не испугались даже грозных межзвездных пространств. Те, неведомые, сумели переброситься с одного звездного корабля на другой в то время, когда они на огромных скоростях расходились друг с другом. Не испугались того, что каждая секунда времени удаляла их на сотни километров от родной планеты. И, выполнив какую-то задачу, сумели вернуться — да, конечно, вернулись, ибо те великие изменения, которые человек производит в природе, не ускользнули бы от нас, изучающих теперь, семьдесят миллионов лет спустя, свою планету.

Если мы до сих пор не нашли этих изменений, то пришельцы были на Земле очень короткое время, неизвестные гости неведомого мира!

Хорошо! Он будет размышлять дальше над своей долей задачи, искать возможные облики людей иных миров. И скоро он сообщит Давыдову... Но Давыдов... Он пишет ему регулярно о чем угодно, кроме самого интересного: как идут поиски. Полтора года прошло уже с момента памятного разговора в Москве над пробитыми костями вымерших ящеров. Видимо, ничего не удалось большому другу...

В этот самый момент машина Давыдова быстро шла по пыльной, выбитой дороге. Белесая пыль бежала под дергающийся вперед и назад свет фар, облаком взвивалась позади, застилая звезды у низкого горизонта.

Вдали перед ветровым стеклом машины вставало в ночи красноватое обширное сияние. Оттуда доносился низкий гул, прорывавшийся сквозь шум мотора...

Через полчаса Давыдов в сопровождении прораба и своего сотрудника, прикомандированного к стройке, направлялся к северному концу участка, слегка оглушенный исполинским размахом работы.

Тысячесвечные фонари на высоких столбах казались окруженными легким туманом, облако более густой пыли окутывало левую сторону участка. Там скрежет, грохот и лязг мощных экскаваторов совершенно заглушала стук сотен вагонеток, с шумом опрокидывавшихся на откаточной горке.

Толща отложений была глубоко прорезана ложем будущего канала. Двадцатиметровые стены высились по сторонам; на их ровных, точно оглаженных исполинским ножом крутых скатах выступали мощные галечники, целые нагромождения валунов, сменявшиеся желтыми песками и слоистыми песчаниками с миллионами блесток слюды и гипса.

Ночь, расстилавшаяся вокруг в просторах пустынной степи, здесь не существовала, как не существовала и самая степь. Здесь был особый мир напряженного гигантского труда, по-своему изменивший лицо древней казахстанской пустыни.

Давыдов проходил мимо загорелых, покрытых потом и пылью людей, не обращавших на него никакого внимания. Отбойные молотки сотрясались в умелых руках, разрыхляя выступы твердых скал. Грузные, похожие на огромные железные скелеты машины тяжело

ворочались в пыли. Большие грузовики стадами толклись у погрузочных конвейеров, без конца ссыпавших убираемый грунт.

— Вот это раскопки, Илья Андреевич! — прокричал сотрудник Давыдова.

Профессор весело усмехнулся и хотел что-то сказать, но в этот момент застланное пылью небо осветилось широкой дугой неяркой вспышки, тяжкий гул передался по земле.

— Взрыв на выброс, — пояснил прораб. — Выкинули разом сотни три тысяч кубометров. Там, на восьмом участке, готовят канавку для экскаваторов.

Давыдов оглядел «канавку», вдоль которой шел. Она тянулась насколько хватал глаз в рядах фонарей, прямо и неуклонно пересекая степь, на севере расширяясь в котлован чуть не полкилометра в поперечнике. Там было вскрыто кладбище динозавров — колоссальное нагромождение огромных окаменелых костей. Кости тянулись грядой поперек всего котлована и, по-видимому, еще далеко за его пределами. Они беспорядочно громоздились, подобные обрубкам бревен, наваленные друг на друга слоем в восемь метров толщины, смешанные с небольшим количеством крупной гальки. Здесь не было цельных скелетов, только обломки костей разной величины и разных пород вымерших ящеров, перемешанные как попало. Экскаваторы врезались в это скопление остатков сотен тысяч чудовищ, разгребая и расчищая площадь котлована. Разбросанные и наваленные горами кости угрюмо чернели на краю выемки в тусклом свете начинающегося утра...

Высоко поднявшееся солнце жгло уже в полную силу. Горы черных костей раскалились, как в банной печи.

— Можно считать осмотр окончанным, — сказал Давыдов, непрерывно вытирая мокрое от пота лицо. — Здесь то же самое, что и на втором участке. Вторая гряда костей. Я исследовал двадцать лет назад к северу отсюда, в урочище Бозабы, на правом берегу Чу, еще большую гряду костей, в тридцать километров в длину. Подобные гигантские кладбища есть и в долине реки Или, и в Каратау, и около Ташкента. И все они такие — из беспорядочно перемешанных миллионов костей, но ни одного целого скелета или черепа. Для изучения материал почти непригоден. Это остатки размытых когда-то кладбищ динозавров, кладбищ, которые превосходят всякое воображение по своим размерам.

— У вас какие-нибудь новые соображения относительно этих «полей смерти», Илья Андреевич? — спросил помощник. — В опубликованных работах вы...

— Высказался неясно? — перебил Давыдов. — Не только неясно, но и неверно. Я тогда не представлял себе полностью масштабов явления.

— А теперь что вы думаете, Илья Андреевич?

— Не знаю, просто не знаю и не думаю! — резко сказал Давыдов. — Ну, хорошо, нужно идти. Если я через три часа уеду, то к вечеру буду на Луговой. Поезд в Москву идет в час ночи.

— А мне продолжать наблюдения?

— Разумеется. Подыщите помощников для разборки костей. В массе обломков кое-что попадается и путное. Наконец, на других участках опять могут встретиться новые скопления. Хотя, если будут продолжаться галечники и конгломераты, то все будет то же самое. Я не надеюсь уже на это строительство. Вот номер пять — там другой характер отложений: пески и гравий, песчаники почти без гальки. Отложения мелких, спокойных потоков и даже частично ветровые. Но Старожилов оттуда за полгода работ не сообщил ничего интересного. Сидит безрезультатно, захандрил, бедняга...

В большой комнате для занятия аспирантов находилось трое молодых людей. Один, взгромоздясь на стол, оживленно беседовал с девушкой, сидящей в углу, за маленьким столиком.

— Настоящий исторический момент, — говорил сидевший на столе, яростно теребя свои густые рыжеватые волосы, — определяет очень многое в будущей судьбе человечества. Атомная энергия в руках агрессоров угрожает гибелью цивилизации, всем достижениям культуры. Наци геология и палеонтология вовсе не самое важное, и это-то заставляет меня сомневаться, правильно ли я выбрал специальность. Я чувствую себя как-то в стороне от настоящей жизни. Хочется быть в рядах тех, кто создает атомную энергетику для нашей родины. Страна социализма должна иметь самую могучую и передовую физику. Верно, Женя?

— Все это верно, — отвечала ему девушка, — но если кто неспособен к математике. Я вот не люблю ее — как же я могу работать по физике?

— Не так страшно. По-моему, для некоторых разделов физики вовсе не требуется много математики... Ты

что качаешь головой? — повернулся он к другому аспиранту, молчаливо прислушивавшемуся к разговору.

— А все-таки как интересна палеонтология! — вздохнула девушка. — Конечно, физика важнее. Но мне кажется, и тут можно принести много пользы... Знание...

Дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетела худенькая, стройная девушка со свертком миллиметровки в руках.

— Ребята, приехал Илья Андреевич! Я видела его в канцелярии. Сказал — сейчас к нам зайдет. Надо приготовиться! А вы тут разговорами занимаетесь с Мишкой!

Женя оглянулась на дверь.

— Мы с Михаилом о серьезных вещах говорили.

— Знаю, о каких серьезных вещах: бросать палеонтологию, идти заниматься атомной энергией. Так тебя сразу и возьмут. Гений пропадает непризнанный! Давайте-ка спросим у Ильи Андреевича, как он к этому делу отнесется. Он, когда сердитый, говорят, мастер ругаться черными словами.

— Ты с ума сошла, Том! — заволновался Михаил. — Разве можно сказать большому ученому — мы, мол, не считаем его науку важной! Мы, его аспиранты!

— А вот возьму и спрошу! — заупрямилась Тамара. — Надо, наконец, поставить точку на всех ваших разговорах. Ты Женю ими замучил, да и мне надоел...

В дверь громко постучали. Михаил мгновенно спрыгнул со стола, Женя невольно поправила волосы. Вошел Давыдов, широко улыбаясь, бодрый и громоздкий, поздоровался, в нескольких словах рассказал о своей поездке.

— А теперь вы рассказывайте. Какие достижения и вопросы? Начнем хотя бы с вас, Тамара Николаевна! Тамара улыбнулась слегка смущенно.

— А можно вас сначала спросить по общему вопросу, Илья Андреевич? — начала она. — Вы не торопитесь?

Михаил за спиной Давыдова в комическом ужасе закатил глаза.

— Нисколько не тороплюсь, — ответил Давыдов. — И вы знаете, я люблю, когда меня спрашивают.

— Илья Андреевич, Михаил... мы все обсуждали, правильно ли сделали выбор специальности. В такое время наши ископаемые кости... Вот Михаил говорит — надо бы заниматься физикой... И мы были на докладе Петрова — не совсем понятно, но страшно интересно! — Тамара выпалила все это одним духом, запнулась, вздохнула и поспешно закончила: — Я хотела

спросить ваше мнение по этому вопросу. Что вы нам посоветуете?

Давыдов стал серьезным, нахмурился и, против ожидания Тамары, нисколько не рассердился. Он медленно вытащил портсигар.

— Окно открыто, значит можно курить. Вопрос серьезный. Я хорошо вас понимаю. Во время крупных переворотов в технике те дисциплины, которые стоят в стороне, должны казаться неважными. И вы, молодежь, естественно, колеблетесь, несмотря на уже приобретенную специальность. Я бы тоже колебался... Но вот что я вам скажу...

Давыдов зажег папиросу, задумчиво посмотрел на поднимающийся вверх дым.

— Есть люди, — медленно начал профессор, — безразличные в выборе научного пути. Случай, выгода — и они будут заниматься чем угодно. И даже с большим успехом, с хорошими результатами. Но я не считаю их настоящими учеными. Все-таки выбор науки, что там ни говори, определяется личными склонностями, способностями и вкусами. Только тогда, когда ваш ум будет требовать знания, ловить его, как задыхающийся ловит воздух, тогда вы будете подлинными творцами науки, не щадящими сил в своем движении вперед, сливающими свою личность с наукой. Я сам вначале колебался. По образованию я инженер, люблю технику, и все же основные мои склонности — исторические. Вот я и занимаюсь древнейшей историей Земли и жизни — худо ли, хорошо ли, но это заполняет всю мою жизнь целиком. Конечно, может быть, жаль, что я не физик, не творю важнейшее для настоящего момента, но тут дело в комбинации моих способностей и интересов, которые принесут наибольший эффект, если будут гармонировать с избранным путем. Больше всего бойтесь сомнения, холодности, неполющенности — а стоит ли, а зачем? Тогда грош вам цена!..

Потом, не стоит приуменьшать значение нашей науки. Ее «завтрашний день» дальше, чем у других отраслей знания, она сделается необходимой позже других, но сделается, когда мы сможем вплотную взяться за человека. Наш организм — это исторически сложившаяся сложнейшая комбинация эволюционных наслоений от рыбы до высшего млекопитающего. И понять биологию человека по-настоящему без изучения всей эволюционной лестницы нельзя. А от этого целиком зависит медицина будущего, сохранение человека как вида и еще многое другое. Сейчас эти вопросы еще далеки от нас, но приближаются с каждым днем. И мы го-

товим для них точную основу знания. Бросить наше дело нельзя еще и потому, что человеку, строящему будущее, необходим общий подъем культуры, знания и широкий кругозор. Наука имеет свои законы развития, не всегда совпадающие с практическими требованиями сегодняшнего дня. И ученый не может быть врагом современности, но и не может быть только в современности. Он должен быть впереди, иначе он будет только чиновником. Без современности — фантазер, без будущего — тупица. А ведь еще Петр Великий это хорошо понимал. Вспомните его указ о непременном сборе ископаемых костей — это в те-то тяжелые времена, в бедной и бескультурной стране!

Давыдов потушил папиросу и по рассеянности бросил ее на пол. Аспиранты этого не заметили. Женя перегнулась боком через стол, глядя на Давыдова. Тамара стояла с победно поднятой головой, а Михаил хмуро опустил глаза.

— Теперь о другой стороне вашего вопроса, — продолжал Давыдов. — Тут тоже не следует преувеличивать. Сила атомного оружия, безусловно, очень велика, но отнюдь не абсолютна. Говорить о гибели цивилизации и безразлично опускать руки нельзя — так поступают многие интеллигенты на Западе, пытаясь оправдать свое бездействие. И без того сейчас там культура сильно отстает от техники. Люди приобретают все большую власть над природой, забывая о необходимости воспитания и переделки самого человека, часто недалеко ушедшего от своих предков по уровню общественного сознания. А вы, советская молодежь, хотите быть бойцами за культуру, за будущее счастье человечества. Тогда верьте в могущество нашей страны и, не колеблясь, идите по выбранному пути! Возможно, что впереди, вряд ли очень скоро, — новая грозная война, решающая схватка старого с новым. Делая наше дело, мы будем бороться за нашу культуру. Благородная задача — отстоять ее от варварства, вооруженного последним словом техники! Потом, представляете ли вы как следует, что такое атомная энергия сейчас? Большая часть элементов из числа всех девятиста двух обладает весьма и весьма устойчивыми ядрами. Чтобы разбить их, нужно приложить энергию, большую, чем мы получим от их распада. И это не случайно. За миллиарды лет формирования вещества нашей планеты, как и других планет, в процессах изменения звездного вещества произошел как бы отбор — все неустойчивое распалось, перегорело, так сказать, перешло в устойчивые формы. Менее стойки по отношению к распа-

ду — элементы начала менделеевской таблицы, вплоть до кислорода, особенно литий, бериллий, бор, углерод. Но атомная машина, работающая на этих элементах, будет действовать только в условиях колоссальных масс вещества, чудовищных температур и давлений. В звездах именно эти элементы и составляют основу их энергетики. Мы пока еще не можем их использовать и, по-моему, не скоро сможем — нужны особые количественные условия для их цепных реакций. Сейчас мы подошли к использованию цепных реакций в элементах самого конца менделеевской таблицы, самых тяжелых по своим атомным весам. Это тоже не случайно — самые тяжелые элементы очень богаты нейтронами и легко распадаются, осуществляя цепную нейтронную реакцию — единственную, которую мы можем технически использовать в настоящий момент. И этот распад отнюдь не следует представлять как полный распад всего атома полностью. Атом тяжелого элемента как бы раскалывается на две части, каждая из которых дает устойчивые элементы середины менделеевской таблицы. При этом освобождается частично энергия, которая и есть энергия атомной бомбы. Тут еще очень далеко до полного распада и не менее далеко до цепной реакции с устойчивыми элементами.

Пока наше овладение атомной энергией сводится к овладению, еще далеко не полному, способностью самого тяжелого элемента, урана — последнего в таблице, — распадаться на два более легких элемента. Это еще не есть овладение энергией любого вещества так, как вам представляется. Уран по своему положению в таблице находится на самом пределе естественных устойчивых элементов. Вы знаете, что можно повысить атомный вес урана и получить искусственные элементы, выходящие уже за пределы таблицы, — нептуний и плутоний, девяносто третий и девяносто четвертый искусственные элементы. Уран можно превращать и дальше, создавая элементы девяносто пятый и девяносто шестой — америций и кюрий, и так далее — до того или больше номера.

Все они неустойчивы, подвергаются полураспаду. Энергия полураспада плутония и составляет взрывную силу атомных бомб, так же как и энергия неустойчивой формы урана — так называемого изотопа двести тридцать пять. Несомненно, в космических процессах превращения материи ранее существовали элементы более тяжелые, чем уран, но впоследствии они перешли в устойчивые формы основных девяноста двух. Поэтому уран мы можем рассматривать как остаток этих

сверхтяжелых элементов, уцелевший вследствие своего рассеянного состояния, вдобавок встречающийся в верхних зонах земной коры, где он устойчив в условиях сравнительно небольших температур и давлений. Уран и, вероятно, второй близкий к нему тяжелый элемент, торий, надолго останутся основой атомной энергии, ибо между использованием способности урана к полураспаду и использованием энергии вещества других элементов лежит глубокая пропасть, которую мы вряд ли скоро перейдем. Но уран и торий — крайне редкие элементы, запасы их в мире очень незначительны. Отсюда следует, что пока накопление запасов взрывчатого вещества для атомных бомб и ракет весьма ограничено...

— Вас к телефону, Илья Андреевич, — вызов с междугородной! — послышался голос из-за двери.

— Сейчас, сейчас! — Давыдов с мучительным выражением наморщил лоб. — Ну, вот то, что я хотел вам рассказать об атомной энергии... Урана немного, его запасы могут быть израсходованы очень быстро. Поэтому, глядя в будущее, мы должны изыскать крупные запасы этого драгоценного вещества. И мы... — Профессор вдруг умолк, поглаживая виски и глядя остановившимся взором поверх голов своих собеседников. — Крупные запасы урана... огарки формирования планеты, — тихо забормотал Давыдов. — Эх, черт и трижды черт! Так...

Профессор словно поперхнулся и быстро вышел из аспирантской комнаты.

— Что это случилось с Ильей Андреевичем? — воскликнула Тамара, нарушая общее недоуменное молчание. — Я могу поклясться, что он чуть было не сказал черного слова!

— Что ты выдумываешь, Тамара! — негодуя возразила Женя. — Просто его перебили с этим несчастным телефоном. И все нам испортили... Так интересно он говорил.

— Уверяю тебя, что с ним что-то произошло. Тебе из-за шкафа не было видно. Он изменился в лице, будто привидение увидел.

— Верно, верно, Том, — поддержал Михаил, — я тоже заметил. Может быть, ему пришла в голову интересная мысль?

Догадка Михаила была правильной. Давыдов шагал по коридору, и все его мысли сосредоточились вокруг внезапно возникшей догадки. Ученый перенесся на два года назад, когда под впечатлением страшной волны, разрушившей остров, он всматривался с борта парохода в глубину океана и в мозгу его формировалась еще

робкая идея о силах, вызывающих движения земной коры. С тех пор он непрерывно подбирал факты и размышлял, постепенно переходя от этих явлений современности к гораздо более крупным во времени и пространстве горообразовательным процессам прошлого. И теперь разве не сама судьба дает ему в руки доказательство правильности его предположения?

Давыдов взял трубку. Ответа не было, но он механически продолжал прижимать трубку к уху, думая о своем. Двадцать лет мучила Давыдова загадка «полей смерти» динозавров в Средней Азии. Вдоль подножия Тянь-Шаня тянутся гигантские скопления костей огромных ящеров. Миллионы особей самого различного возраста погребены в этих скоплениях. Но раньше они были еще гораздо больше, так как мы имеем дело лишь с остаточными местонахождениями, размытыми в третичное время при дальнейшем поднятии гор. Что могло вызвать такую массовую гибель именно в этом месте? Не вымирание же вдруг от каких-то неизвестных причин! Нет, массовая гибель динозавров совпала по времени с началом великой альпийской эпохи горообразования, поднявшей хребты: Тянь-Шань, Гималаи, Кавказ и Альпы. Совпала и в пространстве, территориально. Тогда, семьдесят миллионов лет назад, в конце мелового периода, эти хребты медленно вспучивались рядами параллельных складок — совсем так, как это происходит сейчас на Тихом океане. Разница была только в том, что тянь-шаньские складки мелового периода образовывались не в океане, а на суше, по окраине моря, и эта область была населена наземными животными. Кроме того, в меловую эпоху складкообразование имело гораздо больший масштаб, чем теперь. Одни и те же процессы образования гор тогда и теперь обязаны силам уранового распада в глубинах земной коры или, вернее, распада сверхтяжелых элементов вообще. Если это предположение верно, то нет ничего невероятного, что энергия цепных реакций в некоторых областях в какие-то моменты прорывалась наружу, хотя бы в виде мощного излучения. Образовался обширный район, в течение тысячелетий смертельный для живого населения, и здесь животные гибли миллионами, снова и снова передвигаясь сюда из безопасных областей.

Ничто, разумеется, не могло предупредить безмозглых ящеров о неизбежной гибели. Более мелкие остатки не сохранились в процессах перемыва, а прочные, огромные кости динозавров и сейчас удивляют



нас своими непомерными количествами. Такое совпадение не случайно!..

«А что, если не случайно и другое совпадение? Почему мы нашли следы звездных пришельцев тоже в области горных поднятий того времени?»

Мощное излучение, губительное для динозавров, разумеется, можно уловить прибором. Тогда, если «они» бродили там, где тысячелетия спустя началась массовая гибель динозавров, значит «они» искали источники атомной энергии... Может быть, для возвращения обратно, на свою планету... Но если это так, то — черт возьми! — два важнейших следствия: нам нужно искать следы звездных пришельцев, этих небесных гостей Земли, именно здесь, вдоль Тянь-Шаня и Гималаев — самых молодых горообразовательных зон Земли. Именно там, где мы их и ищем! И второе — если горообразовательные процессы и вулканизм возникают потому, что в земной коре время от времени создаются концентрации урана или других сверхтяжелых элементов, вступающих в цепную реакцию, то можно ожидать нахождения остатков этих концентраций на доступных нам глубинах земной коры в соответствующих географических районах... Вот если бы удалось найти еще раз следы небесных гостей в областях горообразования, у меня была бы уже уверенность в том, что...»

— Говорите! — неожиданно раздался в трубке голос. — Соединяю с Алма-Атой!

Давыдов вздрогнул, ход мыслей разом остановился. Алма-Ата могла сообщить важные новости со строительства каналов.

Далекий, но отчетливый голос назвал его имя. Давыдов узнал ученого секретаря Геологического института.

— Илья Андреевич, утром звонил Старожилов со строительства номер пять. Там обнаружены скелеты динозавров, не то поврежденные, не то неповрежденные, я не разобрал из-за плохой слышимости. Старожилов просил меня связаться с вами. Он считает ваш проезд необходимым. Что ему передать?

— Передайте, что вылечу с завтрашним самолетом! — быстро сказал Давыдов.

— У меня еще к вам два дела, — продолжал секретарь, — но поскольку вы будете у нас, на месте поговорим. Значит, ждем. Привет!

— Преогромное спасибо! — радостно закричал в трубку Давыдов. — Привет всем... До свиданья!

Давыдов поспешил к Кольцову, попросив завхоза заказать билет в аэропорту.

СЕРЕБРЯНАЯ ТРОПА К ВОСХОДУ

...Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне — дна...

М. В. Ломоносов

Великий наш соотечественник, творец и провидец русской науки дал, пожалуй, исчерпывающий ответ на извечный вопрос, задававшийся многими поколениями живущих на Земле людей: ограничен ли видимый мир и существует ли предел в его познании и изучении? Конечно, во многом этот ответ космически философичен, нельзя не учитывать уровня знаний того времени, но достаточно тверд и лишен сомнения.

Сегодня интерес человека, вооруженного знаниями, историческим опытом, совершенной техникой, простирается далеко за пределы ограниченного мира наших далеких предков, в иные миры, туманности, галактики. Перспектива, как и предвидел Михаил Васильевич Ломоносов, открывается поистине беспредельная.

Прочитав этот сборник, вы, думается, не могли не заметить, что многими вопросами, на которые ученые дали ответы, люди интересовались очень давно. С незапамятных времен их мысль, освященная Разумом, вознеслась к «светлому яру Вселенной». Глядя с плодородных пашен, бурных морей и горных вершин на Солнце, Луну, Марс, Венеру, Млечный путь, кометы и звезды, люди со свойственной им любознательностью пытались понять диковинное устройство такого многообразия чудес. Родившись на Земле, они, казалось, вопреки здравому смыслу в своих мыслях устремлялись в глубины прекрасного, но неизвестного голубого пространства, талантливо, с большой выдумкой изучали его. Их мысли, чувства и мечты отразились в истории, в замечательных творениях культуры, искусства и, конечно же, литературы.

В нашем «небесном» сборнике много рассказывается о Луне, Марсе, кометах. Да это и понятно. Особенно ярким и впечатляющим небосвод открывался людскому взору ночью. Выходила большая и холодная Луна, тускловато и заманчиво краснел Марс, чертили яркими всплшками хвостатые кометы. Вершились и другие таинства. Ну, например, сверкало и несло тепло Солнце, простирался Млечный путь, но все это каза-

лось привычным, менее загадочным. И потом не будем забывать, что в светлое время человек трудился, а труд в те далекие времена был тяжелым. Отдохновение наступало под вечер, у костра, где человек предавался не только трапезе и отдыху, но и размышлениям о своем бытии и мире вокруг.

Тогда-то и привлекли внимание чудесные превращения лунного диска. Он сверкал подобно яркому волшебному шару и через некоторое время превращался в узкий серп, а затем вновь возрождался и наполнял черное небо голубым сиянием. Прошли тысячелетия, прежде чем стала понятной закономерность новолуний и от краткой меры времени — дня — был сделан шаг к более продолжительной — месяцу. Поняв периодичность смены лунных фаз, люди получили возможность измерить ход самого времени, считавшегося неуловимым и непостижимым, но дарившего жизнь, любовь, детей всему живущему на Земле. Возникшая догадка о начале и конце жизни, ее продолжении в другой, о бренности и вечности существования подтверждалась природой. Именно Луна и приучила людей знать и понимать, ценить время. И вовсе не случайно планета называется на одном из древнейших языков санскрите «мас», что означает — измеритель, а классическое латинское «мензис» — месяц — тесно связано с «мензура» — мера.

В этом и состоял секрет изначального поклонения людей красавице Луне, а не Солнцу или другой планете, либо звезде. На основе лунной меры времени появился лунный год у народов Латинской Америки. Лунным календарем пользовались народы Древней Месопотамии и Средиземноморья, Арабского Востока и Индии. Многие народные обычаи и нравы были связаны с движением Луны по небосводу. Луна стала символом вселенского круговорота. В Африке при появлении нового месяца матери показывали младенцев возрожденной Луне. Такой же обычай был у древних греков, персов, армян. В новолуние древние германцы и славяне сеяли и справляли свадьбы, покупали землю, закладывали новый дом. Во Франции даже существовал закон, по которому лес разрешалось рубить только после полнолуния, когда он наиболее сухой. Считалось, что такой лес не гниет. Под Луной устраивались пышные ритуальные праздники с плясками, пением и поклонениями. К ней проявляли знаки особого уважения. «У нас над двором краюха висит», — говорили на Руси, сравнивая Луну с хлебом. Серебряная планета волей людей превратилась в богиню Селену.

Но когда Галилей направил на Луну свой телескоп, то вместо замысловатых пятен обнаружил горные хребты, цепи и кратеры. Потом Ньютон создал теорию движения Луны. Затем на планету упал наш звездный вымпел и, наконец, человек — американский космонавт Нейл Армстронг совершил первую прогулку по лунной пыли. События разделяли многие столетия, но первой на этом трудном пути заискрилась дерзкая мечта.

История свидетельствует, что герой поэмы Гомера «Одиссея» во время своих скитаний попадает на Луну. Пожалуй, это первое в мировой литературе описание межпланетного путешествия. Серебряную тропу начали торить воображением. На Луну отправлялись с ураганом и испаряющейся на солнце росой, в упряжке из птиц и на воздушном шаре, в снаряде из пушки и с привязанными за спиной крыльями.

Классическим примером устремленного в полет к другим мирам человека стала древняя легенда о Дедале и Икаре, крылья которых, как известно, растаяли под горячими лучами солнца. Однако Луна находилась значительно ближе. Порой казалась рядом и поэтому привлекала сильнее.

В произведении древнегреческого сатирика Лукиана, жившего во II веке до нашей эры, «Икароменипп, или Заоблачный полет», есть замечательное продолжение этой легенды. Менипп не просто подражает Икару, но и рассказывает, каким образом ему удалось подняться в воздух:

«Я старательно отрезал у орла правое крыло, а у коршуна левое и привязал их крепкими ремнями к плечам. Приладив к концам крыльев две петли для рук, я стал испытывать свою силу: сначала просто подпрыгивал, помогая себе руками, затем, подобно гусям, летел над самой землей, слегка касаясь ее ногами во время полета. Однако заметив, что дело идет на лад, я решился на более смелый шаг: взойдя на Акрополь, я бросился с утеса и... долетел до самого театра».

Немало «икаров» жило и на просторах России. Одним из первых русских людей, у кого возникла мысль совершить полет «в эфире», стал «...рождением малороссийский... местечка Золотоноши» инок Софийского монастыря, а затем иеромонах-ослушник Федор Мелес. Решив воплотить в жизнь заветную мечту о полете, как полной свободе, он бежал из ссылки в 1762 году. Спрятавшись на одном из островов сибирской реки Тобола, из таловых прутьев «делал себе для летания из унесенных мешков крылья».

Испытать их не удалось. Мастер обморозил руки и пришел с покаянием к губернатору.

Федора Мелеса пытали и выспрашивали. Он чистосердечно признался, что при попутном ветре надеялся на крыльях навестить не только родимые места, но и «царствующий город Москву и прочие великорусские города». На вопрос, где бы он ночевал, пил и ел во время полетов и кто научил его такому способу летания, Федор Мелес отвечал:

«Сделанный им к летанию способ кому будет он показывать, и за то видящие имеют его Мелеса охотно принимать и как ночлегом, так и пищею во всем не оставляя. Ко оному летанию такую практику знающих и летающих других никого нигде не видел и не знает и ни от ко-

го не слышал, а оный к летанию способ употребить вознамерился он Мелес со своего рассуждения по науке философической».

За попытку взлететь русского Икара тяжко наказали: «...в пяток всякия недели по сорок ударов плетьюми или лозами отсчитывать ему вместо поклонений земных, которых он нести не охотник».

Как видим, это уже не легенда. Примечательно, что именно служитель культа замыслил взлететь в небо, почитавшегося священным, как и всё на нем. Мысли народной становилось тесно, воображение и мастерство взывало к действию Разума и мощной фантазии. Однако небесные явления еще продолжали вызывать у суеверных тревоги и опасения за судьбу человечества, как, например, о том свидетельствовал массовый страх столкновения Земли с кометой Галлея. И это хорошо прослеживается в событиях рассказа В. Одоевского «Два дни в жизни земного шара». Но неумемное стремление лететь вослед мысли оказалось сильнее. Желание опережать события стремительно нарастало. И вот мы уже видим смелого Нарсима – героя романа В. Левшина «Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве» на самой Луне – у светлого яра Вселенной, мимо которого течет бесконечная река звезд Млечного пути и стремительно проносятся планеты, болиды, кометы, астероиды.

Вас, наверное, привлекли оригинальность замысла и самобытность суждений героя, но существу мечтающего о мирном освоении космического пространства. Помните: «С каким бы вождедением увидели мы отходящий от нас воздушный флот! Сей флот не был бы водимый златолюбцем: только отличные умы возлетели б на нем для просвещения. Берега новые сей Индии не обагрились б кровью от исходящих на оныя громоносных бурей: се было бы воинство, вооруженное едиными оптическими орудиями, перьями и бумагою».

Современно звучит, не правда ли? А ведь В. Левшин создал роман в конце XVIII века и опубликовал на страницах журнала «Собеседник любителей российского слова» в четырех номерах – с тринадцатого по шестнадцатый в 1784 году. Естественно, о научной фантастике тогда не имели никакого представления и поэтому достаточно скептически относились к подобным романам-утопиям, несмотря на их исполнение даже в духе древней литературной традиции. В данном случае – традиции «воздушных путешествий». Возможно, этим и объясняется, что читатели проявили скромный интерес к произведению. И лишь немногие обратили внимание на целенаправленную эрудицию, общественный интерес автора, заглянувшего далеко вперед.

Роман-утопия В. Левшина, как мы знаем, повествует о полете в космос. Мудрец Нарсим прибыл на Луну и столкнулся там с населяющими планету лунатистами. Они внешне похожи на землян, говорили на одном из восточных диалектов, преуспевали и жили дружно. Государство лунатистов устроено по принципу патриархальной общины, которой управляли старейшины. Но, заметьте, что, описывая спокойную и

благополучную жизнь лунатистов и гармоничные их взаимоотношения друг с другом, автор намеренно сравнивает их обычаи и нравы с земными. Нередко в этих сравнениях земляне выглядят не лучшим образом.

Взор автора устремляется и в прошлое человечества. О нем рассказывает молодой лунатист Квалбоко, который, в свою очередь, был на Земле и путешествовал по ней.

Оба героя высказывают близкие по смыслу суждения о необходимости совершенствования государственного устройства, пользе просвещения монархов в целях большей заботы о благе подданных, привлекательности демократических порядков страны лунатистов, управляемой без царя.

Вспомним, что в годы «просвещенного абсолютизма» Екатерины II говорить о подобных вещах было далеко небезопасно. Тем более писать, да еще печатать в журнале, редактируемом самой императрицей и ее помощницей Екатериной Дашковой — одной из образованнейших женщин того времени, будущим президентом Российской Академии наук. Есть предположение, что публикация романа была прервана из-за боязни вызвать неудовольствие императрицы и, возможно, по цензурным соображениям.

И все же наиболее интересным для нас представляется полет «космонавта» Нарсима на Луну на фантастическом аппарате с машущими крыльями, продолжающий традицию русских икаров, только более приближенную к точному научному знанию. Конечно, до полного совпадения с ним еще очень далеко, но принципиальная дорога была верна. И вновь она сопровождалась мечтой: «В одну прекрасную ночь, — пишет В. Левшин, — сидев под окном углублен в сии мысли, взирал он с жадностью на освещенное полным блеском Луны небо. Какое множество видит он звезд! Умоначертания его пробегают по неизмеримому пространству и теряются в бесчисленном собрании миров».

Далеко не праздны размышления Нарсима. Они — о бесконечности Вселенной, о том, что в ней «есть несчетно земель, населенных тварями, противу коих вы можете почестся кротами и мошками», о мирных встречах с инопланетянами и даже об ответственности миссии первого космопроходца.

А разве не привлекает конструкция «космического аппарата» Нарсима: «Во сне обращает он взоры свои на стену, где висело у него несколько орлиных крыл. Берет из них самые большие и надежные: укрепляет края оных самым тем местом, где они отрезаны, к ящику, сделанному из легчайших буковых дощечек, посредством стальных петель с пробоями, имеющими при себе малые пружины, кои бы нагнетали крылья книзу. С каждой стороны ящика расположил он по два крыла, привязав к ним проволоку и приведши оную к рукояти. Сие средство почитал он удобным к его измерению: что и в самом деле оказа-

лось, ибо, вынеся сию машину на открытое место и сев в неё, когда двух сторон крылья опустил с ящиком горизонтально, а двумя других начал махать, поднялся он вдруг на воздух».

Разве не похожий способ полета на Луну описывает Лукиан? Очень сродни аппарат Нарсима и устройству, прикрепленному к стае диких лебедей, доставившего на Луну и героя фантастического романа английского писателя XVII века Фрэнсиса Годвина «Человек на Луне, или необыкновенное путешествие, совершенное Домиником Гонсалесом, испанским искателем приключений, или Воздушный посол».

«Путешествие в космическое пространство» Н. Морозова совершалось на ином качественном уровне. Это тесное переплетение фантазии с попытками конкретного изучения неведомого прогнозирования. Как известно, герои летят на корабле в «бездонную эфирную глубину небесного океана», «падают» на Луну у горы Коперника, обнаруживают «низко лежащую» атмосферу, животных и даже «продукт водного разложения» — глину и песок, наконец, любят даже цирком Платона. Но одновременно с наивными представлениями герои высказывают гипотезу о происхождении лунных кратеров, возникших, по их мнению, от ударов метеоритов... И немалую роль при этом наверняка сыграли «лунные сны» наподобие того, который видят герои повестей К. Циолковского «На Луне» и «Грезы о земле и небе». Они — своеобразные модели планеты, вполне реальная программа для космонавтов после прилунения. Между прочим, автор, считая вопрос о путешествии по Луне делом ближайшего будущего, предлагал построить и запустить «для удобства» искусственный спутник Земли «вроде Луны».

«Грезы» К. Циолковского простирались неизмеримо далеко. Луна светила лишь ярким надежным лучиком в открывающихся лабиринтах межзвездного пространства. Вот как писал о своих «грезах» сам «калужский мечтатель»:

«Несомненно, что Вселенная состоит из многих сотен миллионов солнц и многих миллиардов планет. Одно и то же вещество наполняет мир, один и тот же свет его освещает. Одинаково происхождение и образование светил и систем. Одни и те же периоды и фазы переживают миры. Вероятно, материя и миры эти по числу своему беспредельны, как беспредельно пространство и время, не имея ни начала, ни конца. Почему бы и живым существам, т. е. разумному началу, не быть везде, где есть вещество и где оно освещается видимым или невидимым светом!..

Мир существует бесконечное время, и что он выработал в беспредельные дециллионы лет, то не может представить себе никакое воображение. Сколько не представляйте себе чудес, не перещеголяете, мир — давно признанная истина... Разве абсолютно нельзя надеяться, что скорость тел на земном шаре не будет со временем увеличена в десять раз? Но ведь тогда для нас откроется вся солнечная система. Она

доступна будет для людей, как теперь Америка или Австралия. Уже и теперь на Земле тесно. Тогда же уничтожится теснота, потому что откроется беспредельное пространство. Тогда доступна будет энергия солнечных лучей в два миллиарда раз большая, чем какая приходится теперь на Землю».

Поистине фантастические дали открывались основоположнику современной космонавтики. Заметим, что идеи К. Э. Циолковского шли много дальше В. Левшина, тесно переплетались с прошлым и настоящим, будущим общественной, социально-исторической мысли в России, сердцевинной которой всегда была заветная народная мечта о свободной, трудолюбивой и счастливой жизни. В тщетных поисках «земли праведной» — сказочного Беловодья — простые люди устремляли свои надежды к божественному небу. Однако прогрессивные умы России были полны страстного желания объяснить, подчас не без наивности, но искренне, что это небо — Вселенную и Землю, как ее составную часть, человек может и должен еще освоить, чтобы стать счастливым. И, возможно, в тесном содружестве с «братьями по разуму» с других планет.

Примечательно, что почти одновременно с К. Э. Циолковским над темой своеобразного «космического братства», продолжая традиции русской литературы, работал его современник Валерий Яковлевич Брюсов. Почти четыре года он трудился над сравнительно небольшим произведением — романом «Гора Звезды». Можно, конечно, не согласиться с автором в определении жанра произведения. По современным понятиям это больше приключенческая повесть. Но автор, видимо, случайно назвал это романом. И, вероятно, потому, что он оказался единственным научно-фантастическим произведением в творческом наследии талантливого русского поэта, писателя, переводчика, ученого-литературоведа. Исследователи отмечают, что в романе «сошлись многие темы будущего «большого Брюсова». Ведь он создавался в студенческие годы, то есть когда не только романтически мечталось, но и обдумывалось будущее житье. В Брюсову оно представлялось житьем в большой литературе. И если мы внимательно взглядемся в его творчество, в сборники стихов «Шедевры», «Это — я», в прекрасные приключенческие романы «Огненный ангел» и «Алтарь победы» и другие многочисленные произведения мастера, то найдем в них следы фантастической «Горы Звезды». «Раб и царица», проблески «семи земных соблазнов», мотив «хранителя тайны-жреца» и, конечно же, межпланетная экспедиция — все эти темы не просто обозначаются в романе, но и получают весьма острое социальное и психологическое развитие. Гибель «горы» и ее хозяев — латеев, любви героя и царицы Сеаты, непонимание между землянами и марсианами, возвращенное на неравноправии и рабстве, вполне закономерны. Иного просто и не могло случиться. Так намечал свою программу творчества молодой Валерий Брюсов. Это помогло ему впоследствии творчески, с энтузиазмом отнестись

к преобразованиям в России, начавшимся после Великого Октября. Не исключено, что, как и многие другие писатели, В. Брюсов считал шквал революции похожим на шторм неба, началом исполнения заветной мечты народа по коренному переустройству мира. Его интерес к космическому не ослабевал. В 1920 году В. Брюсов начал писать рассказ «Экспедиция на Марс», то есть на родину латеев. Однако теперь чисто романтическая фантастика уступает место строгому научному знанию. Из написанного В. Брюсовым «Предисловия редакторов» к рассказу небезынтересны такие строки: «Известно, что принципиальная проблема межпланетных сообщений была разрешена еще в начале XX века, причем первые межпланетные корабли, сконструированные в то время, получили название «ракетных» по характеру тех двигателей, которыми они были снабжены. Однако на твердую почву конструкция подобных кораблей стала лишь с того времени, когда удалось найти практическое применение внутриатомной энергии и использовать ее в качестве моторной силы».

Стало быть, В. Брюсов не только интересовался работами К. Э. Циолковского, он знал о них еще будучи студентом, но и размышлял об их практическом применении. Возможно, при этом он брал свой потрепанный дневник времени написания «Горы Звезды», на одной из страниц которого тогда молодой поэт нарисовал конус фантастической горы, вычислил ее объем, высоту ярусов, размеры залов, а затем вычислил расстояние до Марса, скорость ракеты, сроки полета. Сравнивая полет своего воображения с реальностью открывающихся возможностей, писатель вновь задумывался о будущем и его уже не фантастическом приближении. Может, именно поэтому В. Брюсов и стал пионером нашей научной поэзии. Божественные заклинания, философски-романтические идиллии о небе и звездах, наивные грезы отступали перед научным прозрением, осмыслением социальной сущности происходящего.

Довольно успешные попытки такого осмысления можно проследить в первом научно-фантастическом романе в полном смысле этого слова -- «Красная звезда». Его автор -- А. Богданов -- не только ученый и исследователь, но и активный участник революционного движения в России, член РСДРП, боевой соратник В. И. Ленина. И это обстоятельство существенным образом отразилось, как вы, наверное заметили, на замысле и художественных особенностях произведения. Не пренебрегая романтическими наивностями, автор намеренно противопоставляет им точные научные знания, основанные на данных астрономии, теории и техники воздухоплавания. Отправившиеся с Земли на далекую звезду красноватого цвета -- Марс астронавты пролетают теперь уже «мертвую Луну», как установлено, ближайшую к нам «теллурическую планету». У них в руках географическая карта лунной поверхности, отдельные детали которой уточняются. Одновременно члены экипажа

изучают даже гораздо мелкие планеты, такие, например, как Эрот, фотографируют «рой метеоритов», пишут «историю Марса», сравнивая ее с историей происхождения Земли, Венеры и других планет.

Долгий путь по «океану Неосязаемого» приводит к тому, что «новый мир стал близок и, казалось, вполне понятен», хотя «холод эфирных пустынь» таит в себе немало загадочного и далеко не все опыты на борту корабля-этеронефа оказываются удачными, даже трагичными — погибает астронавт Летти, спасая товарищей. Но именно благодаря полученным знаниям и приобретенному опыту герой романа Ленни становится «полезным работником марсианского общества».

Роман не лишен и социально-политической остроты, ибо «марсианское общество», созданное автором, отражало суть воззрений А. Богданова (и его товарищей по партии) об обществе будущего и путях его построения. Роман горячо обсуждался в партийных кругах, среди прогрессивной научной интеллигенции. Его с интересом прочитал В. И. Ленин и высказал автору свое одобрение. В разговоре с ним В. И. Ленин предложил писателю подумать над романом для рабочих, для романтиков будущего мира, предки которых веками жили и еще живут в страхе перед богом и его так называемыми заместниками на Земле. Все они увидели в фантастическом романе А. Богданова «первую ласточку» нового революционного подъема в стране.

А разве не оптимистичным выглядит повествование о прилете марсиан на Землю в связи с восстанием, подготовляемым русскими революционерами. Автор исходит из того, что на Земле уже царствует свобода и справедливость. Мало того, А. Богданов впервые в литературе воспользовался космическим перелетом для распространения и претворения идей социалистического обновления мира. Есть в романе и привлекательные технические идеи. Например, о возможности синтеза белка и создания синтетических материалов, о прочном соединении между собой химически активных веществ, об использовании энергии атома в двигателях космических кораблей. Словом, талантливо соединив оригинальную техническую утопию с научными представлениями о социальном переустройстве общества революционным путем, о коммунизме, А. Богданов создал по-своему замечательное и, главное, очень полезное художественное произведение.

Вскоре после победы Великой Октябрьской социалистической революции один из критиков так оценивал «Красную звезду»:

«А. Богданов сумел свою утопию написать так, что она представила будущую жизнь человечества с точки зрения научного социализма и показала грядущий общественный строй сообразно тому, что намечается уже в настоящее время». Так «серебряная тропа» привела писателя к еще более невиданному и одновременно сложному взлету воображения, проникшего столь невероятным образом к тайникам

людиских помыслов, и вызвала восход-начало исполнения заветных желаний.

В романе А. Богданова решение научных проблем ставится в зависимость от характера человеческих отношений, в том числе и межпланетных. Не случайно именно поэтому «Красная звезда» стала основой для всей советской научной фантастики. Социальная направленность была первейшим условием рассказа о необыкновенных выдумках и открытиях.

В отличие от Нарсима из романа В. Левшина героини романа А. Беляева «Звезда КЭЦ» отправляются на Луну в «настоящем» корабле — ракетном, космическом. Но, заметим, при этом они размышляют об изучении не только «ночной красавицы» Луны. Это как бы пройденный этап. Ведь уже создана руками умельцев и сверкает новая звезда — КЭЦ. Что же она собой представляет?

Вернувшиеся с неба «межпланетные путешественники», приняв сердечно пожелания землян: «Будьте здоровы!» — после посадки отвечают просто и буднично:

«— Искусственный спутник Земли. Надземная станция-лаборатория и ракетодом для ракет дальнего межпланетного сообщения».

А с этой земной звездочки-спутника уже и рукой подать до светлого яра Вселенной, а с него — старт в необъятное. Как не засомневаться тут в вечности известного афоризма! И не в этом ли суть покорения пространства и времени нашими будущими потомками? Лунный и такой земной роман А. Беляева заканчивается очень символично:

«...мой сын поет «Марш Звезды КЭЦ». Сколько раз я рассказывал ему о своем путешествии! Теперь он только и мечтает о том, как полетит на Звезду, когда вырастет большой. И он, наверное, будет жителем звезд».

А. Беляев пишет о счастливом космосе. Его герои — убежденные романтики. Однако овладеть современной техникой, поставить науку на службу злу могут другие люди, тоже живущие в этом мире и тоже весьма своеобразные романтики, но «золотого тельца», наживы и чистогана. Об этом предупреждает, точнее напоминает нам А. Н. Толстой в рассказе «Союз пяти», стремясь не допустить темного пятна на прекрасном лице земной спутницы.

Автор беспокоится за судьбу научных открытий, которыми могут воспользоваться бесчестные люди в целях личного обогащения за счет других. Конечно, как мы знаем, долбить снарядами с нитронафталином и затем расколоть Луну, чтобы она «шлепнулась на Землю», вряд ли возможно. Однако «мечтатели» посеять страх, создать хаос «падением Луны» и под прикрытием случившегося ограбить целый мир находились уже и тогда. Они были не только противниками революционных преобразований в нашей стране, но и врагами своих предков, отцов, матерей и детей, самих себя и своего же будущего. Правда, поче-

му-то представляли себе, что порожденная злым гением катастрофа минует их самих. А наиболее «дальновидные» из сторонников устройства всего мира по системе Тейлора спустя некоторое время предложили даже начать продажу участков на Луне, так сказать, для самостоятельных изысканий, пока, наконец, наука не поставила под сомнение целесообразность подобных коммерческих космических операций. Маньяки хаоса, как мы знаем, на этом не успокоились и сегодня мечтают задействовать и Луну для «звездных войн». Поэтому предупреждения Алексея Толстого и сегодня звучат остро и современно.

Пульс науки все отчетливее ощущался в нашей литературе и в полную силу дал о себе знать в творчестве замечательного советского писателя Ивана Антоновича Ефремова. Повесть «Звездные корабли» открыла первую страницу в истории советской космической фантастики в ее современном виде. Наивно-романтические представления о звездах и планетах, далеких галактиках, обожествление загадочных небесных явлений навсегда ушли в прошлое. Их сменила еще более привлекательная романтика научного поиска и открытий. Поистине захватывающе выглядит теория движения солнечной системы в пространстве и сама мысль о гигантских «звездных кораблях», бороздящих просторы Вселенной. И, конечно же, нельзя не затаить дыхания перед «фактическим» доказательством пребывания на Земле в очень далекие времена «небесного зверя или человека». Повесть И. Ефремова дает нам такую редкую возможность. И дело не только в гипнотическом очаровании вполне реальной догадки: «Они были!..» — а в том духе, прекрасном взлете воображения, которые догадка будит во всех нас.

Казалось, еще совсем недавно маленький человек с мольбой обращался к всевышнему за помощью, робко, с надеждой взирал на Луну и звезды, потом осторожно ступал из тьмы в мечтах по серебряной тропе к восходу Солнца и знаний. Он набирался опыта, обогащался трудом, крепнул мыслью. Но в нем рос дух вдохновенного первопроходца. Выйдя по заветной тропе к светлому яру Вселенной, человек как бы краешком глаза заглянул в бездну звезд и убедился, что путь к неизведанному вечен, а познание безгранично.

Именно об этом нам и хотелось рассказать в этой книге.

Д. Зиберов

КОММЕНТАРИИ

Василий Алексеевич Левшин

(1746—1826)

Известный русский писатель, переводчик, ученый.

Первая книга Левшина — «Загадки, служащие для невинного разделения праздного времени» -- вышла в 1773 году. Всего им написано около 90 сочинений — романы, сказки, драмы, комедии, басни, руководства по сельскому хозяйству, лечебники, книги по домоводству, охоте. Наибольшей популярностью пользовались такие его работы, как сборник «Русские сказки» с былинными героями Алешей Поповичем, Тугарином Змеевичем, Добрыней и перевод огромного немецкого труда «Хозяин и хозяйка» в двенадцати томах.

Основное художественное произведение Василия Левшина — «Утренники влюбленного» (1779), посвященное его будущей жене и затем матери его шестнадцати детей — Федосье Степановне Казяевой.

«Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве» было впервые напечатано в «Собеседнике любителей русского слова» в 1784 году, чч. 13—16. По этому изданию публикуется отрывок из первой половины утопии («Собеседник любителей русского слова», ч. 13, с. 138—166; ч. 14, с. 5—14) и небольшой фрагмент из ее заключительной части (ч. 16, с. 38—45; 49—53).

Произведение Василия Левшина продолжает древнюю литературную традицию «воздушных инопланетных путешествий», навеянных в основном мифологическими представлениями человека античного мира. Сюжеты этих мифов были трагическими, например, у греческого драматурга Еврипида, жившего в V веке до н. э., комическими, пародийными, как, например, у его знаменитого современника — комедиографа Аристофана. Греческий сатирик Лукиан, живший во II в. до н. э., тоже отправил своих героев на Луну.

Ближе к Левшину по времени написания «Человек на Луне, или рассказ о путешествии туда, совершенном Доменико Гонзалесом» (1638), автором которого был шотландский епископ Френсис Годвин, и «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1657) Сирано де Бержерака.

Читателям Древней Руси были хорошо знакомы фольклорные и литературные произведения об Александре Македонском. В одной из легенд Александр поднимался на небо на могучих грифонах. Эта легенда послужила даже сюжетом для каменного рельефного изображения на стене южного фасада Дмитриевского собора во Владимире (XII в.).

Стр. 5. ...сочиненное в городе Белеве. — В селе Темрянь, неподалеку от этого города, находилось имение В. А. Левшина.

Стр. 6. ...поднялся он вдруг на воздух.—«Аппарат», придуманный Нарсимом, развивает «техническую» идею, предложенную еще легендарным Дедалом. Подобное устройство описывал и Лукиан.

Стр. 7. ...совершил уже около половины пути своего.—На самом деле объем Луны составляет приблизительно 1/49 земного, среднее расстояние до нее 384—395 километров. Соображения же Нарсима по поводу углового или видимого размера Луны в связи с определением части совершенного им пути неверны: при увеличении видимых размеров Луны в 21 раз путник должен был бы приблизиться к ней не на половину, а почти вплотную.

Стр. 8. ...весьма сходного с тем опыта.—Далее следует изложение опыта, отражающего только взаимодействие легких предметов с поверхностью несмачивающей жидкости. Никакого отношения к взаимодействию масс предметов и количества вещества, находящегося между ними, он не имеет. Разумеется, неверна и аналогия, проводимая Нарсимом между поведением предметов в жидкости и гипотетическим поведением космических тел в эфире.

Стр. 20. ...некоторая великая жена поубавила их гордости...—Речь идет об императрице Екатерине II и о русско-турецкой войне 1768—1774 гг.

Стр. 22. Минерва (римск.)—богиня мудрости. Церера (римск.)—богиня жатвы.

Повесть публикуется по: Взгляд сквозь столетия.—М.: Молодая гвардия, 1977.

Владимир Федорович Одоевский

(1803 или 1804? — 1869)

Русский писатель, журналист, философ, музыковед, педагог, общественный деятель.

Пользовался большим влиянием и авторитетом в русских литературных кругах. В 1824—1825 гг. совместно с В. Кюхельбекером В. Одоевский издавал альманах «Мнемозина». Активно сотрудничал в пушкинском «Современнике», в альманахе А. Дельвига «Северные цветы» и других изданиях, где публиковал свои статьи на разнообразные темы, дидактические и романтические повести, сказки.

Одним из самых значительных сочинений В. Одоевского является роман «Русские ночи» — замечательный образец сочетания реальности и фантастики, мечты того времени. Роман был полностью опубликован в 1844 г.

В сороковые годы вместе с А. П. Заболоцким-Десятовским В. Одоевский издавал журнал «Сельское чтение», названный В. Белинским «образом народного чтения». Затем служил помощником директора Публичной библиотеки и директором Румянцевского музея.

В 1867 г. В. Одоевский написал в ответ на статью И. С. Тургенева «Довольно» свой исполненный социального и научного оптимизма очерк «Не довольно», в котором пытался опровергнуть пессимистические выводы представителя новой культурной эпохи. Он словно выполнял при этом завет декабриста В. Кюхельбекера, писавшего ему из ссылки в 1845 году:

«Ты, наш; тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего време-

ни; нашего бескорыстного стремления к художественной красоте и к истине безусловной».

Рассказ «Два дни в жизни земного шара» был впервые опубликован в журнале «Московский вестник» в 1828 году (ч. IX, № 14, с. 120—128) за подписью «Каллидор» и с датой написания «1825 год».

Поводом к написанию рассказа послужили толки о комете, которая должна была появиться в 1832 году и, по сообщениям некоторых европейских журналов (преимущественно немецких), «сделать удар в нашу бедную Землю». Русские периодические издания ответили на этот слух рядом заметок, целью которых было опровержение «ложной астрологии немцев».

Комета Галлея, или, как ее еще называли, комета Беллы (Вьеллы), сразу же становится популярной темой в русской литературе: ей посвящаются специальные альманахи, фигурирует она и в водевилях того времени. Эту тему, помимо «Двух дней...», В. Одоевский развивает и в утопии «4338-й год».

Стр. 30. ...Солнце стало Землею, и Земля Солнцем... — В философском диалоге «Анаксагор», написанном поэтом Д. Веневитиновым, Платон также рассказывает об «эпохе счастья, о которой мечтают смертные». «Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество, продолжает герой диалога, пусть солнце поглотит нашу планету, пусть враждебные стихии расхитят разнородные части, ее составляющие!.. Она исчезнет, но, совершив свое предназначение, исчезнет, как ясный звук в гармонии вселенной».

Рассказ публикуется по: Взгляд сквозь столетия.— М.: Молодая гвардия, 1977.

Николай Александрович Морозов

(1854—1946)

Русский революционер-народоволец, писатель, поэт, ученый.

В 1881 году за участие в революционной работе был приговорен к пожизненному тюремному заключению. В тюрьме (в основном в Шлиссельбургской крепости) Н. Морозов провел четверть века. За годы заточения он написал 26 объемистых томов по физике, математике, астрономии, истории, религии и др. После амнистии 1905 года Н. Морозов увлекся поэзией и в 1910 году выпустил сборник революционных стихов «Звездные песни», за который снова был заточен в острог до 1913 года.

После Октябрьской революции в 1918 году Н. Морозов публикует свои обширные мемуары «Повести моей жизни». Они были переизданы в 1947 и в 1965 гг. В период с 1924 по 1932 год талантливый автор создает монументальное семитомное исследование по истории религии — «Христос».

Рассказ «Путешествие в космическом пространстве» был создан в начале заключения писателя в Шлиссельбургской крепости и найден в его «Шлиссельбургских тетрадах». Сам автор датировал его 1882 годом. Впервые рассказ был опубликован в №№ 7, 8 журнала «Техника — молодежи» за 1963 год.

Стр. 33. Лагбух (логбух) — вахтенный журнал.

Рассказ публикуется по: Вечное солнце.— М.: Молодая гвардия, 1979.

Александр Александрович Богданов

(1873—1928)

Русский писатель, экономист, философ, ученый-естествоиспытатель.

В 1908 году завершил и опубликовал свое лучшее научно-фантастическое произведение — роман «Красная звезда», который можно считать предтечей советской научной фантастики. Одновременно вел активную революционную работу в тесном контакте с В. И. Лениным.

В 1913—1917 гг. создал двухтомное сочинение «Всеобщая организационная наука», в котором выдвинул ряд идей, получивших позднее развитие в кибернетике: принципы обратной связи, моделирования, системного анализа изучаемого предмета и др.

После Октябрьской революции А. Богданов посвящает себя работе в биологии и медицине. В 1926 году он возглавил первый в мире Институт переливания крови и погиб после неудачного эксперимента на себе в 1928 году.

Роман-утопия А. Богданова «Красная звезда» впервые был опубликован в петербургском издательстве «Товарищество художников печати» в 1908 году. Затем переиздавался в 1918 и в 1929 гг.

Стр. 51. Этеронеф — космический корабль (буквально — корабль для путешествий по эфиру); *этер* — эфир (*греч.*).

Роман публикуется по: Вечное солнце. — М.: Молодая гвардия, 1979.

Константин Эдуардович Циолковский

(1857—1935)

Русский педагог, писатель, ученый-теоретик и исследователь, основоположник современной космонавтики.

Научно-фантастические произведения К. Циолковского мало известны широкому читателю. Возможно, потому, что они тесно связаны с его научными трудами. Очень близка к фантастике его ранняя работа «Свободное пространство», написанная в 1883 году (опубликована в 1954 г.).

Фантастическая повесть «На Луне» впервые была опубликована в приложении к журналу «Вокруг света» в 1893 году. Неоднократно переиздавалась в советское время.

Стр. 182. Чикуши — часы, часто целкающие маятником.

Стр. 183. Мушо — автор популярных в конце прошлого века астрономических фантазий.

Стр. 194. Явления волосности — капиллярность.

Стр. 201. Солнце, как во времена Иисуса Навина, остановится. — По библейскому преданию, полководец Навин остановил на время битвы Солнце.

Стр. 202. Реомюр Рене Антуан (1683—1757) — французский естествоиспытатель, предложивший свою шкалу измерений температуры. В настоящее время эта шкала не применяется.

Повесть публикуется по: К. Э. Циолковский. На Луне. — М.: Детская литература, 1984.

Валерий Яковлевич Брюсов

(1873—1924)

Русский, советский писатель, поэт, критик, переводчик, ученый-литературовед.

Более 80 книг стихов, прозы, критики и переводов принадлежит перу В. Брюсова. Он был видным специалистом по римской поэзии, французскому символизму, по творчеству А. Пушкина и Ф. Тютчева, теории русского стиха. Большим успехом пользовались его исторические романы «Огненный ангел» и «Алтарь победы».

Интерес к фантастике проходит через всю жизнь В. Брюсова. Роман «Гора Звезды» является самым большим фантастическим произведением писателя. Он работал над ним с 1895 по 1899 год.

Впервые роман был опубликован в альманахе «Фантастика 73—74» в 1975 году. Интересны и другие фантастические произведения В. Брюсова: драматические сцены «Земля», рассказ «Республика Южного Креста», небольшие сочинения «Восстание машин» и «Мятеж машин» и, наконец, повесть «Первая междупланетная экспедиция» о полете на Марс, над которой писатель работал уже после Октябрьской революции.

В. Брюсов написал также несколько фантастических стихотворений, занимался теоретическими проблемами научно-фантастической литературы.

Роман публикуется по: Фантастика 73—74. М.: Молодая гвардия, 1975.

Стр. 211. Мози-оа-Тунья — водопад в Эфиопии.

Стр. 212. кафрском наречии — язык одной из многочисленных народностей — кафов, живущих в юго-западной Эфиопии.

Алексей Николаевич Толстой

(1882/83—1945)

Известный русский советский писатель, публицист и общественный деятель.

Перу А. Толстого наряду с популярными реалистическими произведениями принадлежат талантливые фантастические романы — «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», рассказы.

Рассказ «Союз пяти» является как бы связующим звеном между этими двумя большими работами автора. В первой публикации в 1923 году он вышел под названием «Семь дней, в которые был ограблен мир». Интерес представляет социально-утопическая концовка рассказа. Люди перестали уважать право собственности. Продолжая трудиться, они уже не боялись власти, могущество которой опиралось на страх людей перед ней.

Рассказ публикуется по: Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М., 1958.

Стр. 277. ...эпохи франко-прусской войны. — Война между Францией и Пруссией, другими государствами Северо-Германского союза и Южной Германии. Франция потерпела поражение. Прусские войска оккупировали Париж и значительную часть страны, подавили народные выступления против захватчиков и предательства буржуазии, приняли участие в расправе над Парижской коммуной в 1871 году.

Стр. 279. ...марсель — второй снизу парус трапециевидной формы на судах с прямым парусным вооружением.

...ванты — морские снасти для бортового крепления мачты.

...грог — напиток из рома или коньяка и горячей воды с сахаром.

Стр. 305. ...система Тейлора — система организации труда на капиталистических предприятиях, названная по имени ее основателя — американского инженера Ф. Тейлора. Так называемый «тейлоризм» включал в себя ряд мероприятий, направленных на рационализацию производства, увеличение эффективности использования техники и повышение производительности труда путем разделения производственного процесса на простые операции, разработки предельно высоких норм с помощью хронометража, а также широкого применения сдельных и премиальных форм заработной платы в целях интенсификации труда рабочих. В. И. Ленин назвал «тейлоризм» «научной системой выжимания пота».

Александр Романович Беляев

(1894—1942)

Русский, советский писатель-фантаст.

Раннее творчество писателя отмечено увлечением поэзией. Одно из своих лучших стихотворений — «Звезда мерцает за окном» — А. Беляев положил на музыку. Как прозаик стал выступать с 1925 года. Тогда впервые вышла его небольшая книжка «Спутник письмоносца», а в газете «Гудок» начал печататься с продолжением первый рассказ «Голова профессора Доуэля».

Наибольшую популярность у читателей завоевали романы А. Беляева «Прыжок в ничто», предисловие к которому написал К. Э. Циолковский, «Властелин мира», «Подводные земледельцы», «Человек-амфибия», «Звезда КЭЦ», «Остров Погибших Кораблей», «Последний человек из Атлантиды», рассказы из серии «Изобретения профессора Вагнера» и другие.

Роман «Звезда КЭЦ» публикуется с сокращениями по: А. Беляев. Собр. соч. в 8 тт. Т. 6. М., 1964.

Иван Антонович Ефремов

(1907—1972)

Известный русский, советский писатель-фантаст, философ, ученый-палеонтолог.

Наибольшей популярностью пользуются его романы «Туманность Андромеды», «Сердце Змеи», «Час Быка», «Таис Афинская», «Лезвие бритвы», дилогия «Великая дуга», повести, рассказы.

Повесть «Звездные корабли» была закончена в 1945 году и впервые опубликована в №№ 7—10 журнала «Знание — сила» за 1947 год и затем неоднократно переиздавалась. Она положила начало советской космической фантастике.

Публикуется по: Ефремов И. Звездные корабли.— М.: Правда, 1948.

Стр. 424. ...Вергилий Марон, Публий — римский поэт (70—19 гг. до н. э.), один из видных представителей знаменитого «золотого века» Римской республики.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАСИЛИЙ ЛЕВШИН. Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве	5
ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ. Два дни в жизни земного шара	25
НИКОЛАЙ МОРОЗОВ. Путешествие в космическом пространстве	33
АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ. Красная звезда	45
КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ. На Луне	175
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ. Гора звезды	211
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. Союз пяти	275
АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ. Звезда КЭЦ	313
ИВАН ЕФРЕМОВ. Звездные корабли	413
Серебряная тропа к восходу. <i>Послесловие Д. Зиберова.</i>	462
Комментарии	473

У 11

«У светлого яра Вселенной». Фантастические произведения русских и советских писателей. / Сост., послесл. и комм. Д. Зиберова; Ил. И. Мельникова.— М.: Правда, 1988.— 480 с., ил.

Предлагаемый сборник знакомит читателей с произведениями, главная тема которых — изучение, исследование и освоение космического пространства человеком во имя его духовного и физического совершенства, во имя социального прогресса. В книгу вошли «Два дни в жизни земного шара» В. Одоевского, «Гора звезды» В. Брюсова, «Звездные корабли» И. Ефремова и другие произведения.

У 4702010200 - 1678 1678--88
080(02) --88

84 P

«У СВЕТЛОГО ЯРА ВСЕЛЕННОЙ»

**ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ**

Составитель

Дмитрий Алексеевич Зиберов

Редактор С. А. Суркова

Оформление художника Г. А. Раковского

Художественный редактор Т. А. Костерина

Технический редактор Т. С. Тропина

ИБ 1678

Сдано в набор 24.03.87. Подписано к печати 20.08.87.

Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.

Гарнитура «Эдисон». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62 Уч. изд. л. 27,00

Тираж 60000 экз. 3-й завод: 300001 - 450000 экз.).

Заказ 300 Цена 2 р. 30 к

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Тюменская правда» Тюменского обкома КПСС. 625002, г. Тюмень, Осипенко, 81.



2 р. 30 к.